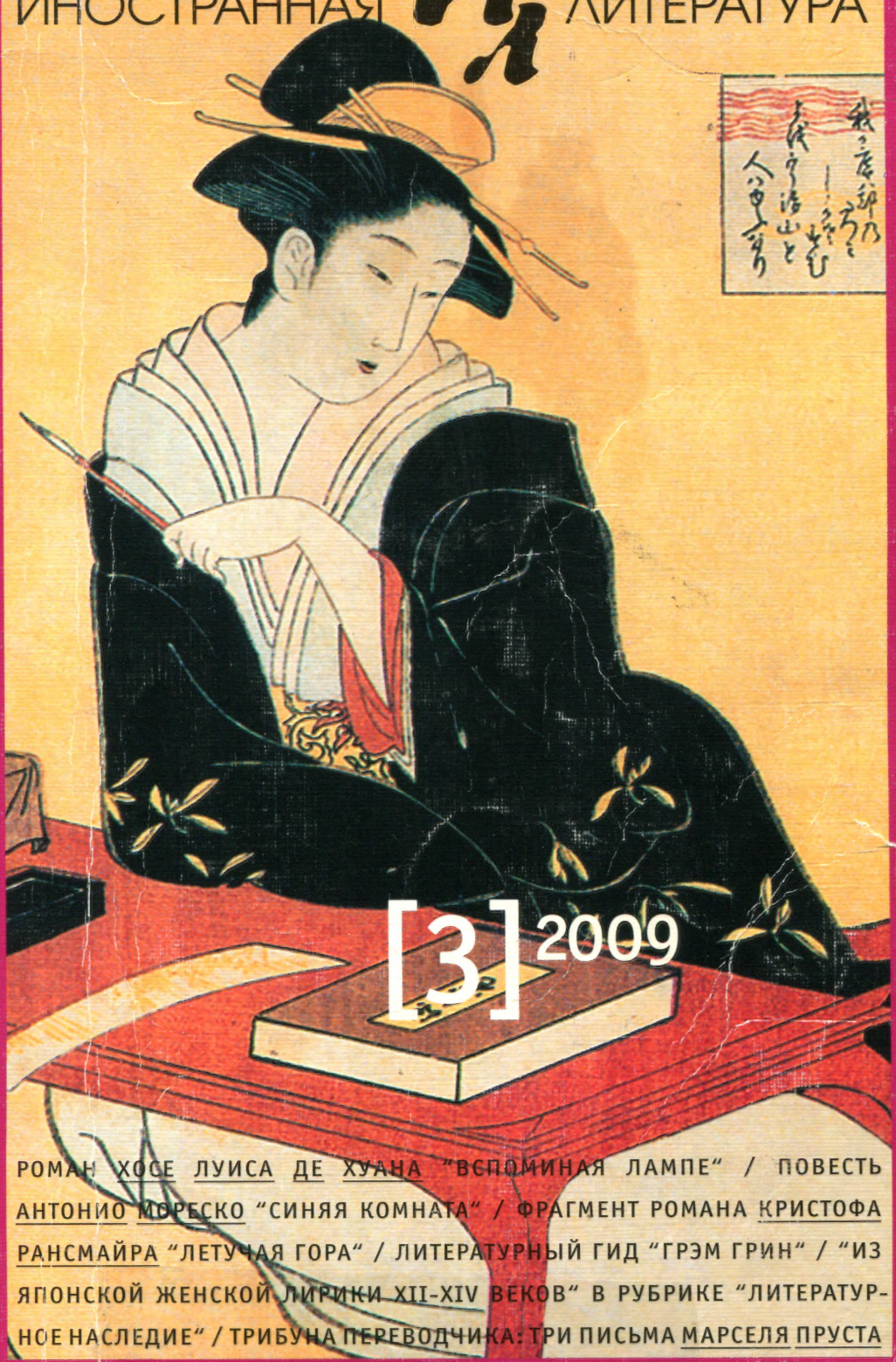
ISSN 0130-6545

# ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



[3] 2009

РОМАН ХОСЕ ЛУИСА ДЕ ХУАНА "ВСПОМИНАЯ ЛАМПЕ" / ПОВЕСТЬ АНТОНИО МОРЕСКО "СИНЯЯ КОМНАТА" / ФРАГМЕНТ РОМАНА КРИСТОФА РАНСМАЙРА "ЛЕТУЧАЯ ГОРА" / ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГИД "ГРЭМ ГРИН" / "ИЗ ЯПОНСКОЙ ЖЕНСКОЙ ЛИРИКИ XII-XIV ВЕКОВ" В РУБРИКЕ "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" / ТРИБУНА ПЕРЕВОДЧИКА: ТРИ ПИСЬМА МАРСЕЛЯ ПРУСТА

Основан в 1955 году

[3]
2009

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный литературно-художественный журнал

3 Хосе Луис де Хуан *Вспоминая Лампе.* Роман. Перевод с испанского Т. Родименко

90 Антонио Мореско *Синяя комната.* Повесть. Перевод с итальянского Татьяны Баскаковой

128 Кристоф Рансмайр *Летучая гора.* Фрагмент романа. Перевод с немецкого и вступление Александры Кряжимской

145 Йон Макгрегор *Что видят небеса.* Рассказ. Перевод с английского Н. Поваляевой

Литературное наследие

161 *Из японской женской лирики XII–XIV веков.* Перевод с японского и вступление Т. Соколовой-Делюсиной

Литературный гид

172 *Грэм Грин*

173 Александр Ливергант *От первого и третьего лица*

176 Ивонна Клоэтта *Моя жизнь с Грэмом Грином. В поисках начала.* Фрагменты книги. Перевод с французского Е. Клоковой

213 Ширли Хэззард *Грин на Капри.* Фрагменты книги. Перевод с английского Марии Штейнман

241 Грэм Грин *Часть жизни. Пути спасения.* Фрагменты автобиографий. Перевод А. Бураковской

257 Грэм Грин *Револьвер в буфете.* Перевод А. Ливерганта. *Торжествующее невежество.* Перевод Т. Казавчинской

Carte blanche

263 Александр Суконик *Условности и сентименты христианского романа*

Трибуна переводчика

272 Марсель Пруст *Три письма.* Перевод с французского, вступление и комментарии Елены Баевской

Среди книг

282 Вера Калмыкова *"Чернея в глубине зеркал..."* Елена Калашникова *"А я не благороден и не прост"*

БиблиофИЛ

289 *У книжной витрины* с Татьяной Трофимовой

292 *Информация к размышлению. Non-fiction* с Алексеем Михеевым

296 *По материалам зарубежной прессы.* Подготовили А. Лешневская, Е. Захарова, И. Мокин

Авторы номера

300

© "Иностранная литература", 2009

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

До 1943 г. журнал выходил под названиями "Вестник иностранной литературы", "Литература мировой революции", "Интернациональная литература". С 1955 года – "Иностранная литература".

Главный редактор

А. Я. Ливергант

Редакционная коллегия:

Л. Н. Васильева
*заведующая отделом художественной литературы*

О. Д. Дробот
*заместитель главного редактора*

Т. А. Ильинская
*ответственный секретарь*

Т. Я. Казавчинская
*заведующая отделом критики и публицистики*

Международный совет:

Ван Мэн
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Редакция :

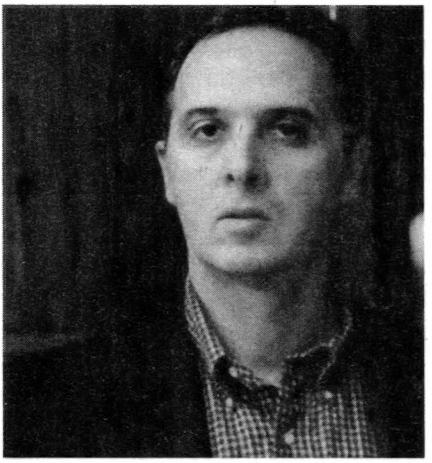
М. М. Алексеева
О. Г. Басинская
Т. А. Баскакова
С. М. Гандлевский
А. Ю. Лешневская
Е. М. Мамардашвили
И. В. Мокин
К. Я. Старосельская
М. Н. Томашевская
Л. Г. Харлап
А. Ю. Шередега

Общественный редакционный совет:

В. П. Аксенов
С. К. Апт
Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Н. А. Богомолова
Е. А. Бунимович
П. Л. Вайль
Т. Д. Венедиктова
А. М. Гелескул
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Г. А. Дашевский
Б. В. Дубин
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
А. В. Михеев
М. Л. Салганик
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
Н. Л. Трауберг
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили
А. И. Эппель

Журнал выходит при финансовой поддержке
Министерства культуры Российской Федерации, Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Фонда Первого Президента России Б. Н. Ельцина

# Хосе Луис де Хуан





# Вспоминая Лампе

Роман

*Перевод с испанского* Т. Родименко

Моим детям.
А также Рафаэлю К.,
рассказавшему мне про Лампе,
о котором я забыл.

Февраль 1802 года.
Начиная с сегодняшнего дня и
впредь
более не вспоминать имени Лампе.

Иммануил Кант *Записная книжка*

## 1

ВОСЕМНАДЦАТОГО февраля 1802 года Мартин Лампе проник через черный вход в дом Канта в Кёнигсберге и ранил его слугу Кауфмана, нанеся ему несколько ударов по телу и лицу прусским армейским тесаком.

Картина, представшая взору кухарки, — а ведь рука этой женщины ни разу не дрогнула, когда приходилось пускать кровь разным живым тварям, — потрясла ее. Кауфман лежал навзничь на длинном деревянном столе для приготовления пищи. Ноги без башмаков свисали вниз. Тесаком ему отрубили ухо, которое теперь болталось на тонкой полоске окровавленной кожи. Другим ударом рассекли щеку, так что она на-

© José Luis de Juan, 2001
© Т. Родименко. Перевод, 2008

поминала кусок свежего мясного филе. Почерневшие от табака оскаленные зубы придавали лицу сходство с карнавальной маской. Пострадал и живот: на полурасстегнутом камзоле зияла дыра размером в ладонь, рубашка насквозь пропиталась кровью, хотя рана казалась не слишком глубокой. В отличие от той, которая тянулась от бедра к паху: из нее как-то неправдоподобно быстро вытекала темно-красная жидкость.

Всегда бледная кожа Кауфмана пожелтела, сравнявшись цветом с воском свечи, которую держала госпожа Фолчер. Его правая рука судорожно сжимала смятую страницу "Газеты Гартунга" за прошлую неделю. Остальные страницы, забрызганные кровью, рассыпались по полу. Невероятно, что в таком сухом и тощем теле было столько крови. При своем невысоком росте, подумала кухарка, он весил килограммов пятьдесят пять, не больше. И тут же прикинула в уме, сколько литров драгоценной жидкости содержится в ней самой. Она содрогнулась. Госпожа Фолчер была вдвое толще слуги Кауфмана.

* * *

Было десять часов вечера. Профессор Кант почивал в своей постели. Вот уже несколько месяцев он ложился спать раньше обычного. Госпоже Фолчер ни на мгновение не пришло в голову закричать или громко позвать на помощь. Пока она служит кухаркой в этом доме, она не позволит себе потревожить сон хозяина. Даже если случится пожар.

Кухарка встала на цыпочки и трясущимися руками дотянулась до шкафчика со специями, где хранила еще и многочисленные бутылочки, содержимое которых известно было ей одной. Госпожа Фолчер сделала большой глоток коньяка, припасенного на случай, когда надо опалить птицу. Затем осторожно приблизилась к Кауфману и сразу заметила, что грудь его слегка вздымается. Он еще дышал. Да, кажется, чуть раньше она даже слышала слабый стон. Необходимо позвать врача. Несчастный изойдет кровью, если ему срочно не наложить жгут и не заняться его глубокими ранами. Кухарка была в одной ночной рубашке. А на улице в такой час наверняка холодно.

Госпожа Фолчер в страхе застыла на месте. Ей вдруг подумалось, что злодей, учинивший зверскую расправу над Кауфманом, мог все еще находиться в доме. Но где именно? Не прошло и пяти минут с того момента, как здесь, в нижнем этаже, раздался грохот. Ее комната располагается как раз над кухней, хотя окна выходят на южную сторону. Кухарка вскочила с постели, едва заслышав непонятный шум. Она засыпала не сразу, подолгу раздумывая над тем, что приготовить на следующий день да что с утра пораньше заказать на рынке.

Госпожа Фолчер вооружилась топориком с короткой рукояткой, которым пользовалась, чтобы разрубать бульонки или большие куски мяса. Убийца мог притаиться в любом углу. Того и гляди выскочит из темноты и перережет ей горло. Яснее ясного, что у него не было времени выбежать на улицу. И уж тем более укрыться в спальне господина Канта. По крайней мере, она на это надеялась. Не хотелось даже думать о том, что может сотворить злодей с хозяином — беззащитным, спящим сном праведника. Хотя лучше умереть сразу, от одного удара. Уж кому-кому, а

ей это прекрасно известно. Можно сказать, сама такими делами всю жизнь занимается. Ей никогда не нравилось мучить несчастных животных, которые потом попадали на кухню. В конце концов, господин Кант старый человек, уже достаточно пожил на свете. Сколько ему? Шестьдесят пять? Семьдесят? Точно она не знала. Хотя всячески старалась поддерживать в нем силы своими супами и здоровыми кушаньями...



Внезапно послышалось звяканье посуды, и кухарка застыла как вкопанная. Звук донесся из кладовой. Там он, точно там! И это не крыса. От крыс звуки другие. По-видимому, человек, напавший на Кауфмана, неловким движением задел стопку чистых тарелок. Что ж, придется туда заглянуть. Не хочется получить удар ножом в спину при попытке выскользнуть из кухни.

Ступая медленно и осторожно, госпожа Фолчер направилась в кладовую. Она старалась двигаться бесшумно, чтобы притаившийся там злодей не разгадал ее планов. Дверь была открыта.

Вот куда шмыгнул этот трус, совершив свое злодеяние! Теперь она в этом не сомневалась. Кухарка схватила свечу, капля воска обожгла ей левую руку. Сжав покрепче топорик — надежное и острое оружие, — она шагнула в знакомую темноту.

Кладовая представляла собой узкое и длинное помещение, по обе стороны которого тянулись полки. Тучная фигура госпожи Фолчер отбрасывала на высокую стену гигантскую тень. С железной перекладины уныло свисали куриные тушки. Дальше тянулись ряды копченых колбас и прочих мясных припасов. Обсыхал недавно запеченный окорок. Словно отмеряя секунды, с него падали в фаянсовую миску звонкие янтарные капли. Кладовая была полна. Каждый день за столом философа непременно обедают гости. Вкусы Канта просты, но в отношении еды он требователен. Был и остается гурманом.

Кухарка приблизила подсвечник к мешкам с картошкой и луком. Два огромных кочана капусты, лежащих один на другом, заставили ее вздрогнуть: померещилось, будто это две отрубленные головы в белых париках. Затем она скользнула по проходу вдоль полок с формами для пудинга и выпечки. А вот и сервиз — эта стопка тарелок и звякнула, когда кто-то ненароком задел ее несколько секунд назад. Никого нет, и все вроде на месте. Разве что Петра, служанка, забыла убрать в ящик один из длинных остроконечных ножей для разделки индюшек и фазанов. Кухарка не раздумывая и его прихватила на всякий случай: ежели, не дай Бог, душегуб, который, считай, прикончил слугу Канта, накинется и на нее, одного топорика может оказаться мало. Нож так и норовил выскользнуть из ладони, ведь большим и указательным пальцами приходилось держать еще и свечу. Но если что, она ее мигом бросит, чтобы орудовать двумя руками.

В глубине кладовой находилось небольшое помещение, обитое листами цинка, — там хранили сырую рыбу и мясо. На лето сюда приносили несколько ледяных глыб. Само собой там его, злыдня, и нужно искать.

Забыв страх, кухарка метнулась на порог ледника. Сразу повеяло холодом. Накануне сюда поставили ящик со снегом, теперь уже превратившимся в лед. Госпожа Фолчер вытянула руку и осветила комнату.

* * *

В самом дальнем углу, скорчившись, лежал человек.

Он спрятал голову в колени и закрыл лицо окровавленными руками. Спина слегка подрагивала. Поняв, что его обнаружили, он перестал сдерживаться и прерывисто всхлипывал.

Тесак, которым он искалечил Кауфмана, валялся рядом на земляном полу. Сразу было видно, что снова пустить его в ход он не в силах. Морщинистые старческие руки дрожали. Он прижимал к груди несколько рукописных листов, сложенных пополам и перепачканных кровью, словно ради этого сокровища он и проник в дом.

Услышав сдавленные возгласы кухарки, неизвестный, похоже, очнулся. Поднял голову и отважился взглянуть на нее сквозь прижатые к лицу пальцы. Перед ним стоял бесформенный призрак! Ему всегда внушало отвращение круглое прыщавое лицо госпожи Фолчер. Но теперь, со всклоченными седыми космами, без привычного белого чепца, придававшего ей командирский вид, выглядела она преуморительно. Расплывшаяся фигура, обтянутая старой ночной рубашкой, ноги без чулок и белые икры — при других обстоятельствах он бы не удержался от смеха.

— Мартин Лампе! — изумленно воскликнула госпожа Фолчер, лишь только человек поднял голову и глянул на нее пустым и отрешенным взглядом.

## 2

Кауфман поступил на службу к Иммануилу Канту всего десять дней назад. Мартина Лампе, прослужившего у него почти четыре десятка лет, уволили после какой-то непростительной оплошности, переполнившей чашу терпения философа. Какой именно, Кант так никогда никому и не расскажет. Как ни любопытствовали его друзья и прислуга.

Первые дни показались Кауфману полным кошмаром. Он ловил недоверие и еле сдерживаемое раздражение, которые излучали глаза нового хозяина, голубые и прозрачные, как вода. Непростое это дело — служить самому знаменитому человеку в Кёнигсберге. Все пороки и привычки давно успели накрепко укорениться в его своенравной голове. И он ни за что не желал, да уже и не мог изменять ритм своей жизни и ее уклад.

Профессор Кант, было сказано новичку, чувствует себя без старого слуги как без рук, хотя кашу заварил он сам, никто его не неволил. Отвлекшись на краткий миг от возвышенных размышлений, оторвав взгляд от дорогих его сердцу бумаг, он принял важнейшее решение: выставить на улицу слугу, который состоял при нем в течение долгого, пожалуй, даже слишком долгого времени.

Перед Кауфманом словно воздвиглась неодолимая стена — без малейшей щелки и вдобавок гладкая. Положим, к привычкам философа можно и приспособиться, проявив самоотверженность и упорство, но все равно на это уйдут месяцы. Взять, к примеру, распорядок дня Канта, неизменный, как ось вращения Земли. Малейшее отклонение или задержка способны вызвать мгновенную вспышку ярости. Любые перемены и неожиданности — для хозяина настоящая пытка.

Всякое движение слуги должно быть выверенным, всякая вещь — лежать на своем месте, и упаси бог нарушить обстановку, к которой Кант привык, как старая канарейка привыкает к каждому миллиметру своей клетки. Ритуал пробуждения установлен раз и навсегда, количество воды в чайнике для утреннего чая отмерено точно, письменные принадлежности на столе лежат в строго определенном порядке.



* * *

В первый день своей службы Кауфман сильно нервничал. Близкий друг и бывший ученик Канта Васянский взял на себя труд просветить нового слугу относительно его будущих обязанностей. Несколько дней подряд этот господин, служивший дьяконом в соборе, шаг за шагом вместе с Кауфманом двигался по длинному списку причуд Канта, которые годами наблюдал сам или узнавал со слов того же Лампе и друзей философа.

Васянский представил Канту нового слугу в среду после обеда. Момент оказался неудачным, и дьякон уже пришел было в отчаяние. Скольких трудов стоило ему привезти Кауфмана из Бреслау, а теперь, похоже, дело провалилось! Однако следующий день прошел вполне благополучно. Если не считать того, что за ужином у Канта вырвалось резкое замечание, когда он увидел солонку справа от тарелки с куриным бульоном, который вот уже год как ему подавали каждый вечер. Он смотрел на солонку с отвращением, словно видел перед собой таракана или ящерицу. Но Кауфман тотчас заметил свою оплошность и действовал спокойно и быстро. Шагнул к столу, наклонился, сделав вид, будто расправляет скатерть, взял солонку и поставил у левой руки философа.

Старый профессор затрясся от возмущения.

— Соль — нет! — наконец прошипел он, брызгая супом и задыхаясь от бешенства.

По счастью, к восьми часам — в это время Кант, если позволяла погода, на несколько минут выходил в сад размять ноги — он успокоился. Васянский последовал за ним. Профессор ни словом не упомянул об истории с солонкой. Наоборот, как будто между прочим, сказал другу:

— Думаю, из Кауфмана, несмотря ни на что, выйдет толковый слуга.

— Я был бы просто счастлив, профессор. В вашем возрасте и при ваших ученых занятиях, столь важных для всего просвещенного общества, вам не следует тратить силы на заботы о слугах.

— А на что мне следует тратить силы? Ведь речь идет о моем доме, дорогой Васянский. О моей жизни, вернее о том, что от нее осталось, — и добавил дрогнувшим голосом: — Кто бы мог подумать, что в таком возрасте со мной случится нечто подобное?

— Поверьте, тут нет никакой трагедии, — теперь Васянский говорил более уверенно, — я, например, чтобы недалеко ходить, начиная с лета уволил уже двух слуг. Первый прихватил с собой довольно дорогой канделябр, а второго мне пришлось выставить вон, потому что, вернувшись как-то утром из поездки, я обнаружил его сладко спящим в моей постели.

— Да, но вы не такой, как я, мой дорогой друг. К счастью, вы *другой*. Если бы со мной случилось что-нибудь в этом роде, меня бы уже давно не было на этом свете.

* * *

Старые слуги Иммануила Канта приняли новичка хорошо, хотя и не без настороженности. И кухарка, и горничная сразу же оценили его такт и здравомыслие, резко контрастирующие с неуклюжестью и зловредностью Лампе. Сколько неприятностей было от него в доме на Принцессинштрассе!

Сразу чувствовалось, что Кауфман успел послужить у важных господ. По слухам, он, как и Лампе, был из военных. И, надо полагать, пообтесался, пока ходил в денщиках у офицеров. А Лампе, тот ведь так и остался рядовым, хотя к тому времени, когда вышел в отставку, мог бы по выслуге лет вполне стать капралом.

Кауфмана поразил невысокий рост хозяина. Он прикинул: от силы футов пять, еще пониже будет, чем он сам. Привыкший к внушительному виду офицеров-аристократов, от рождения умевших командовать, он ожидал увидеть представительного господина, внешность которого соответствовала бы великой славе ученого. Но он во всю свою жизнь не встречал человека более худого и высохшего. Только лицо его выглядело живым: выразительный и проницательный взгляд, насмешливый и чувственный рот. Рот, созданный для изысканных блюд и легких вин, а также светских бесед, приправленных тонкой иронией.

Кауфман впервые встретился с Кантом в среду после обеда – профессор возвращался с часовой прогулки по окрестностям и, казалось, несмотря на холодную и мокрую погоду, ему было жарко.

– Профессор, – обратился к нему Васянский, делая шаг навстречу, – я хотел бы представить вам вашего нового слугу, Петера Кауфмана.

Они стояли на веранде, рядом с комнатой, в которой хозяин дома прежде проводил занятия, а теперь использовавшейся лишь в исключительных случаях. Канта утомляли разговоры – за свою долгую жизнь он успел наговориться. Поэтому с некоторых пор удостаивал краткими беседами разве что торговцев или ремесленников, которым хотелось услышать из первых уст некоторые теории, касающиеся людских обычаев или, скажем, астрономии. Кант только что поднялся по лестнице, из носа у него шел пар. Он гулял в одиночестве, чтобы избежать необходимости говорить, а значит, дышать через рот, ибо считал, что это страшно вредно для здоровья.

Васянский увидел, что на благородном челе блестят крошечные капельки пота, и всполошился. Наверное, учитель еще не заметил выступившей не по погоде испарины. Он ведь всегда боялся вспотеть.

– Кауфман? Не знаю такого. – Кант взмахнул рукой в знак того, что и не желает ни с кем знакомиться, по крайней мере *сейчас*, в данный момент. А возможно, не желал бы знакомиться *никогда*.

Прежде он никого так не встречал, вел себя учтиво и приветливо, по крайней мере здоровался. Затем, случалось, забывал о посетителе или, сославшись на занятость, исчезал, прервав того на полуслове. Васянский решил было проявить настойчивость, в то время как Кауфман ждал у него за спиной, готовый в случае чего ретироваться. Наверное, они выбрали неудачный момент для знакомства. Наверное, следовало чуть погодить, дня два-три. Чтобы профессор свыкся с мыслью о новом слуге. Справился с первым этапом "скорби". Не так ли называется естественная психологическая перестройка, которой подвергается человек, ли-

шившийся спутника всей своей жизни? Минуло всего четыре дня с тех пор, как приключилась история с Лампе. "Это дело деликатное", — предупредил Васянский Кауфмана. Между тем холод усиливался. Ледяной ветер раскачивал голые ветви деревьев. Новому слуге хотелось только одного — как можно скорее зайти в дом. У него окоченели ноги.



— Я позволю себе напомнить вам, профессор, что с нынешнего дня...

Взгляд Канта омрачился, и лицо его, обычно спокойное, исказилось страданием. Он растерянно уставился на свою трость, как будто она ему вовсе не принадлежала. Деревья в саду, где он знал каждый сантиметр, сейчас казались ему чужими. Даже стены собственного жилища не будили в душе ни отклика, ни воспоминаний. Он чувствовал что-то похожее на головокружение, словно его перевернули и поставили вверх ногами. Васянский понял, что это приступ — провал памяти, один из тех, что порой случались у Канта и во время которых он путал события и время, когда они произошли.

— Где Лампе? — тревожно прервал он своего друга и подошел к нему, словно собираясь поправить воротник пальто. — Нет, не может быть... Неужели мой слуга умер? Скажите мне, ради Бога, правду!

— Нет-нет. Никто не умирал. Не волнуйтесь, дорогой профессор. Позволю себе напомнить, что вы сами его уволили.

Кант несколько раз растерянно качнул головой из стороны в сторону. Он не слушал, что говорит ему Васянский. Кто он такой, чтобы говорить ему, что реально и что нет, что истинно, а что до́лжно считать заблуждением? Он прошел мимо Васянского и нового слуги, не глядя на них и повторяя:

— Лампе не может умереть.

И растворился в полумраке комнаты для занятий, продолжая убеждать себя самого:

— Лампе не может умереть.

## 3

Кант всю жизнь рано ложился спать. Ровно в десять вечера — изо дня в день, из года в год.

Без четверти десять слуга Лампе появлялся в дверях кабинета, где профессор Кант к этому времени уже листал какую-нибудь не слишком серьезную книгу, например, по вопросам техники или религии, и с порога тоном командира, отдающего приказ на поле боя, объявлял:

— Пора.

— Что? Что пора? — С годами профессор стал плохо слышать, к тому же ему нравилось выводить слугу из терпения.

— Без четверти десять!

Лампе давно уже не добавлял слов "господин" или "профессор", не использовал и других формул вежливости, как раньше. Виной тому была привычка или, лучше сказать, особая близость их отношений, а может, и характер слуги. Главное, ритуал оставался неизменным: будя хозяина по утрам или объявляя, что пора спать, Лампе вел себя решительно и резко. Его слова звучали отрывисто и сурово, как слова

приказов, которые в пору солдатской службы немилосердно терзали его барабанные перепонки.

На Канта они производили именно то действие, на какое рассчитана военная команда: следовала немедленная реакция, слепое повиновение. Философ не позволял себе помешкать хотя бы секунду. Как только Лампе объявлял, что уже без четверти десять, Кант тотчас откладывал книгу, поднимался из-за стола и направлялся в свою комнату на первом этаже. Лампе, навытяжку, с пустым взглядом, ожидал, пока профессор выйдет за дверь. Он слегка напоминал тюремного надзирателя, который явился за заключенным, чтобы отвести того в комнату для свиданий. Он следовал за хозяином на расстоянии трех шагов — ни шагом больше, ни шагом меньше. Недаром он служил в прусской армии, слывшей в ту пору самой дисциплинированной в мире.

* * *

Комната Канта была небольшой, скудно обставленной и непохожей ни на одну спальню Кёнигсберга.

Во-первых, здесь круглый год поддерживалась более или менее одинаковая температура. Зимой Кант запрещал разводить в комнате огонь. Весь остальной дом отапливался, а его спальня — нет. Окно всегда было закрыто, за исключением нескольких минут по утрам, когда профессор в комнате для занятий читал лекции, хотя иногда не разрешалось даже это: из-за цветочной пыльцы ему тяжело дышалось во сне, а однажды на белой салфетке, покрывавшей прикроватную тумбочку, он обнаружил комара.

Во-вторых, в спальне постоянно царил мрак. Профессор желал, даже требовал, чтобы там было абсолютно темно. Светильники отсутствовали: воск, как он считал, дурно сказался бы на его отдыхе. Если, не дай Бог, какие-то чрезвычайные обстоятельства вынуждали его покинуть ночное пристанище, Кант пользовался веревкой, натянутой между ножками кровати и дверью. Открыв дверь на ощупь, дальше он ориентировался по слабому свету свечи, всю ночь горевшей в небольшой зале, в которую упирался коридор.

Еще одной особенностью комнаты, где спал Кант, была, как мы сказали, крайняя скудость обстановки. Шкаф для постельного белья, плетеный стул, на который философ складывал одежду, и, конечно, простая кровать из покрытого лаком дерева. Кант терпеть не мог зеркал. Чтобы увидеть себя, ему достаточно было взглянуть на Лампе. Лампе словно возвращал профессору его же взгляд, его выражение лица, даже само его лицо. По крайней мере, когда они оставались наедине.

* * *

Едва профессор переступал порог своей комнаты и закрывал дверь, Лампе оживал. Он никогда не желал своему хозяину ни спокойной ночи, ни хороших снов. Здесь это было не принято. Кант, в свою очередь, тоже не говорил ему ни слова перед тем как закрыть дверь и начать раздеваться. Они молча расставались на несколько часов.

Ровно в десять хозяин опускал веки и мгновенно засыпал, а Лампе заходил на кухню и выпивал пару рюмок "Бишопа", английского бальзама на основе сердечных капель и молодого вина. После чего отправлялся в свою комнату в мансарде, расположенную как раз над спальней профессора. Жену, которая время от времени шила для Канта, его слуг, а также имела клиентов в городе, он обычно заставал за починкой одежды. Лампе укладывался в постель и забывался сном под тихое бормотание, которым жена сопровождала работу. Мартин Лампе спал мало и плохо, даже в подпитии.

Порой он просыпался среди ночи — мокрый от пота, в тревоге. Его осаждали бессвязные образы: лицо профессора и его голос, прежде всего голос, выговаривающий ему — мол, что-то он не так сделал, — огромные кухонные котлы, солдатские кафтаны, эполеты, перевязи, оружие, полевой лазарет, разорванные и перепачканные кровью мундиры, специфический запах тел, сваленных на телеги...

Бывало, часа в два или три ночи он вставал, мучимый бессонницей, и широкими шагами обходил дом, словно нес дозор. В казарме ночного дежурного называли призраком, хотя Лампе так и не понял почему. Потом слуга зажигал керосиновую лампу и заглядывал в комнату для занятий, чтобы проверить, все ли в порядке. После чего направлялся в кабинет Канта.

Усаживался за письменный стол, за которым хозяин проводил столько часов, готовясь к лекциям, записывая свои мысли или читая. Располагал в нужном порядке чернильницу, перья, карандаши, тетради профессора, потому что ему было отлично известно — порой лучше, чем самому Канту, — где должна находиться каждая вещь. Открывал ящики и вынимал конспекты лекций или готовые рукописи. Почерк он разбирал с трудом, ведь ему и печатные буквы давались нелегко.

Грамотой он овладел во взрослые годы, но никогда ничего не читал. Чтобы одолеть название одной из книг, стоявших на полке орехового дерева справа от письменного стола, мог потратить несколько минут. И он спрашивал себя: неужели люди, живущие в разных концах света, прочитывают не только заглавие, но и всю книгу целиком, страницу за страницей? Да что уж такого написал там профессор, чтобы это могло вознаградить тяжкий труд — водить глазами по черным пятнышкам на белой бумаге?

Наверняка, размышлял он, хозяин рассказывает в своих книгах примерно о тех же вещах, о каких беседует с гостями за обедом. Если не считать погоды и температуры воздуха, — излюбленной темы Канта, с которой, как и с вопросов политического свойства, он любит начинать застольный разговор, — слуге не всегда было ясно, о чем на самом деле идет речь. Слова звучали необычно, произносились по-особому, и даже когда он понимал каждое в отдельности, смысл всей фразы ускользал от него, словно голубь из силков.

Одно необычное слово, которого Лампе никогда не слышал за порогом этого дома, сильно его заинтересовало. Гости часто, особенно одно время, повторяли его — профессор, пожалуй, реже других, но особым тоном, словно был не вполне уверен, что все они говорят об одном и том же. Лампе заметил, что это слово, как и прочие длинные и непонятные слова, хозяин не любил использовать за столом.

За столом Канту хотелось поговорить о чем-нибудь другом. Но в первую очередь послушать собеседников. Усердно и тактично он расспрашивал их о жизни, учебе, увлечениях, о том, занимаются ли они каким-нибудь спортом, играют ли в бильярд — сам профессор в юности посвящал ему немало времени, а теперь, к сожалению, почти забросил.

Разговоры, что ведут сотрапезники профессора Канта, — это небось какая-то игра, думал слуга. Вроде виста или чего другого, только здесь тасуют слова, соединяют в пары и берут за них взятки. Нужна сноровка да еще удача, чтобы тебе выпали счастливые карты или слова. В армии Лампе тоже пытался играть в карты, но всегда проигрывал. Ему не везло. Поэтому он в конце концов стал просто наблюдать за чужой игрой, неподвижно сидя на табурете в таверне. Так же неподвижно он стоял во время обедов у профессора — на случай, если надо будет наполнить вином графины или принести с кухни поднос с мясным пудингом.

Иногда обед затягивался надолго. Часа на три, а то и на четыре. Ровно в час кухарка вносила первый поднос с едой. Если к четырем уже были поданы десерт и кофе, хозяин знаком показывал Лампе, что тот может идти отдыхать.

Лампе запомнился случай, когда за столом оказалось восемь человек. Двое из них — иностранцы. Они впервые попали на обед к профессору. Тот, обращаясь к ним, начинал говорить медленнее и громче. Они же лишь поддакивали визгливыми голосами, как будто целиком и полностью были согласны с профессором Кантом. Хотя разговор шел по-немецки, Лампе понимал их плохо, только отдельные слова. А когда они переходили на родной язык, то и вовсе не понимал ни бельмеса. Впрочем, одно слово он все-таки уловил — как там его? — *про-све-ще-ние.* Вот: просвещение.

Но что такое просвещение?

Кухарка уходила и возвращалась — то с кроликом, то с вареным палтусом или картофелем. Он, Лампе, разделывал мясо. Почему бы им не побеседовать о том, что они едят? О кроликах, палтусе, картошке, капусте — о чем-нибудь понятном Лампе. Профессор Кант обожает потолковать о еде. После погоды это его любимая тема. Она гораздо сильнее будит его воображение и интерес, чем капризы погоды.

Но иностранцы — кажется, французы, по крайней мере так сказала кухарка, хотя что она в этом понимает? — говорили с набитыми ртами только об одной вещи, которой ему отродясь не приходилось видеть, даже за годы службы в армии. Вряд ли это самое просвещение было животным, скорее, какой-нибудь новой машиной или устройством.

А может, это секретное оружие, изобретенное французами.

## 4

Мартин Лампе был женат, а Иммануил Кант так и не собрался вступить в брак.

Дети у слуги родились еще в то время, когда он служил в армии. Сначала девочка, а через два года мальчик. Еще через несколько лет его жена родила недоношенного ребенка, который умер. Они так и не узнали, мальчик то был или девочка. Лампе в ту пору получил назначение в

Вильну. Он был приписан к пехотному полку. А пехота всегда первой идет в бой. И первой гибнет в любом сражении.

Пруссия опять вела войну. Его товарищи гибли. Гюнтеру распороли палашом живот; Лампе видел, как долго он корчился и под конец уже не мог кричать. Эрнста разнесло взрывом, когда он сидел, прислонившись к стволу дерева, неподалеку от Лампе, но тот успел заметить вспышку и покатился по траве — у него всегда безотказно срабатывали рефлексы, по крайней мере в то время. Артур исчез в облаке дыма и пыли, поднятом неприятельской конницей: остался при наступлении на так называемой ничейной земле, не услышав многократного сигнала горна, потому что слегка оглох от взрывов. Наверняка его сбили с ног и затоптали лошади...

Был получен приказ: удерживать храбро завоеванную позицию. Они несли большие потери. И вот уже несколько дней мерзли и голодали. По какой-то неведомой причине противник прекратил обстрел, хотя было заметно движение в его войсках. Скорее всего, там ждали подходящего момента, чтобы окружить их и добить окончательно. Ближайшую деревушку полностью разгромили. Крестьян перебили, хотя кое-кому удалось убежать. Порой неведомо откуда доносился плач ребенка. Мертвые тела лежали в грязи, на порогах разрушенных домов. Большинство убитых были мирными жителями.

Сержант сильно нервничал. Он не понимал, что происходит. Они были отрезаны от своих и не получали известий с передовой линии. А когда командирам отказывает выдержка, то и солдаты теряют присутствие духа, Лампе хорошо это знал. Отсюда, сверху, картина рисовалась смутная. Если противник успешно наступает, то нет смысла и дальше удерживать позицию — их выметут в два счета. Но ведь может оказаться, что это свои напирают сзади, тогда, войдя в деревню, они найдут отличный плацдарм, чтобы перейти в наступление. Заново отстроят деревню, вернут крестьян и фермеров, и опять появится провиант для армии. Земля здесь, судя по всему, плодородная — столько овинов им попадалось по пути, и поля так аккуратно вспаханы! Значит, надо держаться. Иначе неприятель захватит деревню и укрепится в этих местах.

У них оставалось несколько оголодавших и, скорее всего, хворых овец. Ничтожно мало для трех десятков солдат, двух капралов и сержанта. Если без приказа главного штаба покинуть этот пункт и отойти к своим, можно угодить под трибунал. И вот туманным утром сержант оглядел горизонт и решил послать кого-то из солдат, чтобы доложил обстановку командованию роты, находившемуся в нескольких милях к юго-западу.

Построив солдат на площади, сержант твердым голосом объявил:

— Солдаты, настал момент, когда необходимо наладить связь с командованием. Без соответствующего приказа мы не можем оставить эту позицию ни для того, чтобы выдвинуться навстречу противнику, ни для того, чтобы отступить и соединиться с ротой. Мне требуется доброволец, который взялся бы доставить донесение.

Сержант спрыгнул с камня и стал прохаживаться между рядами солдат.

— Нужно, — продолжал он властным, но и доходчивым тоном, — прорваться через вражескую линию, добраться до штаба роты и доло-

жить обстановку. Не буду скрывать от вас, солдаты, что в данный момент противник, возможно, стремится взять нас в кольцо. Надлежит действовать быстро и решительно — на благо отчизны.

Прошло несколько томительных минут, никто не выходил из строя.

Лампе был удивлен. А он-то думал, что, отозвавшись на призыв сержанта, добровольцы станут отпихивать друг друга локтями. Он не понимал, почему его товарищи упускают такой шанс. Разве трудно вернуться обратно тем же путем, каким они добрались сюда, и предстать перед капитаном, а то и майором, с донесением сержанта? Тут и всего-то полдня пути! Задание вроде бы не слишком рискованное. В последние дни вокруг царило затишье — совсем редко слышались артиллерийские залпы или выстрелы конных патрулей.

Мартин Лампе решил, что, раз других добровольцев нет, надо бы вызваться ему. Настал момент совершить какой-нибудь героический поступок и отличиться перед начальством. Он впервые попал на фронт и до сих пор не имел случая пострелять из ружья, разве что наугад да издали. Не видел ни одного поляка ближе чем за полверсты. А еще он часто отставал или не мог сообразить, как поступить, из-за путаных приказов или из-за того, что все вокруг нервничали. Страх окружающих действовал на него куда сильнее, чем страх быть раненым или погибнуть. Капрал поглядывал на него косо, поэтому использовал на всяких тыловых работах: помочь лекарю принять раненых или пособить поварам с обедом.

Пока сержант обводил горящим взором все три шеренги, Лампе, стоявший во втором ряду, вышел из строя и щелкнул каблуками.

— Да здравствует король! Да здравствует Пруссия!

* * *

У него имелась карта, однако едва пропала из виду колокольня той деревни, где остались товарищи, как он уже не мог сообразить, где находится. Компас, которым снабдил его сержант, только сбивал с толку. Синяя половина стрелки указывает на север, это ясно, а другая, посеребренная, соответственно, на юг. Если верить компасу, то юго-запад будет чуть правее посеребренного конца. Проблема в том, что проклятый юго-запад, указанный стрелкой, совершенно не совпадал с направлением, которое ему указали, когда он покидал деревню, и еще меньше — с чертой, проложенной на карте сержантом с помощью миллиметровой линейки.

Рядовой Лампе решил довериться собственному чутью. И вряд ли он сильно отклонился от заданного маршрута. Теперь он входил в лес, с церковной колокольни, на которую они с сержантом и капралом поднимались, чтобы уточнить дорогу, казавшийся темно-зеленым пятном. В округе и вправду было много лесов, и довольно густых. Две недели назад, во время наступления, они почти все время шли лесами.

Выйдя на поляну, Лампе услышал пронзительный свист, затем еще и еще. В него стреляли! Он бросился на землю. По счастью, рядом оказались кусты, в которых можно укрыться. Недолго думая, он пополз к зарослям. И тотчас заметил, что пуля задела левый сапог и оторвала каблук — теперь он едва держался. Придется его подвязать, а то далеко не убежишь. Он забрался в самую гущу, в самую сердцевину. Под прикрыти-

ем листвы извлек из ранца кусок веревки, имеющейся в запасе у каждого прусского солдата — чтобы срочно наложить жгут в случае ранения в руку или ногу и при сильном кровотечении. Хотя веревка, конечно, была недостаточно длинной, чтобы, скажем, на ней повеситься.



Пятка горела. На мгновение он представил себе, в каком отчаянном положении очутился бы, попади пуля в ногу. Изрядно провозившись с каблуком, Лампе сумел-таки примотать его к сапогу. На поляне стало тихо. Наверное, стрелки, выставленные где-нибудь на краю леса, посчитали его убитым. Судя по всему, стреляли издалека. Звуки выстрелов звучали глухо — сперва он услышал свист пуль. На несколько секунд Лампе затаил дыхание.

Отыскивая веревку, он разбросал вокруг почти все содержимое своего ранца. Он принялся было собирать вещи, но тут почувствовал, как задрожала земля. Лошади! К его укрытию галопом скакало несколько всадников! Всемилостивый Боже, вот настал и его черед. Затопчут, превратят в отбивную. Лампе охватила паника. И чего он полез в добровольцы! На него впервые накатил ужасный страх, предчувствие смерти, от которого свело внутренности. Понятно, почему другие осторожничали. Его ведь послали на верную гибель, а он с готовностью сам сунул голову в петлю. И теперь клял себя за глупость.

Дрожа от страха, рядовой Лампе натянул ранец как есть, незастегнутым, и прицелился, хотя среди густых ветвей было трудно управиться с ружьем. Воинский устав не раз повторяет: что бы ни случилось, не оставляй ни ранца, ни оружия.

Он выстрелит, когда они окажутся поближе, в нескольких метрах от него. Другого выхода нет. Он попытался получше разглядеть сквозь листву, с какой стороны скачут всадники. Вспомнил своего друга Артура, которого вмиг растоптали конские копыта во время атаки. Вот уж, должно быть, страшная смерть! "Стук копыт будет похуже грохота взрывов", — сказал он про себя, неведомо почему. Хотя, если вспомнить, бедняга Артур был наполовину глухим...

Сейчас барабанные перепонки у Лампе едва не лопались, а земля под ним ходила ходуном, словно во время землетрясения. Бум-бум-бум. Он мог бы поклясться, что на него скачут со всех сторон. Он поднял ружье вверх и взвел курок. Бум-бум-бум. Да где же они? Ожидание становилось нестерпимым. И вдруг огромный, как гора, конь вырос перед ним, вернее, над ним, над самой его головой. Не теряя ни секунды, Лампе выстрелил в коричневую громаду, которая рвалась вперед. Оглушительный выстрел вытеснил из сознания все остальное. Конь поднялся на дыбы, пролетел над кустом, служившим Лампе укрытием, и с ржанием упал через несколько метров, выбив фонтан травы и грязи.

Рядовой Лампе выбрался из зарослей. Остолбенев, он смотрел на то, что учинил. Животное опрокинулось на спину, намертво придавив всадника. Теперь они, лошадь и человек, и вправду слились в одно целое. Из судорожно дергавшейся шеи животного, куда угодила пуля, ручьем текла кровь.

Жуткая картина мигом привела Лампе в чувство. Слава Богу, он жив! Огляделся по сторонам и понял, что остальные всадники, не заметив гибели товарища, мчались в том направлении, откуда пришел Лампе. Он с изумлением увидел, что впереди по склону каменистого холма

движется пехота. Свои или чужие? Как тут поймешь на таком расстоянии! Поди разбери, какого цвета у них мундиры. Вроде синие?

Не дожидаясь, пока они приблизятся, он со всей возможной скоростью устремился на запад, туда, где виднелась густая дубовая роща.

К вечеру следующего дня, умирая от голода и усталости, рядовой Лампе добрался до небольшого прусского лагеря, только что разбитого на берегу речушки. Это было для него такой же удачей, как и встреча с Кантом несколько лет спустя. Но здесь, на беду, никто не оценил его геройского поступка. А ведь он едва не положил жизнь за своих товарищей! Капрал с явной насмешкой смотрел на Лампе, пока тот, подкрепив силы у походной кухни, объяснял, что юго-запад оказался далековато, а у него к тому же порвался сапог.

Позднее он узнал, что в то самое утро, когда ему чудом удалось спастись, в Кёнигсберге родился мертвым его третий ребенок.

## 5

— Пора, господин!

Этот вопль Лампе раздавался еще до рассвета, и с него начинался день Иммануила Канта. Словно ему играли утреннюю зорю. Слуга стремился как можно точнее воспроизводить интонации капралов и сержантов, что каленым железом метили его солдатскую жизнь.

Но Лампе не всегда был столь краток. На первых порах он объявлял: "Господин профессор, пора". Одно время, когда слава Канта и наплыв к нему именитых посетителей — как из Пруссии, так и из-за границы — служили темой для разговоров и поводом для восторгов всего Кёнигсберга, слуга по утрам громогласно возвещал, обращаясь к мумии, почивавшей в своем укрытии: "Ваше превосходительство, пора!"

В этот час в комнате было темно, но Лампе заранее прибавлял пламя в светильнике, который всю ночь еле теплился в конце коридора, в пятнадцати метрах от спальни профессора. Лампе брал светильник с собой и ставил на сундук в коридоре. И только тогда решительно, не постучав, распахивал дверь. Входил в комнату, чеканя шаг, останавливался у изножия кровати и провозглашал:

— Пора, господин!

Это происходило без пяти минут пять. Так же, как и вечером, во время отхода ко сну, профессор безропотно подчинялся. Впрочем, по утрам даже с большей готовностью. Он открывал глаза, едва услышав голос Лампе, и, прежде чем слуга успевал договорить, откидывал одеяло — летом тонкое, зимой потолще, а иногда, в особо холодную пору, и пуховое. Только соорудив себе такой кокон, подобный погребальному облачению египетских фараонов, можно было уберечься от сквозняков (загадочным образом гулявших в спальне даже при плотно закрытых окне и двери) и ледяного холода, поскольку Кант не разрешал ни разжигать в спальне огонь, ни вносить туда раскаленные угли.

Затем Лампе покидал комнату и, не теряя ни секунды, спешил в кабинет. Одевался и раздевался профессор сам, обходясь без чужой помощи и не желая ее. Можно сказать с уверенностью, что никто никогда не видел его голым — разве только в младенчестве или в час смерти. А ведь

он с такой одержимостью старался балансировать на тонкой грани, разделяющей здоровье и болезнь. Обычно такие люди каждое утро придирчиво осматривают себя: проверяют, какого цвета кожа под веками, как выглядят язык и пупок, не говоря уж о внимании к более интимным функциям, вроде мочеиспускания или каловыделения.



Как бы то ни было, интерес Канта, порой безграничный, к медицине и физиологическим свойствам человеческого тела всегда был теоретическим и даже абстрактным, накрепко связанным с его своеобразными привычками, которым он придавал исключительное значение. Привычки эти питались интуицией и научными знаниями. Во всяком случае, анатомия не входила в число его любимых дисциплин. Возможно, поэтому на протяжении всей своей жизни он мало увлекался женским полом.

Как было хорошо известно слуге Лампе (чего только тот не знал о хозяине!), Кант не доверял врачам. Он любил выслушивать разные мнения, чтобы опровергнуть их собственными аргументами или в чем-то пересмотреть свои суждения, как правило, весьма здравые. Когда умирал кто-то из знакомых, он сразу говорил: "Наверняка пил темное пиво". И больше к этой теме не возвращался. Он был способен резко переменить разговор, если собеседник-зануда желал еще поговорить о покойном. Его раздражали люди, которые обожают потолковать о смерти и покойниках, особенно о тех, кто умер только что. Смерть, как и все конечные процессы, когда невозможно продолжать движение вперед, казалась ему одной из самых скучных тем. Ну что интересного можно сказать о чем-то завершившемся — к тому же *раз и навсегда*?

Зато серьезные заболевания любого рода, предшествующие чьей-либо кончине, волновали его чрезвычайно. Он подробно расспрашивал о симптомах, болях, поведении недужных и умирающих. "А, он не гулял после обеда", — говорил Кант. Или: "Понимаю, плотно ужинал", "Часто ездил в экипаже?", "Как вы сказали? Долго спал после обеда? Понятно". И тогда на щеках его появлялись лукавые ямочки.

Недомогания и заболевания друзей и постоянных гостей приводили Канта в страшное волнение, и он подолгу расспрашивал каждого гостя о его самочувствии, о том, как протекает болезнь. Он хотел знать все о больных и умирающих. Однако забывал о них, едва услышав о кончине. Словно они, против воли своей перешедшие в мир иной, никогда и не жили на этой земле. К примеру, после похорон Гиппеля, одного из самых давних его друзей (хотя Лампе сомневался, были ли у Канта настоящие друзья, впрочем, у самого Лампе их тоже не было, и это роднило их с хозяином), были устроены поминки. Настал черед Канта выступать, и без тени смущения или печали он заявил, что Гиппель был верным товарищем и замечательным собеседником, однако стоит ли теперь, когда тот покинул наш мир, чтобы обрести вечный покой, тратить время на разговоры о нем.

* * *

Ровно в пять часов Кант начинал новый день чашкой дымящегося чая. Так говорил он сам: чашка чаю. И гордился тем, что не берет в рот ничего вплоть до самого обеда — до часу дня.

Только слуга Мартин Лампе знал, что профессор выпивает не одну, а несколько чашек чаю, и при этом с истинным наслаждением курит трубку, надев диковинную шапочку, которая, как представлялось слуге, хотя он никогда не спрашивал об этом, служила для того, чтобы защитить от дыма редкие волосы Канта. Философ с такой силой посасывал глиняную трубку, что его изящный, правильный нос освещался красным светом. При этом голубые глаза вспыхивали, будто в ожидании робких проблесков близкого рассвета.

В течение всего дня он больше не позволял себе курить. Две самые главные слабости — кофе и табак — Кант подавлял в себе без помощи Лампе и с завидной силой воли. Хотелось бы слуге так же совладать со своей слабостью к спиртному! Хотя нет: зачем лишать себя одного из немногих и столь доступных удовольствий? Лампе выпивал свою первую рюмку вина в четверть первого. Как раз когда наступал черед профессора объявлять время.

Он выходил из кабинета и, открыв дверь на лестницу, ведущую в кухню, громогласно произносил, чтобы слышала кухарка: "Четверть первого". Поставив в известность о сем факте госпожу Фолчер, философ направлялся в столовую, доставал из шкафчика вино и наливал себе рюмку. Потом ставил ее на обычное место на столе, прикрыв сверху листом бумаги, чтобы вино не выдыхалось. Затем возвращался в комнату, служившую аудиторией, и продолжал лекцию. Тогда Лампе, услышав, что хозяин снова заговорил, отправлялся в кладовку, прихватив свою связку ключей. Для чего следовало пройти через кухню под ворчание, а порой и откровенную брань кухарки:

— А вот и наш ценитель вин двинулся за добычей. Черт бы его побрал! Я тут с пяти утра гну спину, как рабыня, да еще должна такое терпеть. Нет в жизни справедливости, Господи спаси...

В этот первый по-настоящему счастливый за весь день миг Лампе не удостаивал ответом сварливую госпожу Фолчер. Он на цыпочках переступал порог кладовки, владения кухарки, и устремлялся к двери с железными скобами, охранявшей вход в скромный погреб профессора Канта. Здесь начиналась его территория, которую он готов был защищать зубами и когтями: в погреб и чулан с посудой и столовыми приборами доступ имел только он один. Отпирал дверь, нарочно громко звеня ключами, чтобы досадить кухарке, и спускался по четырем каменным ступеням.

Он снова наливал себе рюмку вина — теперь уже прямо из дубовой бочки. Садился на табурет и смаковал густую темную жидкость. Не приведи Господи совершить святотатство и перейти на белое вино; а хозяин волен поступать, как ему вздумается. К счастью, гости профессора по большей части придерживались того же мнения, что и Лампе. За первой рюмкой следовала вторая, но уже наполненная до краев. Обычно желудок принимал ее гораздо лучше, чем первую. "Нутро имеет короткую память", — так сказал однажды профессор. Обычно дальше этого дело не шло. Две рюмки придавали ему сил, чтобы справиться с нелегкой задачей — прислуживать профессору Канту и его гостям. Хотя спустя несколько лет...

Слегка расслабившись, Лампе приступал к тому, ради чего спускался в погреб. Наполнял вином несколько стеклянных графинов, три-четыре, смотря по числу гостей. Затем возвращался тем же путем и подни-

мался в столовую, не преминув шепотом наградить кухарку, страшно занятую, поскольку приближалось время обеда, а у нее еще оставалась куча дел, одним из обычных эпитетов: "змея" или "старая ведьма".



## 6

В те годы Кёнигсберг был процветающим восточнопрусским городом. Он раскинулся на берегах реки Преголи, и в его порт заходило множество торговых судов. Здесь нередко встречались английские купцы: они приезжали, уезжали, а порой и пускали в городе корни. Одним из самых близких друзей Канта был Джон Грин из Манчестера, торговавший восточными специями и тканями.

Помимо Грина в дом профессора, расположенный неподалеку от крепости, в тихом месте, где экипажи считались редкостью, наведывались и другие англичане, например, его добрый друг Мотерби.

Хотя Кант был типичнейшим пруссаком, он любил проводить время со своими британскими друзьями. Ему нравились как их добродушная ирония, так и их суровая невозмутимость, порой на них накатывавшая. А вот в соотечественниках профессора кое-что огорчало: они не всегда знают меру, например, пьют слишком много пива или ведут себя совершенно по-детски в рождественские праздники или на именинах. Кант не любил получать подарки, да и сам не был склонен их дарить, если это не касалось прислуги: с ней он всегда держал себя щедрым хозяином – по крайней мере по его собственному мнению, которого Мартин Лампе не разделял.

В Кёнигсберге Кант успел переменить шесть разных домов, в большинстве из них с ним жил Лампе. Человек более тщеславный величал бы Лампе не "слугой" или "лакеем", а "мажордомом", но, по мнению Канта, это выглядело уместно в особняках знати или богатых горожан и плохо вязалось со скромными персонами вроде него. В юности Кант познал лишения, и если сейчас достиг приличного положения, то исключительно благодаря упорному труду сначала в качестве приват-доцента, а затем профессора.

В первые годы университетской карьеры Кант жил в небольших пансионах, где снимал одну или две скромные комнаты, так что мог принимать посетителей и пить чай с друзьями. Главным недостатком такого жилища был не столько шум, сколько отсутствие тишины, которая с годами стала почти столь же важна для него, как время или погода. Да, под конец время превратилось в бесценное сокровище: мало того, что его едва хватало на размышления и чтение, так еще окружающие отнимали драгоценные часы и минуты на всякую ерунду.

Комнаты, которые он снимал, вроде той, на Магистергассе, как правило, находились в центре Кёнигсберга, где царила вечная и раздражающая суета. Голоса прохожих и возниц, разговоры соседей и лавочников нарушали ход мыслей. Кант не раз вставал из-за стола с пером в руке, чтобы закрыть ставни и задернуть бархатные шторы, поскольку гомон, стук колес и нестерпимый скрип повозок выводили его из себя.

Обосновавшись в новом доме, Кант порой скучал по прежним комнатам. В определенном смысле, думалось ему, он, живя в пансионах,

был свободным человеком, потому что не отвечал ни за кого, кроме себя. Обедал обычно в одной и той же харчевне, в час дня. Компанию ему составляли ученики и старинные друзья – такие, как Мотерби, приходский священник Соммер и Васянский. Он вполне довольствовался любым меню, а если что-то было ему не по вкусу или могло причинить вред здоровью, просто убирал это с тарелки. В ту пору ему никогда не приходилось заботиться ни о провизии, ни о том, как исправить досадную неполадку. Никто не просил у него денег, чтобы наполнить бочку в погребе, или столько-то талеров для мясника с зеленщиком. Не было перебранок между Лампе и кухаркой по поводу списка блюд, кладовки или угля.

У Канта сохранились приятные воспоминания о тех обедах. Неужели после 1778 года он ни разу не обедал вне дома? Ах да, однажды обедал у генерала Лоссоу и несколько раз – у Вобзера, лесничего, и, пожалуй... Он уже забыл, по какой именно причине перестал ходить в харчевню и начал лелеять мысль о собственном доме и, естественно, прислуге, которая сделает его жизнь, как бы это сказать, более "скрытой" и более – почему бы и нет? – респектабельной. Да, так выразился Грин со своим забавным акцентом: "рэспэктабельной". Точно, точно, а началось все по вине того много понимавшего о себе господина, который садился за соседний стол и упорно заводил разговор о философии. Философия во время обеда! Невозможное сочетание. Вредно для процесса пережевывания, не говоря уж о пищеварении, которое должно протекать легко и беспрепятственно.

Всего раз в день он позволяет себе поесть по-человечески, а тот человек мешал ему своей самодовольной болтовней! Да к тому же раздражал невыносимой медлительностью речи: словно выбирал слова щипцами и осторожно выкладывал на тарелку, чтобы затем вскрыть их одно за другим с помощью ножа и вилки.

В один прекрасный день он исчез. Заметив, что стул пустует, а багровой физиономии не видно вот уже несколько дней подряд, Кант позволил себе зло съязвить, хотя английские друзья, со своей неизменной снисходительностью, сочли это мягким юмором:

– Боюсь, у него случилось тяжелое несварение идей. Некоторые умирают от мозговых недомоганий, против которых медицинская наука бессильна.

В тот период, когда он питался в разных заведениях Кёнигсберга, его живо интересовала кулинария, технология и время приготовления блюд, их ингредиенты. Даже записывал в блокнот рецепты, если они того стоили, обсуждал уместность той или иной пряности. В салонах, которые он тогда посещал, дамы, особенно элегантные и образованные, как правило, порицали его неподдельную страсть к этой материи.

Многим из них казалась неуместной такая увлеченность – вернее, их возмущала мысль, будто он обращается с ними как с кухарками. "А лучше бы, – размышлял Кант, – они придумали какое-нибудь необыкновенно вкусное блюдо, чем изрекать плоские и неумные суждения о Французской революции".

Но не только неудобоваримый философ заставил его отказаться от городских таверн и ресторанов. Находились господа, порой приезжавшие издалека, которые, пользуясь тем, что за столом Канта обычно со-

бирались самые разные люди, пытались даром послушать лекцию, а заодно и пообедать! Незваные гости портили веселые и беззаботные застолья, и порой навязчивых собеседников приходилось вежливо выпроваживать.

Тщеславие не относилось к числу его слабостей.



* * *

Тихий, изрезанный каналами портовый город, где в начале века был коронован Фридрих I, первый король Пруссии, начинал признавать заслуги одного из самых выдающихся своих жителей. Весь Кёнигсберг называл его профессором, а кое-кто и доктором, при том, что он никого не вылечил ни от одной болезни — разве что от суеверия и, быть может, от ошибочных представлений.

Неприхотливый и бережливый Кант накопил приличное состояние. Лекции в университете и частные уроки географии, физики, химии и естественной истории с годами значительно увеличили его доход.

Он не женился и уже не собирался жениться. В его дом почти не заглядывали женщины, и очень редко за столом среди гостей оказывалась дама, хотя он не без удовольствия общался с образованными представительницами прекрасного пола. Уже в зрелые годы его сердце испытало одно или два любовных переживания. По крайней мере однажды он побывал-таки в роли жениха, однако дело разладилось из-за его нерешительности. К счастью или к несчастью, какой-то более настойчивый соперник опередил профессора.

— В молодости я был слишком беден, чтобы прокормить жену, а теперь вышел из того возраста, когда она может понадобиться, — как-то признался он своему светскому приятелю, директору банка Руфману.

Вообще-то, ему нужна вовсе не женщина, поддакивали самые близкие друзья. Ему нужен дом, соответствующий его заслугам и положению в ученом мире. Собственное жилище, которое обеспечит покой и свободу, чтобы он мог развивать свой блестящий ум.

У него уже по меньшей мере лет десять как был слуга, Лампе. Он к нему привык, или, по словам отца Соммера, "оба притерпелись друг к другу, как Дон Кихот и Санчо Панса".

## 7

Мартин Лампе совсем недавно получил отставку с почти символической пенсией: 12 талеров в месяц. И самому не прожить, не то чтобы семью содержать. Знакомые недоумевали: что же произошло в Потсдаме, последнем месте его солдатской службы, и почему его так рано уволили из армии, да еще со столь жалким вознаграждением? Загадка, да и только, особенно если принять во внимание, что после двадцати лет службы любой рядовой, как правило, выходил в капралы. Это послужило поводом для всякого рода кривотолков: мол, выгнали Лампе по причине полной непригодности или, что еще хуже, из-за чрезмерной склонности к спиртному. Версия Лампе была совсем иной: устал от военной жиз-

ни и, кроме того, обещал жене оставить службу, если не добьется назначения рядом с домом.

Итак, проведя много лет на войне и в дальних гарнизонах, Лампе наконец вернулся в Кёнигсберг, к семье, считай, с пустыми руками. Так что пришлось спешно искать место. Жена подрабатывала шитьем, дети уже выросли. Сын поступил учеником в мастерскую ювелира. Дочери, почти девушке, недолго оставалось жить с родителями. Отец семейства мечтал наняться слугой в какой-нибудь дом здесь же, в городе. Это устроило бы его куда больше, чем работа в порту или на мануфактуре, которые в последнее время как грибы вырастали вокруг Кёнигсберга.

Лампе начал регулярно наведываться в разные заведения, расположенные в центре города: там его военная выправка могла произвести хорошее впечатление. Он завязал знакомства с хозяевами пансионов. От них и узнал, что иностранные купцы, намереваясь обосноваться в городе, обычно берут себе прислугу. Что голландцы и англичане бывают хорошими хозяевами, и частенько, отлучаясь по делам, они оставляют дом на слуг. Не говоря уж о том, что время от времени они должны ездить на родину, порой надолго. Тогда слуги получают особняки в свое полное распоряжение, что весьма выгодно, поскольку работы, считай, никакой, а свободы — сколько хочешь. Однако Лампе выпал другой жребий. Судьба распорядилась так, что его хозяином стал не богатый иностранный купец, как ему мечталось, а скромный университетский профессор, слывший мудрецом.

* * *

Свел их хозяин пансиона, в котором обитал Кант. Профессор как-то упомянул в разговоре, что намерен взять слугу, дабы избавить себя от забот об одежде и прочих житейских проблем. Это был напряженный период в его научной деятельности. Из-под его пера одна за другой выходили новые работы. Наступил момент, когда наука захватила Канта целиком, почти не оставляя времени на то, чтобы позаботиться о мелочах нехитрого и размеренного быта.

— Передайте господину Лампе, пусть приходит завтра в восемь, — попросил Кант хозяина пансиона.

На следующий день ровно в восемь Лампе постучался в дверь его комнаты.

— Профессор Кант, я Мартин Лампе.

Канту понравился его голос.

В нем прозвучало что-то очень знакомое. Он будто уже слышал его раньше, и не раз. Потом он несколько лет размышлял над этим необычным явлением.

Лампе был рослым, особенно по сравнению со своим будущим хозяином. Где-то метр семьдесят пять, прикинул Кант. Лицо вытянутое, щеки, казалось, начинаются чуть ли не от затылка. Вдавленные виски и выступающий кадык свидетельствовали, что профессор имеет дело с человеком уравновешенным, готовым переносить все тяготы с оптимизмом или, по крайней мере, со смирением. Лампе был слегка близорук, поэтому, глядя на кого-то, принимался моргать, что придавало выражению лица некое благородство и привлекательность.

Иммануил Кант пригласил гостя присесть, что того удивило. В комнате имелся всего один стул. Профессор опустился на край кровати.

— Вы, наверное, знаете, что я ищу человека, который бы обо мне заботился.

— Надо понимать, ваше превосходительство, вы толкуете о слуге.

— Верно, можете называть это так. — Кант улыбнулся. — Я хочу сказать, что мое имущество, как легко убедиться, невелико. В данный момент у меня есть только то, что вы видите здесь.

Лампе повернул голову и обвел взглядом комнату, словно ему велели составить опись пожитков профессора на случай переезда или, скорее, по судебному постановлению. Кроме стула, на котором он сидел, и кровати, имелся еще письменный стол из дешевого дерева, на нем с левой стороны располагались две стопки книг, чернильница и длинная коробочка с перьями, а также несколько исписанных листов и чистая бумага. Слева от стола рядом с плотно закрытым окном — хотя стояло лето и было жарко — высился книжный шкаф, где на четырех полках выстроилась добрая сотня томов. Около двери — еще один шкаф, для одежды. Единственным украшением стен служила гравюра, запечатлевшая в профиль какого-то субъекта — почти что оборванца с ханжеской улыбкой, по имени Жан Жак Руссо, как значилось под портретом, Лампе не выговорил бы этого ни за что на свете.

— Скажу вам сразу, — продолжил Кант, которому понравилась склонность будущего слуги к созерцанию, — что намерен снять две комнаты в каком-нибудь спокойном доме и в более тихом, чем этот, районе. Точнее, я их уже присмотрел. Там я смогу принимать гостей и, возможно, вести занятия с учениками. В таком случае потребуются определенный порядок и чистота. Поскольку сам я не в силах обо всем этом заботиться, без слуги мне, как видно, не обойтись. Скажите, Мартин Лампе, у вас, надеюсь, есть опыт в делах такого рода?

— Я служил солдатом в армии прусского короля, господин профессор.

— Вы хотите сказать, что прислуживали офицерам? И надо полагать, в число ваших обязанностей входило поддержание порядка в одном или нескольких помещениях и, наверное, приготовление простой еды, забота о форме и так далее.

— Солдат исполняет приказы, господин профессор.

— А какого рода приказы исполняли вы, прежде чем уйти со службы?

— Делал все, что мне приказывали, — и как можно лучше. Навряд ли кто мог бы на меня пожаловаться.

Кант обратил внимание на отличный цвет лица Лампе. Сразу видно — здоровый человек.

— Мне хотелось бы знать, что заставило вас покинуть армию. Насколько я понимаю, жалованье там платят неплохое, а в мирное время (правда, такие периоды становятся все короче) еще и увольнительные выпадают довольно часто.

— Я столько лет провел вдали от дома, что захотел вернуться в Кёнигсберг, к семье, господин профессор. Кроме того, я был ранен в ногу и мне больше не под силу дальние переходы.

— Надеюсь, вы не стали инвалидом вследствие этого ранения.

— О нет. Могу делать что угодно, ежели только не требуется прошагать дюжину миль в полном походном снаряжении.

— Умеете ли вы читать и писать, господин Лампе?

— Я умею читать карту. В армии, ваше превосходительство, это крайне важно.

Кант подумал, что непросто нанять в слуги образованного человека. Такие по большей части устраиваются на работу в государственные учреждения и портовые компании. В конце концов, не секретарь же ему сейчас нужен. У него не было библиотеки как таковой, поскольку знакомый издатель одалживал ему любые книги, благодаря чему для них не требовалось специального места в доме. После прочтения он уже больше не испытывал в них нужды и возвращал в полной сохранности. Содержать в порядке рукописи и держать под контролем учебные дела — будь то лекции в университете или занятия с учениками дома — он может и сам. Несмотря на неправильный выговор и манеру проглатывать некоторые буквы, Канту не перестал нравиться голос Лампе. Казалось, он идет из самого горла, и при этом человек едва шевелит губами. Славный мог бы получиться баритон. Но Канту нужен слуга, способный понимать его с полуслова, готовый исполнять его желания, изо дня в день заботиться о хозяине, а вовсе не оратор или писарь. Позднее он даст ему несколько уроков дикции. Что до домашнего хозяйства — немного покрутится, набьет руку и с любыми счетами сумеет разобраться, дело нехитрое.

— Пока вы мне потребуетесь только на полдня, если место это вас устраивает.

* * *

Мартин Лампе как жил, так и продолжал жить с женой и дочерью в скромном домике в новой части города. Кант поселился в упомянутых двух комнатах неподалеку от Холцтора. Переезд весьма благотворно сказался как на его преподавательской, так и общественной деятельности. Более просторная комната выходила на улицу. В ней имелось два больших окна, и по утрам через них проникали веселые лучи солнца, когда небо было безоблачным, что в Кёнигсберге, к сожалению, случается нечасто. Эта комната как нельзя лучше подходила для занятий. Без десяти семь являлись ученики, никогда не больше десяти. В течение двух с половиной часов Кант говорил с ними о самых разных материях, после чего отправлялся в университет, где вел занятия с более многолюдными группами. Без четверти двенадцать возвращался домой, чтобы писать до часу. Затем шел обедать в одно из заведений неподалеку от дома.

Теперь он не засиживался со своими друзьями за десертом, а приглашал их к себе на кофе. Лампе уже ждал гостей: чашки расставлены, вода вот-вот закипит.

Друзья находили несколько странным, что Лампе столь неловко выполняет свои обязанности. За версту видно, говорили они, что прежде он ничем подобным не занимался. Он был неуклюж. Часто бил чашки, а его извинения звучали как проглоченные проклятия. Ему никак не удавалось запомнить имена людей, которые часто бывали в доме. О визите англичанина Джона Грина он объявлял то так, то эдак, на все лады коверкая фамилию: то Грен, то Гримм, если не Гральп или еще того чудней. Говорил "кавалер Соммер" вместо "пастор Соммер", что было сов-

сем уж непростительно, принимая во внимание, что упомянутый священник наведывался к профессору не реже чем раз в три дня. Можно привести и другие примеры.

Тем не менее Канту пришлось по душе немногословие Лампе. Молчаливость его была такого свойства, что рядом с ним даже профессор казался весьма разговорчивым. К тому же Канту нравилась военная выправка Мартина Лампе и его слепое чувство долга.



В этом пункте они были похожи: и приказы командира, направляющие повседневную жизнь солдата, и строгие правила, которые Кант сам положил себе к неукоснительному исполнению, то есть принципы, на которых строилась его жизнь, были равно священны. Кроме того, профессор считал, что лучше уж угрюмый Лампе, чем слуга заискивающий или льстивый. Он терпеть не мог угодливости. Ему нужен не раб, делающий за него тяжелую работу, а равноправная личность, на которую чрезвычайно занятой человек может переложить ряд обязанностей.

## 8

Шел 1783 год. Не так давно Кант обзавелся кухаркой. Эта женщина родилась в австрийском городе Клагенфурте и почти два десятка лет прожила в Кёнигсберге. Порекомендовал ее старинный друг профессора, английский купец Грин, тонкий ценитель хорошей кухни. Госпожа Фолчер, сама обходительность, по мнению профессора, готовила обед, в час дня его подавала, мыла посуду и уходила. Благодаря растущей славе Канта за его столом собиралось с каждым разом все больше разных людей. И жилище неподалеку от Холцтора стало тесновато.

И все тот же Грин, всегда бывший в курсе городских новостей, особенно по части деловой жизни, сообщил профессору Канту, в ту пору уже ректору университета, что на окраинной улице Принцессинштрассе, неподалеку от замка и новой тюрьмы, продается дом. Кант отправился посмотреть его вместе с друзьями, среди них были Грин, знакомый с хозяином, а также Соммер и Васянский.

Дом имел три этажа и состоял из восьми комнат. Фасад выходил на широкую и действительно тихую улицу. Сзади к дому примыкал средних размеров сад, где можно наслаждаться свежим воздухом, не покидая пределов собственных владений. Из окон второго этажа открывался широкий обзор. Пастор Соммер заметил, что простая и удобная мебель и по-спартански строгое убранство стен делали дом и вправду похожим на жилище философа.

Кант сразу решил, где устроит кабинет. С помощью Васянского он передвинул к окну тяжелое кресло. Уселся в него и, к великому своему удивлению и радости, в размытом силуэте за стеклом узнал старинную башню Лёбенихт, нижнюю часть которой закрывали кроны молодых тополей. И это решило дело.

Созерцая башню на склоне дня, философ впадал в своего рода сонную задумчивость. Именно тогда у него обычно и рождались поразительно оригинальные и простые идеи (потом, к сожалению, язык, будучи *врагом* духа, неизбежно вносил в них путаницу). С годами это как-то незаметно превратилось в одну из самых любимых привычек его одино-

кой жизни. Но природа упрямо и словно ненароком норовит подставить ножку нашей мечте о счастье. Прошло время, и тополя, невысокие в год покупки дома, весной и летом стали загораживать башню Лёбенихт. И Кант лишился покоя. Новое обстоятельство обернулось для него настоящей пыткой. Он метался по кабинету как зверь в клетке. Не мог сосредоточиться даже на чтении, не говоря уж о том, чтобы что-то писать. Он позвал Лампе и усадил в свое кресло.

Слуга уже не удивлялся странным просьбам. Сел на краешек кресла, положив руки на колени и с выражением полного безразличия.

— Что ты видишь? — спросил Кант, улавливая при этом, к своему удивлению, сильный винный дух. Неужели его слуга — выпивоха?

— Окно, господин профессор.

— Я имею в виду, что там дальше, за окном, бестолочь?

— Деревья. Я бы сказал, что это тополя, господин профессор.

— Отличное зрение, Лампе, мои поздравления. Не знал, что ты так силен в ботанике. А теперь скажи: что находится за тополями?

— Откуда мне знать? Кроны не дают разглядеть, господин профессор, — ответил Лампе, не замечая подвоха.

Кант широко раскрыл глаза, а уголки его чувственного рта расползлись к краям физиономии.

— Вот именно, в этом и вся загвоздка. Ты не *можешь* этого разглядеть. — Профессор сделал несколько широких шагов по комнате, заложив руки за спину. — А я скажу тебе, что́ там, Лампе. За кронами тополей находится башня Лёбенихт. И мне необходимо видеть ее, без нее словно чего-то недостает. Словно воздуха лишаюсь.

— Я посоветовал бы вам открыть окно. Немного весеннего воздуха не помешает, господин профессор.

— И не вздумай! Совсем рехнулся?

Случались дни, когда простодушие слуги его вдохновляло, но чаще — доводило до отчаяния.

Он внезапно метнулся к Лампе, который продолжал сидеть в хозяйском кресле — очень прямо и слегка подавшись вперед, как визитер, которому уже давно следовало откланяться. Размахивая руками, Кант закричал ему в лицо:

— Неужто не понимаешь, олух? Я купил этот дом, чтобы смотреть из кабинета на башню Лёбенихт!

* * *

Прежде чем осесть в голове Мартина Лампе, мысли должны были пройти долгий процесс перегонки. Порой, проделав несколько сложных витков в его вытянутом черепе, они куда-то исчезали, так и не достигнув цели. Зато в тех случаях, когда случалось чудо и он усваивал, чего именно хочет ближний, в данном случае хозяин, или что того беспокоит, мысль гвоздем застревала у него в голове, и он не отступал, пока не доводил дело до конца. При всей своей предсказуемости он был человеком удивительным. На первый взгляд, исполнительным и невозмутимым, однако в душе его — и Кант не раз в этом убеждался, радуясь тому либо гневаясь, — бушевала дикая стихия. Наверное, поэтому язык слуги то заплетался, то вдруг развязывался.

Если все дело в соседских деревьях, он, Мартин Лампе, слуга профессора Канта, самого ученого человека в Кёнигсберге, добьется, чтобы их немедленно срубили.

Наутро после этой отчаянной сцены Лампе направился к соседям. Тогда у него еще не разладились отношения с тамошней прислугой. Он гордился своим военным прошлым, охотно вспоминал былые подвиги и потому имел репутацию человека серьезного и закаленного в войнах против врагов Пруссии.



Мажордом соседа-судовладельца был на кухне и чистил латунную утварь.

— Я пришел поговорить с вами о важном деле, — сурово заявил Лампе. Судя по скорбному тону, можно было подумать, что он принес известие о полном разгроме Пруссии армией русского царя.

Мажордом прекратил работу и вытер руки о передник.

— Вы меня пугаете. Что стряслось, господин Лампе?

Лампе махнул рукой в ту сторону, где за открытой дверью был виден сад — не в пример больше и пышнее их сада. Потом поманил за собой растерянного мажордома.

— Деревья, — сказал он так, словно они причиняли ему нестерпимую боль. — Тополя.

— С ними что-то не так?

— Высокие. Боюсь, они *слишком* высокие.

— А, понимаю.

Однако бедняга так ничего и не понял. И начал поглядывать на соседского слугу с подозрением.

— Мой господин, профессор Кант, чрезвычайно расстроен. Вот уже какую неделю не может работать. Ему мешают тополя. Их надо поскорее срубить. Без лишних проволочек. — Лампе несколько раз чиркнул указательным пальцем по горлу. — Все до одного!

Мажордом, человек терпеливый, в конце концов понял, в каком преступлении обвиняются бедные деревья. Он пообещал тем же вечером растолковать своему хозяину, как мешает профессору Канту живая изгородь из тополей. Коснись дело кого другого, судовладелец не внял бы столь странной просьбе, но, поскольку она исходила от ректора университета и инспектора Королевской библиотеки, счел ее вполне обоснованной. Позже в компании приятелей из данцигского порта он посетует: мол, как же это он сам вовремя не заметил, что деревья мешают философу смотреть на старинную башню Лёбенихт. И он распорядился деревья обрезать.

Несколько дней спустя, в пять утра, когда Лампе подавал чай, а Кант курил трубку — с торопливостью человека, предающегося тайному пороку, — слуга произнес тоном удачливого заговорщика:

— Господин профессор, сегодня, как только рассветет, деревья обезглавят.

## 9

С тишиной — отдельная история. Честно сказать, на башню Лёбенихт Кант не очень-то и смотрел. Ему довольно было знать, что она стоит

где-то там, за мутными стеклами или даже за ставнями, закрытыми в летние дни, когда солнечный свет казался ему слишком резким. Изредка, завороженный густым свечением сумерек, он окидывал взглядом красноватые стены дорогой его сердцу башни, белый циферблат часов, уже больше не отбивающих время, и островерхую крышу, увенчанную позолоченной иглой.

А вот тишина была нужна ему как воздух. Он приобрел этот дом в первую очередь потому, что на улице не было почти никакого движения — в кои-то веки проедет случайная повозка. Отправляясь на ежедневную послеобеденную прогулку, Кант словно погружался в сельское безлюдье и покой.

Этот час был наполнен пением птиц, которое он так любил, и запахами природы: мокрой травы, хвойной свежести и жнивья. Прохаживаясь по тропинке, ведущей к Голштинской набережной, Кант представлял себе прогулки Руссо. Любопытно, что тропинка, которая вела к крепости Фридрихбург, — по ней философ имел обыкновение прогуливаться до своего последнего переезда, — с незапамятных времен называлась дорогой философа, а почему, так и не удалось установить. Местная топонимика словно опередила время, ведь никто, даже Соммер, не мог найти в приходских книгах имя того философа, который бывал здесь прежде Канта.

Однако лишь угроза покою делает его ощущение полным. Такова диалектика: с этим Кант сталкивался ежедневно, отыскивая обоснования своим теориям, а его последователь Гегель построит на основе этого понятия важнейшую философскую систему. Дело в том, что по соседству с домом профессора помещалась тюрьма, отстоявшая от Принцессинштрассе метров на двести или чуть больше. Благодаря высокой стене ее было почти не видно из окон, тем не менее она словно вносила диссонанс в слишком медленную и тягучую мелодию.

Кант посвятит свободе не одну страницу. Но часто ли он задумывался о том, что неподалеку от того места, где он создает свои теории, есть люди, лишенные возможности ею пользоваться? Он никогда не испытывал желания посетить тюрьму или познакомиться с теми, кого насильно поместили туда в наказание за преступления. Кант жил в этом доме на окраине, потому что сам так решил. И если он дни напролет сидел там взаперти, выходя только на прогулку, если в любую погоду вставал в пять утра и ел не чаще раза в сутки — на то была его собственная воля и ничья больше. У него был выбор, он мог бы поступить и по-другому: изменить свои привычки, отправиться на несколько дней в Данциг, даже покинуть страну и — почему бы и нет? — поехать взглянуть на английские поля в самое прекрасное время года, или на скалы Дувра, или на тамошнее море, которого до сих пор не видел да так и не увидит. Он мог пересечь всю Пруссию и часть Франции, добраться до Парижа и бросить взгляд на места, где бушевала Революция, а нынче, по слухам, гуляет эпидемия террора. В его власти было взять и отказать всем ученикам — и ему хватит средств, чтобы дожить свои дни в скромном достатке. Он мог перестать писать статьи и выстраивать философские системы. Или нет? Разве он был волен прожить другую жизнь?

А вот заключенные не могли себе позволить ничего подобного. Лишение их свободы — общественная необходимость. Почему же он никогда не задумывался над этим?

Если кто-то упоминал про тюрьму и мелкие неудобства, связанные с таким соседством, Кант возражал, что надо только радоваться подобным свидетельствам прогресса: тюрьма — признак того, что гуманизм успел распространиться и на отношение к преступникам. Уже не применяют пыток, как прежде, не казнят за ничтожные провинности. Просто сажают под замок, в отдельных случаях — на всю жизнь. Одно только заключение, без телесных наказаний, — неоспоримый знак того, что общественное сознание сделало шаг вперед. Таким образом узники искупают причиненное ими зло и лишаются возможности повторить содеянное.

По сути, он думал не о заключенных как таковых — его занимала "идея" тюрьмы как мерила прогресса в системе правосудия, как мерила гуманизма. Но вот однажды настоящие заключенные из плоти и крови, вернее их голоса, нарушили его покой.

* * *

Если бы году в 1791-м Лампе спросили, чем обитатели тюрьмы мешают профессору Канту, он бы ответил после минутного размышления:

— Арестанты поют. Профессор слышит, как они поют.

— Но ведь ему всегда нравилось пение птиц?

— Арестанты не птицы. Вернее сказать, все равно что птицы, только другого полета. К тому же поют они почитай круглый год, а не только весной и отчасти летом. Профессору очень нравится лето, только вот потеет... Стоит вспотеть — так он прямо из себя выходит. У профессора Канта до крайности тонкий слух. Если б они хотя бы пели, жалуется он, а то ведь *гудят*. Так он говорит.

— Гудят?

— Профессор Кант говорит, что арестанты поют ни в склад ни в лад. Одним словом, плохо. Гудят. Отвлекают его. Терзают. Выводят из себя.

— Он что-то предпринял?

— Раз уж от полиции, куда он ходил жаловаться вместе с господином Гиппелем, ничего не добьешься, он послал меня потолковать с тюремщиками. Да только они народ особый.

— А почему бы ему не обсудить это с начальником тюрьмы?

— Он сказал, что сперва хочет узнать, что скажут надзиратели, а там поглядим. Лампе должен заниматься всем на свете. Лампе, поди сюда! Лампе, сделай то, подай се! Лампе, уладь! А потом сам же и гневается, стоит мне пропустить стаканчик вина или зевнуть, подавая завтрак. Извел прямо. Вот в армии...

— Готов поспорить, что пели вовсе не заключенные, а надзиратели.

— Да нет, точно арестанты. Господин был прав. Иногда он попадает в самую точку, ничего не скажешь. Я потолковал с двумя надзирателями, вроде они там повыше других будут. Ну и здоровы же они пить! Пришлось раскошелиться в таверне на четыре талера, хотя профессору-то я сказал, что на семь. К счастью, ему не показалось, что это много. Лишь

бы избавиться от песнопений — тут он был готов заплатить хоть сотню! А меня эти тюремщики уважают. В армию их, знаете ли, не взяли, хе-хе.

— И к чему вы пришли?

— Да ни к чему. Ночью тишина и так соблюдается неукоснительно, а вот утром — нет. А чем еще кроме пения беднягам заняться? То, что поют, — это добрый знак: стало быть, не чувствуют себя совсем уж несчастными. Так думают надзиратели. Я передал профессору, и он пришел в ярость. Чуть ли не на стенку полез.

— Естественно. Негоже каким-то преступникам беспокоить ученого человека. В тюрьму их не развлекаться посадили.

— Вот именно. Я тоже так думаю.

— Полагаю, профессор Кант пожаловался начальнику тюрьмы.

— Само собой. Он ведь понял, что от тюремщиков толку мало. Только зазря ухлопал на них семь талеров. Вот и написал письмо начальнику тюрьмы: прошу, мол, вас, коли ничего нельзя поделать с пением, велите хотя бы закрывать окна. Наглухо. Видать, они так и сделали, потому что теперь он говорит, что пения почти не слышно — так, легкий шум, вполне терпимый. А я лично и прежде ничего не слышал.

— Должно быть, это ужасно — сидеть взаперти: перед глазами все те же четыре стены, время тянется до отчаяния медленно, только и остается мечтать о том, чем бы ты занялся, окажись на свободе.

— Ну, не так уж это и страшно. Люди вечно преувеличивают. Я вот в полку загремел раз в карцер и, будьте спокойны, сумел приноровиться. Кормежка два раза в день, а остальное время лежишь себе, спишь и в ус не дуешь. Никто тебе не приказывает сделать то да се. Вышел оттуда и настолько привык бить баклуши, что...

— А за что тебя посадили в карцер, Лампе?

— Из-за чертова капрала, каптенармуса нашего. Звали его Кауфман, вовек не забуду это имечко. Надеюсь, он уже жарится в преисподней.

— Неужто так тебе насолил, что до сих пор его проклинаешь?

— Да уж, насолил. Но это долгая история.

## 10

Солдат Лампе уже не вернулся на фронт после того самого случая, когда его послали с донесением в штаб, а он не только заблудился, но и заглянул в лицо смерти. Солдата Лампе отправили в тыл — может, хоть там на что сгодится.

Сперва он попал на кухню, а уж эта работенка не из легких. На кухнях прусской армии он провел два долгих года. Научился чистить картошку, чтобы при этом еще и руки не резать, крошить репу и огурцы, драить огромные котлы и сковороды. Вкалывал с половины пятого утра до девяти вечера с небольшим перерывом после мытья обеденной посуды. Что и говорить, в карцере-то было не в пример лучше. К концу дня руки, покрытые мозолями и волдырями, висели плетьми. По ночам снились кошмары, от которых бросало в пот. То он падал на дно широкого и глубокого котла, похожего на цистерну, и не мог выкарабкаться наверх по гладкой металлической поверхности — все пытался найти, во что бы упереться ногами, за что бы уцепиться руками. Он знал, что туда

вот-вот начнут наливать воду, чтобы варить картошку, и тогда он точно потонет...

Лампе на совесть отработал свое на кухне. Под конец привык к вони гниющей картошки. И облепленного мухами мяса. К кожному зуду от заплесневелых фруктов. А еще он усвоил, что нет большего садиста, чем казарменный повар, стряпающий еду солдатам. Сущий дьявол. За всю службу не встречал Лампе другого командира, которого боялся бы так, как повара. Звали его Шейк.

Никто на кухне не осмелился бы откусить даже кусочек сырой картошки, а ведь Лампе целые дни сидел над грудами картофеля. У Шейка было никак не меньше десятка глаз, и он не спускал их с солдат — не давал ни секунды роздыха. Бывало, каждый котел проверит: перегнется пополам и проведет языком по дну — хорошо ли вымыт. Если что не так, возьмет да и плюнет в котел. Изволь начинать заново — потей, старайся, а потом жди, дрожа от страха, пока сержант Шейк снова нагрянет. К Лампе он питал особую ненависть скорей всего потому, что тот не гоготал, как другие, над его дурацкими и похабными шуточками. У него был особый нюх на солдат, непохожих на прочих и в первую очередь непохожих на него самого. Стоило кому проштрафиться и не исполнить его приказ в точности — а ты попробуй, выполни, — как он с превеликим удовольствием пускал в ход кулаки, да и бранился страшно.

Кухня Шейка была настоящим адом. К счастью, Лампе удалось вырваться из его когтей: освободилось место в цейхгаузе. А всего через несколько недель молодой солдат, приятель Лампе, не выдержал издевательств сержанта и повесился в кладовой рядом с кроличьими тушками.

И долго еще руки Лампе воняли селедкой. Очень уж глубоко въелся жир в подушечки пальцев — не отмыть.

* * *

На новом месте службы Лампе чувствовал себя так, будто попал на небеса. Все знают, какое значение в те времена придавали в прусской армии эстетике формы. И тут Пруссии было чем гордиться: на парадах солдаты, облаченные в мундиры насыщенного и волшебного цвета, который художники называют берлинской лазурью, смахивали на херувимов, печатающих шаг среди облаков. И не только цвет и покрой мундиров и брюк со знаменитой красной полосой[1] сводили с ума молоденьких швей, которые просто теряли голову, когда солдаты маршировали мимо. А как не упомянуть замечательные шапки, коричневые кожаные сапоги, блестящие шпоры, ремни крест-накрест и позолоченные пуговицы на солдатской груди!

За всей этой помпезностью стояли набирающая силу промышленность и железная военная дисциплина. Форма была не менее важна,

1. Судя по всему, Хосе Луис де Хуан описывает прусскую форму более позднего времени, поскольку длинные брюки со "знаменитой красной полосой" появляются ближе к наполеоновским войнам и получают распространение в военной форме многих стран уже в XIX веке. В годы службы Лампе форма состояла из кафтана и коротких обтягивающих штанов без полос. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

чем боеприпасы и оружие — тесаки, шпаги и ружья. Она заметно варьировалась в зависимости от звания и рода войск и предполагала строгий контроль, образцовый порядок и огромный интендантский штат: портных, закройщиков и каптенармусов.

Солдату Лампе повезло, что, благодаря счастливому случаю, он попал в один из цейхгаузов. Чего уж тут сравнивать! На кухне отвратительные запахи, от которых выворачивало наизнанку, грязь, грубость и крики, бесконечные приказания, угрозы и брань, а на складе казалось, что всего этого просто нет в природе, что армейская кухня — где-то в другой солнечной системе, что то был нелепый и невероятный кошмарный сон. Здесь царили покой и чистота.

Вокруг витал уютный и усыпляющий запах красителей, словно забытый аромат детства. И еще теплое благоухание тканей, приятный запах кожи и металла. Портные без умолку что-то бормотали себе под нос. Их работа словно вплеталась в полузнакомую мелодию какой-то песни. Можно было подумать, что портные напевают вполголоса, чтобы, снимая мерки с офицеров, лучше сосредоточиться. На Лампе столь безмятежная обстановка навевала сон. Посреди дня у него сами собой закрывались глаза — именно тогда, когда портной, обмеряя сантиметром стоящего навытяжку офицера, диктовал Лампе свои загадочные цифры.

— Лампе, что это за чушь? По-твоему, у лейтенанта Пранца есть вымя, как у коровы?

Мерки следовало записывать предельно внимательно, портной выстреливал ими без пауз, и поначалу Лампе с трудом за ним поспевал. Он был не в ладах со словами, а вот с цифрами научился справляться лихо.

Вскоре старшина полюбил рядового Лампе. Оказалось, что они земляки: старшина был родом из городка, расположенного неподалеку от Кёнигсберга. Он со всеми держался дружелюбно и ровно — если только закройщикам не случалось напортачить с расчетами и загубить кусок ткани. Но гнев его проходил быстро, как у ребенка, особенно если сравнить с буйством повара Шейка...

* * *

В первые годы службы в цейхгаузе Лампе был счастлив. До поры до времени старшина терпел его промахи и ошибки, впрочем не больно-то и серьезные. Если случалось что похуже, никогда не распекал перед другими солдатами — просто отводил в сторону и делал строгое отеческое внушение. Но такое бывало от силы пару раз в месяц. Лампе божился, что возьмется за ум, и, возможно, даже старался, впрочем без особых успехов. Добавим, что, служа в армии, он всегда выходил сухим из воды благодаря своему простодушию и наивному виду, здесь это срабатывало безотказно.

Пруссия часто воевала, и армия нуждалась в обмундировании, его требовалось все больше и больше. Дела Лампе складывались как нельзя лучше — до тех пор, пока не случился внеплановый рекрутский набор. Работы сразу прибавилось, и в интендантскую часть прислали пополнение. В числе новичков оказался некий Петер Кауфман, который очень

скоро выделился живостью характера и умением справиться с любым заданием.

Кауфман три года провел в учебном лагере на границе с Польшей. Перед тем как получить назначение в цейхгауз потсдамского полка, он прошел курс обучения стрельбе, во время которого и обнаружилось, что ему недостает меткости. За версту было видно, что Кауфман человек честолюбивый. Происходил он из семьи ремесленников и имел мало-мальское образование, ведь он до одиннадцати лет ходил в школу, и поэтому лелеял надежду продвинуться по службе.



Обликом и манерами Кауфман заметно отличался от товарищей. Он был худощав, с приятным лицом, хотя и невысок, в нем не было обычной крестьянской грубости и тупости. Говорил он гладко, как нередко говорят те, кто в детстве покинул деревню и вырос в городской среде. А их семья переселилась в южные земли, в Йену, слывшую просвещенным городом. Не говоря уж о том, что, пока другие резались в карты или до бесчувствия напивались в тавернах, солдат Кауфман изучал воинские уставы, инструкции для капралов, каптенармусов или попросту наблюдал за поведением и речью офицеров. Разумеется, ему нипочем не стать одним из них, никогда не носить лейтенантских нашивок, но он был уверен: хорошенько усвоив обычаи этой среды, можно в нее войти, пусть и через заднюю дверь, предназначенную для денщиков.

* * *

Кауфман был лет на десять моложе Лампе. Будучи образованнее, он проявлял и больше любознательности в обучении, к тому же обладал завидным талантом перенимать манеры вышестоящих. От природы он был способнее многих. Ум его быстро схватывал приказы, а твердый характер и упорство помогали их исполнять. Там, где солдату Лампе приходилось тратить значительные усилия, чтобы что-то понять, Кауфман все схватывал без труда. Размеры, мерки, пошив, азы бухгалтерии, формуляры с данными для ремонта и подгонки вещей — ему было достаточно несколько раз выполнить любую работу, чтобы ее освоить.

Мартин Лампе принадлежал к иной породе солдат. Куда более многочисленной. К породе людей ограниченных и ленивых, что ничуть не мешало им проявлять чудеса храбрости на поле боя. Мало того, героито обычно и походили на Лампе. При обсуждении каких-либо служебных дел — скажем, воскресных дежурств — солдат Лампе начинал чесать затылок и едва мог связать пару слов. То ли говорить ему было страшно трудно, то ли скука внезапно одолевала. Лампе являл собой загадку в той же мере, в какой Кауфман служил образцом ответственности. Никто бы с точностью не сказал, чем страдает Лампе: патологическим безволием или обычной тупостью, и почему не может справиться ни с делами, ни с самим собой. Этому следовало бы посвятить объемное научное исследование.

Подобную задачу не взялся бы решить даже столь ученый и отважный человек, как Иммануил Кант, рискнувший вникнуть в причины землетрясений и болезней головы.

# 11

Любой солдат, присланный в полк после длительной — как это было принято в прусской армии — учебной подготовки, считался новичком и проходил через установленный ритуал. Такое случилось и с Кауфманом, когда он прибыл в интендантство и получил назначение в цейхгауз. Новичку вменялось в обязанность быть на побегушках у старослужащего солдата в течение неопределенного срока, целиком зависящего от великодушия "старика". Он превращался в его слугу, а зачастую и раба — разумеется, во внеслужебное время. В первые недели у новичка не оставалось свободной минуты даже для того, чтобы написать пару строк домой. Самым старым солдатом в потсдамском цейхгаузе был Мартин Лампе.

Протесты Кауфмана — дескать, он еще в учебном лагере из новобранца перешел в солдаты и начал службу — во внимание приняты не были. Как сказал один из членов так называемого комитета старослужащих, глупо брать в расчет возражения новичка, как бы разумно они ни звучали. Покорившись, Кауфман в первый же вечер явился к Лампе в солдатскую таверну, где принято было коротать время до отбоя.

— Ну что же, Кауфман, будем делать из тебя солдата, — начал Лампе, сидевший в окружении приятелей, обычно они вместе куражились над новичками.

— Хоть у тебя физиономия барчука, да и хлипок больно, — ехидно добавил кто-то.

— Для начала ты мог бы принести мне, если ты, конечно, не против, пинту *свора*.

— Лучше четыре, — уточнил кто-то.

*Сворам* в армии называли смесь слабого пива и яблочного сока. Его наливали горячим и под давлением, так что по виду он был почти неотличим от пива. При небольшом содержании алкоголя, это был самый крепкий напиток, разрешенный в прусских военных тавернах.

Кауфмана передернуло от такой наглости, поскольку ему надлежало подчиняться только Лампе, тем не менее он отправился за выпивкой. Пока он пробивался к стойке, Лампе с приятелями вышли на улицу. Через полчаса они вернулись. Растерянный и даже раздосадованный Кауфман дожидался. На столе стояло четыре полных кружки. Пена в них уже осела.

— Эй, ты, как-тебя-там! — громко крикнул ему один из товарищей Лампе. — Никак напиться задумал? — Он повернулся к друзьям и к солдатам, которые сидели неподалеку: — Видали? Не успел объявиться, а уже спешит залить свою печаль. Четыре пинты *свора*!

— Но ведь... — попытался оправдаться Кауфман.

— Молчи уж! — резко оборвал его Лампе. — К нам, выходит, определили пьяницу! Придется доложить старшине.

— Такой молодой и уже совсем пропащий. Может, он обучение-то в борделе проходил?

— Вот к чему приводит пьянство, друзья, — с наигранной печалью в голосе сказал кто-то, прищелкнув языком. — Дело серьезное. Куда катится Пруссия, если нам присылают таких солдат?

К ним подошла большая группа желающих посмотреть, что происходит. Все окружили солдата Кауфмана, красного как помидор и готового лопнуть от досады. Однако пока приходилось терпеть. Шутники же изгалялись над ним вовсю.



– Не тушуйся, товарищ! Пей, пей, не бойся! – приказал Лампе, подходя к новичку, и сунул ему в руку кружку. – Солдат его величества Фридриха Великого никогда не поворачивает назад, никогда не отступает. Так ведь, друзья?

– Вот именно, давай, парень! – поддакнул самый неуемный из четверых. – Сегодня особый день! К тому же это как-никак твое первое место службы! Кстати, как там тебя зовут?

Бедняга что-то еле слышно промолвил, поскольку в этот миг отхлебнул из кружки и поперхнулся.

– Громче! У тебя что, в жилах не кровь, а *свор*?

– Кауфман.

– Как ты сказал? Ха-фа-на-ан? Словно из Библии.

– КАУФМАН! – Новичок из цейхгауза, казалось, вот-вот взорвется. Теперь уже вся таверна пялилась на него и потешалась. Он поднялся весь дрожа.

– Господин Лампе, – проговорил он, собравшись с духом, – вот выпивка, которую вы меня просили принести. Сожалею, что она успела остыть. Я вас ждал...

– Да что ты говоришь! – живо опередил его главный шутник, увидев, что Лампе застыл как истукан, не зная, чем ответить на неожиданный отпор. – Ты что же, намекаешь, что рядовой Лампе пьяница? Выходит, ты, жалкий сопляк и негодяй, хочешь себя выгородить, свалив все на безупречного человека, да к тому же трезвенника, лишь бы самому выпутаться и прикрыть свои грешки? Нет, такого мы не потерпим!

– Это ему даром не пройдет! – тут же возмущенно взревел Лампе. – Этот бездельник нарывается на ссору. Вот выйдем на улицу, тогда узнаешь!

– Правильно, Лампе. На улицу его! Получит урок – век будет помнить.

Кауфман растерялся и не на шутку перепугался. Солдат Лампе – тот самый, которому он должен был подчиняться, замахал кулаками, словно собирался разбить ему физиономию. А ну как разозлится еще больше, мелькнуло в голове у Кауфмана, пришибет, чего доброго, на месте. Бог ты мой, да он же сумасшедший!

– Простите меня, – взмолился он, обращаясь к Лампе, а затем и к остальным. – Я сожалею, господа, в самом деле... Нижайше прошу у вас прощения, если я вас обидел. Я новичок в полку и не знаю здешних порядков...

– Да уж будь уверен, новички так себя не ведут, – подхватил кто-то еще.

– И это вовсе не извиняет твою наглость и неслыханную дерзость, скорее наоборот: тот, кто пришел последним, обязан быть первым в соблюдении порядков, – с издевкой вступил другой.

– На этот раз прощается, – сурово сказал заводила, хотя чувствовалось, что он изо всех сил сдерживается, чтобы не расхохотаться. – А в

наказание за твое нахальство даем тебе пару минут, чтобы управиться с этим пивом, которое позорит весь полк.

— Давай, давай, — подталкивали его. — Мы не собираемся торчать тут всю ночь.



Кауфман растерялся, лицо у него пылало, но он понял, что от него не отстанут, пока он все не выпьет. Осушил первую кружку, и, хотя не привык пить *своф*, напиток показался ему недурным. Затем взял вторую — и за несколько секунд влил пенную жидкость себе в глотку. Третья уже потребовала усилий, но тоже прошла, правда, с большими паузами. Казалось, что он вот-вот лопнет. На последнюю кружку солдат уставился остекленелым взглядом.

Лампе и остальные хором орали его имя.

— Кауф-ман! Кауф-ман! Кауф-ман!

— Смелее, Кауфман, осталась всего одна!

* * *

Несколько месяцев спустя новичок уже чувствовал себя в цейхгаузе своим. Для начала старшина поручил ему рассортировать по размерам кафтаны и шапки — их для солдат, в отличие от офицеров, шили не по мерке.

Отныне в этой части склада царил такой порядок, которого там никогда не бывало. Затем он поручил Кауфману с утра обходить по очереди все роты и составлять список того, что и где надо заменить, — это касалось прежде всего кафтанов и шапок. Если же требовались штаны, то солдату давался номер с тем, чтобы он явился к портным и те сняли с него мерки.

Кауфман справился с заданием аккуратно и четко. Лампе на такое способен не был, поскольку, куда бы его ни посылали, везде непременно вспыхивали склоки и возникала путаница. Старшина, по-прежнему к нему расположенный, оценил и достоинства нового солдата. Его поразило усердие, с каким Кауфман выполнял поручения. Постепенно он начал выказывать ему все больше доверия и возложил на него надзор за солдатами, хотя раньше этим занимался Лампе, который уже считал себя помощником старшины.

Быть может, дело было в том, что после "службы" у Лампе — хотя тот и не злоупотреблял своей ролью "хозяина" — в душе у Кауфмана поселилась обида. А может, у них было разное отношение к работе... Во всяком случае, отчуждение между ними росло. Порой они даже ссорились. Кауфман, кстати сказать, обращался к Лампе не на "ты", а на "вы".

— Старшина велел вам пересчитать имеющиеся в наличии эполеты — для офицерского пополнения, которое ожидается на следующей неделе. Не надо ли сделать срочный заказ? Не забудьте, что на каждого должно приходиться по две пары, тогда можно будет в случае необходимости произвести замену.

— Слушаюсь, каптенармус Кауфман, — язвительно отвечал Лампе.

— Это приказ старшины, а не мой.

— Во всяком случае, Кауфман, ты, похоже, родился, чтобы раздавать приказы. Но уж не мне, конечно.

"Это мы еще посмотрим", — подумал тот.

* * *

Шла силезская кампания, и в цейхгаузе работали в поте лица. Потери были велики, поэтому пополнение в армию набиралось непрерывно и в спешке. Крестьяне из Восточной Пруссии, фермеры и подмастерья с запада, более развитой части страны, призывались с шестнадцати лет. Швальни не справлялись с лавиной заказов. И командование приняло решение привлечь городских портных. Каждый вечер старослужащий забирал готовую работу, проверяя in situ[1] количество и качество изделий. Лампе добился, чтобы старшина поручил это дело ему. По пути ведь можно завернуть в одну-другую таверну, а если побыстрее обойти все портняжные мастерские, то и заглянуть в знакомое заведение к девицам.



Правда, в первые недели до возвращения в казарму он едва успевал пропустить стаканчик. Но скоро освоился, завел дружбу с портными и, решив, что может вполне на них положиться, начал принимать работу, не утруждая себя пересчетом. И уже больше не проверял качество шитья или кроя, как на том настаивал старшина.

Портные совали ему в карман чаевые, дабы заручиться его благосклонностью, — эти деньги Лампе без зазрения совести тратил на свои нужды. На складе Кауфман и другие солдаты принимали вещи и комплектовали форму. Кауфман первым заметил, что портные всучивают Лампе невесть что. Каждый пятый мундир был либо дурно сшит, либо плохо скроен. А порой и количество не сходилось: на склад поступало меньше предметов, чем значилось в накладной. И вскоре, когда вопрос о том, во что одеть новобранцев, встал еще острее, над Лампе сгустились тучи.

Наконец его вызвал старшина. Лицо его не предвещало ничего доброго.

— Рядовой Лампе, больше ты не будешь ходить к портным. Этим займется Кауфман.

Тогда-то Лампе и узнал, что Кауфман, вместо того чтобы предупредить его о жульничестве портных, пошел и доложил обо всем начальству, чтобы выставить его, Лампе, дураком. Мало того, через несколько дней среди товарищей по цейхгаузу пополз слушок о том, что Лампе получал от портных мзду, и о том, как он тратил падавшие с неба деньги.

Лампе заметил, что сослуживцы начали его избегать и косо на него поглядывали.

## 12

Работы в цейхгаузе все прибавлялось, и, чтобы с ней справиться, пришлось по-новому распределить обязанности. К ним прибыло пополнение из новобранцев, так что личный состав насчитывал уже дюжину солдат, не считая портных, среди которых было несколько унтер-офицеров и не менее тридцати подмастерьев. Сидели они в отдельном бараке.

1. На месте (*лат.*).

Старшина сказал лейтенанту, что на вещевом складе должен быть хотя бы один капрал, — и тот с ним легко согласился. Но тут возникла загвоздка: по выслуге лет повышение полагалось Лампе. Это ясно. Во всяком случае, так оно выходило и по военному уставу Прусского королевства. Если в подразделении возникала унтер-офицерская — или равнозначная ей — вакансия, рядовые должны занимать ее в строгой очередности согласно выслуге лет. Примерно так гласил устав. Однако если он всего лишь допускал такую возможность, то на практике это стало правилом, почти не знающим исключений.

Лампе двадцать лет прослужил королю Фридриху простым солдатом. Выслуга лет давала ему право на производство в капралы-каптенармусы, а следовательно, на какую-никакую прибавку к жалованью. Для этого требовалось, чтобы непосредственные начальники представили похвальный отзыв о его заслугах и подтвердили способность командовать. Сей документ был не так уж и важен, поскольку решение оставалось за командиром полка, и в подобных случаях повышением редко кого обходили. Тем не менее случалось, что выслуга не принималась в расчет, если, скажем, у командования имелись особые виды — например, кто-то пекся о будущем своего отпрыска.

Честно сказать, после прискорбной истории с городскими портными старшина с трудом представлял, как Мартин Лампе будет командовать солдатами — даже если под началом у него окажется всего четыре человека. Как он станет распределять наряды и решать разные проблемы, которые возникнут в его, старшины, отсутствие? А вот Кауфман, хотя и прослужил в армии совсем немного, на роль капрала подходит куда больше.

Дело было щекотливое. У Лампе семья, а значит, он больше нуждался в прибавке к жалованью, чем рядовой Кауфман. Сам Лампе не сомневался, что повышение уже у него в кармане: и галуны капрала, и прибавка, и почет. Узнав, что его обошли, он испытал самое сильное в жизни разочарование.

— Мне жаль, Лампе, — сказал старшина тоном, который свидетельствовал о том, насколько ему тяжело сообщать эту новость. — Поверь, я уж какую ночь не сплю. Но решение принято: на место капрала-каптенармуса я буду представлять Кауфмана. Лейтенант Хольцмайстер того же мнения. Пойми, так будет лучше для всех.

* * *

Рядовой Лампе почувствовал себя преданным. В сердцах он подал рапорт о переводе в другую роту, ссылаясь на то, что здесь ему не дали повышения с учетом выслуги лет. И получил отказ. В утешение старшина пообещал, что вскоре откроется еще одна вакансия — и тогда уж ее наверняка получит Лампе. А старшина ему поддержку гарантирует.

В свою очередь Кауфман, хотя и был благодарен за то, что считал заслуженной наградой за преданность и усердие, вовсе не собирался всю жизнь прослужить в цейхгаузе. Он хотел заработать безупречную репутацию и пополнить свой послужной список похвальными отзывами, а затем — и как можно скорее — выхлопотать себе место денщика.

Его отношения с рядовым Лампе становились все более натянутыми, еще хуже, чем после скандала с портными. Лампе едва на него гля-

дел и выполнял приказы спустя рукава. Он признавал только власть старшины.

Этот выскочка Кауфман украл у него место и очередное звание. Что он себе воображает? При каждом удобном случае Лампе перемывал косточки капралу-каптенармусу со своими приятелями. А когда капрал Кауфман занимался распределением нарядов или, скажем, отдавал команду "разойдись", внутри у Лампе все клокотало.

Взрыв был неминуем. Вначале каптенармус избегал стычек с Лампе, понимая, как глубоко тот обижен. Однако старый солдат работал все хуже, подводя остальных. И хотя Лампе старался держаться поближе к своему покровителю старшине, но все же нередко оказывался под началом у Кауфмана, а тот решил не спускать ему ни одного служебного нарушения или промаха. Хватит!

* * *

– Где эполеты к мундиру капитана, рядовой Лампе? Третий раз за два дня я говорю об одном и том же.

Кауфман неизменно подчеркивал его звание – "рядовой", хотя и знал, что Лампе вот-вот станет капралом.

– Кажется, я положил их вместе с мундиром.

– Ах, вам кажется... Что ж, дальше ехать некуда! Никаких "кажется" тут быть не должно! Понятно? Вы обязаны знать это точно, рядовой Лампе, точно! Форму нам вернули – она не готова, и ее хозяин, капитан Х, требует объяснений по поводу непростительного упущения. Сегодня он должен отбыть в Эйлау. Боюсь, мне не избежать ареста, ведь за склад отвечаю я, но и вам несдобровать, смею вас заверить!

– Но... Кауфман, не моя вина, что в коробке с формой не было эполет.

– А чья же? Может, моя? Напоминаю вам, рядовой Лампе: я обязан проверять наличие кожаной амуниции, ремней и сапог. В общем, всего, что из кожи. За кафтаны и эполеты отвечаете лично вы. Теперь нам с вами придется объясняться с лейтенантом.

– Но старшина...

– Он в увольнении. Так что за склад отвечаю я.

Кауфман вынул из кармана блокнот и начал старательно делать в нем пометки.

– Помимо нарядов на следующей неделе... вы займетесь уборкой склада вечером в воскресенье.

– Но я должен уйти в увольнительную...

– У вас не будет увольнительной ни в эти выходные, – перебил его капрал, не поднимая головы от блокнота, – ни, разумеется, в первой половине понедельника. Тогда, надеюсь, вы поймете, как надо проверять офицерскую форму, которую сдаете, – каждый миллиметр, если понадобится. Ясно? Я не хочу, чтобы по вашей милости стали говорить, что наш склад плохо работает.

Лампе почувствовал, как ярость поднялась из груди к самому горлу. Он не позволит прощелыге Кауфману так с собой разговаривать. Тоже мне! Корчит из себя офицера королевской гвардии. Очень скоро он, Лампе, тоже получит капральские галуны, вот тогда и поглядим. Он устроит Кауфману веселую жизнь. Раздавит, как букашку.

* * *

Склад работал и по воскресеньям. Если рвались ремни или пояса, терялись шпоры и шапки, их следовало немедленно заменить. Если кто-то вставал в строй одетым не по уставу или допускал небрежность в форме – это считалось серьезным проступком. Кроме того, если внешний вид солдата или даже офицера не соответствовал уставу, нарушителя препровождали в караульное помещение.

Поэтому по воскресеньям личный состав цейхгауза нес дежурство. Рядовой Лампе посчитал несправедливым взыскание, наложенное на него капралом Кауфманом, и в воскресенье дежурить на склад, как ему было приказано, не явился. Ведь по графику, составленному ранее, черед был не его, а трех солдат-портных. Не выполнил он и приказа капрала убрать помещение. Все воскресенье он шатался из таверны в таверну, напиваясь почем зря, чтобы набраться храбрости и вечером дать отпор неуемному Кауфману.

Капрал поджидал Лампе у входа в барак, и взгляд его пылал гневом.

– Рядовой Лампе, вы арестованы и будете сидеть в карцере вплоть до нового распоряжения! Вы самым безответственным образом ослушались моих приказов. Это бунт! О чем я немедленно доложу лейтенанту: пусть сам решает, как надлежит с вами поступить.

Лампе недоверчиво на него поглядел и расхохотался, словно услышал страшно остроумную шутку. И эта козявка Кауфман... Лампе вспомнил, какая у того была багровая физиономия, когда он кружку за кружкой пил *свор*. А ведь с тех пор и носа не кажет в таверну – они навсегда отбили у него охоту пить! При воспоминании о том, как они тогда позабавились, Лампе загоготал, схватившись за живот.

Глядя, как он хохочет, икая и всхлипывая, Кауфман понял, что Лампе пьян в стельку.

Наконец Лампе угомонился. Он смерил ненавидящим взглядом коротышку капрала и тотчас вспомнил, что проклятый трезвенник хитростью увел у него капральские нашивки. Настал час поквитаться с недоноском.

– Вонючий карлик, – прошипел Лампе, растягивая слова. – Вот вернется старшина, мы тебе покажем. А пока катись отсюда, не нарывайся.

Капрал-каптенармус, уперев руки в боки и дрожа от гнева, стоял перед ним, не собираясь никуда уходить. Чувство собственного достоинства оказалось сильнее страха, хотя разбушевавшийся солдат был выше его на полтора фута.

С пьяной неуклюжестью Лампе попытался на него навалиться. Кауфман успел увернуться. Лампе рухнул на землю, изрыгая проклятия:

– Лживый пес! Доносчик! Что, боишься по-мужски дело решить? Пороху не хватает? Ты хуже бабы! Сейчас зад мне будешь лизать, козел!

Увидев, что взбешенный Лампе, брызгая слюной, вытаскивает тесак и пытается подняться с земли, капрал схватил висящий у него на шее свисток и изо всех сил дунул в него.

Пронзительный свист на миг оглушил Лампе. Но он тотчас сообразил, что его ожидает, и совсем взбесился. В пьяном угаре он кинулся на низкорослого и тщедушного Кауфмана. Блеснуло лезвие, однако капрал успел увернуться, после чего Лампе налетел на него с диким воплем.

Теперь ему не уйти. Лампе схватил врага за горло. Кауфман трепыхался, как свинья под рукой резника, но тут прибежали двое здоровенных гвардейцев.

— На помощь! Он хочет меня убить!..

Гвардейцы быстро их разняли. Нападавшего прижали к земле и вырвали тесак, который он судорожно сжимал в руке.



## 13

Лампе отвели к офицеру, которому было вверено командование цейхгаузом. Лейтенант сидел с тремя щеголеватыми офицерами из других подразделений. Они играли в вист.

— Боюсь, сегодня вечером, граф Хольцмайстер, я сниму с вас последнюю рубашку. Похоже, вас преследует злой рок.

— Посмотрим, посмотрим, барон Винтер, — ответил тот, не отрывая глаз от карт. — Мне есть чем вас удивить.

— Ждем не дождемся, мой дорогой друг, — заметил высокий мужчина с огромными усами, закрывающими ему рот. — А то мы скучаем, уж простите за откровенность.

Лейтенант Хольцмайстер повернул голову, услышав осторожное покашливание за спиной. Часовой старался привлечь его внимание. В этот вечер лейтенант был дежурным офицером.

— Капрал Кауфман просит разрешения поговорить с вашим превосходительством, — прошептал солдат ему на ухо. — Он настаивает на том, что дело важное.

Не отводя взгляда от карт, которые он держал в левой руке, лейтенант кивнул.

Капрал Кауфман, все еще дрожа от гнева, вошел в помещение и вытянулся по стойке "смирно".

— Вольно, капрал. Докладывайте, что там у вас? — Он выбрал три карты и со скучающим видом кинул их на стол.

— Хм, это другое дело, граф Хольцмайстер.

— Существенная разница, я бы так сказал.

Барон Винтер и другие офицеры были удивлены таким поворотом, но, как и положено опытным игрокам, не выдали своих чувств.

— С разрешения вашего превосходительства, — вполголоса, чтобы не беспокоить столь высокое собрание, начал Кауфман, — считаю своим долгом поставить вас в известность о том, что один солдат из вверенного вам подразделения пытался меня убить.

— Сожалею, господа, партия моя, — с удовлетворением сказал лейтенант Хольцмайстер, увидев, как вяло ответили партнеры на его блестящий ход. И, обернувшись к капралу, произнес почти весело: — Неужели? Это серьезно. Говорите, вас пытались убить? Здесь, в казарме?

— Не хватало только, чтобы мы поубивали друг друга, — отозвался барон Винтер, расстроенный тем, что так глупо проиграл пятнадцать талеров, недельное жалованье капрала-каптенармуса.

— Имя солдата — Лампе, господин лейтенант. Я подумал, что в отсутствие старшины ваше превосходительство скажет, как следует с ним поступить.

Хольцмайстер сгреб выигрыш и прикинул, сколько тут grosso modo[1]. Вторжение капрала пришлось как нельзя более кстати: теперь он сможет выйти из игры, не роняя чести. А то ведь и вправду оберут до нитки. Его товарищи, как он заметил, настроены серьезно. Наверняка будут ждать до поздней ночи, но он не собирается возвращаться. Служба есть служба.

— Старина Лампе? — с наигранным изумлением воскликнул он, поднимаясь со стула. — Невероятно! Где он? — И повернулся к другим офицерам: — С ним вечные проблемы. Глуп и упрям как мул.

— Он здесь, снаружи, под охраной патрульных, ваше превосходительство.

— Проклятье! — Лейтенант Хольцмайстер допил свой коньяк и обратился к офицерам, изобразив на лице огорчение: — Сожалею, господа. Продолжайте без меня. Теперь, когда удача мне улыбнулась... Эти идиоты не могут оставить меня в покое. Как говорит наш добрый король Фридрих: "Никому не рассуждать, всем исполнять".

* * *

На следующее утро рядовой Лампе едва помнил о том, что произошло накануне. Ему было неведомо, почему он очутился в карцере. Оковы на руках и на ногах мешали двигаться. Вчера он так напился, что теперь стычка с капралом Кауфманом рисовалась ему весьма расплывчато.

Капрал обвинил его в нанесении оскорбления старшему по званию и в нападении. Самое меньшее, что ему грозит, — четыре месяца карцера, да и то если вступится старшина и подтвердит, что в течение всего срока службы под его началом Лампе вел себя примерно.

По правде сказать, без такой помощи дело могло принять для Лампе весьма дурной оборот; в полку уже бывали случаи, когда виновных в подобных выходках отдавали под трибунал. Из-за усложнения отношений между правительствами Центральной Европы дисциплина в прусской армии ужесточалась.

Так или иначе, но с надеждой на производство в капралы теперь можно было распрощаться, по крайней мере пока Кауфман продолжает служить в том же подразделении. Эта мысль не давала Лампе покоя.

Сам того не подозревая, рядовой Лампе, служа в пехоте, а затем на армейском складе, принимал участие в завоевании Силезии и укреплении господства Пруссии над немецкими государствами. Как большинство солдат, он был из крестьян, а именно это сословие в последние десятилетия было надежной опорой трона Гогенцоллернов, который сначала занимал Фридрих I, затем Фридрих Вильгельм I и, наконец, в те годы, когда Мартин Лампе служил в прусской армии, Фридрих II, прозванный Великим.

После Семилетней войны Фридрих Великий — или, как его еще называли, старый Фриц — делил время между сочинением исторических трактатов, а также мемуаров, и восстановлением раздробленной страны, развивая сельское хозяйство и промышленность. Прослыв одним из самых выдающихся и просвещенных современных монархов, Фрид-

1. Приблизительно *(итал.)*.

рих был обязан этим не столько своей практической деятельности, сколько уму. Просветитель Вольтер слыл его другом. На самом деле король презирал собственных подданных: он хотел, чтобы в них было побольше французского и поменьше немецкого.

"Мое основное занятие, – признавался король Вольтеру, – борьба с невежеством и предрассудками в этой стране". Но одолеть их ему удалось лишь отчасти.

После смерти Фридриха II – к тому времени Кант уже не один год как жил в своем новом доме на Принцессинштрассе, а Лампе почти десятилетие как уволился из армии – три сословия, составлявшие прусское общество, по-прежнему были обособлены друг от друга в большей степени, чем в какой-либо другой стране Старого Света. Дворяне, крестьяне и буржуа жили бок о бок, не смешиваясь. Они платили разные налоги, несли разные повинности. Собственность и сами люди не могли переходить от одного сословия к другому – и тут не помогали даже большие деньги, нажитые торговлей.

Пруссия была страной по преимуществу сельской. Городское население составляло меньшинство. Военные задачи решались за счет набора солдат из крестьянского сословия, а офицеров – из аристократического, так называемого юнкерского. Для первых возможность продвижения по карьерной лестнице равнялась нулю: любой прусский солдат знал, что, даже если он проявит себя героем во всех сражениях за родину, ему в жизни не носить на плечах офицерских погон.

Ни один из прусских королей не рискнул покуситься на юнкерское сословие. В руках знати находился ключ от королевства – армия.

Кант не раз выступал против такого положения вещей, предвидя, что оно в итоге ослабит страну и приведет ее к краху.

Так оно и случилось: через два года после смерти Иммануила Канта Наполеон разгромит Пруссию в битвах при Йене и Ауэрштедте...

* * *

Лампе легко отделался, если судить по тяжести проступка и представить, какие кары могли обрушиться на его голову. Ему повезло, что лейтенант в тот вечер был настроен благодушно. К тому же он знал, что к этому чудаковатому солдату питает симпатию старшина, а ведь кто как не он заправляет всеми этими хлопотными делами в цейхгаузе, которые на графа Хольцмайстера, человека действия, нагоняют страшную скуку.

Несмотря на снисходительность начальства, Лампе вернулся на свое место с вечным клеймом. Капралом ему уже не стать – это точно. Не стать, даже если он начнет все заново в другом подразделении этого же полка. Отныне Кауфман не оставит его в покое, при малейшей оплошности тут же побежит докладывать... Больше того: следующий промах повлечет за собой немедленное изгнание из армии без права на пенсию.

И вот в свои сорок с лишним лет Мартин Лампе понял, что у него не остается другого разумного выхода, как подать рапорт о досрочной отставке. Он решил распрощаться с армией, удовольствоваться мизерной пенсией и зарабатывать на хлеб в гражданской жизни.

По иронии судьбы как раз перед самой отставкой Лампе капрал Кауфман получил место денщика при графе Хольцмайстере. Проклятый каптенармус, разрушивший его карьеру, отбыл на польский фронт вместе с новоиспеченным капитаном.



Единственным утешением для Мартина Лампе была мысль, что он никогда больше не увидит Кауфмана. Пусть катится ко всем прусским чертям!

## 14

— А ну вон отсюда! — закричала госпожа Фолчер, кухарка профессора Канта. Она орала на лакея Лампе, который попытался проникнуть на кухню, пока хозяин совершал свою священную вечернюю прогулку.

В этот час на кухне обычно царил покой. Все тарелки уже перемыты. Кастрюли и прочая утварь расставлены по местам. Петра, горничная, отдыхает в своей комнате. Где-то до пяти, до половины шестого госпожа Фолчер пользовалась передышкой и навещала подруг, живущих в центре города. На обратном пути она заглядывала в мясную лавку, чтобы прикинуть, какие продукты пойдут на завтрашний обед ("Северная рыба содержит слишком много жира", — заявил профессор). Однако сегодня она намеревалась заняться ревизией продовольственных запасов.

С некоторых пор она стала замечать, что варенья и самые дорогие колбасы исчезают, как по волшебству, — при этом она не могла припомнить, чтобы использовала их в приготовлении обеда. Не сказать, чтобы это бросалось в глаза. Хищения производились постепенно. Вчера — зачем далеко ходить — ей пришлось послать за двумя фунтами окорока для фаршированной курицы, а ведь она была уверена, что у нее оставался еще целый окорок. Такие же чудеса творились с повидлом из айвы и вишневым и клубничным вареньем, которые она, как водится, заготовила в сезон.

Однако окончательно укрепили ее подозрения изумительные итальянские помидоры, фунтов шесть по меньшей мере. Они вообще исчезли за одну ночь, она не успела использовать и нескольких унций для приготовления мясного соуса, который так нравился профессору Канту. Пусть помидоры и были дорогими, но зато какой превосходный (все говорили, не ее это слова) получался соус, когда она просто-напросто пережаривала эти самые заготовленные впрок помидоры с чесноком и капустой — рецепт она узнала несколько лет назад в Клагенфурте, и в Кёнигсберге он никому не был известен. Если не считать профессора Канта, который не успокоился, пока его не выведал, дав обещание хранить секрет.

Увидев, как в ее владения вторгается Лампе, она вскипела. Вот он, вор! Прямо перед глазами. И искать не потребовалось! Да еще как нагло себя ведет.

— Я сказала, вон из моей кухни! Не смей ничего трогать в кладовке, не то хозяин обо всем узнает.

— Узнает о чем, можно полюбопытствовать? — парировал Лампе, вздернув слегка подрагивающий подбородок.

— О том, что ты повадился таскать отсюда без зазрения совести. Думаешь, я ничего не вижу? Воображаешь, что я слепая или не умею считать?

Госпожа Фолчер грозно поднялась со стула, на котором восседала. Это была внушительного вида женщина. Лампе выигрывал у нее по меньшей мере полфута в росте, однако что касается толщины — тут кухарка превосходила его раза в два с лишним. Она двинулась к лакею, уперши руки в боки. Ее терпению пришел конец. Мало того что пьет, как последний бродяжка, так что еще творит этот сумасброд? Она уже не раз предупреждала его жену, святую женщину: "Или твой муж переменит свои привычки, или мне придется сообщить об этом профессору, а если и он не примет меры, то в полицию". Однако что могла поделать эта страдалица? Сидит за шитьем день-деньской, только тем и занята, что штопает и перешивает. Кроме того, госпожа Фолчер была уверена, что этот негодяй ее поколачивает. Она не раз замечала, как та прикрывает рукой синяк под глазом или маскирует шалью ужасный кровоподтек на руке. На нее просто жалко смотреть: в чем только душа держится? Как же этого не замечает сын, который работает ювелиром на Берлинплац? От дочери и ждать нечего — упорхнула в Данциг со своим рыбаком и почти не кажет носа на Принцессинштрассе, вот так — ей и дела нет до матери. Для нее не будет сюрпризом, если пьяный Лампе, завалившись домой, устроит жене выволочку, осмелься она ему перечить. Экий грубиян. Не говоря уж о том, что вор и предатель. Вон как отблагодарил профессора Канта, который просто-таки с ангельским терпением сносит его выходки. Другой, не столь снисходительный хозяин, давным-давно выгнал бы его взашей, а то и отдал бы в руки правосудия. Лампе не помешало бы посидеть какое-то время под замком. Всего-то и надо что перевести его под дулом ружья через улицу да заставить пройти еще с десяток шагов: вот там, в тюрьме среди воров и преступников, ему самое место. А вовсе не здесь — на свободе, где он жирует за чужой счет. Мошенник, каких поискать. Мало ему темных делишек, которыми он, кто бы сомневался, промышлял в армии. Успел, поди, обжить все прусские каталажки...

— Выслушай меня хорошенько, Мартин Лампе! Я тебя не боюсь, понял? Я знаю тебя как облупленного. Деньги, которые ты воруешь у профессора, — не моего ума дело, он знает, что делает. Удивительно, как он только позволяет, чтобы тебе все сходило с рук. Но отсюда, из кухни, ты больше ничего не вынесешь, покуда Господь хранит меня в добром здравии. До тебя дошло или повторить?

— Не знаю, о чем вы тут мне толкуете, госпожа Фолчер. — Лампе обычно обращался к кухарке на "вы", чтобы подчеркнуть дистанцию, этот трюк он усвоил, не один год наблюдая, как профессор обходится с самыми тупыми учениками. — Должно быть, у вас не удались сегодня куропатки и вы хотите свалить все на меня. Припоминаю, профессор Кант говорил, что куропатки подгорели. "Скорее, обуглились", — прошептал дьякон Васянский, который вас обожает, и все присутствующие с ним согласились. "Какая жалость, что госпожа Фолчер готовит уже не так, как прежде", — заметил хозяин. Я, разумеется, собирался за вас вступиться, когда...

Кухарка не выдержала и бросилась на него. У Лампе была неплохая реакция — он увернулся от этой туши и оказался у двери, ведущей в сад, и тут же вымок под хлеставшим вовсю дождем. Но не прошло и пяти минут, как вечернее солнце залило светом задворки дома.

— Проклятый мошенник! Однажды я сдеру с тебя шкуру, как с кролика! Посмотрим, кто будет смеяться последним. Твоим проделкам в этом доме настал конец. Да уже в то самое утро, когда я поступила в услужение к господину Канту, я смекнула, что ты за птица. А как только убедилась, сказала себе: "Агнес, твое место у плиты, не влезай в это дело". Но теперь с этим покончено. Клянусь предками, которые покоятся на кладбище в Клагенфурте. Погоди, у меня накопилось столько обвинений против тебя, что хватит для любого суда.

Кухарка умолкла. У входа в дом послышались голоса, и она пыталась распознать, кому они принадлежат. Точно — это слегка напевный голос дьякона, самого почтительного поклонника ее кулинарного таланта. Что там наплел этот прощелыга Лампе? Наверняка этот праведный человек уписывал куропаток за обе щеки. Хорошо еще, что такой благоразумный и справедливый человек, как он, все чаще берет на себя роль хозяина в доме, поскольку у профессора голова слишком уж забита. Он уже не тот, что прежде, уже не тот...

Госпожа Фолчер злорадно усмехнулась:

— А вот и господин Васянский. Поговорю-ка с ним, не откладывая, об этом деле, думаю, оно его весьма заинтересует. Хм! Можешь начинать складывать вещички, Мартин Лампе. Жаль только твою жену, святую женщину: она не заслужила этот крест.

## 15

В самом деле, дьякон Васянский уже стоял в прихожей и высвобождался из меховой шубы. Зима наступала на Кёнигсберг семимильными шагами, выказывая полнейшее пренебрежение к календарю, на котором значилось всего-навсего 25 октября. Шел мелкий ледяной дождь, предвестник того, что ночью выпадет снег, хотя земля еще и не схватилась морозом, — пудреный парик и лицо пришедшего были мокрыми.

Васянский был сутуловат, церемонно вежлив и неизменно жизнерадостен. Сюртук все меньше и меньше скрывал его намечающийся животик. Он питал чрезмерную слабость к сладкому, особенно к пирожным с малиной, которые госпожа Фолчер пекла на десерт всякий раз, когда ей становилось известно, что он приглашен к обеду, а в последнее время это случалось довольно-таки часто.

Васянский был одним из первых учеников Иммануила Канта — в далекие пятидесятые годы, в середине века, который теперь был уже на исходе. Краснобаям нравилось именовать его веком просвещения. Профессор Кант иногда называл его веком разума — с оттенком иронии, неуловимым ни для кого, кроме Васянского (тот слишком хорошо знал своего учителя).

Дьякон был знаком с Кантом еще в те времена, когда тот был беден и только-только защитил диссертацию на философском факультете. На его памяти многие бюргеры зазывали Канта в гости и приглашали за

стол, убежденные в том, что таким образом им передастся хотя бы малая толика его обширных познаний. Он присутствовал на его первых занятиях, когда Кант преподавал логику, метафизику, физику и математику. Впоследствии прилежный Васянский слушал его лекции по естественному праву, морали, теологии, а позже — и по антропологии и физической географии. Он был свидетелем того, насколько трудно было ученому Канту подняться по академической лестнице Кёнигсберга: его не один раз обходили с вакансией, пока наконец в 1770 году старый профессор Бук не перешел на кафедру математики, а его прежнюю кафедру логики и метафизики отдали Канту.

Терпеливый дьякон помогал Канту во всех его переездах. Его не выводили из равновесия ни диатрибы против женщин, ни холодность по отношению к самым близким родственникам (в этом пункте его советы были решительно отвергнуты Кантом), ни ригоризм религиозного воспитания, унаследованный от матери.

Васянский был в первую очередь хорошим другом, возможно, единственным настоящим другом, который остался у Канта на склоне жизни. Он никогда не забывал три основных совета, которые старый профессор обычно давал своим ученикам:

1. *Думать самому.*
2. *Мысленно ставить себя на место другого.*
3. *Всегда мыслить в согласии с самим собой.*

* * *

Теперь Васянский находился рядом с Кантом, поскольку тот нуждался в защите от самого себя. Со временем этому проницательному человеку, старающемуся мысленно встать на место своего друга, стало ясно, какие опасности подстерегают любимого учителя. Они были многочисленными и разнообразными.

Во-первых, старость.

Во-вторых, его причуды, превратившиеся в настоящие мании: зимними ночами он держал тело в холоде; жестко придерживался нелепого распорядка дня и режима питания, который более пристал бы портовому грузчику, нежели человеку его положения (он по-прежнему не разрешал себе более одной трапезы в день); словно ребенок, боялся отказаться от привычных занятий; испытывал панический страх перед любыми путешествиями, какими бы короткими они ни были, — и так далее, список можно было продолжать бесконечно.

Третьей, но не менее серьезной, чем первые, была опасность внутренняя, подобная — размышлял Васянский, втайне радуясь удачному сравнению, — слабеющему току крови, которая омывала удивительный мозг Канта: слуга Лампе.

Эта последняя опасность угрожала его ученому другу уже давно. Васянский, так же как и любезная кухарка, которая только что поведала ему о подвигах Лампе, был убежден, что раскусил старого солдата в первую же минуту.

Он был готов перед кем угодно заявить, что в 1772 году всячески пытался воспрепятствовать тому, чтобы Кант брал Лампе в услужение. На самом деле Васянского в то время не было в Кёнигсберге, да к тому же

вначале ему понравился слуга, выбранный Кантом. Теперь ему не хотелось об этом вспоминать, но он был свидетелем того, как ревностно и самоотверженно Лампе служил профессору в течение первых десяти лет. Сколько проклятий пришлось проглотить бедняге! Если уж в присутствии гостей Кант проявлял такую нетерпимость по отношению к слуге, каково же было его обхождение, когда он оставался с ним наедине!

Все изменилось вскоре после переезда в этот дом на Принцессинштрассе. Пока Лампе был приходящим слугой, на неполный день, у Васянского не было к нему других претензий, кроме той, что он ленив и неотесан.

Он приходил в семь часов утра и уходил в пять или в шесть. Уже тогда он прикладывался к бутылке во время работы, впрочем, в рамках приличий, потому что настоящий праздник начинался за порогом квартиры Канта. Одна таверна сменялась другой, и в каждой, прежде чем отправиться домой ужинать, он находил того, кто готов был выпить с ним последнюю рюмку.

Решение превратить Мартина Лампе в "мажордома" на Принцессинштрассе — хотя учителю не нравилось столь претенциозное выражение — было ошибкой. Грубой ошибкой. Васянский высказал эту мысль Канту на всех цивилизованных языках, включая латынь. Дескать, это все равно что пустить козла в огород. Напрасно он согласился с тем, чтобы Лампе и его жена — превосходнейшая, кстати, особа, вот из нее-то, несомненно, вышла бы замечательная экономка, скромная и преданная, — поселились в комнате, расположенной как раз над покоями профессора. Что толку, спрашивается, от колокольчика, который — если вдруг Канту ночью что-то понадобится — будет понапрасну заливаться в комнате слуги, дрыхнущего беспробудным сном после попойки?

Когда Васянский однажды проверил счета профессора — с рынка и из лавки мясника, а также за уголь и дрова — и сравнил их с суммами денег, которые были в доме и поступили на счет в банке, ему стало ясно, что Лампе обкрадывает своего хозяина. Он поговорил с Руфманом, директором банка. Не один десяток талеров как в воду канул. Он хорошо запомнил, что это случилось в 1786 году, потому что как раз в тот год умер славный король Фридрих II и все ходили заплаканные.

Васянскому были неведомы нерешительность или лень, и он объявил Канту, что счета не сходятся. Профессор вспылил. Кто дал ему право их проверять? Никто, что правда, то правда, однако факт есть факт, твердо возразил ему ученик, практически вошедший в разряд близких друзей, кто-то его обворовывает, и это точно не он, Васянский, хотя бы уже потому, что, будь он вором, не стал бы докладывать о воровстве.

Канту аргумент показался логичным, достойным его ученика, но он больше не пожелал обсуждать эту тему. С тех пор миновал не один год, а кое-кто из обитателей этого дома так и не получил по заслугам.

* * *

Если он об этом знал, почему хранил молчание? Почему он его защищал?

Почти половину жизни испытывая денежные затруднения, профессор, как говорится, был стреляный воробей. Даже в те периоды, когда

все его внимание поглощала работа над книгами, Кант ни на мгновение не терял связи с действительностью и прекрасно представлял себе стоимость жизни.

Беседуя со своими коллегами по университету, с учениками, с друзьями, он обычно задавал им вопросы экономического характера и живо интересовался колебанием цен на рынке. Одно время он даже собирался написать о влиянии политэкономии на ведение домашнего хозяйства. Это дало бы ему прекрасную возможность отвлечься от метафизических и теологических размышлений.



Итак, Лампе обкрадывал его. Ладно, — мог бы заявить этот самый слуга, если бы кто-нибудь в конце концов припер его к стенке, — а где доказательства? И при том — разве за все время службы ему прибавили к жалованью хотя бы талер? Пускай из денег, которые он себе присваивал, нельзя было сколотить состояния, но ведь и сам Кант не был богачом. Его книги приносили не бог весть какой доход, а урокам скоро наступит конец — когда голос станет надтреснутым, как стекло, а мозг истает, как осколок льда вблизи огня.

Дело здесь заключалось не в деньгах, а в сохранении доверия и, по сути, достоинства. Так это представлялось дьякону Васянскому, старавшемуся что было сил мысленно встать на место учителя.

Почему он позволял себя обкрадывать?

Может, он боялся своего собственного слуги?

## 16

Все старели. Время, ускользавшее от Иммануила Канта, было тем же неуловимым временем, за которым не успевал и Мартин Лампе, его слуга.

Если когда-нибудь Кант и узнал или заподозрил, что слуга Лампе день за днем присваивал мелкие суммы денег, он все равно забыл об этом. Столько всего стерлось из памяти: самые простые, повседневные обстоятельства собственной жизни, не говоря уж о жизни людей, которые его окружали.

Он почти забыл своего брата, ректора школы в Миташе, если тот по-прежнему еще там (удосужился ли он этим поинтересоваться?); своих когда-то молодых сестер, которых теперь разбросало в разные стороны; своего большого друга Гиппеля, умершего несколько лет назад. Запамятовал и о том, что еще вчера (или то было позавчера?) намеревался воспользоваться любезным приглашением лесничего Вобстера и отправиться в Модиттен, что в миле от Кёнигсберга, — когда-то там он в один присест сочинил труд "О прекрасном и возвышенном". У него вылетело из головы имя королевского секретаря, которому, совершенно точно, нужно было написать, но по какому вопросу? Может, о библиотеке? Его память выбрасывала вон самые близкие вещи, словно это были зеленые, незрелые плоды.

Зато он прекрасно помнил названия всех притоков реки Тахо, все метафизические принципы естествознания, закон движения планет Кеплера, триста первых строк "Энеиды".

Ему было трудно сосредоточиться на явлениях физического мира, таких как пение птиц с приходом весны или медленное кружение снега

в середине осени, когда свет в саду казался синим, почти фиолетовым, и все словно замирало в надежде, что Бог подаст едва заметный знак и можно будет продолжать дальше.

Тем не менее он не переставал сочинять слова и фразы, будто слова были частью секретного кода; записывал их и обдумывал новые, подыскивал, не выходя из своего непроветриваемого кабинета, аргументы в пользу каких-то идей — и другие аргументы, которые тут же, как молнии с неба, их опровергали.

* * *

Васянский был прав. Эта зима обещает стать самой суровой из всех, что профессор видел на своем веку. Еще пара недель — и от очарования Кёнигсберга ничего не останется.

В Италии, как ни трудно в такое поверить, сейчас сияет солнце. А в Севилье наверняка какой-то человек, похожий на него, в эту самую минуту читает книгу, сидя в одной рубашке, без камзола, в двух шагах от цветущего апельсинового сада, опьяненный ароматом и убаюканный жужжанием насекомых.

А в Алжире другой человек, и тоже похожий на него, возвращается в порт на своей лодчонке, раскачиваемой легким ветерком, и, поди, обливается потом из-за жары и влажности. Какая она, морская вода? Более плотная и голубая, чем вода в реке Преголе? Пот — враг человеческий, вот подходящая эпитафия для такого мнительного субъекта, как Иммануил Кант. Ха-ха, несмотря ни на что, он не утратил чувства юмора.

У него еще доставало сил, чтобы посмеяться над самим собой.

* * *

Васянский прав. Самое лучшее — начать хоть немного топить в комнате. Чтобы огонь был совсем небольшим — никаких тебе адских языков пламени. Мне никогда не нравился Данте. Да, не нравился. Вот так хорошо, Лампе. Можешь идти. Нет-нет, не уходи пока. А ну-ка проверь, хорошо ли установлен экран и не дымят ли дрова. Ты покупаешь слишком сырые дрова. Сейчас что, нельзя купить хороших сухих дубовых дров? Всем известно, что прусские леса вырубили французы, чтобы понаделать гильотин. Вот ведь кровожадные! Воистину это раса людей действия, хотя и они размышляют между взмахами ножа. Сколько же, черт возьми, ты платишь за сырые дрова, Лампе? Не дымят? Что значит, чтобы я сам взглянул? У тебя с головой все в порядке? Ты же знаешь, я так закутан, что не могу пошевелиться. Чего мне только стоит хорошенько завернуться в одеяло и покрывало. Ладно. А ты уверен, что в комнате достаточно воздуха, чтобы огонь нормально горел? Говоришь, тебе без разницы? Должна быть разница. Следи за своей речью, Мартин Лампе. Это главный признак принадлежности к человеческому роду, не забывай. Все остальное — вещи сомнительные. А если немного приоткрыть окно, только щелку? Не хочешь. Ладно, как знаешь. Я от тебя завишу, и тебе это отлично известно. Но недолго тебе осталось здесь царить. Что ты там бормочешь? Я выставлю тебя из дома, ес-

ли ты не исправишься. Да, хорошая мысль. Исправиться. Перемениться. Мне снова захотелось помочиться. Господи! А скажи, Лампе, ты счастлив? Когда-нибудь ты был счастлив? Отвечай! Ты здесь? Я задал тебе вопрос. Отвечай, прохвост! И запомни: если из-за разведенного тобой огня я утром вспотею, позову тебя, чтобы ты погасил угли. Я позвоню в колокольчик, чтобы дать тебе знать. Ты же помнишь, что для меня хуже всего на свете — вспотеть. Ты, скажем, потеешь, потому что тебе так хочется. Что? Это я тебя вгоняю в пот? Когда такое было, отвечай! Ты только и сделал, что принес несколько жалких поленьев и развел огонь... Тоже мне работа! Если бы я не был закутан до кончика носа, показал бы тебе... Возвращаясь к вопросу о счастье, знаешь, что я скажу? Все равно скажу, даже если ты не хочешь слушать. Человек никогда не бывает счастлив *сейчас*, он всегда *будет* счастлив. Понимаешь, о чем я? Проблема в том, что человеку никогда не удается *стать* счастливым. Ты здесь, Лампе? Не вздумай уйти, потому что я взаправду рассержусь. Слышал? Ты слишком много пьешь. Дьякон прав. Васянский, кстати, сделался весьма разумным человеком, а ведь в молодости не подавал больших надежд. Геометрия оказалась ему не по зубам. Если ты не исправишься, Лампе, я отберу у тебя ключ от погреба. Сам буду ходить за вином. Тебе все равно? Неужели не стыдно создавать мне лишние проблемы? Как будто у меня их без тебя мало. Это электричество в воздухе... не замечаешь? А мелодии, которые звучат под кроватью... не слышишь? Ты стал глухим как пробка. Ну вот! Говорил же тебе: я вспотею. Будь проклят этот Васянский! Я чувствую: лоб совсем мокрый. Испарина. Это страшно вредно. Немедленно погаси огонь! Открой окно! Закрывай скорее — я не хочу простыть. Теперь убирайся, не кради у меня воздух, которым я дышу.

## 17

— Так-так, мой дорогой Лампе, — приступил к делу Васянский, усевшись в комнате профессора. Он вытянул вперед свои толстые короткие ножки и скрестил ступни. — Сдается мне, что ты прочитал памфлет ирландского священника по имени Свифт, в котором он дает вредные советы слугам.

— Сами знаете, дьякон, что ничего подобного я не читал. Памфлеты — это для профессора. У меня на это нет времени.

Лампе застыл посреди комнаты, понурив голову, и изобразил полное смирение. У него отлегло от души: всего-навсего очередная проповедь, пустопорожняя болтовня. Ну да ничего, в одно ухо влетит — в другое вылетит.

— А надо бы прочесть. Хотя ты и сам любого переплюнешь. Самому впору книги писать. Получился бы прусский вариант советов на тему, как можно разбогатеть, обводя вокруг пальца хозяина, который взял тебя на службу и кормит.

Васянский вперил в него взгляд, вдруг ставший жестким и проницательным, и подобрал ноги. Слуга выдержал взгляд спокойно и даже с некоторым вызовом. По сравнению с Кантом, которого он неплохо изучил, дьякон держался слишком театрально.

— Боюсь, ты слишком далеко зашел, Лампе. Профессор очень недоволен тем, как ты исполняешь свои обязанности. А ведь он замечает лишь ничтожную долю того, что ты вытворяешь. Да и с другими слугами ты не ладишь.

— Если вы о кухарке...

— Да, и о госпоже Фолчер, и о служанке, и о садовнике, который приходит по вторникам и четвергам, и о гостях, которых приглашают к обеду, — обо всех и о каждом в отдельности, словом, о тех, кто только имеет несчастье с тобой сталкиваться!

Васянский повысил голос сильнее обычного. Капли слюны брызнули у него изо рта.

— Что поделать, коли все на меня ополчились. Кручусь, как могу. Легко ли управиться с целым домом, ведь все на меня ложится. А стоит обратиться к хозяину за советом по какому-нибудь важному делу, он мне выговаривает за то, что посмел его беспокоить, и прогоняет взашей. Раньше хоть интересовался расходами и тем, где и что надо починить, теперь же ему ни до чего нет дела. Вот и приходится самому толковать с поставщиками, а ведь, казалось бы, кто я такой, чтобы ругаться по поводу цен и исполнения работы, когда нанимаются люди со стороны? Хотя уступи я им — глядишь и подзаработал бы... Что до гостей, так кое-кто из них воображает, будто явился на обед во дворец, слишком уж возомнили о себе, неблагодарные. Стоит капнуть соусом на чей-то камзол, сразу поднимают крик, словно принцы. У меня на все про все две руки, а ведь иной раз приходится обслуживать до десяти человек. Мне известно, что в некоторых домах для такого количества гостей у мажордома под началом никак не меньше двух лакеев. Дайте мне их — и не будет жалоб. И раз уж вы упомянули госпожу Фолчер, то, между нами, мне совсем не нравится, как кухарка распоряжается деньгами, которые профессор Кант выделяет на еду. Почему на обед вечно бывает свинина или крольчатина, а рыба — никогда? По какой такой причине она скупится на масло и яйца? Вы уж меня извините, господин Васянский, но вы здесь не живете и не знаете всего, что творится. Тут такие секреты... Если бы я порассказал...

— Хватит болтать, Мартин Лампе!

Васянский встал и повернулся к нему спиной. Потом посмотрел в окно гостиной: из окна был виден сад, за ним тянулись поля. Калитка в глубине сада была открыта. Профессор вышел через нее минут пятьдесят назад. В этот момент Васянскому показалось, что он различает вдали темный силуэт, медленно двигающийся по дороге.

В дверь постучали. Не успел слуга шагнуть к ней, чтобы узнать, кто это, как Васянский, не оборачиваясь, громко произнес:

— Войдите, госпожа Лампе!

В комнату медленно, то и дело обтирая ладони о серый полосатый передник, вошла щуплая сутулая женщина. В безучастном взгляде сквозила многолетняя усталость. "Ничего из этого не выйдет", — читалось у нее на лице. Дьякон наблюдал за слугой, который с изумлением воззрился на жену, будто перед ним возникло привидение.

— Подойдите поближе, госпожа Лампе, прошу вас. Благодарю вас, что пришли. У нас мало времени.

— Как вам будет угодно.

Стало быть, они устроили сговор за его спиной. Кто бы мог подумать! Хотят повесить на него всех собак. А этой тихоне он покажет. Мало ему ведьмы-кухарки! Все кругом, кого ни возьми, — его враги. Но им не удастся его извести: пережил же он атаку польской конницы. Разве сладят с ним смешной толстяк дьякон и женщина, которая уже ни на что не годится, разве только гадости ему делать?

— Я тут попытался было поговорить с вашим мужем о его поведении, — начал Васянский теперь уже увещевательным и миролюбивым тоном. — Мне бы хотелось, чтобы вы тоже внесли свою лепту, прямо сейчас, если вы не против, в моем присутствии. Я придерживаюсь того мнения, что выход есть в любой ситуации, за исключением смерти.

"Вместе, пока смерть не разлучит нас", — пронеслось в голове Лампе. Какая глупость. Какая ложь.

Женщина подошла к мужу и заглянула ему в глаза с робкой нежностью:

— Послушай, Мартин. Хоть раз в жизни послушай меня. Ты же знаешь, что я тебя люблю и уважаю. Твоя воля всегда была для меня законом, даже когда я во многом не была согласна с тобой. Я смирилась с твоими причудами, терпела твои пороки, переносила твое плохое обращение. Вот, посмотри, у меня еще сохранились синяки от побоев, которыми ты меня наградил больше недели назад.

Преисполнившись отваги — она ведь и сама, прежде чем войти в гостиную, вряд ли подозревала, что на такое способна, — женщина рывком оттянула вырез платья и продемонстрировала синие пятна, которые, словно боевые раны, пересекали ее белую грудь.

— Что ты делаешь? Ты что, сдурела? — Лампе шагнул к ней, чтобы заслонить ее, но она уже поправила платье.

Дьякон сделал вид, что ничего не заметил. На него напал приступ кашля, а его лицо, от природы румяное, приобрело багровый оттенок.

— Мартин, — продолжала жена со слезами на глазах, не обращая внимания на крики мужа, — мы еще можем все поправить. Сделай это ради себя, если не хочешь сделать ради меня и ради профессора, который столько лет выказывал нам свою привязанность. Откажись от вина и пива, Мартин. Пойди попроси прощения у госпожи Фолчер. Она не заслуживает, чтобы ты с ней так обращался. Господин Васянский пообещал подсобить тебе со счетами по дому, и ты можешь не переживать из-за этого... Если заботиться о хозяине тебе становится все труднее из-за его возраста и твоего, Мартин, ведь ты уже не молод, сам прекрасно знаешь, пусть наймут лакея для той работы, что потяжелее. А главное, умоляю тебя быть терпеливей с господином Кантом. Обходись с ним как подобает, с уважением и тактом. Мы ему стольким обязаны, где бы мы были без него? Только представь хоть на миг, что будет с нами, если он нас прогонит...

* * *

Лампе стоял не шелохнувшись. Он уставился в одну точку на полу — срез сучка, от которого расходились концентрические круги. Любопытно,

что он даже не чувствовал стыда. Только злость, если не бешенство. И еще несказанное удивление от того, как глупо ведет себя жена.

Ну кому другому пришло бы в голову выставить его в таком свете перед ближайшим другом хозяина? Послушать ее, так выходит, что он никуда не годный слуга, жестокий муж и человек без чести и совести. Как он посмотрит теперь дьякону в лицо... А профессор Кант? Скорей бы уж убраться из гостиной и подняться в кабинет хозяина. Там за толстенным томом, на верхней полке, до которой профессор мог достать, только взобравшись на стул — а он уже никогда этого не сделает, — у Лампе припрятана бутылка ликера.

А Васянского сцена растрогала. Он заморгал, его серые глаза слегка увлажнились ("Слезы — пот глаз", — подумал он с удовольствием). Все-таки это была замечательная идея — пригласить госпожу Лампе. Кто смог бы лучше, без прикрас обрисовать столь деликатную ситуацию? Дело, похоже, улажено.

Внезапно он вспомнил об учителе. Обернулся к окну. Увидел его метрах в пятидесяти от садовой калитки. Сегодня прогулка была более долгой, или, возможно, Кант теряет силы. Возраст, несомненно... Надо немедленно заканчивать разговор, не хотелось бы, чтобы профессор заметил что-либо необычное.

Он сделал все от него зависящее. По сути, конфликт удалось уладить по-семейному. Иногда необходимо, чтобы даже в самых дружных семьях супруги покричали-поплакали, — и все опять пойдет на лад.

— Учитель Кант возвращается с прогулки, и каждому из нас лучше заняться своими делами. Надеюсь, эта маленькая встреча принесет свои плоды, и прежде всего, надеюсь, Лампе, что впредь... Бог мой! Что это с ним? Пошатывается, будто ноги его не держат! Рухнул! На дерево, что ли, налетел? Подносит руки к голове. Видно, голова закружилась... Не удар ли? Скорее, Лампе! Бегом, господину срочно требуется помощь!

## 18

Похоже, Петер Кауфман в общем и целом добился того, о чем всегда мечтал. Пока Лампе находился в услужении у профессора Канта в Кёнигсберге, капрал прошел все фронта Центральной Европы. Капитан Хольцмайстер был графом Мемеля, где его семья владела обширными землями, правда глинистыми, на которых с трудом росли виноград и кукуруза. Он слыл отличным командиром, о чем прекрасно знало начальство. Поэтому ему поручали опасные задания, порой смертельно опасные. Нередко случалось видеть, как он первым кидается в атаку, ведя за собой солдат. Он выказал себя настоящим храбрецом, не знающим страха и сомнений.

Затянувшаяся силезская кампания, начатая еще покойным Фридрихом Великим, дорого стоила прусской армии. Войска даже бросали на усмирение взбунтовавшихся крестьян. Позже им пришлось подавлять беспорядки на знаменитых ткацких фабриках, которые в будущем смогут на равных конкурировать с манчестерскими.

Пруссии в то время приходилось воевать на несколько фронтов: на юге – с Австрийской империей, на западе – с мелкими немецкими государствами Священной Римской империи, на востоке – с Польшей и Россией. Территория, отошедшая к Пруссии после первого раздела Польши, тоже доставляла немало забот. К счастью, границы не станут меняться вплоть до наполеоновских войн. Так что у прусской армии будет время, чтобы отточить военное искусство, улаживая внутренние конфликты, и отлично наладить военную машину.



* * *

Жизнь капрала Кауфмана и капитана Хольцмайстера протекала без особых треволнений до апреля 1792 года. Мир, казалось, в то время жил затаив дыхание. За каких-нибудь несколько лет очень многое переменилось. Возможно, это было обманчивое впечатление, но ведь уходящий век и на самом деле стал свидетелем величайших потрясений в образе мыслей, укладе жизни и политическом устройстве.

Французская революция подорвала основы европейской жизни, и даже старая Пруссия ощутила, как колыхнулась под ней почва. Изменения коснулись и армии, офицеры и солдаты больше не были двумя изолированными одна от другой кастами.

Некогда надменный граф теперь запросто беседовал со своим подчиненным. Стало обычным явлением, когда офицеры нижних чинов вели разговоры и выпивали с простыми новобранцами. Быть может, дворяне почувствовали угрозу своим привилегиям и пытались завоевать симпатии людей из народа, стремясь справиться с эпидемией либерализма? Во всяком случае, Пильницкая декларация[1] между главой империи Габсбургов Леопольдом II и прусским королем объединила монархические силы против французских революционеров. Приход к власти якобинцев в августе 1792 года ускорил события. Пруссия немедленно объединилась с Австрией для ведения войны, намереваясь противопоставить молодой Французской республике свою невиданную мощь.

Рота капитана Хольцмайстера получила приказ привести в боевую готовность личный состав и присоединиться к войскам, которым предстояло вторгнуться во Францию. Однако то ли из-за нерешительности и слабости союзников, то ли из-за недостатка уверенности в правоте своего дела, но хорошо вымуштрованная прусская кавалерия успела поучаствовать лишь в отдельных пограничных стычках с якобинцами.

20 сентября разрозненные войска французов одержали большую тактическую победу в так называемой перестрелке под Вальми[2]. Это было не сражение, а скорее артиллерийская дуэль, но она заставила прусское командование отказаться от похода на Париж. Что же произошло? Брешь, из-за которой шла ко дну надменная держава, начала неумолимо расти.

1. Была подписана 27 августа 1791 г. в замке Пильниц в Саксонии и стала основой австро-прусского союзного договора (февраль 1792 г.).
2. Вальми – селение во Франции, около которого 20 сентября 1792 г. во время войны революционной Франции против 1-й антифранцузской коалиции французская армия впервые разбила австро-прусские войска и французских роялистов.

Полк, в который входила рота Кауфмана, получил приказ отойти назад, чтобы защищать очередной кусок Польши, доставшийся Пруссии. Из-за собственной неповоротливости австрийцы не сумели поучаствовать в дележе. И вот теперь предстояло драться с теми, кого еще недавно считали ближайшими сторонниками, способными помочь изгнать из Франции — да и из любой другой части света — всякую надежду на изменения общественного устройства!

— Это серьезная ошибка, — сетовал граф Хольцмайстер, стоя перед капралом Кауфманом, в то время как тот помогал ему справиться с ремнями и поясом, потому что для этой операции не хватало одной пары рук. — Если бы мы не увязли в новом дележе Польши, еще что-то можно было бы сделать. Зачем нам новые равнины, населенные нищими крестьянами? А вот продолжай мы сражаться во Франции, сухопутные войска Англии и Голландии наверняка присоединились бы к нам и австрийцам. И тогда в считаные дни галльским смутьянам был бы нанесен смертельный удар.

— Разумеется, господин капитан, — откликнулся капрал, который порядком запутался в хитросплетениях политики и не мог взять в толк, почему офицер примешивал к этому делу Голландию. — Полагаю, нам ничего другого не остается, как подчиниться воле короля.

— Это-то и скверно, — капитан понизил голос, опустив подбородок к груди. — У нас нет настоящего правительства, всего одна голова, а она может ошибаться или наделать кучу глупостей. Вот что печально. Любимое правило старого Фрица, храни его Господь, нас погубит: "Никому не рассуждать, всем выполнять приказы". Да простит меня Бог, Кауфман, но нам уже начинают внушать, — этот Кант, к примеру, — что правление одного-единственного человека, одного-единственного ума не может обеспечить жизнеспособность государства.

* * *

Хольцмайстер погиб вовсе не в борьбе с революционерами, которые вскоре расплодятся как муравьи. Ему не суждено было померяться силами и с теми, кто явится позднее, — наполеоновскими драгунами-фанатиками, жестокими и неукротимыми, мечтательными и кровожадными. По прихоти судьбы он погиб за родину в стычке с русскими казаками.

Яблоком раздора, как уже было не раз, послужила Польша. Раздел польского государства рассорил монархов. Набеги на новые и еще слабые границы Пруссии, которая расширялась на восток, провоцировали ожесточенные столкновения. Не объявляя войны и не признавая своих потерь, обе стороны — русские и пруссаки — мерялись силами на истерзанной польской земле.

Наблюдая это, капитан Хольцмайстер с каждым годом все больше падал духом. Куда катится Пруссия? Если революция распространится дальше, что станется с его обширными земельными владениями, полученными в наследство от отца и вверенными заботам алчных управляющих? Ему не давала покоя мысль о восстаниях в Силезии и Гамбурге. Мир, в котором он когда-то появился на свет, исчезал на глазах, как сахар в стакане чая. Своим ближайшим друзьям, таким же аристократам, он признавался в тайном желании покинуть армию.

— Но это было бы равносильно дезертирству, дорогой граф, — возмущаясь, отвечали они. — Вы не можете так поступить. Мы все на одном корабле.

— Моя родина там, где земля моих предков, — возражал капитан. — Вот оттуда я действительно дезертировал. Я до сих пор не имел возможности жениться и завести семью. Кажется, будто я ношу форму целую вечность и она с каждым днем делается все тяжелее.

На следующий день в лагерь прибыл гонец с известием, что казаки напали на приграничный населенный пункт Лодзь и окружили роту, которая находится на переднем крае. Требовалось немедленное подкрепление. Командир полка избрал для выполнения этой задачи кавалерийский отряд Хольцмайстера.

Приближаясь к Лодзи, они увидели столбы дыма, поднимавшиеся над окрестными деревнями. Был ясный осенний день. С деревьев равнодушно и безмятежно, словно и не было никакой войны, падали листья. Небо казалось высоким и торжественным как никогда, словно не было на земле крови, жестокости и разрушений, учиненных русскими солдатами.

Русские разбили лагерь с западной стороны Лодзи. Они ждали подхода войск из Минска, чтобы сжать город с обоих флангов, и считали, что крепость уже в их руках. Появление прусского отряда застало их врасплох.

Конники Хольцмайстера развернулись у стен Лодзи, артиллерия заняла позиции. После того как мортиры выпустили целую серию залпов по русскому лагерю, капитан отдал приказ перейти в атаку. Казаки были уже на конях, и столкновение у стен Лодзи грозило превратиться в кровавое побоище. Капитан, совсем недавно наблюдавший следы дикой расправы над крестьянами, в ярости нанес не один смертельный удар дьяволам в меховых шапках, издававшим нечеловеческие вопли.

Хольцмайстер множество раз выходил победителем из схваток, в которых привык не щадить собственной жизни, и даже вообразить не мог, что эта последняя. На беду, он слишком оторвался от своих. Трое казаков, заметив, что он остался один среди огня, корчащихся тел и отчаянно ржущих лошадей, решили не упускать случая и захватить прусского офицера в ярко-синем мундире.

Когда он рухнул на землю, золотые пуговицы сверкнули в лучах заходящего солнца. Он не выпустил из рук саблю, обагренную кровью, его голову все еще украшала эффектная шляпа с пестрым плюмажем. Казаки исполосовали его тело кривыми саблями и безжалостно затоптали копытами своих исполинских лошадей.

Никто так безутешно не оплакивал его страшную смерть, как денщик, капрал Кауфман. Рота погибшего графа Хольцмайстера отступила. Лодзь подверглась чудовищному разграблению. Отныне она никогда не будет прусской территорией.

Кауфман был переведен в полк, стоявший на севере от реки Майн. Как и многие другие военные, он оказался во власти пораженческих настроений. Теперь он служил денщиком у новоиспеченного лейтенанта, который помыкал им, как только мог.

Кауфманом овладела тоска по прошлому, его преследовали воспоминания.

— Как там у Гёте? Ах да: "Сладкая и любезная рутина". Вы никогда не отказывали себе в этом удовольствии, не правда ли, профессор?

— Извините, я отвлекся. Так о чем вы говорили?..

Грин вмешался в разговор:

— Мы говорили о каждодневных удовольствиях, уважаемый друг. Табак, чай, ну еще кофе в вашем случае. Трудно вообразить радости более простые и совершенные.

— Кофе! — вдруг воскликнул Кант, словно его во сне ужалила оса.

Васянский сразу понял, в чем дело:

— Лампе сейчас подаст кофе, дорогой профессор.

Старик пробормотал что-то себе под нос, встряхивая манжетами, по правде говоря довольно грязными. Снова нервно застегнул и расстегнул сюртук. Казалось, он все никак не может решить, оставить его застегнутым или расстегнуть.

Вид у Канта был неухоженный. Сразу видно, что уже целую вечность никто не расчесывал его парик, не чистил щеткой плечи сюртука. Васянский заморгал — значит, взял это на заметку и постарается исправить. Не мог же он согласиться с тем, чтобы профессор, который теперь, войдя во вкус, продолжал ломать комедию с кофе, появлялся перед гостями в таком виде. Одевается, что твой ростовщик в воскресный день.

— То и плохо, что только еще подаст. Если, конечно, соизволит. Это мы еще посмотрим, — он язвительно засмеялся. — Мой слуга с каждым разом становится все нерасторопнее. Ведь сам он кофе не готовит, так почему у него уходит столько времени, чтобы его подать? А я желаю выпить кофе. И все тут! В последнее время я только и делаю, что жду.

Он окинул гостей взглядом обессилевшего орла. Вот они сидят за его столом — Грин, Соммер, Васянский и два гостя из Берлина; тот, что процитировал Гёте, сейчас смотрит на него с нескрываемым замешательством.

— Неужели и вы подолгу ждете у себя дома и терпите такие же муки, пока кто-то снизойдет до того, что подаст вам кофе? Прошло ведь никак не меньше двух часов с тех пор, как я об этом распорядился?

На его вопросы никто не ответил. Васянский подлил вина господам из Берлина. Было всего лишь два часа дня. Третий поднос, с олениной под крыжовенным соусом, был последним. Съев пару кусочков, Кант отодвинул от себя тарелку, говоря вроде бы самому себе, но достаточно громко, чтобы услышали все:

— Достаточно. Совершенно безвкусно. Как трава.

Гости решили, что из приличия тоже должны перестать есть, хотя только-только приступили к мясу и у них текли слюнки: оленина была просто изумительной.

Отец Соммер заявил с уверенностью человека, привыкшего увещевать прихожан с церковной кафедры:

— Не волнуйтесь. Кофе уже несут. Прибудет с минуты на минуту. И петух не успеет прокукарекать.

— Да, и начнется Страшный суд, если уж на то пошло. Всему на свете приходит черед, абсолютно всему, *за исключением* моего кофе. Я ведь жду целую вечность!

Было заметно, что Кант доволен. Эта нелепая выходка с кофе помогла ему завладеть всеобщим вниманием. На самом деле кофе он никогда не любил. Предпочитал чай. Вернее, ему нравился запах кофе, однако теперь он охладел и к нему.

Честно говоря, он просто искал предлог, чтобы устроить слуге выволочку, когда тот наконец выполнит, что от него требуется. Лампе принимал ругань хозяина с полным безразличием, будто его это не касалось. Бывало, сам того не замечая, профессор разыгрывал свой спектакль дважды за обед. Однако на сей раз Канту вдруг пришло в голову, что он, пожалуй, выставил себя перед гостями на посмешище.

Ну и пусть! Будет время и для серьезных разговоров. Сейчас ему хотелось поразвлечься.

С видом стоика он весело добавил:

— По-моему, слуги только и ждут нашей смерти. Вы согласны? Потому-то они так долго возятся, выполняя распоряжения, — чтобы мы тем временем поумирали. Чтобы молили на последнем издыхании, как человек, заблудившийся в пустыне Гоби: "Умираю, дайте кофе, умираю, дайте кофе..."

Гости от души рассмеялись. Сухое, как пергамент, лицо профессора озарилось, словно их смех был для его мозга живительным бальзамом. Кант распрямился в кресле, как будто вернувшись в старые добрые времена. На память ему пришли педагогические приемы, которыми он пользовался в университете. Когда он, утомленный многочасовыми занятиями, замечал, что его начинает клонить ко сну, он резко вставал из-за стола и начинал широкими шагами мерить аудиторию, чтобы встряхнуться. Этот способ годился и для того, чтобы разбудить учеников.

Под неодобрительным взглядом Васянского Кант отодвинул стул назад. Короткими и быстрыми шажками обогнул стол, открыл дверь столовой и закричал слабым и умоляющим голосом, словно осужденный, который в последний раз взывает к милости Господней:

— Лампе, Лампе!

Тут же послышались нетвердые шаги долгожданного слуги, поднимающегося по лестнице под аккомпанемент позвякивающих чашек и ложечек. С порога профессор обернулся к своим ученикам. В этом мире существуют только ученики, подумал Кант. Настал момент выхода на сцену Мартина Лампе, вечного слуги.

— Наконец-то, господа! Наши молитвы были услышаны! Кофе только что прибыл с Антильских островов!

* * *

Никто из присутствующих не успел понять, как это произошло.

Они по-прежнему следили взглядом за Иммануилом Кантом, который демонстрировал необыкновенную энергию, что опровергало слухи о его немощи. Профессор вернулся на свое место, изящным жестом поблагодарив сотрапезников за аплодисменты. У Васянского еще теплилась надежда на то, что не все потеряно. Кто знает, может, им удастся отведать десерта, божественных пирожных с малиной, раз уж Кант лишил их предыдущего блюда.

Да и сам профессор после устроенного им спектакля, похоже, утихомирился. Может, сейчас он покажет, что умеет не только паясничать и что по-прежнему обладает самым блестящим умом в Европе. Но в этот самый момент случилась катастрофа.

С диким грохотом тарелки, чашки, ложечки, пирожные с малиной, куски сахара, молоко и кофе рухнули на пол, при этом брызги, естественно, полетели на чулки гостей. А поверх груды осколков растянулся во весь рост слуга Лампе.

Поднимаясь с подносом по лестнице, он устал, и у него закружилась голова. Вдобавок, входя в столовую, он споткнулся о ковер и потерял равновесие, из-за чего, собственно, и произошло несчастье.

Кант вновь погрузился в безмолвие и сидел неподвижно, словно ничего не видел и не слышал. Но внутри все у него кипело. Старый профессор прекрасно понял, в чем дело. Еще немного — и он дал бы выход своему гневу, ведь Лампе не только разбил посуду и устроил переполох, он еще и сумел перехватить у хозяина роль главного героя обеда.

Гости в свою очередь оторопело молчали. Они словно приросли к стульям и только испуганно переглядывались.

И тут раздался судорожный смех, сопровождаемый икотой и отрыжкой, — сначала еле слышный, он затем стал напоминать крики огромной чайки. Весь перемазанный малиновым кремом Лампе перевернулся на спину. Он взглянул на них сквозь залепленные ресницы, и его разинутый рот, почти лишенный зубов, казалось, вот-вот проглотит их всех разом. Бедный слуга рыдал от смеха и никак не мог остановиться. Давно он так не смеялся. Изумленные лица Грина, Соммера, Васянского, но в первую очередь лица двух жеманных господ из Берлина кружились перед ним, как шарики жонглера. И он снова захохотал. Дело дошло до того, что он начал давиться и задыхаться от смеха — и задыхаться по-настоящему!

Первым спохватился Грин. Вероятно, в силу практичности, присущей англичанам: в каждом из них таится уверенный в себе лекарь. В одном из своих путешествий он стал свидетелем похожего случая и знал, насколько важно действовать без промедления.

Он вскочил, подбежал к несчастному, который схватился руками за горло, словно желая оторвать от него чьи-то чужие — невидимые — руки. Грин опустился перед Лампе на колени. Смахнул крем, залепивший ему лицо. Затем, с завидной энергией подхватив его под мышки, приподнял, наклонил вперед и с силой встряхнул.

Тело слуги обмякло, глаза оставались полузакрытыми. Рот застыл в судороге беззвучного смеха. К щекам прилипли крошки пирожного. Грин еще раз встряхнул его, затем сильно ударил кулаком в спину. Все прочие завороженно следили за происходящим.

— Let's try again, come on![1] — сказал англичанин на родном языке, обращаясь к себе самому, размахнулся и еще раз ударил слугу в середину спины.

Совсем уже посиневший Лампе открыл глаза и захлопал ресницами, как заводная кукла. И тотчас рыгнул. По всей комнате разнесся запах алкоголя. С огромным усилием слуга опустил голову на грудь и заснул, громко храпя.

1. А ну-ка, попробуем еще разок! (*англ.*)

Васянский, который все это время кружил вокруг коммерсанта, громко вскрикивая и не зная, чем помочь, вылил на голову Лампе полный кувшин воды.

— Превосходно, превосходно, — одобрил его действия Грин, отфыркиваясь, поскольку брызги попали и на него. — Лучше не давать ему спать — как бы опять не перехватило дыхание.



## 20

Кант дремал в кресле в своем кабинете.

С некоторых пор шум его больше не беспокоил. Теперь ему мешала тишина, вернее глухое жужжание, которое не смолкало в ушах, словно туда забралось какое-то насекомое. Время от времени он колотил ногой об пол, чтобы услышать хоть какой-нибудь звук — как раньше, когда звуки были *снаружи*. Стук каблука слышался глухо, как во сне, когда ты пытаешься постучать в дверь, а она уходит от тебя, и кажется, что до нее никогда не дотянуться. Зато слуги наконец-то перестали топать по лестнице, хотя теперь он, пожалуй, и не возражал бы против этого: так он определил бы, внизу они или наверху, во всяком случае знал бы, что они вообще существуют, черт бы их побрал!

Задремав перед окном, в которое заглядывало июльское солнце, он видел во сне, что кто-то гигантскими ножницами срезал шпиль башни Лёбенихт. Кант в тревоге крутил головой. Отсюда не было видно, кто совершил святотатство. Как! Это Лампе! Проклятый недоумок! Пришла полиция и, связав его по рукам и ногам, посадила в клетку, чтобы он там пел.

Кант проснулся. Он устал от размышлений. И писáть тоже не хотелось. Он чувствовал, что у него замерзли руки. Он улыбнулся: там, за окном, лето в разгаре. Может, если открыть окно, до него донесутся голоса природы вперемешку с шумом, производимым людьми. Зато он уже давно не потел. Наверное, пришло ему в голову, когда тело окончательно увядает, потовые железы высыхают.

Кант поднялся и настежь распахнул окно. Вот она — старая башня Лёбенихт, на своем месте. При открытом окне она кажется ближе. Если бы в Кёнигсберге все время стояла жара...

Кант повернул голову и подставил правое ухо ветру. Ничего. Неужели в тюрьме не осталось заключенных? Неужели даже в жару они, как он сейчас, не открывают окон? Почему они не поют? Пускай бы фальшивили, лишь бы пели. Все-таки занятие!

Он вновь опустился в кресло. На подоконник сел воробей. Знай себе чирикает. Какое наслаждение. По крайней мере птицы еще не перевелись, и можно услышать их пение.

Профессор Кант протянул вперед руку. Воробей пронзительно зачирикал. Кант опять задремал, на этот раз ему снилось решение скучнейшей задачи по математике из учебника Вольфа.

* * *

Лампе вяло водил метелкой из перьев по серебру в буфете. Он был вне себя от ярости и отчаяния. Снизу доносились голоса. Вот: Васян-

ский и преподаватель из университета. У Лампе не было сил проводить их наверх и доложить об их приходе. Но ведь они его об этом и не просили...



Непонятно, как вообще такое могло произойти. Он сидел себе в гостиной и никому не мешал. В последние недели с ним творится что-то странное. Появилось такое же чувство тревоги, ощущение, будто ему устраивают ловушку, будто все идет вкривь и вкось, как тогда в армии, когда повышение получил не он, а Кауфман. Лампе присел на диван, чтобы поразмыслить, поставив себя на место другого человека, взглянуть на все с его точки зрения, как велел поступать своим ученикам в трудные минуты его хозяин. Правда, что касалось точки зрения, о ней у слуги представление было смутное...

Итак, он вздохнул, десять минут назад кухарка пожаловала на *его* территорию и потребовала ключи от погреба. Ей понадобилось полгаллона бордоского вина, чтобы, как она объяснила, приготовить мясо на завтра. Хорошо, он выдаст вино, как только освободится. Сейчас он занят. Следует ли считать это объявлением войны? Кроме того, она потребовала вернуть ей ключ от *ее* кладовки, где хранятся чайные сервизы, серебряные приборы, чайники из русского нейзильбера и дорогой лиможский кофейный сервиз — словом, все, что осталось после того, как он, споткнувшись, уронил поднос с пирожными.

Вот с какими претензиями эта ведьма заявилась в *его* гостиную. Мало ей кухни? Она ведь запретила Лампе там показываться, позволив только проходить в погреб, да и то раз в день, перед обедом, и при этом не спускает с него глаз, будто он здесь чужой. Ну, так пусть хотя бы оставит его в покое!

Лампе наотрез ей отказал. Ни тебе ключа от погреба, ни ключа от кладовки — еще чего! Ни за что на свете! Подумать только: жалкая кухарка... Он, Лампе, стоит на несколько ступенек выше... Он слуга господина Канта. А что такое кухарка, если ее, конечно, можно так назвать? Его до сих пор выворачивает, как вспомнит жуткий вкус ее пирожных с малиной. Тьфу!

Тогда она начала вопить как резаная. Поносить его на чем свет стоит, обрушила на его голову все какие только есть проклятия. Он в долгу не остался: обозвал ее потаскухой и так далее. Пришла горничная — и туда же: прямо какой-то хор ведьм! А потом и садовник прибежал на крики. Ободренная сочувствием публики, она осмелилась накинуться на него с кулаками! И какая же силища у этой женщины! Она обшарила его фартук, сунула свою грязную лапу в карманы, пока другой прижимала его лицо к стене. И одновременно пинала его по голени! В конце концов негодяйка ухитрилась-таки отнять у него ключи.

Мало того, еще и господин Васянский пожаловал, вернулся, стало быть, из путешествия — давненько его не было видно! Явился вместе с преподавателем из университета, чтобы попытаться вытащить господина Канта на прогулку. И оба вбежали в гостиную, когда битва достигла "своего апогея", как потом Васянский говорил профессору — Лампе своими ушами слышал. По их словам, крики и ругань достигали другого конца Принцессинштрассе...

* * *

Он вновь ощутил холод. С каждым разом холодало все раньше. Совсем стемнело. Кант, закутавшись, лежал в постели. Вот уже несколько дней — счет он потерял — как Лампе не приходит с объявлением, что пора спать. Хотя, может, и приходит в обычное время, в десять, но в десять, а то и в девять профессор уже укладывается сам.

Наверное, Лампе заболел. Нет, вряд ли. Он же видел его в пять часов утра и позже, во время обеда. Может быть, это он, Кант, подхватил какую-нибудь инфекцию и его так рано клонит ко сну? Вернее, ему хочется поскорее лечь — совсем нет сил. Говорят, эта ужасная болезнь дыхательных путей — как она там называется? — начала косить жителей города. Судя по всему, ее занес ледяной ветер из русских степей. *Инфлюэнца*, вот как. Уж не заболел ли он *инфлюэнцей*?

Задержав дыхание на несколько секунд, он выпустил воздух через нос, одновременно простукивая грудь рукой, которую еще не успел спрятать под одеяло. Нет, легкие в порядке. Пока. Почки — другое дело. Может, это от наэлектризованности воздуха? На днях утром он наблюдал странные формы облаков. И коты, коты мрут как мухи — в Лондоне и в Берлине...

Он открыл глаза. Эта тишина... Сейчас он, слава богу, видит. Хуже всего было, когда он ничего не видел, даже с открытыми глазами. Тогда на него наваливалась страшная тоска.

Однажды ночью он решил, что умер. Проснулся, а вокруг — темень и тишина. Он боялся пошевелиться, боялся подтверждения, что уже не принадлежит к царству живых. Подбадривая самого себя, подумал: это всего лишь сон. Однако почувствовал, что ноги у него холодные и сырость пробирает до костей. А если все эти физические ощущения снятся ему уже за порогом смерти?

Он хотел было дотянуться до шнура, который приводит в действие колокольчик в комнате Лампе, но не смог пошевелиться. Так и лежал неподвижно в кромешной тьме и могильной тишине. В этом состоянии он пребывал до рассвета. Увидев, как открывается дверь, и услышав, словно издалека, монотонный голос Лампе, он испытал самое большое в своей жизни облегчение.

Когда в его руках вновь оказалось перо, первым, что он написал в записной книжке, было: "Впредь не поддаваться паническому страху перед темнотой".

После той ночи, когда собственная комната показалась ему могилой, он попросил, чтобы в изголовье кровати ставили маленькую зажженную свечку.

## 21

— Мартин, проснись! Мартин! Профессор звонит. Треклятый колокольчик вон как надрывается. Да проснись же ты!

Женщина приподнялась в постели и настойчиво трясла Лампе за плечо; тот спал на боку, слегка похрапывая.

— Что... что такое? Чего ради ты меня разбудила?

— Колокольчик! Беги наверх, не дай бог хозяин упал с кровати.

Лампе сел и зажег светильник. Над дверью в комнате неумолчно, прямо истерически заливался колокольчик. Лампе это выводило из себя. Слуга встал на табуретку и обвязал язычок грязным платком. Колокольчик продолжал раскачиваться с каждым рывком шнура, но теперь его почти не было слышно. Так бывает с человеком, когда ему заткнут рот и крики застревают в горле.

Не спеша, проклиная на чем свет стоит профессора Канта и весь его род, слуга Лампе накинул на плечи потертый халат и покинул комнату. Если опять примется твердить про дурацкие детские песенки, которые якобы доносятся из-под кровати, он ему прямо скажет, что... Песенки! Они в его безумной голове, вот где. Если не тишина, так песенки, если не песенки, так эта чушь про электричество... Или приспичило опорожнить мочевой пузырь...

Поднимаясь по лестнице, Лампе клевал носом. Как раз этой ночью, после недели бессонницы — какой уж тут сон, когда все кому не лень строят тебе козни, — ему наконец-то удалось уснуть пораньше под монотонный скрип жениной прялки. Во сне он вновь оказался на фронте и доказал свою храбрость совершенно необычным образом, теперь он не мог вспомнить, каким именно, хоть тресни.

— Лампе! Лампе! Лампе-е-е! — надрывался профессор.

Он и в самом деле свалился с кровати, да так неудачно, что опрокинул свечу, и она погасла. Это еще хорошо, подумал слуга, а то все бы мы сейчас горели. А вот и старик Кант — в темноте, на ледяном полу, запутавшийся в одеялах и покрывале. Непонятно, каким чудом ему удалось дотянуться до шнура.

— Ну же, помоги мне! Похоже, я сломал какую-то кость.

— Не думаю. Они у вас точно соломенные, а солома гнется, но не ломается.

— Не тебе судить про кости, болван! Лучше помоги подняться! Выполни хоть раз свои обязанности! Чем ты занимался? Я всю ночь трезвоню в колокольчик. Чуть не умер от холода! К тому же в темноте трудно понять, звонит он или нет. Ты ведь способен и шнур перерезать.

— Да вы наверняка и звонили-то не так долго, как теперь говорите. Я только-только его услышал, каких-нибудь полминуты назад. Даже моя жена не успела проснуться, а у нее сон чуткий.

— Лжешь! У тебя что ни слово, то ложь, если когда и сумеешь выдавить из себя связную фразу, то в ней вранья больше, чем червей в падали.

— Вы меня оскорбляете, профессор. У меня тоже есть чувство собственного достоинства!

— Какое же это оскорбление, это правда. Ай, не урони меня еще раз. Вот так, вот так, тихонько. Как же больно. Ты грубое животное!

Профессор дополз до середины кровати, до знакомого его телу углубления. Он весь дрожал, потому что замерз, лежа на полу.

— Что касается достоинства, ты даже не знаешь, что это такое. Не имеешь ни малейшего представления. У некоторых животных оно, кстати, есть, например, у собак, но у них есть еще и верность.

Слуга, который и без того пребывал в скверном настроении, потому что его разбудили в тот миг, когда ему в кои-то веки улыбнулись почести и слава, начал терять остатки терпения.

— Если я животное, то вы и того хуже. Вы камень!

Вне себя от ярости Лампе приблизился к мумии, смотревшей на него изумленными глазами. Палец Лампе указывал на то место, где под покрывалом надлежало находиться груди:

— Камень и есть, пустая порода! У меня-то по крайней мере двое детей имеется! А вы... благодарите Бога, что он не наградил вас потомством!

— Как... ты смеешь! — Кант почти не мог говорить от гнева. — Как ты смеешь, ничтоже... Да я тебя!..

Профессор перевел дыхание и крикнул что было сил:

— Убирайся с глаз моих долой! Вон из моего дома! Я больше не желаю тебя видеть!

* * *

Мартин Лампе осторожно притворил дверь, а не хлопнул, как делал всегда. Постоял с другой стороны, прислушиваясь. Старый профессор что-то бормотал и вполголоса ругался. Возвращаться к себе не хотелось. Жена изведет вопросами. Теперь уже не поспишь. Он пожал плечами и направился в конец коридора, в кабинет профессора. Надо успокоиться. Ноги подгибались, колени дрожали. Что-то подобное происходило с ним в тот день, когда он рухнул с подносом посреди столовой, покрыв себя славой и пирожными.

Войдя в кабинет, он зажег свечу. Погруженный в свои мысли, уселся в кресло профессора. Чернота за окном соответствовала его состоянию. Его подвел язык, глупый язык. Точно так же, как тогда, с проклятым капралом Кауфманом. Но старик сам напросился. Мало того, что будит по ночам, еще и оскорбляет! Может, и с кровати нарочно свалился. Наверное, ему стало страшно. Вчера вечером Лампе уловил страх в его глазах. Старый профессор начал испытывать ужас перед тишиной и темнотой. А раньше было прямо наоборот: тогда ему ничего другого не надо было — и ночью и днем подавай тишину и темноту.

А ему что за дело до страхов профессора! Лампе ему не сын, не брат, даже не дальний родственник! Всего лишь слуга, слуга почти сорок лет! Проклятье! Так-то ему платят за долгое и преданное служение.

Неужто он так и сказал: "Вон из моего дома!"? Может, Лампе ослышался? Хозяин его уволил! Старый тиран выкинул его на улицу! И это не угроза, как не раз бывало раньше. Теперь все всерьез. В глубине души Лампе знал это. И поэтому его охватил ужас.

Ему снова вспомнилась ловушка, которую ему устроили Васянский и его собственная жена, и громкий скандал, разгоревшийся потом у них дома. Стало быть, дьякон не ломал комедию...

Он вскочил, охваченный яростным волнением. В желудке ощущалась тяжесть, будто он наглотался камней. Взял стул и придвинул его к полкам. Отодвинул книгу и пошарил в глубине. В бутылке "Бишопа" содержимого оставалось на три пальца. Вынув стеклянную пробку, он залпом выпил все до капли. Жидкость влилась в горло, горячий поток устремился внутрь.

Колени перестали дрожать, ноги обрели твердость. Хорошо еще, что у него оставалось вот это. Он даже не потрудился возвратить бутыл-

ку в тайник. Зачем, если она пуста? Позже он спустится в погреб, пока у него еще не отобрали ключи и не выставили на улицу...

Со свечой в руке он приблизился к письменному столу профессора Канта. Гений, так его называют. Великий человек. Выдающийся мыслитель. Просвещенный философ. Титулов ему не занимать. Да и денег полно: кроме официального жалованья, тысяч двадцать талеров в банке. Уж теперь-то ему, старому Лампе, не обломится ни гроша. А рукописи? Наверное, они тоже имеют свою цену, если старик тратит на них столько времени: Кант ничего не делает просто так. В городе говорили, что его читают и знают по всей Пруссии.

Лампе сел за стол. Открыл один за другим все ящики. Сколько же бумаги перемарал профессор! Что за странное занятие — писать! Здесь хранилось несколько рукописей — в превосходном порядке, каждая в картонной обложке и перевязана красной лентой. К обложке приклеена бумажка с названием. Какие из них были напечатаны, а какие нет? Лампе брал их в руки наугад. В названиях, обозначенных на бумажках, он понимал отдельные слова, но представить, о чем шла речь, все равно не мог. Профессор способен с одинаковой легкостью писать как о землетрясении в Лиссабоне, так и о Боге и небесных планетах, по крайней мере так говорили. Рассуждал даже о напитках!

Лампе остановил свой выбор на одной не очень пухлой рукописи, всего страниц на двадцать-тридцать. Ее легче всего спрятать. И уничтожить, если на то пошло.

## 22

На другой день в пять часов утра все спали. Жене Лампе стоило немалого труда снова заснуть. Лишь в половине пятого физическая усталость сломила женщину, душа которой была объята тревогой и неизбывной печалью. Она слышала крики своего мужа и хозяина и, главное, заключительные слова последнего, поскольку спальню Канта от спальни супругов отделяли только доски пола и вытертый ковер. Хозяин взревел: "Вон из моего дома!" Это прозвучало словно библейское проклятие. А профессор Кант был не из тех, кто бросает слова на ветер. Его слово — закон.

Чем после этого занимался Мартин, бродя по дому? Не иначе как наведался в погреб. Он вернулся в постель очень поздно, почти на рассвете, от него разило алкоголем. Она притворилась спящей...

* * *

Утром, после семи, Иммануил Кант появился на кухне. Он, можно так сказать, сжался до минимальных размеров. В нем не было даже полутора метров от пола. Он казался сделанным из проволоки и соломы вместо плоти и костей. Голубые глаза, обычно выразительные и проницательные, лишились блеска и посерели, особенно левый, который уже почти полностью утратил зрение.

— Ваше превосходительство! — изумилась кухарка, поднося ко рту руки, перепачканные кровью и слизью.

— Добрый день. Не пугайтесь, госпожа Фолчер. Я спустился, чтобы попросить вас приготовить мне чай. Если это вас не обременит.

— Разумеется, профессор Кант! Сию минуту.

Кухарка прервала свою работу, вымыла руки и лицо в лохани с водой и вытерла тряпкой. Поставила чайник на огонь. Сходила за чаем в кладовку. Давненько Кант не видел, чтобы кто-то передвигался с такой быстротой.

— Пожалуй, сегодня я съел бы пару тостов, — тихо сказал профессор, усаживаясь за кухонный стол, а затем со вздохом добавил, как бы обращаясь к самому себе: — Я уволил Мартина Лампе...

Эти слова были встречены молчанием. Кухарка замерла было, глядя на него, и тут же вновь принялась хлопотать. Прибавила огня в печи и отрезала два ломтя хлеба.

— Думаю, ни разу в жизни я не вставал так поздно. Впрочем, один раз такое случилось, пятьдесят лет назад. Я тогда жил в доме профессора Купке, в новом городе. Там, по соседству с прихожей и лестницей, у меня была просторная классная комната, в которую набивалось невероятное количество учеников... Я простудился, у меня страшно болела шея. Дело дошло до того, что ночью у меня поднялась температура, наверное, я даже бредил, хе-хе... Ровно в семь меня разбудил шум голосов моих учеников. Обливаясь холодным потом и сгорая от стыда, я оделся. В считаные минуты мне удалось дойти до класса, где мальчики вовсю кричали и спорили...

Госпожа Фолчер осторожно поставила перед стариком чашку чаю, несколько тостов, намазанных маслом, и несколько розоватых кусков ветчины.

— А, уже готово... — Ум Канта, на несколько мгновений погрузившийся в прошлое, вернулся на кухню. — Вы быстры, словно молния, госпожа Фолчер. Думаю, вы теперь часто будете меня здесь видеть. Сколько времени я сюда не заходил?

— Три года, ваше превосходительство, — ответила женщина, чувствуя себя польщенной. — На это Рождество исполнится три года. Помнится, вы спустились вручить новогодние подарки нам с горничной.

— Да, точно. А кажется, что прошла целая вечность. Зато... наверно, вы сочтете это странным... я до мелочей запомнил обед, который вы приготовили для Мотерби, Соммера и меня в доме директора Кантера. Незатейливый и очень вкусный: говяжья печень с луком и картофелем.

— Какая у вас память, профессор Кант! Я бы никогда не вспомнила. Надо бы еще раз приготовить это блюдо... — В голосе госпожи Фолчер послышалась нерешительность. — Мне бы не хотелось вмешиваться в ваши дела, ваше превосходительство, но я спрашиваю себя...

— Говорите, говорите, что вам угодно, госпожа Фолчер.

— Я спрашиваю себя, что теперь будет с Лампе. Вы же знаете, я о нем не очень высокого мнения, но меня не оставляет мысль, что же будет с ним... и с вами, профессор. Вам никак не обойтись без слуги. Хотя, по правде говоря, все к тому и шло. Рано или поздно это должно было случиться. Мне и в самом деле жаль из-за госпожи Лампе, я сочувствую этой женщине. Что за крест иметь такого мужа!

Кухарка вздохнула. На глаза навернулись слезы. Ей было грустно. Она почувствовала жалость к себе самой. Вспомнила, по какой именно

причине не вышла замуж, и о том, что не за горами то время, когда господину Канту уже не понадобится кухарка.

— Одним словом... С вашего позволения... — Она собралась вернуться к прерванным занятиям, боясь не управиться вовремя. Когда же это она в последний раз готовила на обед печень с луком?

— Не волнуйтесь, госпожа Фолчер. Сегодня обеда не нужно, гости будут предупреждены. Я чем-нибудь перекушу — яичницей, филе, все равно чем. После такого замечательного завтрака, скорее всего, мне ничего не понадобится до самого вечера.

Кант откашлялся. Надо было решить этот вопрос как можно скорее.

— А сейчас я собираюсь попросить вас отставить все дела и незамедлительно отправиться за дьяконом Васянским, моим верным другом... Передайте ему, пусть приходит немедленно, мне необходимо его присутствие. Скажите, что случилось кое-что серьезное...

* * *

Васянский попытался преуменьшить важность происшедшего. Он знал, что таким образом ускорит дело. Он уже сделал все, что было в его силах, чтобы спасти Лампе. Никто не вправе его упрекнуть: он сам, лично, не раз его предостерегал. Столько предупреждений и угроз — и все впустую.

На этот раз последствия оказались неотвратимыми. Профессор не передумает, это очевидно. Несмотря на все попытки, дьякону так и не удалось выведать у старика, который демонстрировал в это январское утро небывалую ясность ума, что же там на самом деле стряслось.

— Лампе обошелся со мной таким образом, что мне неловко об этом говорить. — И добавил твердым и спокойным тоном человека, который когда-то был преподавателем логики и метафизики: — Я хочу, чтобы вы его рассчитали. Он не должен оставаться в доме. Прошу вас, позаботьтесь обо всем. Наймите нового слугу. Я все поручаю вам. Как вы поступите, мой дорогой друг, так и будет. Единственное, чего я желаю, — спокойно дожить свой век. Мне осталось уже недолго, возможно, меньше, гораздо меньше, чем я думаю.

— Ваше решение для меня более священно, чем если бы оно было принято мною, но вы уверены, профессор, что не хотите его пересмотреть? Вы могли бы дать ему последнюю возможность...

Кант метнул в Васянского свирепый взгляд, точь-в-точь такой же, как много лет назад, когда, будучи учеником, нынешний дьякон как-то раз во время урока позволил себе неосторожность усомниться в способности разума управлять жизнью людей.

* * *

На самом деле священник уже месяц подыскивал Канту другого слугу взамен Мартина Лампе. В Бреслау он изложил проблему знаменитого философа своему другу, дьякону собора. Тот рассказал ему о своем родственнике, который только что уволился из армии и жил в местечке неподалеку, к северу от Бреслау. По его отзывам, этот весьма способный и ответственный человек как нельзя лучше подходил для старика вроде

профессора Канта, за которым следовало ухаживать с терпением и тактом. Он не женат, так что ему будет несложно приступить к службе в любой момент. Живет на небольшую пенсию инвалида войны, и работа пришлась бы ему весьма кстати.

Тот, кому было суждено стать вторым, и последним, слугой Канта, произвел на Васянского самое благоприятное впечатление. Обрадованный дьякон написал из Бреслау своему коллеге Соммеру:

Петер Кауфман — так зовут упомянутого кандидата — человек сдержанный, с хорошими манерами, настоящий "мажордом", как выразился бы наш друг Грин. Его взгляд — глаза немного навыкате — свидетельствует об искренности и преданности. У него приятный выговор и превосходная дикция. Невысокого роста, сухощав, чуть выше нашего Канта, но почти такой же худой, как он. Получает пенсию по ранению на войне; рана — она представляет собой внушительный шрам, пересекающий левое плечо, — не мешает ему справляться с любой из обычных обязанностей слуги.

Со мной Кауфман был откровенен. Вы правы, Соммер: должно быть, я настолько открытый человек, что мне не боятся поверять самые сокровенные тайны своей жизни. Такое уже бывало и раньше... Ну так вот, этот самый Кауфман был ранен офицером, у которого он служил вестовым. Лейтенант, аристократ, чье имя он благоразумно опустил, был законченным пьяницей, каких в армии немало. Однажды вечером, напившись в стельку, этот горе-офицер принялся играть с заряженным оружием и нечаянно выстрелил, да так неудачно, что пуля попала прямо в плечо Кауфману, который как раз стаскивал с него сапоги. Тот провел три месяца в госпитале, а затем был направлен в канцелярию военной разведки в Йене.

Обо всем этом я вам рассказываю для того, чтобы вы видели, какой человек заменит Лампе. На сей раз мы не имеем права ошибиться. Итак, чувствуя себя морально подавленным, Кауфман решил попросить об отставке под предлогом раны в плечо. После описанного несчастного случая он утратил всякий интерес к избранной профессии. И поверьте мне, Соммер, картина прусской военной жизни, которую он мне нарисовал, просто ужасна. Канту будет интересно узнать о том, что он пережил, поскольку все это служит подтверждением его теорий.

## 23

Завещание Канта было изменено. Когда-то профессор отписал слуге щедрую сумму на случай, если бы Лампе прослужил у него до самого конца. Теперь это уже не имело смысла. Он внес следующее пояснение:

Вследствие недостойного поведения моего слуги Лампе, считаю необходимым...

Несколько дней спустя он вычеркнул эту фразу, потому что в действительности ему не хотелось, чтобы его неудовольствие было где-то засвидетельствовано. Кант опасался, что в будущем найдется человек, которому вздумается докопаться до мельчайших подробностей его жизни. Он был уверен, что в увольнении Лампе, — впрочем, как и в других

случаях, — правда на его стороне, но при этом в глубине души чувствовал досаду и вину за то, что пошел именно этим путем.

Последний раз Кант разговаривал с Лампе в своем кабинете в конце января: это было в тот вечер, когда Лампе с женой собрали пожитки и навсегда покинули дом на Принцессинштрассе. На улице бушевала метель, и ставни были наглухо закрыты.

Лампе постучал в дверь и вошел в комнату. Канту казалось, что он сидит внутри огромной раковины. Здесь, внутри, рев вздымающегося моря слышался приглушенно, словно доносился из другого мира.

Увидев перед собой Лампе, Кант вздрогнул. Ах да, дьякон говорил ему, что он придет. Слуга попросил у Васянского разрешения попрощаться с профессором. Он не мог ему отказать, это было бы не по-человечески. Как там он его назвал? Он не осмеливался повторить это даже самому себе. Его бросало в жар, будто напала лихорадка, стоило только вспомнить оскорбление, которое бросил ему слуга.

*Камень, пустая порода.*

Что такого мог сделать он, Кант, чтобы заслужить подобное оскорбление из уст Лампе? Непостижимо. Сколько он ни размышлял, ему не удавалось разгадать эту загадку. Он отказывался думать, что старый слуга тронулся умом. Может, есть какая-то другая причина? Если она существует, он должен ее найти.

Всю жизнь он внушал ученикам, что действия людей подчинены логике, а побудительной причиной является мораль, способность распознавать добро и зло. Сколько раз ему удавалось найти решение тех многочисленных жизненных проблем, по поводу которых к нему обращались люди! Хуже всего в истории с увольнением Лампе было то, что она повергла Канта в состояние растерянности. Если ему неведомы мотивы поступка такого близкого человека, как Лампе, что он вообще может знать о причинах, которые двигают человеческим существом?

Кант поднял голову и внимательно всмотрелся в лицо вошедшего: в каждый штрих, в каждую морщину, — и не уловил ни одной черты, которая показалась бы ему подлинной, знакомой. Пусть говорит, что должен сказать, и отправляется восвояси. Осужденным предоставляют последнее слово, прежде чем приводить приговор в исполнение.

— Прежде чем уйти, — прокричал слуга, стараясь перекрыть завывания метели, — я хотел попросить у вас, господин профессор, рекомендательное письмо.

Вот так сюрприз! Тот, кто изводил его все последние годы — обворовывал, грубил, устраивал склоки с остальными слугами, — осмелился просить рекомендации? Сомнений нет, он тронулся умом. Но разве сумасшедший действовал бы столь хладнокровно и нагло, как это делает Лампе?

— Что ты говоришь? Письмо? Как я могу рекомендовать...

Он уткнулся подбородком в грудь и поразмыслил несколько секунд. Этот недоумок поставил его перед дилеммой, несовместимой с его принципами. Рекомендовать что и кому? Он не видел в этом смысла. Мартин Лампе ждал около двери. Он теребил в руках фетровую шляпу.

— Полагаю, я имею на это право, ваше превосходительство. Я прослужил у вас немало лет.

Это так: *немало лет.* Тем не менее они прошли как-то вдруг.

Он ничего не помнит. Эти годы унес ветер, электричество. Почему иной раз минуты воспринимаются как века, а бывает — достаточно бросить беглый взгляд, не дольше вспышки бенгальского огня, — чтобы свести к какому-то итогу все, что пережито за сорок лет?



Сущность времени, подумал Кант, вот проблема, которой он уделил недостаточно сил. Сейчас он осознал всю важность этой загадки. Тем не менее уже поздно. Сам характер времени помешает вплотную заняться ее разрешением.

— Ладно, — в конце концов уступил старый профессор. — Дай сюда свое свидетельство.

Лампе пошарил в карманах и вытащил лист бумаги, сложенный вчетверо. Осторожно приблизился к письменному столу и придвинул лист своему бывшему хозяину.

Кант перечитал документ три раза, как будто до него не доходил смысл слов. Он ощутил, что на висках выступил пот. Потовые железы продолжали функционировать несмотря ни на что. Он чувствовал себя опустошенным, разбитым. Обмакнул перо в чернильницу. У него не было желания что-либо писать, рука в нерешительности застыла над бумагой.

Чернила высохли. Ему пришлось вновь обмакнуть перо, потом еще раз.

Какая ирония! Он без колебаний брался за перо, чтобы написать целые трактаты о тонких и неуловимых материях, сетуя, что рука не успевает за его собственными мыслями. Ему удалось отделить красоту и любовь к долгу от пользы и расчета. Он стремился к тому, чтобы восстановить путем рассуждений первоначальные истины и бессознательную деятельность души. Он даже открыл на основе математических расчетов планету Уран... И вот теперь он не знает, как написать пару простейших фраз о человеке, который полжизни провел с ним бок о бок.

Он чувствовал смущение и стыд. В желудке покалывало. Закружилась голова. Хотелось помочиться.

— Извините, господин профессор, повозка ждет у дверей, а метель усиливается...

— Да-да, конечно. Я уже заканчиваю. — И Кант поспешно нацарапал несколько слов.

* * *

Кауфман вошел в дом на Принцессинштрассе несколько дней спустя. Вначале Васянский руководил всеми его действиями. Он не представлял себе, чтобы кто-то мог отличаться от Мартина Лампе в большей степени.

Кауфман был способным человеком. Он без труда запоминал названия книг. Правильно произносил латинские слова, так же как и имена и звания посетителей. Его отношения с кухаркой сразу стали мирными и сердечными. Она доверила ему ключи от погреба и кладовки. Позволи-

ла находиться на кухне сколько душа пожелает и охотно готовила ему что-нибудь на ужин.

Первое время философ оставался непроницаем. Его сковал естественный страх перед новым человеком в доме. Он почти не разговаривал и отдавал как можно меньше распоряжений. Передвигался по покоям как чужой, который то и дело топчется на месте, не зная, куда идти.

Васянский прилагал усилия к тому, чтобы все опять вошло в свое русло. Каждый день за обедом бывали новые и самые разные гости. Приходили не только Грин с Соммером, но и блестящие молодые люди из университета, присутствие которых вносило жизнерадостность и непринужденность и стимулировало ум учителя.

Привычный распорядок дня был восстановлен. В пять он пил чай, теперь, правда, с печеньем. В час дня объявлялось об обеде, и его без промедления подавали. Кофе оказывался на столе еще до того, как об этом успевали попросить. Кауфман помогал Канту спуститься в сад. Постепенно философ возобновил свои прогулки. Он выглядел бодро и выразил желание совершить небольшое путешествие, хотя бы в соседний Данциг, куда до сих пор не отважился выбраться.

* * *

Прошло несколько недель, и как-то раз, вернувшись с непродолжительной из-за снега и холода прогулки, Кант решил, что должен закрыть для себя тему Мартина Лампе. Ни с кем ее не обсуждая, он все дни напролет только и делал, что размышлял о своем старом слуге. Вернее сказать, о Лампе и о *себе* самом. Какую оплошность совершил Кант, если Лампе сравнил его с камнем, не признав в нем человеческой природы? И еще более острый и существенный вопрос: почему Кант, всю жизнь учивший мыслить, придает такое значение необдуманной тираде какого-то грубияна?

Как он ни напрягал мозги, сколько ни погружался в историю тесных, но на деле далеко не близких отношений, он не был способен найти ответы, которые бы его удовлетворили. Оставались одни вопросы.

И он записал в своем дневнике, сдерживая обуревавшее его разочарование и скорбь:

Начиная с сегодняшнего дня и впредь более не вспоминать имени Лампе.

## 24

Мартин Лампе понял, что остался ни с чем, и пришел в отчаяние.

В глубине души он осознавал, что не создан для того, чтобы жить вот так, ни от кого не завися. Он привык кому-то прислуживать, соизмерять ход своей жизни с ходом жизни этого человека, Иммануила Канта.

Прежний уклад жизни все время давал знать о себе, и от этого он еще больше страдал. Он просыпался неизменно в половине пятого утра. Как бы поздно он ни лег или как бы ни был пьян, вернувшись из своих прогулок по портовым тавернам, в пять он уже слонялся по своему

крохотному дому: так старик, отойдя от дел, стережет, не смыкая глаз, приход неизбежного конца.

Внезапно Лампе понял, что тоже состарился. Как его прежний хозяин. До него дошло, что невозможно поменять привычки, приобретенные с годами. Он сам чуть ли не старше профессора, хотя по нему и не скажешь. Значит, он умрет, и, возможно, очень скоро, — может, даже раньше Иммануила Канта. Подобное открытие привело его в ужас. Это ему никогда не приходило в голову.



Раньше он представлял себе, что профессор умрет, а он будет жить в тени его славы, обретя благодаря ей вес и значение. Может быть, душеприказчики даже попросят его приглядывать за мебелью Канта, за его книгами, за его домом; за тем, чтобы кроны тополей не мешали видеть старую башню Лёбенихт из окна кабинета. Судя по тому, какие важные персоны в последнее время бывали в доме, его хозяин, взявший его в услужение еще в ту пору, когда зарабатывал на жизнь, уча уму-разуму ленивых лоботрясов, прославился не только в Кёнигсберге, но и во всей Пруссии. Поэтому есть все основания ожидать, что его похороны пройдут с большими почестями, а Мартину Лампе, всю жизнь прослужившему ему верой и правдой, будет отведена при этом главная роль. Он уже видел, как освобождает проход для людей, толпами стекающихся отовсюду, чтобы взглянуть на останки ученого. Зазвонят колокола всех городских церквей. Тело перенесут в университетскую церковь. Гроб понесут Васянский, Грин, Соммер, Мотерби, он сам, а также кто-нибудь из последних учеников. Со всех сторон их почтительно обступят студенты. За гробом пойдут представители всех сословий, начиная с городского главы и губернатора и кончая самыми низами общества. Именно низы, то есть простые люди, которые когда-то в далеком прошлом водили с ним знакомство, станут ему завидовать как никто другой. Он был и останется слугой, который — так уж сложилась судьба — денно и нощно не отходил от него на протяжении четырех десятилетий. Пожизненное звание, которое никто никогда не сможет у него оспорить. Он останется в часовне у гроба Канта. Будет звучать похоронный марш, вполне возможно сочиненный тем самым прусским музыкантом, который однажды приезжал к нему и имени которого он не запомнил. Прозвучат слова прощания, а затем он, Лампе, вместе с остальными поможет опустить гроб в склеп, примыкающий к собору. Последующие дни для него и Васянского будут до отказа заполнены хлопотами. Приятно будет посмотреть, как уйдет кухарка, — им с горничной наверняка отвалят слишком щедрое вознаграждение за труды. Если уж на то пошло, не исключено, что дом в конце концов решат продать, а вещи горячо оплакиваемого профессора Канта выставить на торги. Лампе уже представлял, как проводит подготовку к торгам, как имущество покойного взлетает в цене...

И вот теперь все это рассеялось как дым.

Вместо лавров героя, посвятившего жизнь гению, впереди маячил призрак его собственной глухой смерти. Он отчетливо представлял себе, как это произойдет: однажды кто-нибудь невзначай скажет старому профессору — тот уже оглохнет и почти ослепнет и не будет выходить из кабинета, — что Мартин Лампе, его бывший слуга, умер.

И что самое ужасное, — ему суждено умереть вдали от собственного дома, дома на Принцессинштрассе, из которого его выгнали, — вот где

был его настоящий домашний очаг! Сколько бы он ни пил, — пусть даже выпьет все вино в Кёнигсберге, — ему никогда не избыть нестерпимую горечь этого изгнания, этой невосполнимой потери.



* * *

Вскоре Лампе уже просто не находил себе места от отчаяния и под конец впал в безудержную ярость.

На короткое время несчастье объединило его с женой: раньше между ними стоял человек, которому муж служил, — он-то, как она начала понимать, и вытянул из него все силы. Она пыталась его утешить, убедить забыть профессора и постараться прожить последние годы для себя, в покое, — ну, может, выполняя небольшие поручения, которые разгрузили бы ее от работы. Пожизненная военная пенсия, да та сумма, которую Кант выделил ему при расчете, да те деньги, которые она сама получала за шитье, — все это позволяло им жить скромно, пусть и во многом себе отказывая, что не было редкостью среди людей их класса.

Однако судьба приготовила Лампе последний удар. В то утро он зашел в мясную лавку, чтобы забрать свиные почки, которые его жена заказывала накануне. Сын мясника, которого он хорошо знал — тот доставлял заказанное мясо на Принцессинштрассе, и они с ним проворачивали свои дела со счетами, — позвал его в подсобное помещение.

— Лампе, старина, я узнал на днях, что ты покинул ученого. Клянусь тебе, я остолбенел. На кухне ошивался какой-то тип, которого я никогда раньше не видел: он то и дело сновал в кладовку и обратно, словно у себя дома. Кухарка отрекомендовала мне его как нового слугу профессора. Мне стало не по себе, что тебя там больше нет... Как бишь, она сказала, его зовут? — мясник почесал в затылке, силясь вспомнить. — Кафман, кажется, или что-то вроде. Я уж собирался было перекинуться с ним парой слов, чтобы нащупать, где там у него слабая струна, ну, ты меня понимаешь, — парень по-приятельски ткнул Лампе в бок, — но тут зазвенел колокольчик, и он опрометью кинулся вверх по лестнице. Будто на пожар. Надо же, какая прыть! Тогда-то госпожа Фолчер и поведала мне, что стряслось, со своей, конечно, колокольни, ты меня понимаешь, и я ей сказал...

— Постой-ка, — прервал его Лампе, дрожа от волнения. — Каков собой этот тип, я имею в виду, которого тебе представила кухарка?

— Да я его видел всего-то пару минут, — ответил мясник, удивляясь внезапному интересу Лампе. — Сдается, у меня еще будет случай подробно рассказать тебе о нем, что да как, когда я его увижу в следующий раз...

— Небольшого росточка, худой, с унылым лицом и выпученными глазами, которые пронзают тебя насквозь, будто два стилета? Говорит тихо-тихо и как не от себя, тянет слова, будто сам себя слушает?

Лампе задавал эти вопросы, почти не переводя дыхания; казалось, он сейчас ухватит мясника за фартук, перепачканный кровью, чтобы заставить того рассеять его сомнения как можно быстрее.

— Он поминутно подносит руку к подбородку? — вновь приступил он к допросу.

Мясник смотрел на него с изумлением:

— Если тебе известно больше, чем мне, почему ты меня спрашиваешь?

— Мне надо это знать, мне надо знать, *он* ли это.

— Кто такой *он*?

— Кауфман ли это... проклятый недоносок Кауфман.

— Но я же тебе сказал, что его так и зовут.

Сын мясника протянул руку, схватил нож с широким сероватым лезвием и принялся весьма энергично натачивать его с помощью стального бруска.

— Успокойся, дружище. Я вижу, ты хочешь знать, тот ли это Кауфман, с которым ты знаком. Боюсь, это так, приятель. Если это не он, то очень на него похож. Я бы сказал, что он точнехонько такой, как ты только что его описал. Худой человек невысокого роста, лет семидесяти-семидесяти пяти, с пронзительными карими глазами. Да, я как раз обратил на них внимание, потому что, по правде говоря, у него не было времени поведать мне историю своей жизни. Твой бывший хозяин стал трезвонить в колокольчик, будто его режут. Этот Кауфман ограничился тем, что сухо протянул мне руку, — я сразу подумал, как мне тебя будет не хватать, Лампе, если ты понимаешь, о чем я... Мне пришло в голову, что он из другого теста, не то что ты да я. Ах да, госпожа Фолчер ведь говорила, что он, как и ты, служил в армии, точно. Он был капралом или сержантом, но его ранили. Если верить ее словам, он чуть ли не герой войны. Что я буду тебе рассказывать, ты и сам знаешь! Тебе же известно, как кухарки любят приврать...

## 25

Лампе был уверен, что рано или поздно его позовут обратно. Как они без него обойдутся?

В этом доме на попечении Мартина Лампе находилось все, кроме еды, абсолютно все. Казалось невероятным, чтобы им могла прийти в голову мысль кем-то заменить его. А подумал ли Васянский, что Канту ни секунды нельзя перечить, что он не потерпит, чтобы кто-то делал что-то хотя бы чуть-чуть не так, как он требовал этого от Лампе на протяжении многих и многих лет?

Он еще помнит ту бессмысленную сцену, когда хозяин упорно заставлял его повторять, а все из-за того, что он, видите ли, не так произносил одно слово — название газеты, которая выходила два раза в неделю и которую Кант любил читать. Он появлялся в его кабинете и объявлял:

— Господин профессор, вот "Газета Гартена".

А тот отвечал с плохо скрываемым удовольствием:

— Что я слышу? "Газета Гартена"? Такой газеты не существует. Я же говорил тебе, что не Гартен, а ГАРТУНГ.

— Сожалею, господин профессор, — равнодушно извинялся он.

— А ну-ка, повтори за мной: не Гартен, а Гартунг.

— Не Гартен, а Гартунг, — заученно выкрикивал он, будто пароль и отзыв для караульных. Здесь Кант уже начинал улыбаться:

— Еще раз. Не Гартен, а Гартунг.

И он должен был гаркнуть и раз, и два, с каждым разом все громче — наверно, его слышали на улице, а то и в тюрьме:

— Не Гартен, а Гартунг!

И так дважды в неделю в течение тридцати лет. Пока чертова газета, название которой Лампе замучился выговаривать, не перестала выходить во время войны из-за перебоев с бумагой; впоследствии, когда они снова стали ее получать, слуга ограничивался тем, что оставлял ее на письменном столе, не говоря ни слова.

Кант не упускал случая выставить его в смешном виде. Это было для него ежедневным упражнением — так иной человек, встав утром, потягивается или полощет горло, чтобы размять мышцы или прочистить голосовые связки.

Кант не сможет без него обойтись. Лампе был составляющей воздуха, который позволял Канту дышать. Поэтому он и попросил у него рекомендательное письмо. Его сочли идиотом, однако это был продуманный ход. Он хотел, чтобы тот помучился, извелся: чтобы подумал, что потеряет его, потому что Лампе тут же найдет работу в другом доме. Весь Кёнигсберг наслышан о том, какие коленца откалывает философ. Ясно, что все оценят бесконечное терпение слуги, никому не придет в голову считать его виновным в собственном увольнении. Пусть его здорово задело то, что Кант в итоге написал в рекомендательном письме (*...хотя он долгое время служил мне верой и правдой, не проявил надлежащих качеств, необходимых при уходе за старым и больным человеком вроде меня* и т. п.), он не придал этому большого значения. Его еще будут умолять вернуться.

Как же он заблуждался!

Мир рухнул, когда он узнал, что нового слугу наняли спустя всего несколько дней после того, как он с достоинством — тем самым, в котором профессор ему упорно отказывал, — откланялся. А разве достоинство есть только у ученых людей?

* * *

И теперь заключительный удар — Кауфман!

Откуда, черт побери, он взялся? Ранен в бою? Да хоть бы его порубили на мелкие кусочки французы, австрийцы и русские! Почему он преследует его как предвестник беды, как ангел смерти? Мало того, что он пустил под откос его карьеру в таком теплом местечке, как цейхгауз. Лампе запросто мог быть произведен в капралы, его ожидало спокойное и безбедное существование. С портными у него уже все было на мази, а за цейхгаузом дело не стало бы! Старшина ему благоволил, в конце концов и он мог войти в эту невинную сделку. Кому было плохо от того, что он не отказывался от чаевых и кое на что закрывал глаза? Кого волновало, что солдаты носят форму, в которой одно плечо у́же другого или левый карман кафтана менее глубок, чем правый, — если эти бедные манекены все равно должны погибнуть и измарать в крови замечательное синее сукно?

Так нет же: надо было Кауфману вмешаться в его жизнь и все испортить. Как раз у Кауфмана самая что ни на есть рабская душа. Канту понравится его исполнительность, его произношение, его ненужное чув-

ство ответственности. Может, Лампе и идиот, однако в действительности, присваивая себе тайком, что ему полагалось, он освобождался от своего рабского состояния. Под маской неуклюжего шута, состоящего при великом мудреце, скрывался свободный человек — по-своему великий и по-своему ничтожный. Человек, который больше думал об удовольствии, чем о долге.



Бог покарал его за его простодушную самонадеянность. Ясно, что и Создатель туда же, что и Кант: тоже предпочитает иметь слабоумных рабов, готовых к слепому повиновению. Вот и прислал снова Кауфмана ему в наказание. Винить, кроме себя, некого. Жена была права: он сам напросился.

Нет никакого сомнения в том, что он идиот.

* * *

Лампе пьянствовал и плакал. В минуты трезвости ярость не умещалась в его теле. Он бил кулаком в стены и крушил все, что попадало под руку. Представлял себе, как Кауфман спит в его кровати, будит хозяина, подает ему завтрак, спускается в погреб, шутит с кухаркой, платит по счетам, беседует с Васянским о профессоре Канте...

Представлял себе, как тот присваивает себе его прошлое. Стирает его следы. Пьет его вино.

— Что с тобой на этот раз, Мартин? — встревожилась жена: она никогда не видела, чтобы он плакал.

— Он нанял другого слугу.

— Ясное дело! Не останется же профессор Кант без слуги, на старости лет да к тому же будучи таким больным. А ты как думал?

Она подошла к нему. Ласково попыталась развести руки, которыми он обхватил голову.

— Мартин, я тебя умоляю. Ну хватит! Ты не можешь ничего изменить. Ты же обещал, что все забудешь. Ты себя убиваешь. Перестань изводиться. Какое тебе дело до того, кто теперь мыкается на твоем прежнем месте? Наверняка какой-нибудь бедный малый. Я уже и думать забыла о доме на Принцессинштрассе.

Он не рассказывал жене про Кауфмана. Она бы и не поняла: у нее не было ни капли самолюбия. Как ей взять в толк, почему это обстоятельство — что именно Кауфман, а не кто-то другой, исполнял обязанности слуги Канта — ранило его в два, в три раза больнее. Терзало душу.

Пока жена готовила ужин, Лампе поднялся в комнату. В кованом сундучке он хранил бесценные реликвии своего прошлого: последнюю форму, которую носил перед отставкой; абордажную саблю, положенную прусскому солдату по уставу; медаль, сорванную с мундира одного погибшего офицера, и, что самое ценное, — рукопись Иммануила Канта, взятую у него со стола в ту ночь, когда профессор выгнал его из дома.

Он вынул рукопись и сел на пол, прислонясь к открытому сундуку. Увидел вновь знакомый твердый острый почерк — и слезы брызнули фонтаном из глаз Лампе. Сколько раз ему приходилось видеть, как Кант пишет! Сколько часов за все эти годы он простоял, прислушиваясь к глуховатому, ровному голосу Канта, проводившего занятия со студентами,

которые приходили к нему домой! Тысячи раз он слышал, как после некоторого молчания, будто потеряв нить рассуждений, Кант произносил следующую фразу:



*Я не оратор и не претендую на то, чтобы вы, мои ученики, тоже ими были. Вы приходите сюда, чтобы научиться думать.*

Рукопись намокла от его слез. Он вытер ее рукавом, а затем то же самое проделал с глазами. Что там такое написано на наклейке? Лампе провел по надписи указательным пальцем. Покорпев над буквами, подобно ребенку, постигающему грамоту: и буквы, и их начертание ему были известны — не хватало умения соединять их и таким образом извлекать смысл, — он, наконец, ухитрился прочесть предложение от начала до конца:

*Конец всего сущего.*

Ему было непонятно, что это значит. Что это еще за *сущее*? Фраза для него не имела смысла, слишком уж расплывчата. Он ничего не поймет, если возьмется за текст. Больно сложно для него. Кухонные счета: слово и рядом цифра — вот самое большее, на что достанет его скудных навыков чтения.

Какой же он, право, неуч. Настоящий болван. Между ним и ученым профессором — целая пропасть, непреодолимое расстояние. Такая несоразмерность делала его похожим на великана, который играет миром, как мячиком.

Ему пришло в голову, что, может, потому Канту так нравилось видеть его каждое утро в пять часов, что его будил тупица, недоумок.

## 26

Кофе холодный как лед. Она так долго несла его, что он совсем остыл. Что бы жена ни делала, все не по нему. Лампе взрывается по любому поводу. Взял и смахнул чашку на пол.

— Даже приличной чашки кофе я не заслужил! — Кажется, будто он радуется своему несчастью.

"По крайней мере сегодня не кричит на меня и не угрожает", — думает она, собирая осколки и вытирая следы кофейных брызг. Ночью он бредит в лихорадке. Издает стоны и выкрикивает проклятия. Неожиданно садится в постели, словно услышав, как кто-то зовет его посреди ночи.

Вот уже несколько дней жена Лампе собирается посоветоваться с врачом, но не осмеливается предложить это мужу. Прописали бы ему травяной настой, глядишь — он бы и спал спокойно... Нервы у него расшатаны — вот он и расшатывает их ей. Почти не поверяет ей своих мыслей. Да в этом нет надобности, по правде говоря. Она и так их угадывает, осталось только смириться со своей бессмысленной и унылой судьбой. Что в доме Канта, что здесь она живет с ощущением пустоты и сиротства. Все то же страдание. Нет, там было хуже, потому что каждый

день приносил надежды, которые умирали до срока. Неопределенность того, что должно было случиться, изводила ее еще больше. Она все время ждала, что последняя капля вот-вот переполнит бездонную чашу терпения Иммануила Канта.

Теперь то, что должно было произойти, уже случилось. Ее жизнь, как и жизнь ее мужа, окончательно зашла в тупик. Что бы ни стряслось, отныне ничего не сможет удивить жену Лампе. Она покорилась судьбе.

* * *

На улице по-прежнему сильно метет. Дома, вернее бараки нового района, в котором они живут, засыпало толстым слоем снега. С выступов крыш свисают сосульки. Дороги, прорытые в снегу, похожи на ущелья, в которых бесследно исчезают повозки и редкие путники.

Мартин Лампе смотрит из окна в сторону центра Кёнигсберга. Над крышами домов и шпилями звонниц дым из труб смешивается со снежинками. Февраль немилосердно их стегает. Если бы это наказание постигло его где-нибудь в июле или августе, все было бы по-другому.

Солнце и тепло смягчают страдание. Яркий свет размывает очертания реальности. Напротив, зимний свет обладает удивительной способностью проникать повсюду. Подобно скальпелю хирурга, расчленяет предметы в поисках дурных примет. Его холодные лучи добираются до самых нежных и чувствительных органов. Становится очевидно, насколько нелепы потуги любой мало-мальской надежды.

Сегодня, ничего не говоря жене, Лампе зашел в одну церковь. Сел в углу, где пахло воском и сыростью. Неподалеку от пьяниц, растянувшихся на скамьях.

Впереди его была дюжина занятых рядов. Люди стояли. Слева, вдалеке, священник произносил с кафедры проповедь, обращаясь к прихожанам. Он говорил о рае. Адам и Ева были оттуда изгнаны. Вот тогда-то они и познали свою наготу.

* * *

Они с женой ходили по дому, накинув что-нибудь на плечи и не снимая варежек. В помещении холодно. Ноги в валенках обернуты тряпицами. Они задолжали за уголь, но и с дровами тоже туго. Старому слуге недостает сил, чтобы добраться до общественного леса в трех километрах от дома и, толкая тележку впереди себя, привезти оттуда обледеневших дров.

А там, на другом конце города, стоит большой и хорошо натопленный дом, в котором теперь обогревается даже комната, выходящая в сад. Васянский уговорил-таки своего старого учителя топить камин в спальне. В последнее время тот часто простывал. Врач заверил его в том, что если он не будет поддерживать температуру своего худого тела, лишенного и капли жира, то мгновенно схватит воспаление легких.

Лампе с ненавистью думает о Кауфмане. Он украл у него место рядом с Кантом. Во второй раз разрушил его жизнь. Однако в голове не укладывается, чтобы он был способен его заменить. Опыт стольких лет не

переплюнуть вот так, за десять дней. В противном случае более половины его жизни оказалось бы перечеркнуто. Кауфман не менее сотни раз в день должен попадать впросак. И всякий раз Кант вспомнит Лампе. Хочешь не хочешь, а вспомнишь. Вот тут-то до него и дойдет, какими достоинствами обладал он, Лампе. А то он столько времени маячил перед хозяином, что тот уже перестал их видеть...

* * *

Лампе измучила бессонница. В этом доме ему не спится. Он скучает по своей спальне там, на Принцессинштрассе. Сколько же всего ему не хватает! Необходимо туда вернуться. Он еще в состоянии работать, быть полезным великому человеку. Кажется, его вот-вот задушит тоска, которая временами растет у него в груди. Он думает, что уже пора вернуться, предстать перед профессором Кантом и попросить прощения за то, как он о нем отозвался. Он глубоко раскаялся. Еще есть время все исправить. Ему хорошо известно, насколько великодушен бывший хозяин. Не раз приходилось становиться свидетелем того, как он менял решения, казавшиеся неизменными, — как в случае с его сестрой, когда он подыскал ей работу.

Он отдаст ему рукопись. "Вот 'Конец всего сущего'", — скажет он ему. Объяснит, что взял ее, потому что ему хотелось иметь что-то на память. А теперь понимает, что поступил плохо, и не может чувствовать себя спокойно, пока ее не вернет.

Решено. Он отправится на рассвете. До пяти. Дождется, когда настанет время, и приготовит чай, как всегда. В нужный момент, ни секундой раньше, ни секундой позже, откроет дверь комнаты и буднично, по-солдатски отрапортует: "Господин профессор, уже пора".

И тогда Иммануил Кант встанет с постели, и все возвратится на круги своя.

## 27

Снаружи темнота поглотила даже снежную белизну. Лампе смотрит в окно, но видит только собственное лицо, отраженное в стекле. Как же он постарел за последние недели.

Он только что выпил три рюмки гроша. Чувствует тепло внутри. На часах в гостиной половина десятого. Пора отправляться. Потребуется самое меньшее минут двадцать, чтобы пройти Кёнигсберг из конца в конец.

Он откидывает крышку сундука, в котором хранит рукопись Канта. Проводит по ней рукой, ощущая себя собственником. Он привязался к ней, так не хочется с ней расставаться. Когда-нибудь он взял бы да осуществил героическую попытку прочитать ее от начала до конца. Лампе засовывает рукопись во внутренний карман кафтана, чтобы не намокла по дороге.

В комнату входит жена.

— Куда ты в такое время, Мартин?

— Не твое дело. — Лампе колеблется перед тем как продолжить: — Собираюсь выполнить свой долг.

— Какой долг? Твой долг оставаться здесь, в этом доме.

— Нет, ты совершенно заблуждаешься. — Он поворачивает голову к окну и глазами указывает точку в темноте, как будто там, снаружи, вырисовываются очертания храма. — Мой долг — находиться в доме господина Канта.



Жена Лампе горестно усмехается. Ей приходит в голову, что, если его хорошенько поддеть, он обрушит на нее всю ярость, которая угадывается в его взгляде. Тогда его внимание переключится, и он не отправится безумствовать на Принцессинштрассе. Она-то знает, что малейшее препятствие отвлекает его от выполнения задуманного. Вот уже несколько недель он говорит, что отправится за дровами, а воз и ныне там. Заявляет, что собирается уйти и вернется поздно, а возвращается минут через десять со сконфуженным видом, забыв, что́ собирался сделать.

— Поздно хватился, — говорит она уверенным, не допускающим возражений тоном. — Ты уже давным-давно все испортил. Господин Васянский и я тебя предупреждали. Уже ничего не исправишь. Ты прекрасно знаешь, что профессор в тебе не нуждается. Если бы ты в тот день к нам прислушался...

— Замолчи, женщина!

Лампе с силой отшвыривает ее к стене. Она с пронзительным криком падает на бок.

— Не ходи, Мартин! Будет хуже!

Невзирая на ее слезные мольбы, муж отворяет входную дверь. Резкий ветер, казалось только того и ждавший, прямо с порога дома, в котором живет чета Лампе, немедленно врывается внутрь и начинает наводить свои порядки.

Мужчина, хлопнув дверью, шагнул в ночь.

* * *

Принцессинштрассе словно черная линия, проведенная на белой бумаге. Ветер почти совсем стих, пока Лампе добирался с одного конца города на другой — на это ушло больше времени, чем он думал. Ночь морозная, но спокойная. Хлопья снега на ветках деревьев напоминают нахохлившихся, застывших голубей.

По хорошо знакомой тропинке, засыпанной снегом, Мартин Лампе обогнул трехэтажное здание; в такое глухое время оно было пугающе темным.

Окна кухни отбрасывают два снопа неяркого света на белый сугроб почти метровой толщины. Лампе подглядывает в окно — с того края, что остался не заиндевевшим. Ветра нет, а руки совсем закоченели — видно, в ближайшие часы надо ждать сильного мороза.

Сначала он не видит, что там внутри. Постепенно становится ясно, откуда исходит свет. В правой стороне кухни он различает фигуру человека, сидящего спиной к огню. Его лицо остается в тени. Через какое-то мгновенье фигура, шевельнувшись, оказывается в круге, очерченном колеблющимся светом свечи.

— Кауфман, — сквозь зубы цедит Лампе и повторяет еще раз, словно желая убедить самого себя: — Кауфман.

Тот сидит за кухонным столом, повернувшись спиной к очагу, и читает огромные листы, сложенные вдвое. "'Газета Гартунга', поди", — думает Лампе. Вовек не забудет это название. "Не Гартен, а Гартунг". Как будто ему неизвестно. Он не собирается оставлять газету на письменном столе, нет, он войдет — когда вновь утвердится на рабочем месте — и объявит: "Профессор, 'Газета Гартунга'". Так будет поступать два раза в неделю и ни разу не оговорится. Его хозяину придется поискать другую тему для обсуждения. "Газета" свое уже взяла.

Лампе чувствует, как неожиданно в нем вскипает злость: на протяжении долгого пути буря, казалось, улеглась, как будто прогулка по морозу ее порядком охладила. Он вновь ощутил приступ изжоги, усиленный грошем. Ему обжигает горло.

Дрожа, он наблюдает за тем, как Кауфман читает. Тот с видимым усилием шевелит губами. В руках дымящаяся трубка, сидит себе в тепле и покое. Видать, вконец освоился в недавних владениях Лампе. Ему даже позволено располагаться на кухне, куда Лампе и вход-то был заказан.

Разница в их положении — вот она, далеко ходить не надо. Где сейчас Кауфман, а где он: торчит здесь, шпионя, словно бродяга, высматривающий тарелку с объедками. Пальцы начали замерзать. В мочках ушей сильно покалывает.

"Не больно-таки изменился проходимец", — говорит себе Лампе. Подходит под описание, данное мясником. Как в любом достаточно постаревшем человеке, характерные черты в нем со временем обозначились вполне. Когда-то у него были залысины — теперь они стали частью обширной лысины. Очки в серебряной оправе то и дело соскальзывают с горбатого носа. Он так и остался худым, считай, что кожа да кости, непонятно, откуда берется столько энергии у тощих людей вроде него.

* * *

Последний раз они виделись друг с другом перед тем, как капрал Кауфман отбыл в военном конвое на пару с офицером, при котором он состоял. Они оба были откомандированы в лагерь, расположенный в устье Вислы. Лампе и Кауфман несколько секунд с ненавистью смотрели друг на друга, затем Кауфман захлопнул дверь вагона. Лампе остался стоять в строю на перроне, вместе со своей ротой ожидая другого поезда, который должен был доставить его в Кёнигсберг — туда, где закончилась его военная жизнь и началась гражданская.

К счастью, кафтан Лампе велик и хорошо согревает тело. То обстоятельство, что его служба была связана с формами, сослужило ему добрую службу. Имея на руках удостоверение отставного солдата, он регулярно наведывался на склады главного штаба в Кёнигсберге. Там его снабжали поношенной формой. Тот, кто когда-то ее носил, погиб на фронте.

Лампе ощупывает пояс под кафтаном. К нему пристегнут старый тесак. Замерзшие пальцы едва осязают знакомый рельеф рукоятки. Он с трудом вытаскивает тесак из ножен. Потемневшее лезвие блестит: он утром смазал его маслом. Пора бы уже войти в дом.

Он прокладывает себе путь по снегу — тот скрипит под ногами, поскольку мороз усилился, — и наконец добирается до черного входа. Так и есть: засов не задвинут. Он-то всегда задвигал его в десять: хозяин ложился спать, а Лампе совершал привычный обход, прежде чем в свою очередь отправиться на боковую.



Он входит в небольшую прихожую на половине прислуги. Отряхивает снег с валенок о металлический коврик. Дом чересчур натоплен для холода, который царит снаружи. Они, видать, не жалеют угля. А еще обвиняли его в расточительстве! Вдыхает в себя запах вареных овощей и гороха — этот суп любит профессор.

Ему уже удалось немного согреться. Ломит руки, лицо раскраснелось. Чтобы иметь большую свободу движений, Лампе снимает кафтан и вешает его на один из крючков вешалки. Потом чуть ли не на ощупь продвигается по коридору, ориентируясь по слабому свету, идущему из кухни, дверь в которую лишь прикрыта. Он старается не шуметь.

Уж кому-кому, а ему прекрасно известно, в каком месте половицы жалобно скрипят, а где стойко переносят вес тела. Дойдя до двери в кухню, он останавливается, чтобы прислушаться. Так и есть: как он и предполагал, в очаге — в такое-то время! — пылает новое бревно. Какое расточительство! Кауфман как раз из тех, кто, неукоснительно исполняя приказы, пускает на ветер деньги армии. Какая надобность жечь ночью целое бревно, когда все спят, укрывшись в постели?

Кауфман сидит на кухне один. Кухарка и горничная недавно удалились. Новый слуга просматривает страницы "Газеты"; он выглядит сосредоточенным и серьезным, как человек, который изучает важные вопросы, а вовсе не ищет в чтении развлечения.

Лампе широко распахивает дверь, и она с шумом ударяется о деревянную бадью. От неожиданности слуга вскакивает и при этом сворачивает газету.

— Какого черта...

Кауфман лишается дара речи. Хотя физиономию Лампе скрадывает полумрак, очертания его фигуры и манеру двигаться ни с чьими не перепутаешь. Когда тот делает шаг в его сторону, он видит темные угрожающие глаза. Покидая Потсдам, он мог бы поклясться, что никогда с ним больше не встретится. Взгляд Лампе выражает недоверие и ярость — точь-в-точь как в тот раз, когда он пьяным напал на него в казарме. На лице по-прежнему видны следы оспы, более ясно обозначившиеся на правой щеке. С возрастом он ссутулился.

Заметив тесак, который Лампе сжимает в левой руке, Кауфман чувствует напряжение в предплечье. У него под рукой нет оружия, чтобы защититься в случае необходимости. Он в его власти. И, судя по виду нежданного гостя, вот-вот подвергнется атаке. С того самого момента, как он узнал, что имя слуги, уволенного профессором Кантом, Мартин Лампе и что тот живет в Кёнигсберге, он был уверен, что со дня на день столкнется с ним нос к носу и эта встреча будет не из приятных.

Однако он никак не ожидал, что тот осмелится ворваться в дом, да еще ночью. А ведь это, как сейчас он понимает, вполне в духе Лампе с его-то норовом. Как же он теперь жалеет о том, что не предусмотрел опасности, которой в данный момент подвергается.

Сейчас, думает Кауфман, мое единственное оружие — слово. Он вспоминает, что с идиотами и сумасшедшими надо говорить спокойно, не делая пауз, выигрывая время. В этом случае их внимание поглощается попытками уловить смысл сказанного, и тогда-то, стоит только им зазеваться, появляется возможность свести атаку на нет. Когда-то ему порекомендовал это капитан Хольцмайстер. Никогда не представится лучшего случая осуществить это на практике.

Если военная хитрость не удастся, ему конец.

## 28

— Вот и свиделись вновь, Кауфман. Надеюсь, ты рад.

Лампе стоит, раздвинув ноги и сжав тесак в правой руке.

Непохоже, чтобы он был настроен на долгие беседы, поэтому Кауфман поспешно заводит разговор ровным и примирительным тоном:

— Добрый вечер, Мартин Лампе. Я знал, что вы придете. Вот уже несколько дней, как я ожидаю вашего прихода. Если бы вы не появились, я сам отправился бы повидаться с вами в свой выходной. Мне хотелось, чтобы вы услышали из моих собственных уст, что вся вина за мое присутствие здесь в качестве слуги Канта лежит на судьбе, которая играет нашими жизнями, не давая возможности противостоять ей. Вы ошибаетесь, если думаете, что я знал, кого мне предстоит заменить. Да откуда же, никто не называл вашего имени. Мне рассказали только, с какими трудностями придется столкнуться, прислуживая пожилому человеку, вдобавок за несколько десятилетий привыкшему к одному и тому же слуге. Не думаете же вы, что это я лишил вас этого места. Я не имею к этому никакого отношения. Абсолютно никакого. Клянусь вам всем святым.

— Ты, поди, думаешь, что я тебе поверю? Не смеши меня. Ты меня просто преследуешь, Кауфман. И преследуешь с того самого дня, как переступил порог казармы в Потсдаме. Доказательство — твое присутствие здесь. По какой другой причине ты мог оказаться в этом доме и теперь занимаешься тем, чем я занимался спокон века, еще до смерти старого Фрица? Наверняка все эти годы ты за мной шпионил. Выжидая, когда наступит подходящий момент, чтобы нанести мне удар, не так ли? Где ты был все это время, Кауфман?

— В армии, на войне. Я побывал на стольких фронтах, что не упомню, Лампе. В стольких сражениях, что у меня вылетели из головы названия мест, которые мы освобождали. Я был свидетелем гибели многих наших товарищей — наверняка и вам, на протяжении всей военной службы, случалось это видеть. Мне также довелось ощутить жар, ужасное воодушевление, проливая кровь врагов, видя, как они, наши враги, умирают самой страшной смертью... Однако ничто не может сравниться со страшной картиной гибели капитана Хольцмайстера, которая запечатлелась в моей памяти. — Кауфман опустил голову. — У меня до сих пор стоит перед глазами его тело, изрубленное саблями казаков, растоптанное копытами лошадей и в результате превратившееся в кровавое месиво...

Лампе тишком подобрался к нему еще на пару шагов.

— Я здесь не для того, чтобы ты рассказывал мне о твоих подвигах, Кауфман. Я тоже навидался всякого и, как любой другой, много чего пережил на войне. Но, знаешь ли, мне пришлось пострадать еще больше по милости одного чертова солдата из потсдамского гарнизона. Потому что я не смог дослужиться, как он, до капрала. Потому что мне пришлось убраться с военной службы, как побитой собаке. Тебе известно, о ком речь?

— Я сожалею, в самом деле сожалею. — Кауфман поднял руки вверх, развернув свои белые и мягкие ладони вперед: мол, сдается и принимает все обвинения, которые выдвинул против него Лампе. — В то время я был слишком молод. Я был неопытен и не мог знать, что все в жизни преходяще. Верил, что исполняю свой долг... Теперь-то я понимаю, что заблуждался. В мои намерения не входило вредить вам, ни тем более провоцировать ваш уход из армии. А главное, уверяю вас, я оказался в этом доме по странной воле случая.

— Случая? — Лампе поиграл тесаком. Поднес его к глазам, словно пятна ржавчины на лезвии таили в себе некое послание, которое до этого он не догадался прочесть. Может, это история его жизни? Ему вручили это оружие, когда он был еще шестнадцатилетним парнем...

Кауфман опускает руки и расслабляет плечи. Он старается не подать виду, что нервничает. Решает, что расскажет о себе самом. Необходимо по возможности избегать упоминания об армейской субординации, разделявшей их. Подносит руку к подбородку. На этот раз он обращается к Лампе, будто перед ним его старый товарищ, с которым они полжизни не виделись и вот теперь неожиданно встретились.

— Да, случая. Судите сами. Всего год назад я подал в отставку. Я разочаровался в армии. Перестал понимать, зачем столько войн, столько смертей. Чувствовал себя подавленным из-за того, что тот самый офицер, у которого я служил вестовым, всадил мне пулю. Канцелярия, куда меня после этого определили, действовала на меня угнетающе: там я действительно чувствовал себя ненужным. Я подумал, что мог бы найти что-нибудь взамен в гражданской жизни, другой, более человеческий способ существования — как, полагаю, случилось с вами, ведь вы опередили меня на этом пути... Собирался наняться управляющим в имение. Убедил себя, что еще не так уж стар и могу мотаться туда-сюда, улаживать дела с крестьянами и подставлять плечо там, где необходимо... Ведь у каждого из нас есть право в старости устроиться получше, вам не кажется?

Дойдя до этого места в повествовании, Кауфман, весь в поту, украдкой бросает взгляды направо и налево, пытаясь определить, куда лучше бежать в случае необходимости: в кладовку ли, или к шкафу, в ящиках которого госпожа Фолчер держит ножи. Однако он все еще надеется укротить ярость этого человека, который несомненно потерял рассудок.

— И вот тут, нежданно-негаданно, — продолжает он, коротко вздохнув, что выдает его напряжение, — некий слуга церкви по фамилии Васянский обратился ко мне по совету моего кузена, дьякона в Бреслау. И предложил мне место слуги в доме профессора Канта. Я просто остолбенел. Кант пользуется известностью во всей Пруссии. У капитана Хольцмайстера были его книги. Иногда он растолковывал мне теории философа о мире и правительстве.

— Когда был этот визит Васянского? — с подозрением спрашивает Лампе.

— Месяца два назад. Я уже начал было привыкать к жизни на ферме. Во всяком случае, дьякон сказал, что ему надо проконсультироваться с профессором и еще посмотреть, как сложатся обстоятельства...

— Предатель Васянский! Мне следовало об этом догадаться. Теперь все ясно. Этот обжора дьякон уже давно замыслил меня уволить...

* * *

— Вы ведь понимаете, что меня прельстила возможность служить профессору Канту.

В надежде, что гнев Лампе переключится на Васянского, Кауфман продолжает усыплять его бдительность, вновь пустившись в объяснения:

— Не буду этого отрицать. Я уже неплохо справлялся с обязанностями управляющего. Однако работа, которую мне предлагали в Кёнигсберге, казалась не такой тяжелой, не говоря уж о том, что обещала быть более интересной. Хотя меня и предупредили, что дело это непростое из-за характера профессора, я не колебался. Вряд ли мне представился бы другой случай устроиться на службу в городской особняк, со всевозможными удобствами. Меня не волновало, что я буду зарабатывать меньше, чем на месте управляющего. Пусть профессор и стар и мне удастся прослужить здесь всего несколько лет, я подумал, что впоследствии, благодаря опыту, приобретенному в доме Канта, у меня появятся и другие возможности. До моего приезда сюда все было неопределенно. Меня не поставили в известность о том, что Мартин Лампе был слугой господина профессора в течение стольких лет, а затем был уволен. Знай я это, меня наверняка насторожила бы подобная неблагодарность по отношению к моему сослуживцу... Всего несколько дней назад я еще не ведал об этом ни сном ни духом. Мне все время говорили о "старом слуге", как будто он уже умер. Никто не осмеливался произнести ваше имя в присутствии доктора Канта. Казалось, ему слишком больно слышать это имя... Я чувствовал себя не в своей тарелке, ощущая невидимое присутствие своего предшественника, которому были известны самые тайные желания хозяина и неведомы сомнения по поводу того, что надлежит делать в тот или иной момент. Меня уверяли, что Канту даже не приходилось отдавать ему приказаний, ибо он угадывал желания хозяина раньше, чем тот успевал их высказать. В первые дни я сильно переживал, натолкнувшись на презрение и враждебность профессора, и уже начал думать, что эта работа не для меня. На ферме, как ни крути, было спокойней, да и само дело пришлось мне по нраву. И вот однажды, во время обеда, когда я собирался нести подносы наверх, в столовую, госпожа Фолчер нечаянно оговорилась. "Мартин Лампе!" — воскликнул я, да так громко, что она хотела было прикрыть мне рот рукой, чтобы меня не слышал профессор Кант. Я захотел узнать, от чего скончался мой старый товарищ, потому что считал вас умершим; такова жизнь. Кухарка подробно поведала мне, что произошло, и сообщила, что вы все еще живете в Кёнигсберге. С большим восхищением она отозвалась о вашей жене...

В самом начале этого сбивчивого выступления Кауфмана Лампе застыл в одной позе. Так он обычно поступал несколько лет назад, когда хозяин начинал ему выговаривать, пускаясь в длинные рассуждения, которые его усыпляли. Однако затем встревоженный тон Кауфмана, явное желание оправдаться, которое чувствуется в его речах — насквозь фальшивых, поскольку в другой ситуации он не стал бы говорить того, что сказал сейчас, — взволновали ему кровь. Кроме того, его раздражает, что тот обращается к нему на "вы". Так он поступал и в казарме Потсдама, чтобы подчеркнуть дистанцию. Лампе обводит взором кухню, где некогда проходили малоприятные дебаты.

Он думает, что самое время укоротить дистанцию между ним и этим человечишкой, который вот уже больше трех десятилетий является ему в кошмарных снах.

Лампе приближается к своему старинному врагу, выставив вперед тесак. Он широко расставляет ноги, чтобы лучше контролировать пространство.

— Довольно нести чушь, Кауфман! Уже второй раз ты встаешь у меня на пути и пытаешься сжить со свету. Никогда не забуду, как по твоей милости пришлось сидеть в карцере. А теперь ты крадешь мое место и мешаешь мне вернуться домой... Но на сей раз не выйдет по-твоему.

Кауфман отступает миллиметр за миллиметром.

— Умоляю, Лампе. Не совершайте глупостей. Уберите оружие. Будьте благоразумны. Поставьте себя на мое место, как я пытаюсь встать на ваше... Я же попросил прощения. Покуда жив, я не перестану сожалеть о том вреде, который вам причинил. Что мне еще сделать? Встать на колени? Уйти? Я уйду! Уйду прямо сейчас, если вы этого хотите. У меня и в мыслях не было оставлять вас на улице. Военное товарищество священно, разве не так? Конечно, вы должны вернуться. Прямо сейчас, не теряя времени. Ваше место здесь, вы заслужили его как никто другой. Никто не может отнимать его у вас. Вы настоящий слуга профессора Канта. Я, я чувствую себя самозванцем... Прямо сейчас иду за вещами, если позволите... Или лучше пришлю за ними завтра...

— Разумеется, ты уйдешь. Я сам препровожу тебя на тот свет. Там тебе не понадобятся вещи, *капрал* Кауфман.

Новый слуга падает духом и совсем отчаивается. Его начинает бить дрожь. Он не способен сдвинуться с места.

— На помощь! Спасите! Нападают! — у щуплого человечка прерывается голос. Ему ни до кого не докричаться.

— Что, капрал, на этот раз поблизости не оказалось патруля?

Первый взмах тесака разрезает спертый воздух кухни.

Кауфман вздрагивает и в последний момент отскакивает назад. Его ловкость удивляет Лампе. Однако роковая случайность подрезает крылья бедному слуге. Он задом налетает на железную заслонку печи; она сильно разогрелась, поскольку толстое полено все еще пылает и внутри скопилось много раскаленных углей.

Внезапный ожог непроизвольно отбрасывает его тело вперед. А там уже поджидает разъяренный Лампе. Удар приходится по левой стороне лица.

Кауфман бросается наутек, словно не замечая, что ухо у него свисает, как язык колокола. Ему удается повернуться вокруг своей оси. Под-

скочить к кухонному столу. Спотыкаясь, он обегает его; он в панике, по шее стекает кровь. Лампе, дав вырваться ярости наружу, внезапно помолодел; он, в свою очередь, огибает стол с другой стороны и в два прыжка преграждает врагу путь.

– Лампе, проклятый варвар, перестань глумиться надо мной! Ради всего святого не... не забивай меня в этой кухне, как... как свинью! Мы оба солдаты! Дай же мне возможность защищаться с честью!

Ответом бывшего слуги на его отчаянные мольбы был внезапный удар тесаком в живот, прямо в основание ребер. За ним последовал другой, пониже, в район бедра или в пах. Вследствие этих двух ужасных ударов туловище Кауфмана согнулось вдвое. Что толку противостоять слепой ярости палача.

И вот уже лезвие приближается к обезображенному лицу. Взгляд Кауфмана затуманивается. Им овладевает невыносимая тошнота. Охваченный острой болью, он чувствует, как у него взрывается щека и отделяется от лица, словно маска. Бедняга уже не в состоянии удержаться на своих подгибающихся ногах, худых как спички.

Теряя сознание, он опрокидывается на кухонный стол, на котором госпожа Фолчер готовит свои знаменитые пирожные с малиной.

Мартин Лампе, навалившись на жертву сверху, вновь поднимает тесак. Он нацелился вонзить его в грудь Кауфману, в область сердца. Так он разом с ним покончит. Однако вид крови, которая растекается по деревянному столу, словно студенистая река, его останавливает. Кауфман дышит учащенно. Еще будет время его добить, если не помрет от потери крови.

Он слышит шарканье шагов над головой. Крики жертвы, по всему, всполошили кухарку. Лампе встрепенулся. Похоже, он очнулся от исступления.

Госпожа Фолчер застанет его здесь!

Его беспокоит другая важная вещь. Он внезапно вспоминает о рукописи хозяина. Ее уже нет у него за поясом. Он засунул ее туда, когда вешал пальто в прихожей. Он наклоняется.

Вот она – под столом, за свисающими ногами Кауфмана. Вывалилась на пол от его ожесточенных выпадов. Завязки папки порвались. Листы рукописи рассыпались. Кровь того, кто некогда был каптенармусом, капает с края стола на рукопись Канта.

Слугой овладевает сильное беспокойство.

– Черт тебя побрал, Кауфман! Только посмотри, что ты наделал! Как же мне поправить дело? Хозяин будет очень недоволен. Он мне этого никогда не простит! Я пропал!

Опустившись на четвереньки, Мартин Лампе пытается собрать листы, не заботясь о порядке, в котором они были уложены рукой Иммануила Канта.

Чернила расплылись. Синий мгновенно окрасился красным.

Старый слуга поднимает картонную папку, в которой лежала рукопись. Густое пятно темно-красного цвета расходится по ней, как капля масла.

Кровь безжалостно заливает наклейку, на которой философ вывел название своего сочинения: *Конец всего сущего.*

## Заключительное замечание

Иммануил Кант и Мартин Лампе — исторические личности. Они наверняка сказали и совершили многое из того, что им приписывается в этой книге. Но не все. Кое-что является плодом чистой фантазии. Я взял на себя смелость "заново выдумать" Канта и его слугу Лампе, сделав их литературными персонажами.

Я сделал это, не забывая о том, что действие романа протекает в определенную эпоху, в уже исчезнувшей стране — Пруссии, и воссоздавая реально существовавшие отношения между хозяином и слугой. Отделить вымысел от исторической основы представляется делом сложным и, вероятно, бесполезным, поскольку они переплелись при написании романа, потеряв четкие очертания. Разница между историческим фактом и выдумкой писателя заключается в том, что первый однажды имел место, а вторая оживает всякий раз, когда кто-то ее читает.

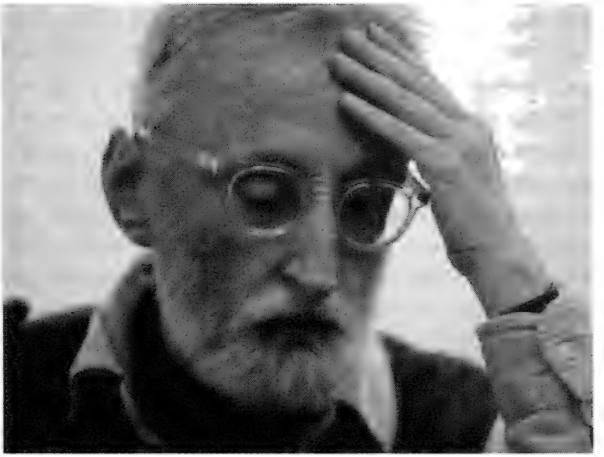
Во всяком случае, эта книга содержит факты, замечания и комментарии, извлеченные из других книг, в частности, из сочинения Людвига Эрнста Боровского "Жизнь и характер Канта" и Кристофа Васянского, второе — в мастерском переложении Томаса Де Куинси в его книге "Последние дни Иммануила Канта"

Вполне возможно, если бы я не прочитал книгу Де Куинси в юности и через много лет не перечитал ее все с тем же удовольствием, мой роман никогда не был бы написан.

Хосе Луис де Хуан

*Пальма, март 2001 года*

# Антонио Мореско



## *Синяя комната*

Повесть

*Перевод с итальянского* Татьяны Баскаковой

### 1

В дом можно было войти через две двери: одну маленькую и убогую, к ней поднимались по наружной лестничке в глубине двора, и другую, очень большую, за которой начиналась парадная лестница в два марша, с перилами из поддельного мрамора и гипсовой головой на балюстраде.

Два входа, и каждый на самом деле двойной. Потому что маленькой двери, которая вела в кухню, метров на десять ниже предшествовала другая — деревянная, более легкая, без замка. За большой же дверью, наоборот, обнаруживалась — наверху лестницы — дверь еще бóльшая: высотой по меньшей мере три метра и страшно тяжелая. Через нее ты попадал в огромную переднюю без окон, освещаемую посредством мутного и закопченного светового колодца в центре сводчатого потолка. Просачивающийся сверху слабый свет позволял увидеть двери, ведущие в другие комнаты, а также шкафы и скамьи, большой стол со стульями, консоль, на которой стоял телевизор одной из первых моделей, пирамидальную конструкцию со вставленными в нее тростями самых разных форм (у некоторых внутри скрывались, как в ножнах, длинные клинки) и, наконец, перед входной дверью, — громадную вешалку с мно-

© 1993 Bollati Boringhieri Editore, Torino
© Татьяна Баскакова. Перевод, 2009

жеством пальто, повешенных одно на другое; но сверху всегда висело мужское, с воротником из опоссума — в этот мягкий мех, когда никто не видел, *он* часто зарывался лицом, словно отгораживаясь от всего.

Ближе к вечеру все четыре входные двери, одна за другой, запирались. Сперва та дверь, что вела к большой лестнице, — со шлифованными стеклами, из четырех секций, которые раскрывались гармошкой. Каждая секция имела по две металлические шторы, внешнюю и внутреннюю, они блокировались с помощью крючков и соединительных планок. Потом — дверь наверху лестницы, с двумя замками и тяжелой задвижкой. Дверку на лестничке закрывали, закручивая железную проволоку вокруг примитивной ручки, которую можно повернуть и изнутри, тогда как кухонную дверь перегораживали тяжеленным засовом. Засов представлял собой искривленный железный прут: его просовывали в два кольца, укрепленных по бокам от двери. Два гвоздя, вставленных в дырочки на концах прута, повышали прочность этого уникального запорного устройства. Днем железяка оставалась рядом с дверью, прислоненная к стене. Проходя мимо, *он* иногда хватал ее и размахивал ею в воздухе.

Дом состоял из двух частей, очень разных, — как если бы один дом был вставлен в другой. Посетитель, который поднимался по парадной лестнице, пересекал переднюю и оказывался в жилых комнатах, а потом в обеденной зале, видел старинный особняк — роскошный, хотя некоторые закоулки свидетельствовали о небрежности хозяев и запустении; тот же, кто входил через кухню, углублялся, миновав ванную комнату, в коридор и, проследовав по нему до конца, попадал в переднюю, видел дом старый и убогий. Коридор, в частности, выглядел так: гораздо более длинный, чем обычно, с двумя железными перекладинами наверху (за которые кухарка затыкала метлы и длинные бамбуковые шесты для уборки потолков), он имел два больших окна, выходящих на парадную лестницу. Открыв их, можно было увидеть, словно на дне пропасти, первые ступени пологой лестницы, которую в дни визитов покрывали красной дорожкой, закрепляя ее золотистыми прутьями, тщательно начищавшимися перед приходом гостей.

В доме было много комнат и много людей, и некоторые попадали в него по парадной лестнице, другие же — через кухню. *Он* порой удивлялся тому, что живет в таком доме, и долго кружил по комнатам, будто видел их в первый раз. Пересекал переднюю, потом свою комнату — проходную, с тремя дверьми — и попадал в другое жилое помещение. На стенах висели большие овальные панно с изображениями конных баталий. А еще там был письменный стол и, в глубине, секретер. *Он* брал ключ, спрятанный в брюхе лютни, тоже висевшей на стене, и бесшумно открывал секретер: внутри обнаруживались пачки писем, карамельки, лупа, большая плитка шоколада с отломанным уголком, огромный нож, из рукоятки которого выскакивали миниатюрные ножнички и невероятное количество лезвий поменьше, а также штопор, напильники и прочие таинственные инструменты. *Он* наклонялся и с изумлением все это рассматривал. Потом, закрыв секретер и бросив ключ в брюхо лютни, выдвигал ящик одного из комодов: под свернутой скатертью лежала тяжелая шпага, покрытая насечкой почти до самого кончика, все еще тонкого и острого. Рядом со шпагой хранилась красная бархатная шля-

па, когда-то, как кто-то говорил, принадлежавшая Гарибальди. Возле окна висел охотничий рог. *Он* снимал этот инструмент со стены и проводил пальцем по нескончаемой спирали. Играть *он* пока не мог: не хватало дыхания, да и непонятно было, куда и как прикладывать губы. И все же однажды, после многих настойчивых попыток, ему удалось-таки заставить рог зазвучать: в тот день чрезмерно громкий призыв посеял ужас во всех закоулках большого дома.

Так постепенно приближался *он* к центру комнаты, к громадной кровати на деревянном помосте. Вокруг нее еще стояли четыре столбика, когда-то поддерживавшие балдахин. *Он* проводил рукой по серому овчинному покрывалу, которым была застлана постель.

Потом выходил из комнаты, возвращался в переднюю, распахивал дверь, чтобы увидеть сверху парадную лестницу. Добирался до обеденной залы с лепным потолком и большими портретами на стенах. Открывал темный сервант, сплошь состоящий из дверок, вытаскивал хрустальную вазу с цветной фигуркой оленя. Вазу *он* катал по полу и, приблизив глаза к стеклу, видел того же оленя, но сильно уменьшенного, как если бы смотрел в перевернутую подзорную трубу.

Была в доме и еще одна комната, самая дальняя, по ту сторону обеденной залы. Через неплотно прикрытую дверь просачивалась ее особая тьма. *Он* ставил вазу обратно в сервант. Долго прислушивался. Потом, совершенно бесшумно, входил в эту синюю комнату.

Выходил *он* оттуда нескоро — бесшумно, как и входил; снова пересекал весь дом и спускался во двор. Там, внизу, росло дерево, приносившее черные ягоды: они годились для стрельбы из духовой трубки; кое-кто даже утверждал, будто они ядовитые. Однажды в полдень, копаясь в земле рядом с деревом, *он* обнаружил какую-то тяжелую штуковину. Стряхнув землю и очистив штуковину наждаком, убедился, что перед ним свинцовая пуля. И вспомнил: когда-то на месте двора находился склад боеприпасов. *Он* забыл, когда именно и кто ему об этом сказал, но в существовании склада не сомневался, хотя сейчас и не мог сообразить, было ли это в эпоху наполеоновского похода или Первой мировой.

*Он* шагал меж двух клумб — без цветов и травы, но окаймленных черными ноздреватыми кусками окалины, образующейся в обогревательном котле. В углу двора росло что-то большое, странное, с перепутанными ветвями. Трудно было понять, то ли это живая изгородь, чрезмерно вытянувшаяся вверх и уподобившаяся дереву, то ли дерево, похожее на живую изгородь. Как бы то ни было, на эти перекрученные тонкие ветки однажды опустился передохнуть сокол — по крайней мере так говорили, — и всякий раз, проходя мимо, *он* с опаской поглядывал на них, боясь увидеть темную неподвижную тень хищной птицы.

На другой стороне двора, рядом с длинной клумбой, едва показывалась из земли плоская и широкая верхушка большого камня. *Он* много раз пытался сдвинуть камень, но, подкапываясь под него, понял, что камень, должно быть, — огромный и что вся его громада скрыта в земле. Каменщики, работавшие во дворе, тоже однажды попробовали — и тоже безуспешно. В результате *он* пришел к заключению, что видит вершину погребенной под землей мраморной горы и что гора эта держит на себе — приподнимает в воздух — весь двор. Обходя клумбу, *он* иногда

наступал на камень, останавливался, зажмуривался и говорил себе: "Вот теперь я на самой макушке горы!" Его пошатывало от головокружения, и *он* быстро открывал глаза, чтобы не упасть.

Прежде чем вернуться в дом, *он* толкал тяжелую дверь гаража, проскальзывал внутрь, отвинчивал пробку бензобака и нюхал бензин, пока не чувствовал, что вот-вот потеряет сознание. Потом поднимался по черной лестнице в кухню, пересекал коридор, переднюю, оказывался в обеденной зале. И уже оттуда тихо, на цыпочках, пробирался в синюю комнату.



Там, внутри, было темно — из-за вечно закрытых ставен, старых темно-синих обоев, местами отклеившихся.

Обитала в комнате слепая старуха, которую все в доме называли Синьориной.

*Он* молча приближался к ее кровати, вглядывался в распахнутые незрячие глаза, похожие на шарики из пластмассы, стараясь не пропустить тот момент, когда старуха начнет бормотать молитву; волосы Синьорины — удивительно длинные, густые и совершенно черные, несмотря на ее преклонный возраст, — с непостижимой силой извергались из костистой головы и тяжелой спутанной массой падали на подушку. Синьорина, прочитав молитву, два-три раза переворачивалась на бок, шептала себе под нос еще что-то, потом опять засыпала, сложив руки поверх отогнутого края простыни. *Он* часто разглядывал эти руки: длинные и легкие, почти невесомые; артроз изменил их форму, вызвав образование костных наростов на запястьях и на фалангах пальцев; из-за наростов рука напоминала стилизованный абрис летящего птичьего крыла.

Перед ужином Синьорина поднималась с кровати и мелкими шажками направлялась к кухне. Когда она потом возвращалась в синюю комнату, ощупывая стены в поисках дверей, *он* всякий раз неслышно шел с нею рядом, вместе с ней пересекал безлюдные комнаты: переднюю, обеденную залу, в стене которой было отверстие со вставленным туда крутящимся деревянным барабаном — прежде с помощью барабана кухарка подавала тарелки, не входя в комнату. Когда *он* был совсем маленьким, ему удавалось пролезать в отверстие и сразу попадать из одной комнаты в другую, хотя порой чьи-то руки нарочно раскручивали барабан и останавливали не раньше, чем *он*, почти теряя сознание, вдосталь накричится там внутри, колотя кулачками и умоляя это прекратить.

*Он* ждал, пока Синьорина снова уляжется, потом садился в углу, разложив учебники на коленях. В светлом круге, отбрасываемом маленькой лампой, *он* высчитывал объемы твердых тел: полиэдров с многочисленными гранями, изображенных как бы прозрачными; пирамид и цилиндров, наискось рассеченных — или разрубленных, или разрезанных — плоскостями; конуса, образованного поворачивающимся вокруг одного из катетов прямоугольным треугольником.

Именно здесь однажды, пока Синьорина ощупью искала что-то на тумбочке, *он* сделал поразительное открытие: стоя со спущенными штанами, разглядывал свои гениталии и вдруг заметил, что вокруг них появилось множество черных точек.

Несколько дней *он* ни с кем не разговаривал. Когда не сидел в синей комнате, запирался в погребе, под парадной лестницей. Входил в замаскированную дверку, покрашенную как стены лестничного вестибюля, с широким цоколем внизу; спускался, не зажигая света, по плохо пригнанным закругленным ступеням; в просторном подземном помещении устраивался на дровах, сложенных в два высоких штабеля, которые за зиму мало-помалу уменьшались, или на последней куче угля — в доме угольное отопление только недавно заменили нефтяным; здесь, при скудном свете, падавшем через зарешеченное оконце, обнажал гениталии, смотрел на них, не осмеливаясь дотронуться рукой, и сердце у него начинало так бешено колотиться, что казалось, вот-вот выскочит из груди.

Или *он* поднимался по деревянной лестнице из кухни в маленький кабинет; оттуда, толкнув тяжелую дверь и взобравшись по лесенке из ржавого железа, попадал на крышу с редко разбросанными по ней закопченными световыми колодцами и еще выше: на другую крышу, где можно лечь и смотреть в небо, исчерченное ржавой проволокой, к которой когда-то прикручивали (или вокруг которой обвивались) самые верхние, тончайшие побеги плюща — теперь от него остались лишь обугленные лохмотья. Повернув голову, *он* видел сверху, через отверстие водостока, двор и зады больницы, а чуть дальше, на улице, — грузовики, доставляющие на ближайший молокозавод молоко: в запечатанных цистернах со скобами-ступеньками для тех, кто будет взбираться к их металлическим зевам.

Дни проходили, и черные точки всё умножались, а вскоре неисчислимое количество волосков совершенно преобразило вид его гениталий. "Что теперь будет?" — спрашивал *он* себя. Какую заразу *он* подхватил? Что с ним происходит?

*Он* теперь больше времени, чем прежде, проводил в синей комнате, о чем Синьорина не знала. Только черепаха, тихо кружившая по дому, иногда незначительным шумом выдавала свое присутствие; *он* оборачивался и обнаруживал ее, неподвижную, в одном из углов: высунув голову из-под панциря, черепаха внимательно за ним наблюдала — в то время как *он* в маленьком круге света изучал свои гениталии.

Кот, в отличие от нее, уже давно в синей комнате не показывался — с тех самых пор, как там нашли его кал. В тот день чья-то рука схватила кота за горло и стала тыкать мордой в его же фекалии, многократно повторяя неприятную процедуру, невзирая на яростные вопли и на мелькание в воздухе когтистых лап. Несколько дней прилипшие комочки кала нарочно не смывали с морды, давая им время засохнуть, — чтобы кот надолго запомнил наказание.

Что касается двух морских свинок, которые прежде тоже кружили по дому, оставляя везде шарики помета, то они подохли. Одну на всю ночь забыли во дворе и наутро нашли замерзшей — окоченевшей на нижней ступеньке черной лестницы; другая погибла по противоположной причине: от жара в котельной. Ее уже давно запирали там по вечерам: она приспособилась греться, сунув голову в промежуток между секциями отопительного котла. Там ее и обнаружили однажды утром, мертвой. *Он* потом несколько дней исследовал это пространство, проталкивая руку очень глубоко — туда, куда морская свинка просовывала

мордочку; и ему казалось невероятным, что жар от котла, для него едва ощутимый, особенно в ночные часы, мог постепенно иссушить ее мозг.

Занимаясь такими экспериментами, *он* однажды прижался пахом к котлу, и тепло вызвало у него приятное, прежде неведомое ощущение. *Он* спустил штаны и засунул слегка набухший пенис в промежуток между секциями. Там внутри было замечательно, и *он* даже не заметил, что внутренние поверхности стали очень горячими, почти обжигающими. *Он* это осознал лишь через некоторое время, внезапно. Почувствовал острую боль — как от ожога — в головке пениса, который тем временем еще больше распух и не хотел выходить из углубления. Когда боль стала невыносимой, *он* резко отпрянул назад; на мгновенье почувствовал, что кончик пениса, угодивший в западню, оказывает сопротивление: крайняя плоть, почудилось ему, растянулась и прилипла, словно мастика, к внутренним стенкам. Потом обладатель пениса очутился на земле. *Он* в ужасе взглянул на котел, не сомневаясь, что сейчас увидит оторванный окровавленный член, все еще зажатый в щели между секциями.

Но ничего подобного: пенис по-прежнему болтался между ног, даже не испачканный кровью; он только увеличился в размерах, покраснел и стал толще — стал, похоже, таким, каким бывает у взрослых.

Во время его долгих сидений в синей комнате случалось иногда, что *он* слышал приглушенные толстыми стенами шумы — настойчивые, регулярные, доносящиеся из соседнего дома. Насколько *он* знал, синяя комната граничила со спальней некоего легкоатлета.

Порой, когда шумы прекращались, *он* сам нарушал тишину: стучал ногами по полу, притворяясь, будто только сейчас входит, здоровался с Синьориной и подсаживался к ее кровати. Спустя некоторое время *он* отправлялся на кухню, тайком набирал в ложку молотого кофе и, стараясь не рассыпать кофе по дороге, спешил отнести Синьорине, для которой это было лакомством. В такие моменты *он* вспоминал, как, впервые услышав, что ягоды во дворе ядовитые, взял одну ягоду двумя пальцами и раздавил ее над ложкой с кофе. *Он* помнил, что в ложку упала всего одна черноватая капелька, быстро впитавшаяся в сухой порошок. Ложку *он* отдал Синьорине, тут же проглотившей ее содержимое. *Он* пялился на Синьорину во все глаза: ждал, что та вот-вот вскрикнет, схватится руками за горло и, задыхаясь, судорожно разззявит рот. Однако время шло, а Синьорина преспокойно сосала молотый кофе, растворявшийся у нее на языке, даже не замечая странноватого привкуса.

*Он* оставался у Синьорины до темноты; и часто — если не засыпал на кухне, рядом с плитой, немного отодвинув лицо от раскаленных конфорок, или посреди двора, или в погребе, или на крыше — укладывался спать в углу синей комнаты на старом диване.

Прежде чем лечь, *он* искал себе книгу, роясь в ящиках, которые не всегда легко открывались, потому что были до отказа забиты мотками шпагата, обрезками бумаги и свертками с фотографиями. И потом читал часами, под одеялом. Иногда — уже глубокой ночью — кто-то из обитателей дома врывался в его комнату, кричал, чтобы *он* немедленно погасил свет, грозил ему всякими ужасами. *Он*, впрочем, не сомневался, что все так и будет: *он* заболеет, потом сойдет с ума и умрет. Умрет тем верней, что теперь появилась новая, неотвратимая причина для смер-

ти. *Он* тушил свет, минут на десять, потом зажигал снова. И продолжал читать, скорчившись под одеялом, готовый выключить свет и мгновенно спрятать книгу, как только вернется добровольный надсмотрщик; и разрезал страницы, стараясь не шуметь. И потому, наверное, так часто резал пальцы. Порезы получались глубокие, как от бритвенного лезвия, и без крови.

*Он* давно нашел место для забытых в ящиках комодов книг, которые иногда находил. *Он* ставил их в ряд на полке над диваном в синей комнате. На этой полке вместе с книгами, толковым словарем и старыми газетами *он* хранил также гребенку и пули, найденные во дворе. Дело в том, что после первой пули *он* находил и другие — откапывал под стеной, разделявшей их двор и другой, больничный; продвигаясь параллельно стене, *он*, можно сказать, напал на рудную жилу. Стоило поскрести там ногтями, как появлялась новая пуля, и было большим удовольствием взвесить на ладони твердый тяжелый предмет, еще недавно прятавшийся в земле.

*Он* чистил и полировал пули наждачной бумагой, потом складывал в банку из-под варенья, с которой содрал этикетку. Банка постепенно тяжелела, и порой, когда Синьорина спала, *он*, не устояв перед искушением, встряхивал свои пули, чтобы услышать их глухой перестук.

Пока *он* копался под стеной (и потом еще битый час), кто-то из гостей кружил вокруг клумб на мотороллере, который только что приобрел. Человек этот, очевидно, хотел обкатать мотороллер. Возле "изгороди сокола" колеса всякий раз подскакивали, наткнувшись на слегка выступающий из земли камень; *он* же думал, что незнакомец рано или поздно упадет и что, если это случится здесь, мотороллер разобьется вдребезги.

Однажды, когда *он* сидел на диване с книгой стихов в руках, Синьорина встала помочиться. Она подняла крышку стульчака и, прежде чем усесться, подтянула ночную рубашку, на мгновение обнажив худющие ляжки и поросший волосами бугорок между ними — волосы, хоть и редкие, были такими же черными, как на голове. Вся сцена длилась не дольше минуты, но *он* впервые смотрел, не отводя глаз. Пока Синьорина мочилась, *он* оставался в неподвижности, не смея даже дышать. От стульчака доносился звук мочи, льющейся в наполовину заполненное ведро. Потом Синьорина снова приподняла закрученную вокруг ляжек рубашку, на секунду обнажив вздутый, обезображенный грыжей живот. Пока она вставала на ноги, *он* увидел, как что-то блеснуло среди волосяного куста, и, прежде чем понял, что это капля мочи, готовая сорваться вниз, ему показалось, будто из промежности у нее торчит металлическое навершие какого-то тонкого предмета. Синьорина опустила рубаху, вернулась к постели и села; но даже когда она осторожно поднимала изуродованные ступни и потом прятала их под простыню, *он* не переставал на нее смотреть: в этот момент, впервые открывший для него такую возможность, *он* пытался проникнуть взглядом под ночную рубашку, в углубление между костлявыми ляжками. Но разглядеть ему так ничего и не удалось. Лишь когда Синьорина натянула одеяло до подбородка, *он* расслабил окоченевшие, как ему казалось, мышцы шеи и оглянулся, желая убедиться, что в комнату никто не вошел; что никто не застыл, не-

подвижный, в дверном проеме и что черепаха не шпионит за ним, спрятавшись где-то под шкафом и лишь ожидая удобного момента, чтобы бесшумно выползти из убежища, а потом, после мучительного путешествия по комнатам, которое займет у нее полдня, явиться перед другими членами семейства и дать им понять, какие чудовищные дела творятся в синей комнате.



Однако никто в комнату не входил. *Он* молча поднялся с дивана, пересек обеденную залу, свою комнату, переднюю, тихо открыл дверь на парадную лестницу и сбежал вниз, перепрыгивая через низкие длинные ступени. Спустился в погреб, бросился на кучу угля под зарешеченным окном и какое-то время валялся на ней. Пахло древесиной и углем. Где-то далеко шебуршились мелкие твари, угнездившиеся в штабелях дров. Куски угля не кололи ему спину, куча была рыхлой, приятной на ощупь и постепенно как бы приспосабливалась к форме тела. Иногда *он* поднимал глаза к зарешеченному оконцу под потолком и смотрел на обрамленное прямоугольной рамой лицо прохожего, случайно оказавшегося в этот момент перед домом.

Время шло, и даже тот скудный свет, что просачивался через решетку, мало-помалу тускнел. Вечерело, в погребе становилось все темнее — в конце концов он сделался черным, как угольная куча.

*Он* еще долго лежал без движения, потом поднялся и вышел из подвала, хватаясь руками за штабеля дров, стараясь не спотыкаться о ветки, торчащие из-под стружки. Вошел в котельную, находившуюся рядом. Чтобы попасть туда, надо было пересечь каморку, где хранились мешки с рисом и мукой, а по всему полу был рассыпан картофель. *Он* добрался до отопительного котла, работающего на нефти, — новехонького, выкрашенного масляной краской, который глухо рокотал и в этой комнате казался огромным. На том же месте несколько месяцев назад стоял котел, топившийся углем, чуть меньших размеров, со множеством циферблатов и стрелок. Когда кто-то из домашних спускался вниз, чтобы загрузить уголь, *он* всегда наблюдал за этой процедурой. Если слишком приближался к открытой дверце, когда в топку забрасывали очередную лопату, красный жар мгновенно обжигал лицо. Время от времени внутри котла образовывалась куча угля, который уже не горел, а спекался с налипшим на колосники шлаком. Тогда *он* длинными каминными щипцами извлекал наружу раскаленные обломки жужелицы. Ждал, пока они почернеют и остынут, приняв вид обугленной пемзы, потом выносил во двор и выкладывал вокруг клумб, рядом с другими такими же.

Прежде чем устанавливать новый нефтяной котел, рабочие вырыли во дворе большую яму и опустили туда огромную черную цистерну с нефтью, обмазанную гудроном. Сам же котел они доставили по частям и уже на месте эти части сварили. Пока цилиндр котла еще не был готов, *он* по вечерам, если поблизости никого не оказывалось, преодолев страх, забирался внутрь. Потом, уже запаянный и обмазанный гудроном, котел несколько дней стоял посреди двора, рядом с "изгородью сокола", и напоминал подводную лодку, готовую к погружению.

*Он* дотронулся рукой до котла, в это мгновение огонь погас. Тогда *он* повернул ручку термостата до максимума, и горелка зажглась снова — с рокотом, будто вот-вот взорвется и разнесет на куски весь дом; по легко-

му свечению можно было понять, что там внутри вспыхнуло большое пламя.

Выйдя из подвала, *он* в несколько прыжков поднялся по парадной лестнице и вернулся в дом. Проходя мимо вешалки, прикоснулся к меху опоссума, потом отправился посмотреть на шпагу, спрятанную в одной из комнат. Вынул ее из ножен и попытался ею взмахнуть. Но шпага была тяжеленной, ему едва удалось ее сдвинуть. Тогда *он* снял со стены охотничий рог и принялся дуть в него, плотно сжав губы; успел еще подумать, что в этот день поставит на кон всё. *Он* чувствовал, как от чудовищного усилия его голова наливается кровью и раздувается, словно воздушный шар; но в тот миг, когда *он* испугался, что сейчас она лопнет, могучий призывный звук, пробежав по бесконечной спирали, оторвался от уст рога и вторгся в пространство дома, погнав сигналы тревоги до самых отдаленных комнат...

На другой день приехал человек из деревни. У него был маленький автомобиль, переднее сиденье которого приехавший, как правило, вынимал, чтобы освободить место. Сзади пол всегда был пальца на два засыпан землей, так что зерна пшеницы, высыпáвшиеся при транспортировке, часто попадали в землю, прорастали, а поскольку крестьянин ростки не выдергивал, вскорости образовывали зеленый ковер прямо рядом с водительским сиденьем — правда, ворс "ковра" кое-где подпортился, истерся под грузом тяжелых мешков.

В тот день крестьянин выгрузил из машины мешок риса, мешок с рыбой и живого фазана. Мешок с рыбой он дотащил до ванной комнаты и, прежде чем вытряхивать в наполненную водой ванну, на мгновенье поставил на пол. Мешок тут же сам собой начал двигаться, наклоняясь то в одну, то в другую сторону, потому что внутри бились рыбы.

Фазану же предоставили полную свободу. Прежде чем принести его в жертву, ему позволили на протяжении многих дней спокойно разгуливать по коридору, заходить в переднюю, в другие комнаты со сводчатыми или лепными потолками, а если повезет, то и украшать своим золотохвостым присутствием парадную лестницу.

Год назад точно такая же судьба была уготована индюку, который порой забредал даже в синюю комнату; его шея, покрытая бородками и наростами, внушала страх. Индюк был огромным — и *он* думал, что, нападi это чудище на него, защитить себя *он* вряд ли сумеет. Однако через сколько-то дней две руки без труда опрокинули индюка на землю и одним ударом отсекли ему голову.

Во дворе больницы объявились два каменщика и начали работать в самом углу. *Он*, чтобы лучше их видеть, забирался на дерево с черными ягодами и стоял в большой развилке ветвей. Но даже оттуда не мог толком разглядеть, чтó же они делают. Постояв, *он* спускался вниз и вновь принимался за раскопки: искал новые пули, хотя пули и так уже почти заполнили банку на полке над диваном. Возвращался в дом. В коридоре, подпрыгнув, хватался за одну из железных перекладин, делал гимнастические упражнения и подтягивался на руках.

В те дни в дом приходило много народу; все говорили исключительно о нотариальных актах да о нотариусах, поскольку только что был возбужден гражданский иск против сестер-монахинь из соседней больницы. Обитатели дома считали, что часть больничного двора по праву

принадлежит им. Хотели использовать этот клочок земли, чтобы расширить кухню и покрыть ее новой крышей. А в результате *он* постоянно боялся, что в кабинете или в передней наткнется на посторонних людей: *он* ведь теперь не мог, как в детстве, проникнуть в обеденную залу незаметно, через отверстие в стене, и к синей комнате, куда никто никогда не заходил, приходилось пробираться долгим кружным путем.



Утром в один из праздничных дней, пока *он* причесывался, глядя в осколок зеркала, который приладил на полке, Синьорина встала с постели помочиться. *Он* машинально обернулся, надеясь поймать момент, когда ее рубашка приподнимется. Синьорина, приближаясь к стульчаку, снова обнажила ляжки и часть покрытого волосами бугорка, *он* же — хоть и безумно боялся, что кто-то может войти именно сейчас, — не удержавшись, шагнул по направлению к ней, чтобы видеть все с более близкого расстояния. И застыл посреди комнаты, всего в паре метров от Синьорины, которая тем временем спокойно уселась. Помочившись, она поднялась, чтобы вернуться в кровать, но *он*, несмотря на близкое расстояние, разглядел еще меньше, чем в первый раз. Ее женский орган, мелькнувший лишь на мгновение, показался ему бесформенным, невыразительным; за прикрытием из редких волосков, мокрых и ронявших капли, не просматривалось никакого отверстия, и нельзя было понять, откуда течет моча.

*Он* сел на диван, взглянул еще раз в сторону двери, желая убедиться, что в комнату никто не вошел; потом лег и вздохнул свободнее. Под большой писанной маслом головой Марии Магдалины, взиравшей на кровать сверху, костистая головка Синьорины, утопая в подушках, бормотала молитву на латыни — с такими интонациями, будто читала сказку ребенку. *Он* же, растянувшись на диване, тем временем спрашивал себя, почему ему не удается разглядеть женский орган Синьорины, чтобы раз и навсегда понять суть этого устройства. Может, виной тому царящий в комнате полумрак? Или неудачно выбранный ракурс? Или девственность Синьорины? Наверное, ее устье постепенно закрылось, как бывает у брюхоногих моллюсков. Как же его глазам преодолеть эту хрупкую, но непроницаемую преграду?

Тут *он* вспомнил, что в ящике кухонного стола видел карманный фонарик. *Он* побежал проверить. Да, фонарик все еще там. Пока *он* незаметно доставал фонарь и прятал в карман, его попросили спуститься в погреб — набрать корзину картошки.

*Он* направился к подвалу. В передней потерял сколько-то времени, отгоняя фазана, который упорно хотел протиснуться в приоткрытую дверь и спуститься на парадную лестницу.

В погребе, наполнив корзину, *он* равномерно распределил по полу оставшиеся картофелины. Поскольку, сваленные как попало, они, лежа друг на дружке, вовсю занимались любовью, пришлось отламывать образовавшиеся на них ростки. Потом *он* постоял, прислушиваясь к голосам и стуку пишущей машинки за стенкой — в юридической конторе, с которой граничил погреб.

Позже спустился во двор, чтобы продолжить раскопки. Подумал: сегодня *он* вряд ли еще раз увидит, как Синьорина садится на стульчак.

Часа два спустя *он* вернулся в дом с двумя десятками новых пуль. За один раз *он* никогда столько не находил. Нес *он* их в горсти. На кухне попросил лист наждачной бумаги, немного стирального порошка и тряпку. Но тряпки для него не нашлось. Порывшись в куче белья, *он* выудил детские трусы с большой прожженной дырой. Наверное, на них забыли утюг, и они пришли в полную негодность.

Перед ужином *он* сложил отполированные пули в банку, теперь почти полную, и даже нашел место для фонарика — на той же полке.

Но Синьорину, встающую помочиться, *он* снова увидел только на следующий день. В тот момент его в синей комнате не было, *он* на минутку вышел — и тут же, услышав характерные звуки, которые не могли исходить от легкоатлета за стенкой, стремглав вернулся. *Он* очень боялся, что опоздает, что упустил шанс опробовать свой фонарик. Однако Синьорина только-только успела подняться с кровати. *Он*, остановившись всего в паре метров от нее, зажег фонарик и направил луч в нужном направлении — как раз тогда, когда она поднимала ночную рубашку. Но маленький сноп света, озарив волосяной бугорок, сделал его еще более непрозрачным. И тут *он* услышал за спиной слабый шорох. *Он* резко обернулся, почувствовав, как на лбу от страха выступил пот: то был всего лишь фазан, который семенил от двери к нему, царапая когтями половые доски.

Фонарик выскользнул из руки и с грохотом упал на пол.

"Кто это? Кто?" — тревожно спросила Синьорина, после чего вернулась в кровать, так и не помочившись.

Маленькая костистая голова приподнялась над подушкой, всматриваясь в пространство невидящими пластмассовыми глазами.

"Кто там?" — спросила Синьорина снова, более звонким голосом.

Потом с тихим стоном перевернулась на бок, взбрыкнув несколько раз ногами в приступе ярости и отчаянья.

Фазан, испугавшись звука падения, уже исчез. Было слышно, как он семенит по обеденной зале; когтистые лапы, наверное, передвигались с трудом — оскальзывались на натертом полу. *Он* поднял фонарик и бесшумно вышел из комнаты. Спустился в подвал и, разлегшись на угольной куче, задался вопросом: могла ли Синьорина, пусть и не видя фонарика, почувствовать на себе сноп света. Пытаясь это проверить, *он* разделся ниже пояса, закрыл глаза и — когда ему показалось, что больше *он* ничего не видит, даже крошечных цветных пятнышек, перемещающихся по сетчатке, — направил фонарик на свои гениталии, несколько раз включил его и выключил. Но *он*-то, похоже, чувствовал каждое изменение, как если бы свет, проникая в плоть, заставлял ее разбухать, словно тесто. Как такое возможно? Наверное, сказал *он* себе, так получилось потому, что о появлении света *он* каждый раз знал заранее. Из-за того, что приходилось манипулировать фонарем и одновременно прищуриваться, чтобы ничего не видеть, *он* сильно возбудился, его состояние было неестественным, что и помешало ему оценить результат опыта объективно.

Позже, когда снаружи опустился вечер и весь подвал стал таким же темным, как куча угля, *он* снова попробовал несколько раз зажечь и потушить фонарик, направляя луч на гениталии; глаза привыкли к темноте, теперь достаточно было просто прикрыть их, чтобы не видеть сла-

бого светового пучка. Внезапно *он* почувствовал, как тело его напряглось. *Он* упал животом на кучу угля, какое-то время не контролировал себя, потом приподнялся на локтях и зажег фонарик: уголь был запачкан белесыми сгустками, каких *он* прежде не видел и которые могли выйти только из его тела, в результате разрыва внутренних органов. Тогда *он* чуть не заплакал, подумав, что, наверное, скоро умрет.



В свете фонарика *он* разглядел, что к телу прилипла угольная пыль и мелкие щепки, а пенис — там, где не покрыт такой же угольной коркой, — красный и раздувшийся, как в тот день, когда был засунут в углубление отопительного котла.

*Он* еще долго лежал на угольной куче, а когда убедился, что ничего плохого не происходит, подумал: речь, наверное, идет об очень медленной смерти — как когда человек долго-долго истекает кровью или когда организм гибнет от потери жидкости. *Он* решил встать, завалил углем сгустки белесого вещества, которые, правда, уменьшились в размерах — возможно, впитавшись в угольную пыль — и стали прозрачнее. Потом покинул подвал, отряхнув с одежды, насколько сумел, остатки угля — прежде чем войти в дом, якобы прямо с улицы.

В последующие дни *он* редко заходил в синюю комнату. С крыши долго наблюдал за двумя каменщиками, работающими во дворе больницы. Они строили нечто вроде миниатюрного дома. Но *он* не понимал, для чего такой дом может предназначаться. Имеет ли новое сооружение какое-то отношение к театру? Может, там будут устраивать кукольные представления, чтобы развлекать выздоравливающих детей? Для того и строят маленькую сцену? Но в таком случае почему ее сооружают не на возвышении, а прямо на земле? Или это особая клетка, приют для маленьких животных — скажем, морских свинок и белых мышей? А может, речь идет о часовне, чтобы больные в жаркие месяцы могли присутствовать на богослужении во дворе? Но для часовни здание было слишком большим; а кроме того, часовню следовало бы приподнять над землей по крайней мере на метр.

Грузовики по-прежнему с регулярными интервалами проезжали мимо; они везли цистерны, полные молока, и почти не отличались от тех машин, что развозили бензин или другие воспламеняющиеся вещества, — разница заключалась лишь в том, что сзади у них не было предупредительного знака.

В тех редких случаях, когда все-таки заходил в синюю комнату, *он* шел так, чтобы Синьорина сразу услышала шаги, и присаживался рядом с ее постелью. В тот период *он* сочинял стихи и иногда читал что-то из них ей.

— Очень красиво! — комментировала Синьорина.

— А мне не нравится, — возражал *он*.

И, дотрагиваясь листком до губ, имитировал хруст разрываемой страницы; Синьорина же в отчаянье простирала руки, пытаясь ему помешать.

Однажды *он* достал с полки несколько книг и стал читать стихи из них Синьорине — так, чтобы она поверила, будто все это сочинил *он* сам:

Рек он, — и каждый, в молчании, кубок взяв двоедонный,
Возлил богам и из сени исшел; Одиссей предитёк им.
Тою порою Патрокл повелел и друзьям и рабыням
Фениксу мягкое ложе как можно скорее готовить.
Жены, ему повинуясь, как он повелел, простирали
Руны овец, покрывало и цвет нежнейший из лена.
Там покоился Феникс, Денницы святой ожидая.
Но Ахиллес почивал внутри крепкостворчатой кущи;
И при нем возлегла полоненная им лесбиянка,
Форбаса дочь, Диомеда, румяноланитая дева.
Сын же Менетиев спал напротив; и при нем возлежала
Легкая станом Ифиса, ему Ахиллесом героем
Данная в день, как разрушил он Скирос, град Эниея[1].

"Как красиво!" — воскликнула Синьорина.

*Он* тут же притворился, будто разрывает лист, и ее руки бессильно взметнулись.

"Хочешь, прочту тебе другое?" — спросил *он*.

"Хочу, но потом не уничтожай его!" — взмолилась Синьорина.

И *он* снова начал читать:

Доколе царь был
за столом своим,
нард мой издавал
благовоние свое.
Мирровый пучок —
возлюбленный мой
у меня, у грудей моих пребывает.
Как кисть кипера,
возлюбленный мой
у меня в виноградниках Енгедских[2].

Закончив чтение, *он* опять притворился, будто разрывает лист. Синьорина безутешно расплакалась, уронив голову на подушку и стиснув руки.

*Он* сделал вид, будто вышел из комнаты, сам же устроился на диване и продолжал читать про себя:

Сын мой! Почто я тебя воспитала, рожденного к бедствам!
Даруй, Зевес, чтобы ты пред судами без слез и печалей
Мог оставаться. Краток твой век, и предел его близок!
Ныне ты вместе — и всех кратковечней, и всех злополучней!
В злую годину, о сын мой, тебя я в дому породила![3]

Между тем *он* следил за временем по отражению светового конуса, падавшего сквозь узкое окно и мало-помалу сужавшегося, — на сводчатом потолке оно было совсем тусклым. Через какое-то время Синьори-

1. Илиада. IX, 656—668. Здесь и далее перевод Н. И. Гнедича. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Песнь Песней. 1, 11—13.
3. Илиада. I, 414—418.

на, думая, что осталась одна, встала помочиться. *Он* смотрел на нее, не поднимаясь с дивана, но — может быть, потому, что теперь она вела себя осмотрительнее, — не увидел абсолютно ничего, даже покрытого волосами бугорка.

Гораздо позже, когда Синьорина, до подбородка укрытая одеялом, впала в состояние полудремы, *он* постучал ногами об пол, изображая, что снова входит в комнату. Сел рядом с кроватью, положив голову на отворот простыни. Потом взял руку Синьорины и поднес к своим волосам, говоря: "Потрогай, какие они теперь длинные!" — "О, да", — повторила несколько раз Синьорина, пока ее ладонь спускалась по волосам, чтобы найти, где они кончаются; и даже найдя эти кончики, Синьорина снова и снова дотрагивалась до волос своей невесомой рукой, похожей на птичье крыло в полете, а *он* даже не вспомнил, что его никто и никогда так не ласкал.

Синьорина не родилась слепой: она ослепла незадолго до того, как ей исполнилось тридцать. Как ни странно, после тридцати лет полнейшей слепоты зрение на несколько месяцев вернулось к ней — почему, медики так и не смогли объяснить.

Это произошло в начале весны. В привычном ей, но теперь слегка поредевшем полумраке она — впервые за столько лет — вдруг стала различать контуры лиц и даже напечатанные слова. За эти месяцы, читая каждый день понемногу, она сумела одолеть "Обрученных"[1]. Потом мрак снова сгустился, и за десять лет, прошедших с той поры, ничего подобного больше не было.

В доме к Синьорине обращались главным образом в двух случаях: когда нуждались в прогнозе погоды или когда хотели найти пропавшие вещи. Но ее вмешательство бывало полезным и в целом ряде других ситуаций — оно способствовало тому, чтобы письмо дошло своевременно, помогало догадаться о содержимом пакета, раскрывать который было нельзя, или узнать, который час, если остановился будильник, или обнаружить протечку на потолке прежде, чем там образуется пятно.

В те дни *он* часто расспрашивал ее о миниатюрном домике, который вырастал у него на глазах во дворе больницы. Что бы это могло быть? Синьорина недоуменно качала головой и поворачивалась на другой бок, давая понять, что устала; но ему казалось, что она притворяется — по каким-то причинам скрывает от него то, о чем благодаря своей интуиции давно догадалась.

Работы в больничном дворе между тем продолжались. Кирпичные стены были оштукатурены и выкрашены желтой краской, к домику приделали железную дверь, а из остроконечной крыши даже вылупился красивый конек — прямой и длинный, с конусообразной шапочкой наверху. Такая дверь явно не подходила для театра, конек же был бы не нужен на крыше часовни.

Наконец работы закончились, домик на фоне каменной стены был теперь отчетливо виден: перед ним уже не сваливали грудой инструменты, на конек крыши никто больше не набрасывал, как на вешалку, курт-

1. "Обрученные" (1827) — роман классика итальянской литературы Алессандро Мандзони (1785–1873).

ки. Внизу рабочие обозначили краской маленький цоколь, более темный, чем стены, — и с этого момента другие обитатели дома тоже начали обмениваться всевозможными версиями.



Деревянный стульчак Синьорины заменили металлическим креслом цвета алюминия, с прорезанным в сиденье отверстием, закрывавшимся крышкой; кресло даже имело колеса, так что его можно было катать по дому. Деревянный стульчак за долгие годы службы насквозь пропитался запахом мочи; а с другой стороны, состояние здоровья Синьорины ухудшилось, и она больше не могла передвигаться своим ходом. Когда наступало время обеда, она садилась в кресло и кто-нибудь толкал его по комнатам до самой кухни.

Фазан по-прежнему разгуливал повсюду. День, назначенный для принесения его в жертву, давно прошел, но красота птицы, удовольствие видеть, как она вышагивает по комнатам, и показывать ее гостям уже не раз продлевали ей жизнь.

Что касается его самого, то *он* в те дни начал заполнять пулями вторую банку и научился, провозившись несколько дней, производить чернила из черных ягод, растущих на дереве во дворе. Собрав несколько стаканов ягод, укрылся в гараже и, раздавив самые спелые, принялся экспериментировать. Вся трудность заключалась в правильной дозировке раствора. Без воды добытая из ягод жидкость получалась вязкой и в авторучку не набиралась; если же *он* добавлял много воды, чернила становились почти бесцветными и прочитать написанное было практически невозможно.

В конце концов *он* нашел-таки правильную пропорцию. Загрузив авторучку и наполнив вместительную чернильницу, *он* мог теперь спокойно подумать об использовании этих чернил. После долгих размышлений *он* решил делать выписки из книг, стоящих у него на полке. Писать на полосках бумаги, более или менее длинных, и потом эти обрывки прятать. Однако найти подходящий тайник оказалось не так-то просто. *Он* обследовал множество мест, но каждое его чем-то не устраивало.

Однажды, поднимаясь в дом по парадной лестнице, *он* вдруг обратил внимание на гипсовую голову, украшавшую верхнюю балюстраду. *Он* не знал, кого должна изображать голова. Когда-то *он* уже задавал такой вопрос старшим и услышал в ответ, что, скорее всего, это Парини[1], хотя вполне может быть и кто-то другой...

*Он* остановился, положил руку на гипсовую голову. Попытался качнуть ее: она не была тяжелой. Тогда-то, сильно наклонив ее вбок, *он* и обнаружил, что в основании шеи имеется маленькое отверстие. Постучав по гипсу костяшками пальцев, услышал резонанс — значит, внутри голова пустая. Лучшего тайника не придумать! Можно скатывать полоски бумаги в трубочку и просовывать внутрь. Попав в тайник, они, расправляясь, будут увеличиваться в размерах и обратно уже не выйдут. Никто их никогда не найдет.

Помимо переписывания отрывков из книг, *он* использовал свои чернила и для ведения дневника, который следует ниже:

1. Джузеппе Парини (1729—1799) — итальянский поэт и сатирик, в юности зарабатывавший на жизнь переписыванием манускриптов; автор поэм "Утро", "День", "Вечер" и "Ночь", где он описывает повседневный распорядок жизни молодого аристократа. Фрагменты поэмы "День" (в переводе Е. Солоновича) печатались в "ИЛ", 1999, № 6.

## 2



Сегодня я выяснил, для чего нужен миниатюрный домик.

С самого утра вокруг него была суматоха. Несколько сестер-монахинь, одетых в белое, сновали от парадного и заднего крыльца больницы к домику и обратно, открывали и запирали железную дверь, опускались на колени и заглядывали внутрь, пока рабочий в комбинезоне жестикулировал, что-то им объясняя.

После обеда я вскарабкался на развилку дерева с черными ягодами и увидел, что из конька домика — трубы — идет дым. Ударяясь о цементную шапочку, которая венчает трубу, струя дыма обтекала ее и расширялась, образуя как бы колесо. Однако сестры-монахини уже скрылись из виду. Время шло, и все больше распространялся странный запах — сладковатый, но вместе с тем едкий, от которого щипало в носу и в горле. Может, подумал я, они хотят хоть немного повысить температуру воздуха, чтобы спасти от заморозков цветы на ближайших клумбах.

Я спустился с дерева и занялся раскопками. Нашел несколько пуль (девять) и вернулся в дом — там тоже заметили, что труба домика дымит и что в воздухе появился странный запах.

Пройдя в кабинет над кухней, я достал из ящика стола бинокль и полез на крышу. Там лег на живот и направил бинокль в отверстие водостока. Минут через десять, никого внизу не увидев, я поднялся на ноги, чтобы вернуться в дом. Но тут заметил две белые тени, мелькнувшие за застекленной больничной дверью. Тогда я снова лег и наставил на них бинокль. Во двор вышли две сестры-монахини. Быстро оглядевшись по сторонам, они направились через двор к домику. Каждая что-то держала обеими руками, загораживая это своим телом. Добравшись до домика, обе нагнулись и поставили на землю то, что несли: два блестящих металлических таза. Хотя сестры прикрывали тазы, я успел увидеть — когда они их приподняли, чтобы забросить содержимое в распахнутую дверь домика, — что тазы наполнены чем-то красным, подрагивающим, похожим на куски резины. Из тазов выскальзывали красновато-серые комки и какие-то липкие жгуты, вроде змей. В конце концов — поскольку что-то, видимо, пристало к днищам — сестры два-три раза встряхнули тазы, и из одного вылетел наружу большой предмет серо-голубого цвета, а вслед за ним выплеснулось немного жидкости.

Я был потрясен. И хотя знал наверняка, что сестры меня не видят, уронил бинокль, откатился назад, подальше от отверстия, и какое-то время так и лежал на спине. Я тогда еще не совсем понял, что́ именно увидел. Сообразил только: это было нечто, извлеченное из недоступных для зрения глубин, что-то длинное, узловатое — мертвые змеи, плавающие в своей крови и оставляющие за собой влажный след.

Я спустился в кухню, чтобы рассказать об увиденном. *Они* отправились в больницу вдвоем. Через час вернулись и сообщили, чем кончился их визит: сестры-монахини сперва пытались все отрицать, потом, когда им предъявили очевидные факты, признали: да, это действительно специальная печь. Пару раз в неделю в ней будут сжигать хирургические отходы: опухоли, полипы, ампутированные части конечностей, пропитавшиеся кровью и гноем бинты и тому подобное.

В доме только и говорят, что о больничной печи. Требуют от сестер, чтобы те ее "демонтировали". Грозят, что иначе перейдут к юридическим мерам.

Я сделал открытие. Последние несколько дней я слышал странные шумы в своей спальне. Поначалу я не придавал этому значения. Думал, что легкоатлет за стеной синей комнаты тренируется с новым спортивным снарядом, производящим еще больше шума, чем прежние. Или что рабочие чинят сводчатый потолок парадного вестибюля, находящийся как раз под моей комнатой. Единственное, что меня удивляло, — это что звуки слышатся и ночью.

Сегодня, поскольку шум стал еще более неотступным, я хорошенько обследовал свою спальню: выдвигал ящики стола, заглядывал под предметы мебели и за картины. Но не нашел ничего, что могло бы объяснить происхождение странных звуков. Я прекратил поиски, притворившись перед самим собой, будто не придаю всему этому значения. Но через час мне показалось, что я наконец понял, из какого места доносится шум. Под письменным столом, в нескольких сантиметрах от пола, в стену вставлена жестяная заслонка, имеющая форму неглубокой коробки. Когда-то, прежде чем у нас установили новую отопительную систему, на этом месте из стены выходила дымовая труба, к которой подсоединялась печка. Теперь заслонка перекрывает оставшуюся внутри стены узкую шахту, которая тянется до большой мансарды на крыше.

Я добрался до заслонки и, сильно рванув ее на себя, сумел вытащить из стены: за ней обнаружилась мертвая птичка, наполовину уже погребенная под слоем копоти, пыли и отвалившейся штукатурки. Я собрал все это в заслонку, отнес на кухню и вытряхнул в мусорное ведро — птичку и остальное. Мне захотелось, прежде чем я поставлю заслонку на место, осмотреть внутренность шахты. Я опустился на колени и заглянул внутрь, но в темноте ничего не увидел. Тогда я сходил в синюю комнату за фонариком. Вернувшись к себе, наклонился и посветил в отверстие: там была еще одна птичка — на ногах, но застывшая в неподвижности. Она стояла боком: маленький глаз, похожий на стеклянную бусину, блестел под лучом фонарика и смотрел прямо на меня. Хотя я направил фонарик на птичку, она не изменила положения, и я не мог понять, жива она или сдохла. Я несколько раз включил и выключил фонарик. Она не двигалась. Тогда, несмотря на свой страх, я просунул руку в отверстие, чтобы ее ухватить. В тот же миг птичка выпорхнула из темноты. Она казалась смертельно испуганной, натыкалась на стены, на мебель. И каждый раз падала, отключалась на несколько секунд, а потом внезапно взмывала вверх и опять кружила по комнате. Она напомнила мне те игрушечные заводные машинки, которые не останавливаются, даже если наткнутся на стену или на ножку стула: их моторчик тогда просто начинает рокотать громче, они смещаются в сторону и находят для себя другой путь.

Я поспешно открыл окно. Птичка мгновенно пересекла комнату и вырвалась в пустоту. Снаружи она два-три раза поднялась и снизилась в воздухе, каждый раз перекувыркиваясь в нижней точке своей траектории, затем ускоряя полет и взмывая по вертикали вверх, — и каждый раз мне казалось, что она вот-вот упадет на землю. Потом она словно нашла

в себе новые силы — хотя голодала несколько дней, запертая вместе с другой птичкой, уже мертвой, — молниеносно набрала высоту и всего за пару секунд, махая крыльями так, что казалось, будто они приводятся в движение электричеством, превратилась в почти неразличимую точку на горизонте; и я не понимал, как крошечные крылья могли за четыре рывка поднять ее так высоко в небо — туда, где обычно летают только соколы.

Я пошел рассказать об этом происшествии Синьорине. Она сидела на кровати понурившись, со стиснутыми на коленях руками, но по ходу рассказа все выше поднимала голову и все больше распрямляла спину — а под конец разразилась самым заливистым смехом, какой я когда-либо слышал здесь в доме.

Потом я спустился во двор, занялся раскопками и обнаружил двенадцать новых пуль. Я их очистил, но прежде чем отнести в синюю комнату и положить в банку, схватился за перекладину в коридоре, сделал десять гимнастических упражнений и два раза подтянулся на руках.

Недавно я переписал на полоску бумаги один отрывок. Пока писал, мне казалось, что сердце у меня вот-вот лопнет. Я свернул бумагу в рулончик и пошел прятать ее в голову Парини. Как я и предвидел, рулончик, едва оказавшись внутри, начал разворачиваться, занимая все больше места в полости головы. Я воспроизведу этот отрывок и здесь, я теперь буду так делать всегда:

> Беги, возлюбленный мой;
> будь подобен серне
> или молодому оленю
> на горах бальзамических![1]

Вчера я не записывал ничего, потому что мне было плохо. А произошло вот что. Утром, прежде чем выйти из дому, я на несколько минут зашел в синюю комнату — зашел так, чтобы моих шагов не было слышно. Я уже выходил, когда вдруг заметил, что черепаха, спрятавшись под шкафом того же цвета, что и ее панцирь, наблюдает за мной, не производя ни малейшего шума. Из-за полумрака, который всегда царит в синей комнате, разглядеть ее было почти невозможно.

Я на цыпочках подкрался, схватил ее и поднял высоко в воздух. Сам я не шумел, черепаха тоже не была расположена кричать, поэтому Синьорина, даже если не спала, не могла догадаться об ожесточенном поединке, разворачивающемся всего в нескольких метрах от нее. Черепаха полностью скрылась под панцирем. Я шагнул за порог и, запрятав ее поглубже в портфель, пересек весь дом и спустился в гараж, не оставив ей ни малейшего шанса криками о помощи привлечь к себе чье-то внимание. Запершись в гараже, я достал черепаху из портфеля: теперь она высунула голову из-под панциря, пытаясь понять, какая судьба ее ждет. Я осмотрел банки с эмалями, выставленные в ряд на полке, и выбрал ту, где была алюминиевая краска, которой недавно красили печную трубу на кухне. Я подумал, что блеск алюминия лучше, чем любой цвет, поможет мне обнаружить присутствие черепахи в синей комнате. Я смешал

1. Песнь Песней. 8, 14.

краску с небольшим количеством скипидара и выкрасил панцирь черепахи, а затем отнес ее обратно в дом, притворившись, будто вернулся, так как что-то забыл.



После полудня, когда я тихо сидел в синей комнате, Синьорина поднялась с кровати справить нужду. Я вдруг почувствовал ярость. Схватил фонарик, мгновенно на цыпочках шмыгнул в середину комнаты и сумел, пока Синьорина поднимала рубашку, подойти еще ближе. Когда я включил фонарик, нас с ней разделяло не больше метра; наклонив голову, увидав эти редкие волоски — и по-прежнему ничего за ними, — я ткнул вперед фонариком, рискуя задеть Синьорину; от отвращения к этой сцене я уже готов был дотронуться до Синьорины рукой, в срамном месте, или упасть — чтобы лучше все видеть — на пол, или ее заставить упасть, притянув к себе и ударив головой в живот.

Почувствовав приступ дурноты, я бросился к дивану. И внезапно увидел, что в комнате присутствует черепаха: все это время она оставалась в неподвижности, прячась под креслом на колесиках, которое такого же цвета, что и ее покрашенный панцирь; голову она почти целиком втянула под роговые пластины. Тут-то я и понял нечто такое, о чем всегда смутно подозревал, когда думал о ней: что она наверняка очень жестокая, коварная; и если не может дать выход своей жестокости, это не делает ее менее жестокой и кровожадной. Но правда ли, что не может? Или и у нее есть какой-то шанс, как у всех нас? Что, если ей достаточно, после долгих расчетов, слегка изменить положение ничтожнейшего предмета в доме — и тогда начнется цепная реакция, которая приведет к катастрофе?

Я приблизился к черепахе, теперь полностью скрывшейся под панцирем. Взял ее в руку и стал рассматривать. Она очень старая: сколько ей лет, в точности никто не знает. Говорят, здесь ее видели с незапамятных времен. Во время войны ее попросту забыли в доме, когда все драпанули в деревню. Когда *они* вернулись после войны, дом был испоганен бомбардировками. Сводчатый потолок передней в одном месте обвалился; в другой комнате упала, воткнувшись в пол, потолочная балка. Повсюду — пыль, битые стекла, куски штукатурки, плесень... И все же из кучи кирпичей, щепок и осколков вылезла, не обнаруживая ни малейших эмоций, та самая черепаха — никто не понимал, как ей удалось выжить, чем она кормилась все это время...

Я дважды стукнул кулаком по панцирю, краска на котором обсохла, но только разбил себе костяшки пальцев; тогда я с силой швырнул черепаху на пол, но панцирь и тут не раскололся. Я поддел ее ногой и отфутболил в обеденную залу. Пролетев под столом и стулом, она шмякнулась о дверцу стенного шкафа. Слыша весь этот шум, Синьорина начала причитать:

"Кто здесь?.. Кто?.."

Я покинул синюю комнату, решив продолжить раскопки во дворе. В воздухе был такой же запах, какой я учуял два дня назад. Значит, сестры-монахини пользуются печью чаще, чем обещали. Я нашел всего пять пуль — по-видимому, жила уже иссякает. Придется попробовать копать в другом месте. Спрятав пули в карман, я, прежде чем подняться по лестнице, заглянул в гараж, поскольку очень хотелось нюхнуть бензина. Открыл бензобак и два или три раза вдохнул — так энергично, что под ко-

нец почувствовал как бы электрический удар возле переносицы, где-то близко к мозгу. После чего упал и потерял сознание. Думаю, что провалялся на полу минут десять. Придя в себя, я сразу обнаружил, что, падая, поранил губу. И что лежу, обалдевший, лицом вниз в маслянистой луже рядом с радиатором. Я встал и добрался до кухни; умылся, слава богу не попавшись никому на глаза. Посидел немного, прислонив голову к плите, чтобы убедиться: все уже прошло.



За ужином я почти не ел. О черепахе никто не заговорил. Я рано отправился спать, ничего не записав, не скопировав ни одной цитаты и даже не ухватившись за перекладину в коридоре. Я видел, что на постелях образовались вздутия: из-за деревянных грелок, внутрь которых ставят старые печные горшки с тлеющими углями и золой. Грелки эти кухарка только что разнесла по комнатам, засунула между простынями, а мне казалось, что в постелях прячутся представляющие угрозу крупные существа. Мне примерещилось, будто в постели, накрытой овчинным покрывалом, притаился огромный косматый зверь.

Я лег в кровать и тут же потушил свет, даже не раскрыв книгу. Наверное, сразу заснул. Когда *они все* стали расходиться по спальням, меня разбудил шум в комнате. Я поднял голову, чтобы лучше слышать: это не был обычный шум — от предметов мебели, когда в темноте они сами по себе начинают разбухать. Шумело совсем близко. Может быть, кот? Иногда, если его запирают у меня, он развлекается тем, что когтит старое кресло, стоящее за изголовьем кровати. Он уже его подпортил в нескольких местах, отодрав когтями кусочки кожи.

Я зажег свет и взглянул на кресло, но кота не увидел. Несмотря на свой страх, я поднялся и обследовал комнату вплоть до последнего закоулка: никого и ничего, что могло бы производить такой шум, и все три двери плотно закрыты. Внезапно я вспомнил о найденной накануне птичке. Я залез под стол и вытащил из стены заслонку. Но в ней было пусто. Я побоялся совать руку в отверстие шахты, не посветив туда прежде фонариком, потому что там внутри могло притаиться — бог знает, как давно — некое существо, ожидающее, как свернутая пружина, благоприятного момента для нападения. Наконец я решился и протянул руку, но в отверстии ничего не было — только свежее дуновение воздуха, поступающего через дымоход.

Я опять забрался в постель; и когда, пару минут спустя, снова услышал эти звуки в нескольких сантиметрах от головы — застыл, привалившись к стене, как мешок, ожидая, что с минуты на минуту что-то огромное набросится на меня. Потом, видимо, я заснул.

Сегодня мне лучше. Я сделал восемь упражнений на перекладине и два раза подтянулся на руках. Фазана после столь долгих проволочек наконец решили убить. Сам я не видел, как его убивали, но наверняка это происходило в коридоре, потому что утром оттуда доносились голоса и потом странные звуки. Казалось, кто-то плачет. Но плакал этот кто-то не как все другие, а будто разразился плачем внезапно — не успев даже осознать почему.

После обеда кухарка, которая чистила фазана, по оплошности отмахнула себе ножом кончик пальца. Она инстинктивно принялась искать его среди мусора, даже внутри сливного отверстия: рылась в золотых перьях, в фазаньих потрохах, которые плавали в воде, — а кровь

тем временем хлестала, как из водопроводного крана. Наконец ей удалось этот обрубок найти.

Кухарку отвезли в пункт неотложной помощи при соседней больнице, где ее осмотрел врач. Но обрубок ей обратно не приделали: сказали, это невозможно. Отсутствовала она довольно долго. Кто-то тем временем забрал самые длинные и красивые фазаньи перья — золотые, из хвоста. Я тоже нашел себе парочку таких. И решил сохранить. Я их воткнул во вторую банку с пулями, пока что наполовину пустую. Они стоят очень прямо, потому что я зажал их черенки между пулями.

Сейчас уже вечер. Допишу и пойду укладываться. Никаких выписок из книг делать не буду. Я только что запер на засов дверь кухни, потом спустился и закрыл шторками дверь на парадной лестнице. После чего прилег ненадолго на куче угля. Он называется каменным; я где-то читал, что такой уголь начал формироваться в позднем палеозое. Затем я зашел в котельную и включил термостат на максимум. При зажигании ощутил толчок и подумал, что котел того и гляди взорвется.

На губе образовалась корочка. Она мне мешает, и волей-неволей я ее понемногу обкусываю.

Сегодня писать не хочется. Нашел четырнадцать пуль. Может, это новая жила. Сделал одиннадцать гимнастических упражнений и три раза подтянулся на руках. Произошло и еще кое-что, но об этом я никому не скажу. Ближе к вечеру я заставил звучать охотничий рог. И скопировал четыре отрывка. Вот они:

"Почему же вы так наверно убеждены?"

"Если хотите — не знаю. Я знаю только, что мне надо выиграть, что это тоже единственный мой исход. Ну вот потому, может быть, мне и кажется, что я непременно должен выиграть"[1].

Доктора Грант и Колдстрим много занимались зоологией моря, и я часто сопровождал первого из них, собирая в лужах, остающихся после отлива, животных, которых анатомировал как умел[2].

Клонирование же, напротив, заключается в инициировании порождающего процесса, который должен исходить из ядра клетки тела (например, клетки языка, или печени, или кишок), тогда как половые клетки остаются вне игры. В отличие от ядер этих последних, ядра клеток тела (иначе называемых соматическими) содержат целостный набор хромосом — всего их сорок шесть. Если этот "яичный желток" поместить в женское яичко, предварительно лишенное своего "желтка" (состоящего из двадцати трех хромосом), то начнется пролиферация, как при естественном оплодотворении, но с таким отличием: новый индивид возникнет не в результате скрещивания хромосом двух индивидов разного пола (матери и отца), но на основе генетической информации, содержащейся в ядре соматической клетки донатора. Он будет сы-

1. Ф.М. Достоевский. Игрок. Глава V.
2. Чарльз Дарвин. Воспоминания о развитии моего ума и характера. Автобиография. Перевод С. Л. Соболя // Чарльз Дарвин. Сочинения, т. 9. — М.: Изд-во АН СССР, 1959.

ном не двух родителей, а одного, и его идентичность с этим родителем будет абсолютной.

Шарлотта отвела ему место подле Оттилии[1].



Сегодня я мало что сделал. Выучил теорему по геометрии. Во дворе не копал и за перекладину не хватался. Печь во дворе больницы опять дымила: наверняка там внутри был и обрубок кухаркиного пальца. Прежде чем начал писать, я рассматривал волосы у себя на теле. Похоже, они растут беспрерывно. А что, если это уже не кончится?

Недавно я слышал крики, но так и не понял, из какой комнаты.

Я, не торопясь, переписал отрывок:

Геродот из Галикарнаса собрал и записал эти сведения, чтобы прошедшие события с течением времени не пришли в забвение и великие и удивления достойные деяния, как эллинов, так и варваров, не остались в безвестности[2].

Перед ужином я выглянул из окна обеденной залы. Я старался не очень высовываться, чтобы не упасть на железный штырь, торчащий из стены чуть ниже подоконника. У него острие как у копья, и в свое время к нему подвешивали флаг — по определенным праздникам.

Мимо дома протрусила, выскочив из переулка, собачья стая. Я очень удивился, я никогда не видел столько собак вместе. Я их сосчитал: восемнадцать, и все разные. Среди них попадались тощие, как скелеты, и, наоборот, жирные, с отвислым брюхом; были там псы с черной блестящей шерстью и другие — с палевой или белой; все — словно припорошенные пылью и какими-то светлыми кусочками, запутавшимися в шерсти. Похоже, сказал я себе, псы только что катались по опилкам в столярной мастерской, находящейся в том самом переулке. Будь сейчас карнавал, я бы подумал, что к их спинам прилипли конфетти и обрывки серпантина. Там был и хромой пес, который, однако, не отставал от других. Одну ногу он потерял и все же при каждом шаге — возможно, по привычке — двигал культей, болтавшейся у него под брюхом.

Люди оборачивались посмотреть и расступались, пропуская собак. Вдруг я заметил, что следом за собаками, чуть подальше, вышагивают двое: мужчина и женщина. Я подумал: может, это хозяева стаи. Но так сразу не поймешь: они были слишком далеко, чтобы однозначно признать их хозяевами, и в то же время чересчур близко, чтобы поверить в случайное совпадение.

Сегодня я снова шпионил за Синьориной. Придвинул лицо совсем близко к ней и включил фонарик. С риском, что при малейшем ее дви-

1. Цитата из предпоследнего абзаца "Избирательного сродства" И. В. Гёте. Речь идет о погребении Эдуарда, умершего вскоре после смерти его возлюбленной Оттилии. Роман Гёте заканчивается так: "Шарлотта отвела ему место подле Оттилии и запретила впредь кого бы то ни было хоронить в этом склепе. <...> Так покоятся вместе двое любящих. Тишина осеняет их гробницы, светлые родные лики ангелов смотрят на них с высоты сводов, и как радостен будет миг их пробуждения!" Перевод Н. Федоровой.

2. Первая фраза "Истории" Геродота, оборванная. Пропущенный конец: "[не остались в безвестности], в особенности же то, почему они вели войны друг с другом". Перевод Г. А. Стратановского.

жении до нее дотронусь. Я почувствовал резкий запах, и инстинкт подсказал мне, что нужно заставить ее упасть.

Прежде чем записать эту фразу, я долго думал, не умея подобрать слово, передающее мое тогдашнее ощущение. Пришлось обратиться к толковому словарю. Я искал что-то подходящее, перескакивая от одной словарной статьи к другой, и наконец наткнулся на "инстинкт". В словаре сказано: "*Инстинкт*, ед. ч. м. р., – естественный импульс, который побуждает живых существ совершать определенные действия, полезные для поддержания их существования". Не могу понять, каким образом все это может оказаться полезным для поддержания моего существования... Я проконсультировался с другим словарем и нашел там другое определение, такое: "*Инстинкт* – совокупность врожденных, естественных и передающихся по наследству рефлексов, которые все имеют специфические функции и соответствуют определенным жизненным потребностям, а следовательно, полезны для целей существования, самим индивидом не осознаваемых".

Очевидно, поэтому я и не понимаю...

Теперь, отложив словарь, возвращаюсь к своему рассказу. Я ничего не увидел и про себя ругал Синьорину самыми ужасными словами. Я больше не мог это выдержать, мне хотелось ударить ее головой в живот. Когда она уселась на стульчак, я подумал: "Все, хватит!" И встал перед ней на четвереньки. Опустил голову к самому полу, вывернул шею, чтобы смотреть вверх. Я был готов на все: если бы кто-то меня увидел, для меня это был бы конец. Но и в такой позе мне не удалось ничего рассмотреть.

Я вышел из комнаты с мыслью, что больше туда не вернусь. Потом долго занимался раскопками, добрался до хурмы – того дерева, что растет в глубине двора. Под ним, как выяснилось, несметное множество пуль. Сегодня я нашел девятнадцать. Я побежал в дом, чтобы положить их в банку, забыв, что совсем недавно решил ни под каким предлогом не заходить больше в синюю комнату. Теперь, когда добавились новые пули, фазаньи перья стоят еще прямее, как прибитые гвоздями, и, если я дотрагиваюсь до них рукой, не смещаются в сторону ни на миллиметр.

Проходя через безлюдную переднюю, я увидел, что телевизор забыли выключить. Я его выключил. Пальто с воротником опоссума уже висело на вешалке. Я стянул его вниз и зарылся лицом в мех, мягкий, словно облако. От моего дыхания мех вскоре потеплел, и лицо, замерзшее, пока я был во дворе, начало согреваться.

Сегодня я не делал гимнастических упражнений, но зато подтянулся на руках четыре раза. Я скопировал два отрывка, такие:

Haud igitur dubiumst quin voces verbaque constent corporeis e principiis, ut laedere possint[1].

Уезжать из города, где началась холера, – никто из сведущих людей такого не одобрит, поскольку по опыту всех стран хорошо известно, что перемена

1. Так что сомнения нет, что должны состоять из телесных / Голос и слово начал, раз наносят они пораненья (*лат.*). Лукреций Кара. О природе вещей. Перевод Ф. А. Петровского.

места пребывания способствует развитию болезни, и немало было случаев, когда люди, уехавшие из зараженного места здоровыми, по прибытии в место незараженное умирали от холеры в объятьях своих родителей[1].



Этим вечером я бы не написал ни строчки, если бы недавно не произошло кое-что, заставившее меня передумать. Я запер на засов кухонную дверь и закрыл шторками дверь парадной лестницы. Прежде чем лечь спать, стал бродить по комнатам, не зная, чем заняться. *Другие* были еще на кухне. Когда я зашел туда, они обсуждали больничную печь для сжигания отходов: сегодня она дымила, заражая воздух, больше часа. Кто-то отправился к сестрам-монахиням протестовать, и сестры — на словах — согласились ограничить утилизационную деятельность.

Я вошел в одну спальню, куда не захожу почти никогда. Там множество шифоньеров и комодов, а на полу всегда стоят три пары войлочных шлепанцев, чтобы не пачкать навощенный пол. Их надевают прямо на ботинки. Когда-то я попытался пересечь комнату, используя их как коньки, но слишком сильно оттолкнулся и врезался головой в туалетный столик. Еще немного, и разбил бы зеркало вдребезги.

Это очень большая комната, в ней помещаются три кровати, два стола, каждый с четырьмя стульями, и камин, которым уже не пользуются. В камине *они* хранят белье, для которого не нашлось места в ящиках: заворачивают его в целлофан и заталкивают внутрь. На шкафах тоже громоздятся узлы с бельем, почти такой же величины, как сами шкафы, — до самого сводчатого потолка. В комнате есть еще стенной шкаф, всегда до отказа заполненный сваленными в кучу предметами. Нужно быть очень внимательным, когда его открываешь, потому что не раз уже все вываливалось наружу. Однажды я потихоньку открыл шкаф и обнаружил там несколько красиво упакованных свертков, сложенных один на другой. Все были завернуты в подарочную бумагу. На мгновение я подумал, что они для меня. Я и в последующие дни на это надеялся, но никакого подарка не получил, а когда, по прошествии какого-то времени, снова открыл стенной шкаф, разноцветных пакетов там уже не было.

Я долго кружил по этой комнате, и вдруг мне показалось, что за спиной у меня кто-то стоит, — может, с того момента, как я сюда вошел. Я почувствовал, как мой затылок похолодел. Выбегая из комнаты, я оглянулся и увидел, что возле стены — вешалка с тремя деревянными шарами, напоминающими голову и две раскинутые короткие руки, и что к шару, расположенному выше других, подвешено велосипедное колесо.

Наверняка именно его спицы создали ощущение человеческого присутствия, какого-то движения у меня за спиной. Может, они на мгновение отразили луч света, пойманный зеркалом, которое находится прямо напротив вешалки, а может, зеркало отразило свет фар автомобиля, проехавшего мимо дома и забросившего несколько лучей в окно.

Я вернулся к себе. Проходя через переднюю, открыл дверь в коридор: на кухне по-прежнему разговаривали. Я стал рыться в ящиках в поисках книги. Один ящик был настолько плотно забит, что открыть его не удавалось. Я дернул сильнее, и, пока выдвигал, веером рассыпалось

1. Письмо Джакомо Леопарди отцу (Неаполь, 27 мая 1837 г.).

огромное количество фотографий, которые там хранились. Многие упали на пол, и их пришлось собирать. Но засунуть все снимки обратно не было никакой возможности, поэтому я распределил их также и по другим ящикам.



Возвращаюсь к своим записям. Случилась одна вещь... Я долго лежал в постели, но уснуть не мог. Свет я давно потушил, и в доме царила абсолютная тишина. Все уже спали. Я слышал, как *они* прошли через переднюю и через мою комнату: я теперь всех различаю по звуку шагов. Внезапно я услышал сильнейший удар. И сразу подумал, что началась война. Я знал, что, начнись она, все будет именно так — неожиданно. Мне показалось, что в дом попала бомба, обрушив кусок стены или кровать за моей стенкой, в передней. Я зажег свет и замер, прикрыв голову руками. Еще мгновение — и я через пролом в полу полечу в парадный вестибюль, меня засыпет обломками взорванного дома...

Ничего подобного не произошло, однако через минуту в ту дверь моей комнаты, что выходит в переднюю, яростно заколотили: было четыре удара, по нарастающей, — кулаками, а может, даже ногами, — да таких сильных, что дверная панель трещала и, казалось, вот-вот расколется. Вся дверь пришла в движение — тряслась, подаваясь вперед при каждом ударе, как если бы ее петли были резиновыми.

Я ждал, сидя на кровати, целую вечность, но больше ничего не случилось. Взглянув на будильник, я убедился, что прошел час. Тогда я начал успокаиваться. Я встал с кровати и проверил три двери моей комнаты: все они были заперты. Я поднял мешок с рисом, забытый у меня пару дней назад, и, толкая его, сумел в конце концов забаррикадировать им дверь в переднюю. Я еще долго ждал — правда, теперь время не тянулось для меня так медленно. Внезапно я почувствовал себя очень спокойным и даже переписал отрывок из одной книги. По сути, то, что произошло, не удивляет меня. Удивляюсь я только тому, что произошло это с таким опозданием.

Я чуть отодвинул мешок с рисом и вышел в переднюю. Если там снаружи кто-то караулит меня — что ж, тем лучше. Но передняя казалась безлюдной, насколько я мог судить в такой темнотище. Я открыл дверь на парадную лестницу и с изумлением увидел собственные босые ступни, переступающие через порог. Засунул бумажку с записями в голову Парини. Ступени покрывала ковровая дорожка, которую расстилают по большим праздникам. Шагая по ней, я начал спускаться по лестнице. Несмотря на темноту, я не сбивался с дорожки, предохранявшей ноги от соприкосновения с холодным мрамором. Я спустился до самого низу. Нашел ощупью нужную дверь и вошел в котельную. Включил на максимум термостат, и котел разгорелся внезапно, с обычным рокотом. Большое пламя, вырвавшись там внутри из какой-то щели, осветило, пусть и слабо, все помещение. Я уселся на стул позади котла: на самом деле это креслице, мягкое, хотя набивка клочьями вылезает наружу. Еще недавно оно стояло в доме, потом кто-то, садясь, нечаянно сломал ему ножку. Тогда его перенесли сюда. Я удобно расположился в кресле, совсем близко от котла; насколько мог, приблизил лицо к тому месту, откуда просачивался наружу блеск большого пламени. И сразу почувствовал себя лучше. Лицо вскоре сделалось горячим. Время шло, а я все сидел в не-

подвижности и даже не замечал, что умудряюсь сохранять равновесие на трехногом кресле.

Сейчас пойду лягу, хотя уже почти утро и вряд ли мне удастся заснуть. Я переместил мешок с рисом: не оставил его в стоячем положении, а уложил набок, поперек двери. Под подушкой я спрятал нож, который принес сюда раньше, чтобы разреза́ть страницы. Может, я все-таки усну.



Чуть не забыл переписать последний скопированный мною отрывок:

В этой зоне море достигало глубины около 120—200 метров, а вдоль побережья проходила скалистая гряда; климат был почти таким же, как теперь, лишь ненамного прохладнее, и растительность — почти такая же. Эти данные получены в результате изучения остатков фауны и деревьев (ивы, каштана, сосны и др.). После того как вода отступила (в конце Третичного периода), здесь было четыре оледенения; те моренные отложения, что располагаются поверх глинистых слоев, можно отнести к последнему из них.

На кухне разворачивается какая-то катастрофа. Я слышу крики; у меня впечатление, будто все там разбивается вдребезги...

Прошло два часа. Возвращаюсь к своим записям. Было так, как если бы колесо, сплошь утыканное бритвенными лезвиями или металлическими остриями — похожее, скажем, на колесико электрической бритвы, только гигантски увеличенное в размерах, — металось, подпрыгивая, внутри кухни и кромсало на своем пути все, предметы и людей, так что никто и ничто не могло бы его остановить: ни предметы, разлетающиеся на куски, ни крики раненых; потому что сами страдания жертв провоцировали бы его ярость...

Сегодня вечером не буду переписывать никаких отрывков. Думаю, больше вообще не стану этим заниматься.

Возвращаюсь к своим записям спустя три месяца. Почему возвращаюсь, сам не знаю. Может, продолжу и в ближайшие вечера. Но не уверен.

Проглянула весна. Синьорине все хуже, ей теперь приносят еду в постель. Я же продолжал раскопки и уже почти заполнил пулями четвертую банку. Занимаюсь в синей комнате, собрал еще и другие книги, полка настолько загромождена, что туда больше ничего не вмещается. Я завел привычку время от времени смотреть телевизор — в передней.

В прошлом месяце *они* установили телефон. Я впервые увидел такой аппарат вблизи. Телефон — в передней, рядом с дверью в мою комнату, и часто, когда он звонит, я успеваю взять трубку первым. Иногда я набираю какой попало номер и слушаю голос того, кто ответит. Сам я молчу и пытаюсь представить себе черты лица этого человека, движения его рук, дом, где он живет, людей, живущих с ним рядом. Не понимаю, как удается заманить звуковые волны в тоненький телефонный провод, чтобы потом они вышли из него, но так далеко... Я читал, что внутри телефонного аппарата находятся электромагнит, гибкая металлическая мембрана, а также гранулы угля.

Печь при больнице дымит уже почти каждый день. Теперь сестры-монахини перевозят тазы на тачке, три-четыре за один раз. Пока они толкают тачку по гравиевой дорожке, случается, что колесо преткнется о крупный камень и что-то из тазов выплеснется. Сестры тогда опускаются на колени и собирают эти ошметки руками.

Я познакомился с девочкой. С недавнего времени мы — после школы — вместе катаемся на велосипедах. Описываем большой круг, почти всегда одинаковый. У нее искривление позвоночника, ей еще долго носить тяжелый гипсовый корсет, который не спрячешь под платьем, поскольку он доходит до подбородка. Голова ее постоянно откинута назад, но с велосипедом девочка справляется. Говорит она много — даже крутя педали, продолжает болтать; над краем корсета непрерывно движется большой рот, обращенный к небу.

Тут много чего произошло... Не знаю, смогу ли я и дальше писать. Всё пока в подвешенном состоянии.

## 3

Сегодня я случайно обнаружил дневник, который писал много лет назад. Вырванные из тетради листки, свернутые в трубку и спрятанные на дне выдвижного ящика в моей комнате, под кучей разных вещей. Я их вытащил и принялся разбирать. Я уже не помнил об их существовании, и поначалу мне с трудом верилось, что эти записи делал я. Они меня очень смутили. Не могу даже объяснить почему: теперь, когда они заставили меня вспомнить о происшедшем, я бы сказал, что в этих отчетах пропущена масса важных подробностей, а факты, о которых там идет речь, — возможно, самое незначительное из случившегося в те дни.

Почему же так?

Мне было трудно узнать и дом, описанный там. Я долго ходил по комнатам, и они мне виделись совершенно другими, чем те, в дневнике. Хотя каждая деталь совпадает: предметы мебели, стены и потолки выглядят именно так, да и парадная лестница тоже, и перекладина в коридоре, и большая кровать, застеленная овчиной, и подвал, и синяя комната. Дело не только в том, что, по сравнению с описаниями в дневнике, дом теперь кажется мне в каком-то смысле более бедным, почти деградировавшим, и одновременно, если посмотреть на него под другим углом зрения, — более богатым и невообразимо реальным. И не в том, что дом, хотя он очень велик, уже не представляется мне таким огромным, что он больше не ужасает меня, хотя все еще внушает некий специфический страх, который, как я сознаю, я тогда даже отдаленно не сумел выразить...

Но правда ли всё так? Я потратил два дня...

Перечитав страницы дневника, пронумеровав их, я кое-где подправил записи, устранил ошибки, заменил некоторые слова, даже переписал ряд абзацев; не знаю зачем — я ведь уже решил спрятать в голове Парини и этот дневник.

Под конец я хорошенько скатал страницы, одну за другой, наклонил Парини и стал заталкивать их внутрь. Первые вошли в отверстие очень легко; но когда внутренняя полость заполнилась, мне пришлось дей-

ствительно их заталкивать, и кто знает, как они там сплющивались и загибались, прижимались одна к другой, оттесняя к верхней части черепа те бумажки, что уже находились внутри. Прежде чем загнать в отверстие последний лист, я просунул туда шариковую ручку и с силой нажал на нее два-три раза, чтобы освободить хоть немного места.

Потом я начал писать вот это.



Прошло почти пять лет. Я пишу шариковой ручкой. Чернила из черных ягод, которые я когда-то налил в чернильницу, теперь непригодны: они разложились, и на поверхности — голубенькая водичка, не оставляющая следов на бумаге; на дне же выпал темный осадок. Я пробовал перемешать эти части, но они не смешиваются.

Вчера умерла Синьорина. Она уже давно не поднималась с постели, и спина у нее начала гнить. Ей каждый вечер закатывали рубашку, чтобы промыть раны. Для нее купили специальную кровать с подвижными частями, чтобы не образовывались пролежни. Эта кровать гораздо выше прежней, с механизмом из металлических трубок под матрасной рамой, и она совершенно изменила вид синей комнаты: темные обои, кое-где отклеившиеся, картина с Марией Магдалиной, комод и все прочие предметы казались теперь незначительными, чуть ли не недостойными в сравнении с этой большой металлической кроватью, хромированные части которой отражали единственный слабый источник света — электрическую лампочку над головой Синьорины. Рядом с кроватью, в том же маленьком круге света, в последнее время находился еще один предмет — кислородный баллон. Не маленький эмалированный баллон, какой обычно ставят рядом с постелью умирающего, а высоченный, покрытый ржавчиной — вроде тех, что используются на стройках. Его и в самом деле принесли двое рабочих, одетых в комбинезоны. Маска же, которую время от времени прижимали к лицу Синьорины, была новехонькой, маленькой, из светлого прозрачного пластика, и ее убирали в чехол из целлофана, почему она и выглядела как новая. Баллоном и маской распоряжалась старуха-сиделка, проводившая ночи рядом с постелью Синьорины. Сиделка скупилась на кислород, каждый раз ждала до последнего, и мне — когда я наблюдал, как она смотрит в лицо задыхающейся Синьорины, нерешительно держа руку на клапане, — казалось, будто я улавливаю в ее старушечьих глазах свирепое и самодовольное ощущение собственной власти.

Рядом с кислородным баллоном стояла еще и вешалка — та самая, что напугала меня несколько лет назад. К одной из ее "рук" подвешивали бутыль с жидкостью для внутривенных вливаний.

Я ходил в синюю комнату до последнего. Садился на диван и делал уроки, читал или просто фантазировал. Перед тем как Синьорина впала в беспамятство, к ней раз в неделю наведывался священник — приносил святые дары. Он поднимался по парадной лестнице и, пройдя через анфиладу помещений, попадал в синюю комнату. Из-под складки своего одеяния извлекал миниатюрную дароносицу в форме шкатулочки. Я смотрел на нее издали: маленький позолоченный предмет, который помещается в кармане и при нажатии на спусковой механизм распахивается, как пудреница. Пудреницы я видел в некоторых комнатах дома. Священник двумя пальцами доставал облатку. Я замечал белый отсвет на

внутренней части крышки и делал вывод, что там внутри имеются и другие. Синьорина ждала, когда ей дадут облатку, широко раскрыв рот и высунув язык, который был острым на конце, сухим, покрытым кровавыми ранками. Священник закрывал шкатулочку и прятал ее в карман, опять проходил через анфиладу и спускался по парадной лестнице. Я каждый раз провожал его до двери внизу и все хотел попросить показать мне эту шкатулочку, чтобы я понял, как она открывается, как устроена внутри. Или даже — попросить подарить ее мне, я бы тогда хранил в ней кое-какие мелочи.

Однажды Синьорина стала просить, чтобы к ней срочно привели исповедника. Но никто не собирался выполнять ее просьбу: она исповедовалась два дня назад, а причастие получила накануне, говорили *они*, — так какая ей нужда в исповеднике! Однако Синьорина так настаивала, плача и колотя по кровати кулачками, что в конце концов добилась своего. За священником отправился я — и помню, что уговорить его оказалось непросто. "Какие грехи могла она совершить за два дня? — сказал священник с улыбкой. — Пусть успокоится, знаю я эти грехи!" Мне пришлось долго его убеждать. Наконец он взял епитрахиль, свернул ее, сунул под мышку, и мы пошли. Всю дорогу мы прошагали вместе, но, когда уже в синей комнате он со строгим видом уселся подле Синьорины, предварительно облачившись в епитрахиль, мне пришлось уйти. Я, правда, задержался на несколько мгновений в передней, но оттуда ничего расслышать не мог. Священник оставался у Синьорины долго, а когда потом я провожал его вниз по лестнице, он показался мне как никогда замкнутым, неразговорчивым, чуть ли не разъяренным.

Прежде чем Синьорине стали вводить внутривенно питательный раствор, ее какое-то время кормили, как маленького ребенка. Ей подкладывали под спину подушки и подносили еду ко рту в старой серебряной ложечке, выделенной специально для нее. Жидкости же наливали в соску, которую Синьорина умудрялась сосать даже в начале своей долгой агонии, уже впав в беспамятство.

Последний раз, когда ей давали соску, относил эту соску я. Но прежде я тайком всыпал туда полную ложку молотого кофе. По пути к синей комнате я все время взбалтывал бутылочку, чтобы кофейный порошок распределился равномерно. Я поднес соску ко рту Синьорины, уже десять дней никого не узнававшей. Та обхватила бутылочку обеими руками, начала сосать, почти сразу поперхнулась, наморщила лоб — но потом лицо ее совершенно разгладилось; с невыразимым удивлением повернувшись ко мне, она несколько раз взмахнула рукой, будто пыталась ухватить что-то в воздухе.

Стульчака в комнате давно не было, на его место поставили кресло, предназначенное для визитеров. Часто я видел, как по дому перемещалась продолговатая утка, накрытая двойной газетной страницей и оставлявшая за собой зловонный след.

Все эти годы я занимался раскопками во дворе, хотя и реже, чем раньше. Я наполнил пулями в общей сложности двенадцать банок; и, поскольку они уже не умещались на полке, поставил часть из них на столик у себя в спальне рядом со старым диваном, на котором иногда устраиваюсь, чтобы послушать громоздкий радиоприемник.

Последние дни агонии были сплошным кошмаром. Синьорина кричала, с неожиданной силой сбрасывала с себя одеяло, садилась на постели и, пытаясь встать на ноги, отталкивала руки сиделки. Иногда я помогал сиделке, но даже вдвоем мы с трудом удерживали на кровати это легкое иссохшее тело. Синьорина казалась разъяренной, отбивалась от нас, выкрикивала ужасные фразы, пыталась кусаться своими беззубыми деснами.



Два дня назад такое произошло, когда я был с Синьориной один. Точнее, когда я вошел туда, ей меняли простыни, запачканные мочой и калом. Их свернули и через все комнаты понесли этот большой узел в ванную. Но еще прежде, обнажив Синьорине спину, промыли ей раны. Возле кровати стоял таз, в него макали губку. Потом Синьорину снова укрыли и, прежде чем удалиться с тазом и грязным бельем, попросили меня присмотреть за ней до их возвращения.

Я сел рядом с кроватью. Под подоткнутым с двух сторон одеялом Синьорина казалась очень спокойной, я ощущал аромат духов на ее волосах – аккуратно расчесанных, слегка поредевших, но все еще черных. Я рассеянно наблюдал за ней, как вдруг, застав меня врасплох, Синьорина раскрылась, сильнейшим рывком выдернув подвернутое под матрац одеяло и отшвырнув его в сторону. Я не знал, что делать. Придавил ей руками плечи, чтобы ее удержать. Я чувствовал, как ее костистое тело дрожит и тычется в мои ладони. Она сразу начала кричать, бить меня по лицу, по рукам. Я еще крепче прижал ее к кровати, навалившись всем своим весом. Но внезапно, сам не знаю как, Синьорине удалось освободиться, вырваться – и, перевернувшись на бок, она спустила ноги с кровати. Кричала, что хочет встать. Я умолял ее успокоиться, оставаться в постели, но она продолжала наносить удары. Тогда я схватил ее за плечи и бросил на постель. Она принялась кричать еще громче, угрожала, вела себя агрессивно. Постоянно возобновляла попытки подняться и сучила ногами в поисках опоры. Ночная рубашка задралась до живота, и, пока Синьорина боролась со мной и выворачивалась, стараясь дотянуться ступнями до рамы кровати, ноги у нее непотребно раздвинулись. Это повторилось два или три раза, у меня на глазах, и я не мог не увидеть между редкими волосами внизу ее живота, посреди бугорка из плоти, сероватую, почти черную щель, окровавленную внутри.

Я опрокинул ее на кровать, еще грубее, чем в первый раз, – может, даже ударил. И тоже начал кричать, на пределе сил, чтобы заглушить ее голос. "Лежи, проклятая!" – кричал я и одновременно с ужасом ощущал, как во мне нарастает сексуальное возбуждение.

Услышав крики, сбежались все *другие*, включая сиделку. Они меня сменили в этой борьбе, и я выскочил из комнаты.

Я поднялся на крышу, но ненадолго, потому что больничная печь вовсю работала и ветер гнал дым в мою сторону. Я спустился во двор и занялся раскопками, потом вернулся в дом, где мне сказали, что состояние Синьорины сильно ухудшилось и что она, возможно, вот-вот умрет.

Я заперся в ванной комнате – сидел, ни о чем не думая, на бортике ванны. Потом внезапно вскочил на ноги, взмахнув руками. Наклонился к воде и запустил туда руку, по самый локоть. Закатать рукав я забыл, и он промок. В ванне плавала одна рыба, которую мне очень хотелось, но

не удавалось поймать, два или три раза она выскальзывала из руки. Наконец я сумел ухватить ее, стиснув под головой, в самом широком месте, и прижав ей жабры. Я стал вытаскивать ее из воды, и по мере того, как вытаскивал, рыба все более тяжелела, будто наливалась свинцом. Она крутилась, выгибаясь то в одну, то в другую сторону, и порой напоминала электрическую дугу...

Не знаю... Прошло много времени. Я понял это, взглянув на слуховое оконце под потолком. Как странно, что я никогда прежде этого оконца не замечал... Мне хотелось распластаться на полу и остаться тут навсегда. Но нужно было идти: узнать, что происходит в доме. В ванне плавала мертвая рыбина. За ней тянулась кровавая нить, изо рта. Рыба плавала на поверхности, окоченевшая, поднималась и опускалась, слегка накренившись набок, невольно перекрывая путь другим рыбам, которые равнодушно от нее уклонялись.

Явился врач, он пробыл в синей комнате очень долго. Синьорина не переставала дрожать, бормотала что-то неразборчивое. Я ушел к себе и прилег на старый диван, включил радио — и пока слушал его, чувствовал, как внутреннее напряжение спадает. Я начал зевать, потом надолго погрузился в дремоту. Когда открыл глаза, уже почти стемнело. Лицо было мокрым, и я не понимал почему. Голова и согнутые ноги упирались в подлокотники дивана, слишком короткого, чтобы я мог вытянуться на нем во весь рост.

Я вернулся в ванную комнату. Смотрел на рыб, которые безмятежно перемещались в ванне, ловя ртом воздух. Двигая плавниками и хвостами, они подплывали почти вплотную друг к другу, но никогда не сталкивались. Мертвой рыбы там уже не было — кто-то, должно быть, ее выбросил.

Я промыкался еще пару часов, уж не помню как, потом, не поужинав, отправился спать; а в конце той нескончаемой ночи — наполненной голосами, шагами, шумом — узнал, что Синьорина умерла.

Проснувшись, я сразу побежал в синюю комнату. Вокруг кровати кружком стояли люди. На полу, недвижный среди мельтешения человеческих ног, сверкал алюминиевым блеском черепаший панцирь.

"Все кончено!" — сказал кто-то, поворачиваясь ко мне.

Я поспешно вышел. Начал кружить по комнатам. То и дело какие-то чужие люди выныривали из коридора или с парадной лестницы, все двери были распахнуты настежь. Чужаки суетились, кто-то открывал не те двери и, прежде чем находил синюю комнату, бестолково блуждал по дому. Кто-то другой, по ошибке приняв меня за заблудившегося визитера, шепотом бросал мне несколько фраз, отнюдь не лестных по отношению к обитателям дома. Мне казалось, что все эти господа ведут себя беспардонно и нагло: норовят заглянуть повсюду, останавливаются, чтобы пощупать безделушки. Вдруг я увидел сестру-монахиню, одетую в белое. Пока я пересекал переднюю, наши взгляды встретились, и я узнал ее: это была одна из сестер, загружающих больничную печь. Думаю, и она меня узнала: наверняка ей уже доводилось, подняв глаза от печи, видеть меня в развилке дерева с черными ягодами.

Я вошел в ванную комнату и присел на бортик. Было слышно, как снаружи беспрестанно скрипят под тяжелыми торопливыми шагами

три деревянные ступеньки, отделяющие кухню от коридора. За спиной у меня рыбы беззвучно перемешивали хвостами воду. Через какое-то время, когда поток посетителей иссяк, я переменил положение и устроился поудобнее. Сел на пол, обхватил руками бортики ванны и прижался щекой к эмалированному угловому выступу. Наклонил лицо очень близко к воде и смотрел на рыб, которые ловили ртом воздух и в своем непрерывном кружении по очереди попадались мне на глаза. Я рассматривал их методичные рты, их глаза, не выдававшие ни малейшей эмоции. Только резкое ускорение движения, когда они проплывали мимо меня, внушало уверенность: они видят мое большое лицо, слегка деформированное, нависшее над водой.

Я встал и вышел из ванной. Вернувшись в синюю комнату, застал там еще много народу; на Синьорину надели костюм, которого я на ней никогда прежде не видел, а чтобы спрятать изуродованные ступни, обули ее в пару новых туфель — таких тесных, что ей самой ни разу не удалось в них втиснуться.

Я вновь начал кружить по дому и вскоре, внезапно, вспомнил: светлые блики вокруг постели Синьорины, источник бликов где-то вверху... Я видел это не дольше мгновения, и все же теперь у меня возникла уверенность, что исходило свечение от спиц велосипедного колеса.

Я поднялся на крышу. Когда смотришь на двор отсюда, сверху, то кажется, будто он лежит на дне пропасти. Крыша наклонная, и если ты не лежишь на ней, прилагая усилия, чтобы не скатиться вниз, то нужно держаться за ржавые перила, надеясь, что их решетка не отломается от цоколя, такого хрупкого.

Я растянулся на крыше, даже не приблизив глаза к отверстию водостока. Развязал ширинку, чтобы посмотреть на себя: пенис был темным и слегка кровоточил. Вскоре я снова спустился в кухню. Там не было никого, но на столе, не покрытом скатертью, стояли тарелки. В некоторых была еда, другие — пустые, с остатками пищи — показывали, что кто-то уже поел, не дожидаясь других. Я тоже съел что-то.

Не помню, что́ еще делал в оставшуюся часть дня. Знаю только, что по-прежнему кружил по дому, среди всей этой сутолоки, которая после полудня усилилась. Ближе к вечеру пришли двое рабочих в комбинезонах, чтобы унести кислородный баллон: он — в лежачем положении — пересек анфиладу комнат, рискуя при каждом шаге этих двоих врезаться в стеклянную дверь или в какой-нибудь предмет мебели. На парадной лестнице баллон выскользнул у рабочих из рук и покатился вниз. Он подскакивал на ступеньках со страшным грохотом; я боялся, что от очередного удара предохранительный клапан вылетит — и тогда кислород, вырвавшись на свободу, в одно мгновенье заполнит пространство над лестницей.

Я вошел в комнату с кроватью, покрытой овчиной, снял со стены охотничий рог. И трижды мощно в него протрубил.

Люди приходили и вечером — до одиннадцати часов, когда все двери заперли. На ночь в синей комнате остались только ближайшие родственники. Я слышал их голоса даже из своей спальни, и мне не удавалось заснуть. Я поднялся с кровати. Открыл окно и выглянул, но поначалу ничего не мог разглядеть. Однако постепенно усиливалось ощущение, что в воздухе — тошнотворный запашок. Тогда я заподо-

зрил неладное. И стал вглядываться в темноту по ту сторону металлической решетки, отделяющей двор дома от больничного двора, – в том направлении, где находится печь; но мне казалось, что дыма я не вижу, хотя глаза постепенно привыкли к темноте. Похоже, там во тьме что-то шевелилось, хотя это мог быть и просто оптический эффект, вызванный тем, что я неотрывно смотрел на звенья металлической сетки. Я отвел глаза, а когда взглянул туда снова, понял, что перед печью маячит светлое пятно. Я даже уловил какое-то движение. Наверное, то была сестра-монахиня, присевшая на корточки перед дверцей и в темноте загружавшая печь. Или, может, там было две сестры. Я несколько раз взмахнул рукой, словно отгоняя назойливое насекомое; светлое пятно возле печи вроде как разделилось. Значит, я не ошибся. Я обернулся в поисках какого-нибудь предмета. Первым, что мне попалось под руку, был будильник: я бросил его из окна, прицелившись так, чтобы он по высокой дуге перелетел через металлическую решетку. Когда он приземлился в больничном дворе – я не понял, где именно, но явно далеко от печи, – светлое пятно пришло в движение: две сестры-монахини вскочили на ноги и застыли в неподвижности, теперь я их отчетливо видел. Я поискал в комнате еще что-нибудь подходящее. Пока поднимал со стола маленький, но тяжелый мраморный бюст – уменьшенную копию скульптурного портрета греческого военачальника, Алкивиада, если не ошибаюсь, – нога обо что-то споткнулась. Я нагнулся и сразу понял, что это черепаха; ее панцирь, на который лился из окна скудный лунный свет, был различим даже в почти непроглядной темноте комнаты. Я схватил черепаху. Через пару секунд блестящий панцирь, перелетев через решетку, с силой во что-то врезался. Я услышал металлический звук со стороны печи: черепаха, видимо, стукнулась о дверцу, и панцирь ее раскололся. Почти сразу, без передышки, я швырнул туда и мраморный бюстик. Сестры с криками убежали – пригибаясь, преодолели ту часть дорожки, что отделяет печь от стеклянной двери больницы.

Я же еще долго стоял у окна: хотел убедиться, что сестры, поощряемые моим бездействием, не предпримут новой вылазки. Через верхнюю часть оконного стекла я видел "изгородь сокола", она уже вырисовывалась в темноте как непроницаемое, сложной формы пятно. Теперь глаза различали даже большой камень, который постепенно светлел, выступая из темноты, как если бы содержал фосфоресцирующие субстанции. "Возможно ли, что я никогда этого не замечал!" – подумал я. Даже когда учился кататься на велосипеде и вновь и вновь проезжал по камню, пока не сгущались сумерки, а иногда и до позднего вечера... Садился я на самую низкую часть рамы старого дамского велосипеда, для удобства подложив под ягодицы подушечку. Ноги, широко раздвинутые, приходилось постоянно напрягать, чтобы они, хотя и короткие, не касались земли и чтобы, когда я набирал скорость на небольшом спуске после камня, ни на что не натолкнулись, не сломались и не отлетели в стороны, словно две зубочистки. Руки были подняты вверх: они сжимали руль над моей головой. Я отталкивался, потом велосипед сам скользил вниз по спуску, я же учился сохранять равновесие. Я очень старался не упасть на этом камне, потому что переломал бы себе все кости.

В гараж я отводил велосипед уже вечером. Мне нравилось забираться в автомобиль и, захлопнув дверцу, сидеть там внутри. Мне удавалось забраться внутрь, даже когда автомобиль был укутан клеенчатым чехлом. Я приподнимал клеенку — тянул за резинку, пришитую к ней с внутренней стороны, сколько было нужно, чтобы открыть дверцу, — и протискивался в образовавшуюся щель, придерживая чехол локтем. Сидел я в машине долго. Никто, даже если бы зашел в гараж и остановился возле автомобиля, не заподозрил бы, что я нахожусь так близко. Было совершенно темно, только через дырочки — там, где клеенка прохудилась, — проникало немного света, позволявшего кое-как разглядеть внутренность кабины. Я клал руки на руль — и вот мы уже мчались к морю, и на крыше громоздилось невероятное множество вещей, и ветер заставлял машину, будто она была парусником, то и дело менять курс, перемещаясь с одной дорожной полосы на другую. Я боялся, что нас остановит транспортная полиция, потому что колеса машины не соответствовали стандарту: ей поставили самолетные колеса — после окончания войны их, если знать места, еще можно было купить задешево. Синьорина, сидевшая рядом со мной, всю дорогу обмахивалась полученным в подарок венецианским веером. Часто я вырывал его у нее из рук, без конца открывал и закрывал, пытаясь понять, как это он может так внезапно менять форму и размеры — распадаясь на множество фрагментов, собирая их на себе и опять раздвигая пространство между своими палочками.

Когда мы ездили на море, Синьорина редко спускалась к пляжу. Для нее выбирали первые послеполуденные часы — самые безлюдные. Она носила черный купальный костюм, уже вышедший из моды, с миниатюрной плиссированной юбочкой, как пачка у балерины. Мужчина, шофер, поднимал ее на руки и нес через весь раскаленный пляж туда, где начиналось море, потом еще дальше, пока вода не доставала ему до пояса. Внезапно Синьорина выскальзывала из его рук — и плыла, так красиво, как никто от нее не ждал. Откидывала назад голову, погружала ее в воду, чтобы намочить волосы. Потом снова поднимала — и волосы у нее блестели, как шелк, над поверхностью пустынного залитого солнцем моря...

Я закрыл окно и вернулся в постель. Но вскоре снова поднялся, оделся и начал кружить по дому. Из синей комнаты еще доносились сонные голоса. Я вышел в коридор. Проходя под перекладиной, подпрыгнул и, ухватившись за нее, несколько раз подтянулся на руках. Зашел в кухню с намереньем посидеть у плиты. Но плита остыла, и внутри была лишь зола. Я не знал, чем заняться. Прошел в маленький кабинет, порылся в ящиках, потом решил подняться на крышу. Ночью я там никогда не бывал. Я замешкался в нерешительности, но все-таки толкнул тяжелую железную дверь, скользящую по специальному рельсу. Поднимаясь в темноте по ржавой лестнице, я ногой пробовал ступени, одну за другой. Оказавшись на крыше, сразу лег — перпендикулярно ее наклону, чтобы не скатиться к той крошащейся кирпичной оградке, что поддерживает решетку ограждения. И повернул голову к отверстию водостока: за стеклянной дверью больницы два светлых пятна подрагивали, разделялись, снова соединялись... Это могли быть просто отблески света, проникающего в больничный вестибюль из внутренних помещений. Я

долго лежал в таком положении и смотрел. Вдруг из стеклянной двери вышли две сестры-монахини. Я был почти над их головами, мог видеть, как они осторожно ступают, поглядывая на окно моей спальни. Ничего не подозревая, они пересекли двор, толкая перед собой тачку, и опустились на корточки перед печью, начали ее загружать. "Может, — сказал я себе, — в последние дни было много операций, и у них набралось столько этой дряни, что работать у печи приходится даже ночью. Или они теперь подрядились сжигать и отходы какой-то другой больницы?.." На крыше не было ничего, что я мог бы бросить вниз, чтобы их спугнуть, — разве что собственное тело. Оставался, конечно, еще один вариант — вскочить на ноги и выкрикнуть с крыши, в темноту, что-то такое, чтобы они испугались и убежали. Но я продолжал лежать — и довольно скоро ноздри защипало от знакомого запаха. Хотя ночь была темная, а в небе, как мешки с мусором, громоздились тучи, я иногда замечал отдельные завитки дыма — когда они проплывали мимо единственного узкого просвета. Мне не хотелось подниматься и изучать двор на дне пропасти, который лежал как на ладони на светящемся камне. Опираться руками о решетку было опасно, потому что кирпичная оградка могла раскрошиться, и тогда решетка выпала бы из нее, как зуб из старушечьей десны. Поднялся ветер, я ощущал на лице его холодное дыхание; справа от меня, над отверстием водостока, торчал конец второго металлического прута, к которому в свое время, по большим праздникам, прикрепляли флаг, чтобы он развевался на самом верху дома, хорошо различимый и с окружной дороги — по ту сторону больничного двора, — откуда доносился рокот грузовиков. Со своего места я их не мог видеть, но среди них наверняка были и молоковозы: они начинали ездить именно в этот час.

Прежде я часто прижимался лицом к решетке и однажды чуть не бросился вниз, чуть не спрыгнул в пустоту, чтобы попасть во двор: я думал, что буду опускаться очень медленно и поставлю ступни на землю тихо-тихо — для этого достаточно в нескольких сантиметрах от земли взмахнуть руками. Может, мне даже удалось бы потом еще раз подняться в воздух, перелететь через решетчатую ограду и конек больничной крыши... Между тем в одном из углов двора улитки, с которыми я проводил эксперименты по селекции, упорно пытались вскарабкаться на подмостки, сооруженные мною в тазу: на сложную пирамиду из веточек, которую я периодически окатывал водой — вода разжижала слизь улиток, и они падали. Тех, что добирались до самого верха пирамиды, я не расплющивал каблуком, как других, — их жизнь была спасена. Таким я возвращал свободу и сажал их на листья "изгороди сокола", предварительно пометив раковины яркой краской. Эта маленькая уловка нужна была для того, чтобы одна и та же улитка не попадала в селекционный таз дважды. Множество живых символов всевозможных форм и расцветок копошились теперь внутри "изгороди сокола", перемещались вокруг ее корней и в темных лиственных зарослях.

А если бы я сейчас приблизился к ограждению и перелез через?.. Я мог бы тогда распластаться в неподвижности над двором и, видя его с высоты маленьким и черным, словно отверстие колодца, расшифровать — как на рентгеновском снимке — очертания расширяющегося под землей большого камня; мог бы, прорвавшись сквозь струю дыма из той

печи, преодолеть в полете конек первой, больничной, крыши и после устремиться навстречу великим пустотам, паря высоко-высоко над другими дворами, порой прижимаясь снаружи к оконным стеклам, словно к иллюминаторам затонувших кораблей...



Думаю, я ненадолго заснул: я вдруг почувствовал, что все тело окоченело. Маленький разрыв в тучах — может быть, из-за ветра — расширился, превратился в настоящий просвет. И в просвете было полно звезд. На их фоне я видел последние завитки дыма, которые поднимались от печи и, казалось, плыли сюда. Хотелось встать на ноги и вернуться в дом, но сил на это, похоже, не было. Я попробовал для начала сесть. Мне пришлось изогнуться, лежа на боку, скользящим движением переместить вперед верхнюю часть туловища, и только потом я сумел совершить рывок, заставить себя подняться. Мне почудилось, что в направлении, противоположном больнице, не очень далеко отсюда, я вижу — в центре какой-то огромной площади — гигантскую конструкцию, напоминающую пирамидальной формы сценические подмостки; вокруг конструкции в полумраке сновали люди, бесконечно маленькие по сравнению с ней. Я не понимал, что́ там происходит. Попытался было встать во весь рост, но после нескольких неудачных попыток снова лег. Ничего другого не оставалось, кроме как устроиться на ночлег здесь. Я подумал, что, может, вообще больше не проснусь.

Когда я снова открыл глаза, было уже светло. Я с ужасом понял, что лежу возле самого ограждения. Может, во сне я, не сознавая того, скатился вниз. Нужно было немедленно отползти от стенки, не дожидаясь, когда она обрушится. Но я не мог шевельнуться. Опершись на локти, я сумел-таки переместиться на пару метров выше. Подняв голову, увидел, что та площадь заполнена толпой, флагами, символами, плакатами. Цепочка людей, видимо противостоящая толпе, выстроилась на огромном помосте, над которым гроздями нависли громкоговорители. Внезапно из громкоговорителей полилась музыка, заглушившая все другие звуки. Я не слышал ни малейшего шума, исходящего от толпы, но мне показалось, что в то же мгновенье вся площадь разом выдохнула: я как-то почуял, что образовался невиданных размеров — незримый — воздушный пузырь. Вскоре начал распространяться и голос: он расходился волнами от центра помоста, и вся площадь, словно огромная раковина, резонировала ему, тогда как толпа делалась все более неподвижной и инертной. Густой черный дым — может, от праздничного костра — столбом поднялся над площадью. Раздались аплодисменты. Ветер зашвырнул ко мне на крышу первые ошмётья этого дыма. Больничная же печь, проработавшая всю ночь, была теперь бездеятельной, потухшей — стояла с распахнутой дверцей и казалась чуть ли не изможденной.

Я встал на ноги — после многих попыток мне это удалось. Все тело окоченело, меня тошнило. Спускаясь по ржавой лестнице, я хватался за перила, чтобы не упасть, не покатиться по крыше, не провалиться через бездонный световой колодец в переднюю.

На кухне уже горела плита. Я притулился возле нее и уронил голову на руки, в нескольких сантиметрах от конфорки, — так и сидел, пока не почувствовал, как тепло проникает в заледеневший череп, до самого мозга, как оно просачивается сквозь веки и обжигает глаза, ставшие за

ночь твердыми и холодными костяными шариками. Вдруг я услышал потрескиванье: прядь моих волос случайно соприкоснулась с конфоркой и мгновенно сгорела.

Спустя сколько-то времени я поднялся. И сделал круг по комнатам. К своему величайшему изумлению, увидел, что черепаха уже вернулась: она была в полном здравии и направлялась к синей комнате. Я заперся у себя, чтобы записать все это.

Не знаю, что теперь буду делать. Думаю, что уйду из дома.

Я решил скормить Парини и эти последние листки. Поищу подходящую железку и попытаюсь утрамбовать бумагу внутри, чтобы освободить хоть немного места. Буду толочь и ужимать ее насколько возможно. Сейчас пойду посмотрю...

Наклонив голову Парини, я увидел, что из отверстия торчит жгутик бумаги, словно маленький хвост. Не то чтобы он высовывался — но, если заглянуть в отверстие, не заметить его нельзя. Поскольку там внутри бумага уже спрессовалась, боюсь, что тот, кто догадается ухватиться за этот кончик и осторожно потянуть, сможет извлечь наружу все содержимое, как бы разматывая его с незримой бобины, помещающейся в полости головы. После того как я просуну в отверстие и эти листки, надо будет проследить, чтобы ничего не высовывалось, потому что огромный ком бумаги, стиснутый там внутри, может вдруг начать разбухать и в буквальном смысле приподнимать голову, наклонять ее — а в конечном счете заставит опрокинуться с перил и разлететься вдребезги у подножия лестницы. С помощью железки я буду проталкивать как можно глубже и эти листки, пока не услышу характерный хруст бумаги, ужимающейся и заполняющей последние крошечные пустоты. Однажды мне уже довелось наблюдать, как голова, которую я считал полностью заполненной, естественным образом освобождала в себе маленькие пространства, когда бумага, сжатая до невероятия, протискивалась сквозь микроскопические просветы — и попадала, например, во внутреннюю полость носа или трудно достижимые пустоты в изгибах ушной раковины.

Прежде чем вернуться к себе, я на минутку заглянул в синюю комнату. Синьорина все еще там: неподвижная и в такой же позе, в какой я видел ее вчера вечером. Снаружи начался дождь, и в углу комнаты образовалась протечка. Из центра влажного пятна на потолке вода капает на пол. Черепаха приблизилась к лужице. Что-то в ее сегодняшней манере неспешно двигаться внушило мне мысль, что на самом деле она *бежала*, выбиваясь из сил. Она потянулась к водяным каплям, пытаясь попить. Но слишком высунулась вперед, и несколько капель упали ей на панцирь, на голову, на глаза; тогда она снова спряталась в свое убежище.

Я подумал, что, втиснув внутрь и эти листки, мог бы плеснуть в отверстие спирт и чиркнуть спичкой. Правда, огонь, пожалуй, быстро бы задохнулся — из-за отсутствия воздуха и бумаги, стиснутой так, что она стала жесткой, словно цемент; или, может, принявший форму головы гипсовый шар все-таки вспыхнул бы и раскалился. Но тогда под воздействием процесса сгорания голова непременно лопнула бы, расколовшись в затылочной или лицевой части, разбросала бы вокруг клочья не

до конца сгоревшей бумаги, а кто-то, вероятно, нашел бы их и отчасти расшифровал мои записи...

Кажется, я нашел решение... Если не получится сделать так, чтобы из отверстия ничего не высовывалось, я просто закупорю его пулей. Сейчас же пойду проверю, осуществимо ли это...



Да, осуществимо. Пуля чуть крупнее отверстия, но разница в их величине на самом деле очень мала. Наполнив голову, я загоню в отверстие пулю — постепенно, несильными ударами молотка; и, когда пуля целиком войдет в эту дырку, образовав одну плоскость с основанием, никто уже не сумеет ее оттуда извлечь. Она будет выглядеть как крошечный металлический диск, и всякий, увидев ее, подумает, что диск был принадлежностью статуи с самого начала — всегда.

# Кристоф Рансмайр

# *Летучая гора*

Фрагмент романа

*Перевод с немецкого и вступление* Александры Кряжимской

## В поисках "незыблемого места"

*Кристоф Рансмайр родился в 1954 году в Вельсе, Верхняя Австрия. Его книги переведены на тридцать языков, он лауреат двенадцати престижных литературных премий, в том числе премии имени Франца Кафки, Бертольта Брехта, Государственной литературной премии Австрии.*

Кристоф Рансмайр — высокий мужчина с густыми усами и серьезным, слегка меланхоличным взглядом. По образованию он философ. Неудивительно, что всю жизнь его занимает один из центральных вопросов философии: вопрос о времени. Ток времени неизбежно ведет к смерти. Человек не может с этим смириться и тоскует по укрытию, "незыблемому месту", где время и смерть были бы над ним не властны, где, как в утробе матери, можно было бы почувствовать покой и защищенность. Но такого места нет: все течет, все меняется. В одном из интервью Рансмайр признался: "Все мои истории об одном: о бренности сущего. И о том, что в нашей власти лишь пронаблюдать обстоятельства и осознать закономерности, согласно которым происходят изменения".

В университете второй специальностью Кристоф выбрал этнологию, и это определило, где именно после окончания обучения он станет искать ответ на вопрос о времени: в путешествиях. Молодого человека не испугало, что на тот момент за его спиной были только детство в деревушке коммуны Ройтам округа

© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main, 2006
© Александра Кряжимская. Перевод, вступление, 2009

Гмунден и короткие вылазки в горы, которые устраивал по воскресеньям для него и его младшего брата Штефана их отец, сельский учитель. В 1983 году Рансмайр побывал на полярном архипелаге Шпицберген в Северном Ледовитом океане и написал об этом два репортажа в журнал "Transatlantik". Последующие репортажи о его путешествиях публиковались в журналах "Extrablatt", "Geo" и "Merian". О полярной экспедиции и дебютный роман Рансмайра "Ужасы льдов и мрака", вышедший в 1984 году (на русский переведен Ниной Федоровой в 2003-м[1]). С одной стороны, Рансмайр всегда пишет, отталкиваясь от того, что видел и испытал сам (по форме его первый роман напоминает большой репортаж). С другой стороны, документально подтвержденные факты он искусно переплетает с художественным вымыслом — впоследствии это становится характерной особенностью его письма. "Ужасы льдов и мрака" ознаменовали переход творчества Рансмайра из сферы публицистики в сферу литературы.

От напряженного труда у писателя стала развиваться глазная болезнь: в поле зрения появились темные пятна. Впоследствии симптом исчез сам собой, но врачи поставили ему редкий диагноз: *болезнь Китахары*. Тогда Рансмайр подумал, что эти два слова — хорошее название для произведения. У него возник замысел романа про страдающего такой болезнью телохранителя. Через одиннадцать лет, в 1995-м, замысел воплотился: был издан роман "Болезнь Китахары" (на русский переведен Ниной Федоровой в 2003 году).

Во время работы над своим вторым романом "Последний мир" (1988, на русский также переведен Ниной Федоровой в 2003-м) Рансмайр углубился в изучение "Метаморфоз" Овидия. На советы продолжать писать в духе репортажа он отвечал, что литература в чем-то сродни путешествиям и как ему неинтересно все время возвращаться в одну и ту же страну, так неинтересно и писать похожие друг на друга книги. Но "Метаморфозы" только на первый взгляд кажутся неожиданным для Рансмайра выбором: в каком другом произведении столь же наглядно показана переменчивость и бренность сущего? Четыре года работы обернулись большим успехом. Вместе с мировой известностью появились деньги, а значит, долгожданная свобода. Рансмайр говорит: "У меня никогда не было желания иметь что-либо. Я всегда покупал за свои гонорары только время и возможность путешествовать, искать ответы на волнующие меня вопросы".

Он побывал в Северной и Южной Америке, на полуострове Индокитай, в Непале, Индии, Йемене, Тибете. Восходил на Известняковые Альпы, Анды и Трансгималаи[2]. Именно горы с малых лет притягивали Кристофа: из окна его детской были видны Альпы, в воображении мальчика неразрывно связанные с захватывающими приключениями. Рансмайр до сих пор воспринимает поход в горы как чудо, как возможность перехитрить время: "Тот, кто совершает восхождение на гору, совершает в некотором роде путешествие во времени, путешествие в прошлое. Чем выше он поднимается, тем дальше уходит в глубины человеческой истории: из цивилизованной долины в такие области, которые предстают перед современным путешественником в том же виде, в каком представали и перед охотником эпохи неолита, тысячи лет назад".

В путешествиях Рансмайр черпает не только вдохновение для творчества. Они помогают ему увидеть главное в жизни: "Все, что до сих пор казалось тяжелым, обременительным, важным, в том числе собственная работа, вдруг предста-

1. "ИЛ", 2003, № 2.
2. О своих путешествиях Рансмайр рассказывает в книге "Признания туриста. Допрос" ("ИЛ", 2008, № 4. Перевод Н. Федоровой).

ет перед тобой как пройденный этап, утрачивает значение. Когда ты выходишь из самолета в Бомбее или где-нибудь в Борнео, то чувствуешь, что оставил что-то позади, но не по-настоящему важные вещи, а то, что имеет значение только в месте, откуда ты прибыл. Нужно преодолеть себя, свои страх и леность, чтобы добровольно выпасть из крохотного привычного мирка, в котором ты родился, с которым связан языком, и оказаться в стране, где все по-другому, где ни ты не понимаешь, ни тебя не понимают, где ты чужой среди чужих, немой дурачок. Но только так можно достичь самосовершенствования, освободиться от всевозможных идеологий и догм, от веры в иерархию культур".

Между прочим, другое хобби Кристофа Рансмайра, астрономия, служит той же цели: помогает отбросить лишнее. Несколько недель в году он проводит за телескопами в маленьком домике в Альпах и утверждает, что это дает ему возможность "убеждаться в краткости и хрупкости нашего присутствия в этом мире, его незначительности в космических масштабах и в то же время невероятной ценности и важности каждого мгновения, независимо от того, чем именно мы в этот момент занимаемся".

Хотя Раснмайр объездил весь мир, он считает себя, как он выражается, "деревенщиной". Ему не нравится суетная жизнь больших городов: в 1994 году из Вены он перебрался в малонаселенную Ирландию: в Западный Корк, сельский район на юге страны, известный своими живописными полуостровами. Жизнь в прибрежных деревеньках напоминает писателю детство в Верхней Австрии. "Незыблемого места" не существует, но Западный Корк к нему максимально близок: "Конечно, современность неудержимо наступает и на Западный Корк. Просто не так быстро".

Произведения Рансмайра требуют медленного восприятия. Потому что пишет он очень медленно (между четырьмя его романами промежутки в четыре, семь и одиннадцать лет). В работе не терпит спешки: сначала создает текст и лишь после этого подписывает издательский договор. К творчеству Рансмайр относится очень серьезно: "Когда только обдумываешь замысел, в голове крутится множество смутных ассоциаций, вариантов и форм выражения. Когда пытаешься устно сформулировать мысль, наталкиваешься на некоторые ограничения, связанные с языком: высказать можно лишь то, для чего есть слова. А во время письма все варианты редуцируются до единственно возможной, точно соответствующей замыслу формы". Создание текстов занимает у Рансмайра так много времени, потому что пишет он сразу на чистовик: "Я не могу иначе, я должен найти такие формулировки, чтобы можно было уже не возвращаться к той или иной странице, тому или иному предложению, чтобы я знал наверняка: об этом я уже рассказал". В первый год работы над произведением рождается всего несколько десятков страниц, а работа над первым предложением может занять несколько месяцев. Дело в том, что первое предложение Рансмайр считает самым важным, от него зависит все остальное, "на нем держится вся история".

Каждый текст Рансмайра — стилистический шедевр. Нидерландский журналист Андре Спур высказался о "Болезни Китахары" так: "В последние годы ни один автор не писал на таком исполненном фантазии, гибком, напряженном и красивом немецком языке. Высокое качество рансмайровского письма проявляется в том, что он, обладая талантом стилиста, не поддается соблазну вычурности... Он пишет очень экономно. В его книгах нет ни одного лишнего слова". Рансмайр в доступной, но не плоской форме говорит о вечных и злободневных проблемах — например, о проблеме времени или об угрозе экологического кризиса. Он пишет легко и уверенно, любит приводить географические названия и

точные данные. А описания природы в его текстах отличаются редкой живописностью.

В романе "Ужасы льдов и мрака" есть такие строки: "Кто вправду желает восхищаться природой, пусть наблюдает ее в крайностях. В тропиках, в полном ее расцвете и изобилии, в роскошном летнем уборе, любуясь которым очень легко проглядеть главное, и у полюсов, во всей скудности, каковая, однако ж, куда как ясно и отчетливо выявляет великолепную внутреннюю структуру". Действие всех четырех романов Кристофа Рансмайра разворачивается на фоне экстремальных природных условий: холод, скалы, лед. Враждебная человеку среда играет в его произведениях не менее важную роль, чем герои, которые блуждают по свету, пытаясь найти решение какой-то загадки. Автор помещает своих персонажей в опасную для жизни *пограничную ситуацию* (если воспользоваться выражением Карла Ясперса), когда чувства предельно обострены и может наступить прозрение, выход на более высокий уровень духовного развития. В то время как многие писатели XX века заставляли своих героев пережить пограничную ситуацию войны (чаще всего — Первой или Второй мировой), персонажи Рансмайра, по сути, ведут войну *с окружающей средой*. Помещая героев в такой ландшафт, где человеку не место, автор лишает их поддержки цивилизации и заставляет сбросить маски.

В 2006 году вышел в свет новый роман Кристофа Рансмайра "Летучая гора". Книга, над которой писатель работал одиннадцать лет, стала в Германии и Австрии лидером продаж. Замысел "Летучей горы" возник у Рансмайра в середине девяностых годов, когда, передвигаясь на грузовике, внедорожнике и пешком вместе с пасущими яков кочевниками, он проделал путь от города Чэнду китайской провинции Сычуань до Лхасы, исторической столицы Тибета. Писатель был потрясен, узнав, что, согласно верованиям жителей восточнотибетского региона Кхам, горы Гималаев, то есть самое тяжелое, массивное и неподвижное, что человек нашей культуры может себе вообразить, когда-нибудь поднимутся в воздух и улетят — так же, как однажды, в доисторическое время, опустились со звезд на землю. По словам Рансмайра, эта легенда связана с возникающим в Трансгималаях визуальным эффектом: "Когда заснеженная вершина возвышается над покровом облаков, а горизонтальный взгляд теряется в голубом тумане, действительно создается впечатление, будто огромные горы парят — удивительное зрелище".

Жанр "Летучей горы" можно определить как роман путешествий. Повествование ведется от лица Патрика, которого брат Лиам уговаривает отправиться с южных берегов Ирландии в Тибет. На китайском — многолетней давности — аэрофотоснимке Лиам обнаружил до сих пор не отмеченный на картах семитысячник в Трансгималаях, именуемый местным населением Пур-Ри, Летучая гора, и загорелся желанием его покорить. Вершины Пур-Ри на самом деле не существует — ее Рансмайр придумал, и все же текст дает полное ощущение достоверности. Автор прекрасно разбирается в том, о чем пишет: восхождения в горы явно описаны альпинистом, природа Западного Корка и жизнь в восточнотибетском регионе Кхам — человеком, который там побывал. Рансмайр разрушает обывательское представление о Тибете как о стране, близкой к небесам и далекой от современности: "Тибет — оккупированная территория, испытывающая давление всех законов глобализированного мира: экономических, технологических, военных. Неблагоприятные последствия вторжения современности в архаичное общество, доселе державшееся на мифах и верованиях, видны на примере жизни тибетских кочевников, видны особенно отчетливо".

Роман имеет необычную структуру: повествование разворачивается в двух временных пластах (в прошлом и настоящем), и с каждым из этих пластов связано определенное место действия. Живущий в Ирландии Патрик вспоминает пережитое год назад в Тибете; кроме того, в его рассказ периодически вплетаются эпизоды из детства, раскрывающие характеры героев и проливающие свет на их взаимоотношения. Автор описывает события, нарушая хронологическую последовательность: начинает с кульминации, а потом переходит к предыстории путешествия. Читатель с самого начала знает, что, раз герой все это рассказывает, значит, он благополучно пережил свои приключения. Но этот факт отнюдь не снижает накала страстей в напряженные моменты повествования.

Кристоф Рансмайр признается: "Истории о братьях завораживают меня с тех пор, как в родной деревне я впервые услышал от священника легенду о Каине и Авеле. Меня потряс тот факт, что соперничество между братьями может привести к убийству. Но в истории гражданских войн (достаточно вспомнить братоубийственную войну в Ирландии), как и в истории географических открытий, можно найти массу трагических примеров другого рода: когда братья вместе устремлялись к какой-то политической утопии или географической цели, а в итоге лишь одному из них удавалось избежать гибели".

Хотя Лиам и Патрик братья, их можно назвать антиподами. Старший, Лиам, — сын своего отца, любит организуемые им походы в горы, имитирующие военные вылазки, невозмутим, никогда не теряет самообладания, имеет прозвище Господин Хладнокровие, увлекается астрономией, презирает людей, амбициозен и тщеславен (впрочем, не без оснований), во всех начинаниях добивается успеха, в отношениях с людьми привык доминировать, рядом ему необходим более слабый Патрик; Лиам не признает никаких авторитетов, из-за комплекса превосходства стремится к всемогуществу; подспудным мотивом путешествия для него становится желание утвердить, покорив гору, свою власть над природой. Младший, Патрик, больше привязан к матери, его прозвали Ковриком-для-мыши, он с детства не любит горы, ему ближе морская стихия; он — ранимый, подверженный переменчивым настроениям, находится под влиянием брата (поэтому и отправляется в Тибет); чтобы возвыситься в глазах Лиама, Патрик разделяет его увлечения, в то же время ощущает себя вечным статистом, так как всегда жил в тени брата; Патрик приписывает Лиаму множество недостатков, но, возможно, это лишь проявление обиды и свойственного ему самому комплекса неполноценности; впрочем, он никогда не высказывал Лиаму свое недовольство, хранит неприязнь в себе. Разлад в душевной жизни обоих братьев, возможно, объясняется тем, что мать ушла из семьи, когда они были еще детьми, а воспитывал их фанатик-отец со множеством нереализованных амбиций.

Казалось бы, противоречия между братьями неразрешимы. Патрик считает, что, кроме фамилии, у них нет ничего общего. Но во время восхождения на гору герои преодолевают пропасть во взаимоотношениях, освобождаются от накопившейся за всю жизнь враждебности и обретают друг друга. История Каина и Авеля получает неожиданный конец: один из братьев-соперников не убивает другого, а спасает ему жизнь.

Еще одна отсылка к Библии в романе Рансмайра — мотив наречения: тот, кто дает имя какому-то объекту, обретает над этим объектом власть. Братьям действительно удается написать свои имена на заснеженной вершине "покоренной" горы, но власть человека над природой иллюзорна — через несколько мгновений ветер стирает буквы, а стихия доказывает зазнавшемуся дитяти цивилизации свое превосходство. Лиам наказан за свои заблуждения. С Патриком же

связан гуманистический пафос романа: путешествие в Восточный Кхам помогает ему продвинуться на пути к себе, герой постигает, что истинный смысл существования — в человеческих отношениях, и находит в любви свое "незыблемое место": покой и защищенность.



На архетипическом уровне повествования Рансмайр сталкивает контрастные понятия: Восток и Запад, современность и архаика, пространство и время, вода и суша, тяжесть и легкость, жизнь и смерть. При этом автор намеренно размывает границы, показывает, как противоположности переходят друг в друга, сеет в душе читателя сомнения относительно традиционных для западной культуры представлений о мире. Ирландия и Тибет не столько противопоставляются, сколько сопоставляются: между английской колонизацией и китайской оккупацией усматривается параллель. Путешествие в пространстве становится для братьев путешествием во времени, причем время обращается вспять: из дома, оснащенного по последнему слову техники, они отправляются в первобытность. Земля — противоположность водному пространству, но в то же время кочевники именуют одну из гор "Мать рек". Гималаи, как пушинки, поднимаются в воздух. Жизнь переходит в смерть и наоборот: герой воскресает.

В тексте также присутствуют два представления о времени: современное, линейное, и архаичное — циклическое. В последнем можно обрести своего рода "незыблемое место": если воспринимать время не как реку, в которую нельзя войти дважды, а как замкнутый водоем, где все смешивается, преобразуется, но сохраняется, то конца можно не бояться.

Об отсутствии абсолютных границ между противоположностями говорит и форма романа. Два традиционных способа организации литературной речи — проза и поэзия. Одно из главных отличий между ними состоит в наличии/отсутствии ритма. Проза чаще всего неритмическая, то есть делится на отрезки, которые не обязательно соизмеримы, так как определяются исключительно синтаксическим членением. Поэзия же характеризуется строгой ритмикой — наличием ритмических единиц разных уровней (слог, стопа, строка и строфа). За каждой стихотворной строкой и строфой следует пауза. Чтобы отразить ритм на письме, поэтические произведения с древних времен записывали рядами, в столбик (само слово "стихотворение" этимологически связано с греческим η στίχος — ряд, строй). Прозаический текст "Летучей горы" тоже записан в столбик и разбит на строфы, в результате чего получается совершенно особенный, промежуточный способ организации речи — ритмическая проза. Разбивка на строфы подчеркивает значимые моменты повествования. На содержательном уровне роман Рансмайра тоже сочетает в себе элементы, характерные, с одной стороны, для прозы (повествование о событиях, сюжет), а с другой — для поэзии (эмоциональная насыщенность, лиричность). Сам автор объясняет использование столь необычной формы так: "Где сказано, что только поэтический текст может быть написан в виде строф с флаговым набором, то есть со строчками разной длины? Мой „летучий" набор соответствует ритму, с которым я рассказываю, и моему представлению об удовольствии от чтения гораздо больше, чем набор с выравниванием по обоим краям. А что приятно мне, я полагаю, приятно и людям, которые слушают или читают мою историю. Разве хорош тот писатель, который превращает свое произведение — для читателя — в бег с препятствиями? Летучий набор, без сомнения, призван облегчить чтение".

Рансмайр считает, что правильнее всего воспринимать "Летучую гору" на слух: он сам читает свой роман со сцены и на диске аудиокниги, которая вышла одновременно с печатной версией. Устная передача текста, характерная для

фольклорной традиции, в самом деле как нельзя лучше подходит для произведения, в котором рассказывается о жизни тибетских кочевников. Кроме того, флаговый набор напоминает описанные в романе молитвенные флаги, на которых буддийские монахи пишут мантры, чтобы ветер их непрестанно "произносил". В книге отчетливо звучит мотив сакральности написанного слова. Ведь именно письменность дает человеку возможность в некотором роде уподобиться Богу, стать бессмертным: тому, кто умеет записывать свои мысли, даже смерть не может помешать обращаться к людям.

Выходит, "незыблемые места", где можно укрыться от времени, все-таки существуют. Творчество Кристофа Рансмайра проливает свет на четыре (по меньшей мере) способа победить время: можно поселиться в таком уголке земли, где веками ничего не меняется; построить гармоничные отношения с другим человеком; воспринимать время циклически; или — создать текст.

## 1. *Воскресение в* Кхаме. *Восточный* Тибет, XXI *век*

Я умер
на высоте 6840 метров над уровнем моря
4 мая в год Лошади.

Место моей смерти
находилось у подножья обледенелой каменной иглы —
там, с подветренной стороны, я пережил ночь.

Температура воздуха в час моей смерти
составляла минус 30 градусов по Цельсию,
я видел, как кристаллизовалась
влага моего последнего вздоха
и дымкой рассеялась в предрассветных сумерках.

Мне не было холодно. Не было больно.
Пульсирующая рана на левой руке
почему-то потеряла чувствительность.
Сквозь бездонные пропасти у моих ног
юго-восточный ветер нес кулаки облаков.

Гребень хребта,
что вел от моего убежища
ввысь, к пирамиде вершины,
терялся в полотнищах сдуваемого ветром снега,

но выше вершин небо
оставалось таким синим,
что мне казалось, я различаю созвездия:
Волопаса, Змею, Скорпиона.

Звезды не погасли и тогда,
когда над полотнищами снега взошло солнце
и закрыло мне глаза,
они вспыхнули в моем ослеплении
и горели в красноте закрытых век
белыми пульсирующими искрами.

Даже шкалы высотомера,
который в какой-то момент
выпал из моей замерзшей перчатки
и соскочил вниз, в облака,
остались на сетчатке, словно выжженные:
давление, уровень моря, температура по Цельсию...
каждый показатель потерянного прибора —
пылающее число.

Когда эти числа, а за ними и звезды
сначала потускнели, а потом погасли совсем,
я услышал море.

Умирая высоко над облаками,
я слышал прибой,
казалось, чувствовал брызги волн,
что пеной вздымались из глубины
и снова несли меня к вершине,
заснеженному утесу на морском берегу,
спустя мгновение затонувшему.

Грохот камнепада,
разбившего мне руку,
завывание ветра, мое сердцебиение...
растворились в шуме потопа.

Я был на дне моря?
Или на вершине?
Там, где не было боли, — только покой
(теперь я знаю,
это действительно был конец, моя смерть,
а не просто полное изнеможение,
горный мираж, беспамятство),
я услышал смеющийся голос:
*Вставай!*
Это был голос брата.

Мы потеряли друг друга
прошлой ночью во время непогоды.
Я умер.
Он нашел меня.

Я открыл глаза. Он стоял рядом со мной на коленях.
Держал меня в своих объятьях. Я жил.
Пульс бешено стучал в пораненной руке;
сердце билось.

Когда я сегодня вспоминаю
ту лунную ночь,
когда мы с братом
спускались с пика горы,
которую номады Кхама называют Пур-Ри,
*Летучая гора*,
карабкались обратно в глубину,
нетвердо шагая по остекленелому гребню хребта,
по сверкающим бороздам, черным ледяным расщелинам,
по бедра проваливались в снег, проходя седловину,
в которой накануне потеряли друг друга...

Когда я думаю о блуждании по ледовому лабиринту
в поисках обитаемого мира,
лежащего где-то в бездне, под башнями облаков,
я всегда вижу Ньему,

слышу ее успокаивающий голос,
звон ее коралловых и ракушковых бус,
чувствую тепло ее рук,

вижу Ньему,

как будто это ее руки,
а не брата,
обхватили меня тогда:

никто, слышу я слова Ньемы,
никто не умирает на своем пути один-единственный раз.

Ньема Дольма: как упорно она старалась объяснить мне
какое-нибудь слово своего языка
или просто жест.
Каким теплым было ее дыхание,
когда она по буквам шептала
мне на ухо имя какого-нибудь растения.

Ее косы пахли шерстью яков
и дымом, а когда она говорила,
то иногда писала указательным пальцем
быстрые летучие знаки
у меня на плече, на тыльной стороне ладони –
спирали, волны, кружки́.

*Вставай!*

Я потерял след брата
во время снежной бури,
когда луну словно захлестнула
волна черной воды.
Метель разделила нас
и во мраке, при одном лишь
рассеянном кристаллами льда
свете моего головного фонарика,
пригнала меня к подветренной стороне каменной иглы.
Там я дожил до рассвета.

*Вставай!*

Брат стоял рядом со мной на коленях.
Держал меня в своих объятьях.
Потом, словно под тяжестью 100-килограммового груза,
поднялся сам и попытался поднять меня.
Смеялся.
Ругался от растерянности.
Его лицо в вязаной маске
превратилось в ледяную гримасу.

Сколько времени прошло после нашего расставания?
Теперь солнце стояло высоко над цепью вершин.
Небо: безоблачное.
И в тени каменной иглы,
в тени моего убежища: безветрие.

Я жил.
Шел снег.

Черный снег?
Черный снег.

Черные хлопья,
похожие на обуглившуюся,
разорванную невидимым огнем бумагу,
летели с безоблачного неба.

Но когда одна снежинка села
на покрытую ледяной коркой
перчатку брата,
другая — на его плечо,
еще одна — мне на грудь, на лоб,
я увидел усики!
Увидел нити насекомьих лапок

и крылья: на нас с братом
снегом сыпались мертвые бабочки,
покрытые панцирем изморози,
увеличившим и исказившим
фасеточные глаза, хоботки и чешуйки на крыльях;
они падали сперва поодиночке, потом сотнями
и, наконец, клубящейся
затмившей небо массой.

Отдельные филигранные трупики,
казалось, разбиваются,
ударяясь о мою грудь,
о перчатку брата,
я как будто слышал их звон.

Звон?
Нет, было тихо.
Совершенно тихо.

С неба, которое в зените
уже становилось космически-черным,
падали скованные льдом мотыльки, бабочки-аполлоны,
огромные стаи которых мы видели
несколько недель тому назад в долинах Кхама,
над гирляндами молитвенных флагов
разрушенного монастыря,
над ледниковым озером,
рододендроновым лесом.

Я устал, несказанно устал.
Хотелось так и лежать.
Лежать и спать.
Спать.

*Вставай!*
Брат тянул, рывками пытался поднять меня,
опускался со мной обратно в снег.

А я съежился в его объятьях,
на высоте 6840 метров над морем,

и сквозь вихрь темных снежинок долго смотрел
на полотнища сдуваемого с Пур-Ри снега,
на ослепительную вершину Летучей горы,
на снежном покрове которой
я рукояткой ледоруба
написал наши имена.
Я жил.

Ты думаешь, ты спал,
слышу я голос Ньемы и вижу,
как она укачивает на руках Таши,
покрытого сажей плачущего младенца,
ты думаешь, ты спал, грезил,
но ты был мертв: далек от жизни.
Ты был мертв и вернулся,
потому что обратно тебя вытянула рука,
вызвал голос.

Ньема часто смеялась, когда говорила.
Думаю, это ее веселость
помогла мне осознать, что в то утро
под пирамидой вершины Пур-Ри
не слова брата
приказали мне вернуться в жизнь,
а его смех.

Он держал меня в своих объятьях
и смеялся, кричал, смеясь: *снег идет!*
*Идет снег из бабочек! Вставай!*

Казалось, именно этот смех,
вобрав в себя все остальные звуки и слова,
наконец высвободил их из абсолютной тишины:
скрежет стальных кошек
по облицованному льдом склону,
звон крови у меня в голове,
наше дыхание,
в разреженном воздухе высоты
похожее на собачье.

Может быть, брат видел по моим глазам,
что именно его прерывистая речь
приковала к себе мое внимание
и, слово за слово, влекла обратно в нашу жизнь.

Он говорил так быстро и с таким напором,
как будто его слова были последней возможностью
дотянуться до меня

и я бы навсегда исчез,
если бы он замолчал.

Из постепенно приближающейся дали
я слышал, как он говорил:
*помнишь, ты же не забыл...*
*наверняка помнишь, вспомни.*

Когда я закрывал глаза,
он звал меня по имени, снова и снова,
выкрикивал имена горных носильщиков из клана Ньемы,
названия перевалов, через которые мы проходили
во время нашего многонедельного наступления
на ледяные стены Пур-Ри,
имена, названия, *ты меня слышишь,*
*помнишь, вставай!*

Во время этого марша
мы видели стаи бабочек,
танцующие ленты длиной в сотни метров.
Они перелетали даже через самые высокие
заснеженные перевалы, стремясь
к необитаемым долинам,
испещренным токами талой воды,
возможно, следуя закону пищевой цепи,
соединяющей зеленые топи с глетчерами,
или же следуя ложному маршруту,
хранящемуся в памяти с тех доисторических времен,
когда между местом, откуда они летели,
и местом, куда направлялись,
еще не воздвиглись покрытые ледниками горы,
а были лишь пологие плодородные холмы.

*Ты меня слышишь!*
*Вставай!*

Однажды (это было в тот вечер,
когда вершина Пур-Ри, еще далекая,
впервые предстала перед нами
без покрова облаков)
мы уже видели,
как стаю бабочек
подхватил сезонный вихрь —
и столбы теплого воздуха, кружа, унесли их ввысь,
во мрак, в холод, в смерть,
а когда восходящий поток тепла наконец ослаб,
покрытые инеем бабочки
снегом посыпались на ледник.

*Вспомни.*

Ньема... Это Ньема сказала,
что там, с подветренной стороны склона,
где было мое последнее пристанище,
брат именно *выговорил* меня из смерти в жизнь,
своей литанией имен он воскресил
наши общие воспоминания,
настолько неизгладимые,
что они превратили прошлое в настоящее
и вернули меня из той дали,
где я уже успел затеряться.

Помню, что я взглядом
пытался следить за
плавно опускающимися мотыльками,
что от этого у меня сильно закружилась голова
и что первой фразой, которую я с трудом произнес
в объятьях брата,
был вопрос: *Они мертвы?*

Еще помню, как брат,
радуясь тому, что я пришел в себя,
или восхищаясь порхающими трупиками
в ледяных панцирях, не переставал смеяться
и кричал мне из облака пара,
скрывавшего его лицо:
*Но они летят! Они все еще летят!*

Мой брат мертв.

Вот уже больше года
он погребен во льдах,
под южным склоном Пур-Ри,
по которому мы спускались
три дня и две ночи: снег ослеплял нас,
галлюцинации манили на ложный путь,
прямо к грохочущему облаку лавины,
в котором брат и исчез.

Думаю, Ньема была первой,
кто произнес эти страшные слова.
Через несколько недель, смазывая вязким отваром
окровавленные подушечки моих пальцев
и медленно рубцующуюся рану на руке,
она сказала: *твой брат мертв.*

Мертв.
Он держал меня в своих объятьях
в вихре скованных льдом мотыльков.
Он согревал меня
и выговорил обратно в жизнь,
а потом целую мучительную вечность
первым спускался по разорванному лавинами
южному склону Пур-Ри в бездну,
которую до нас не преодолел ни один человек.

Я уже не помню, сколько часов разгребал щебень
на конусе лавины, пытаясь добраться до брата.
У меня больше не было ногтей,
когда пастух из клана Ньемы,
который искал потерявшихся яков,
нашел меня вблизи оставленного лагеря.
У меня почернели руки,
почернели обмороженные пальцы ног,
но я был жив.

Помню сверлящую боль,
когда пастух на санях
из связанных ремнями веток и шкур
рывками тащил меня по горной долине,
тяжело дыша и временами затягивая
монотонную песнь.

Мне хотелось подняться
и схватиться за певца, прикоснуться к нему,
убедиться, что он состоит из плоти,
что он — *настоящий*,
а не очередной призрак, один из тех,
которые сопровождали меня при спуске в бездну
и превращались в снег,
камни и облака,
когда я отвечал на их вопросы
или хватал их протянутые руки.

Мне хотелось обнять этого певца,
но я оставался неподвижным
стонущим грузом на его санях,
у меня даже не было сил,
чтобы поднести ко рту размоченный в чае и жире яка
кусочек жареной ячменной лепешки.
Певцу приходилось меня кормить.

Сегодня,
когда я на *Хорс-Айленд*

иду по залитому солнцем
дому брата,
из одной пустой комнаты в другую,
а стены отражают звуки моих шагов,
когда я через тусклое, покрытое выцветами соли окно
смотрю на прибой, на обрывистый берег,
на Атлантический океан,
волнуемый в последние дни штормовыми ветрами,
я понимаю, что смех может вдохнуть в нас жизнь,
но сохранить ее он не в силах.

То, что поддерживает жизнь
в Ньеме, в людях ее клана,
во мне и, пожалуй, в большинстве из нас,
должно быть, связано с тем иногда отрадным,
иногда пугающим, но до конца не постижимым фактом,
что мы, где бы ни находились,
никогда не бываем одни:

*Здесь* всегда есть кто-нибудь,
кто хотя бы знает о нашем существовании,
кто нас не отпустит или кого не можем оставить мы,
кто-то, идущий через наши воспоминания,
надежды и страхи, —
человек, который держит нас в объятьях, согревает, кормит
или, тяжело дыша и напевая,
волочит на санях из веток и шкур
по усыпанному галечником полю.

Иногда пастух напрягал последние силы,
чтобы переправить меня через поток талой воды,
каменную глыбу или покрытый щебнем мертвый лед.
Если при этом камень ударялся о мои ноги
или о черные лишенные ногтей пальцы
(либо на них просто попадала вода), я кричал от боли.

Но ему это не мешало:
он подхватывал каждый мой крик,
превращал его в новый мотив своего напева
и повторял до тех пор, пока тот не вплетался
в монотонную мелодию песни —
так он убаюкивал меня, заставляя забыться сном.

Я проснулся,
когда он у черной палатки
пытался поднять меня с саней —
временами его лицо
казалось мне лицом брата.

Палатка, как незыблемая башня,
упиралась в круглое небо,
подернутое перистыми облаками
и обрамленное человеческими лицами:
смеющимися, недоверчивыми, испуганными...
То были лица моих спасителей.

Они склонились надо мной,
странным несчастным созданием, чужаком,
который с обожженной солнцем и морозом кожей
и ободранными руками лежал у их ног
и, если верить певцу,

упал с Летучей горы,
с неба
в снег.

# Йон Макгрегор

## *Что видят небеса*

Рассказ

*Перевод с английского* Н. Поваляевой

В летние дни небо обычно синее. Такого чистого и яркого оттенка, что больно смотреть. Такого глубокого оттенка, что, если взглянуть вверх, выпустив линию горизонта из поля зрения, непременно почувствуешь головокружение и захочется покрепче ухватиться за что-нибудь, чтобы не сорваться в небо. Свет, изливающийся из этой синевы, согревает все, к чему прикасается, и сеет красоту там, где ее не было. На безымянных полях толпятся колосья пшеницы; полные стоячей воды дренажные каналы зажигаются миллионами блестящих капелек; гудрон на шоссе сверкает так, словно кто-то бережно разложил на черном фетре алмазную крошку. В летние дни небо синее и высокое, преображающее пейзаж и поступки людей, живущих здесь; и негде укрыться от сияющей безмолвной синевы — разве что под землей.

В осенние дни небо обычно белое, цвета грязно-белых обносков, и кажется невероятным, что это — то же самое небо, но так оно и есть. Пока земля под этим небом твердеет и тяжелеет, само небо, кажется, борется за свою неизменность. Издалека приносятся бреющие ветра, мечутся над полями, разрывая укрывшие небо простыни облаков. Сквозь прорехи пробиваются пучки света, ощупывают землю, словно лучи прожекторов, и исчезают за горизонтом, оставляя за собой угрюмые, как и прежде, поля. Цвета земли меняются, и все живое отворачивается от небес в ожидании грядущих холодов. Поля и каналы укрываются пледом из опавших листьев, реки вздуваются. Люди, родившиеся

© 2002, Jon McGregor
© Н. Поваляева. Перевод, 2009

в других краях, уверяют, что чувствуют смену времен года по запаху, но для нас это — пустой звук. Единственный запах здесь — запах богатства этих земель. Мы определяем смену времен года только по форме и цвету неба, простертого над нами от края до края, отмеряющего пределы наших дней.

В зимние дни небо обычно серое, цвета налившегося синяка. Дни становятся короче, просторы от горизонта до горизонта ссыхаются, и слабый свет, просачивающийся вниз, тускл и лишен жизни. В эти времена никакой опасности сорваться в небо нет, наши тела и наши жизни прочно придавлены к земле тяжелым оттенком этого света. В эти времена земля таит секреты, поля хранят молчание, нарушаемое лишь ветром, который, если верить старикам, дует из самой Сибири. Иногда дренажные каналы замерзают, порой их прихватывает инеем, а бывает, снег валит всю ночь, заметает дороги, стирает все очертания, превращая пейзаж в белую пустыню. А временами кажется, что земля возвращает свет небу, умоляя его смягчить свинцовую серость, и сама при этом отчаянно старается не потускнеть.

На весеннем небе все оттенки соединяются и прибавляются новые. В этих краях весна наступает неспешно; огоньки цветов пробиваются на поверхность, почки на сухих ветвях выжимают едва заметную зелень, а небо постепенно блекнет, становится светло-серым, затем белым и наконец — бледно-голубым. Воздух очищается теплым южным ветром и внезапно взрывается освежающим искристым дождем. Небо поднимается выше и туго натягивается от горизонта до горизонта, чтобы простор и свет вновь могли вернуться в нашу жизнь. В эту пору все меняется мгновенно — зеленый грим накладывается на леса за одну ночь, в полях пурпурная лаванда зацветает прямо у вас за спиной. Это — время паводков; приходится каналы рыть глубже, ограждения ставить выше, а поля засеивать заново. И даже в такие дни, когда все живое тянется к небу, земля таит свои секреты. А небеса видят все.

Люди, родившиеся в других краях, уверяют, что у холмов есть глаза, но для нас это — пустой звук. Земли здесь равнинные, и единственное, что смотрит на нас, — это небо, вездесущее, недремлющее око. Люди, привыкшие взбираться на холмы и спускаться в долины, равнодушны к небу, для них оно — лишь пустота, прикрытая облаками, но для нас небо — это все, это купол наших жизней.

Впервые я поцеловался с девушкой, когда мне было семнадцать. У нее были длинные темные волосы, она обхватила мое лицо руками и прижалась губами к моим губам. Казалось, она знала, что делала; я — определенно нет. В тот момент, когда смысл происходящего начал доходить до меня, она отстранилась и сказала, что хотела бы встретиться снова — вечером. Что нам неплохо бы пойти куда-нибудь, чем-нибудь заняться. После чего скрылась в своем доме, а я побрел прочь, чувствуя ее вкус на обветренных губах.

Автобус из Марча, где жила она, к нашему дому в Апуэлле, где отец живет и сегодня, шел через Уимблингтон, а затем разворачивался, чтобы попасть на дорогу B1098 до Шестнадцатифутового канала. Это был мой ежедневный путь из школы, где я учился в старших классах, к отцовскому дому, где я подрабатывал на ферме по вечерам. Дорога вдоль

канала тянулась ровная, высоко поднятая над полями, и, когда я взглянул в окно в день моего первого поцелуя, мне показалось, что мы летим по небу.

К тому времени, как день угасал, отец уже спал, готовясь к очередному раннему подъему. На моих губах был ее запах; искорка, которую она поселила во мне, все еще плясала в моем животе; так что я снял ключи, висевшие на стене, и взял отцовскую машину. Прежде мне доводилось сидеть за рулем — подвозить сено и силос для фермы, но для вождения по шоссе прав у меня не было, и я знал, что отец никогда бы не позволил мне ехать. Но она сказала, что хочет встретиться со мной, сходить куда-нибудь, чем-нибудь заняться, и я не мог просто так остаться дома, выбросив ее слова из головы и стерев с губ ее соленый вкус. Возможно, сегодня мне бы это удалось. Но тогда мне было семнадцать, и все было по-другому.

Поездка до ее дома прошла гладко, без приключений. Дороги были безлюдные и ровные, а лунного света достаточно, чтобы не сбиться с курса. Но мои вопросы и ее голос, мои губы и ее руки, ее лицо и волосы — все это вместе и по отдельности не оставляло меня в покое на протяжении пути. Что она имела в виду — сходить куда-нибудь? И потом, я же вертелся вокруг нее несколько месяцев, так почему именно теперь она проявила интерес? Я не понимал, но на моих губах был ее вкус, и мне хотелось большего.

Вскоре я убедился, что ей вовсе не нужны развлечения, ей было достаточно сидеть рядом со мной в машине, ехать по монотонным равнинам, смотреть на поля с уходящего вверх шоссе. Мы проехали Уэстри, затем вдоль Двадцатифутового канала, миновали Уитлси (а когда проезжали Пондерсбридж, она положила руку мне на бедро и коснулась губами моего уха). Мы проехали Сорокафутовый мост, Тикс и Западную пустошь; свежее дыхание летней ночи проникало сквозь окно (а после Западной пустоши я запустил пальцы в ее длинные волосы). Мы пересекли реки Старый Бедфорд и Новый Бедфорд, проехали Десятимильное побережье, Солтерс-Лоуд и Отуэлл (а на середине Пятничного моста она попросила притормозить, и мы бесконечно долго целовались).

Когда мы наконец остановились, то принялись разглядывать поля и говорить о том, о чем обычно говорят двое, оказавшись в подобной ситуации. Дом, родственники, мечты — и неловкие затянувшиеся паузы. А потом она повернулась ко мне и через голову стянула с меня шерстяной свитер; ворсинки цеплялись за разгоряченную кожу и потрескивали крошечными электрическими разрядами. Начав чуть пониже моего пупка, она провела пальцем вверх, по очертаниям ребер, вокруг соска к ямочке на груди, затем вокруг другого соска, вниз по очертаниям ребер и к точке начала — и вот на моем теле пылает сердце, нарисованное ею. Иногда я и сейчас рисую его, пытаясь оживить тот момент. Иногда я и сейчас, разглядывая ее волосы, удивляюсь, что не могу вспомнить, как они пахли в ту ночь.

Помню, как она смотрела на меня, когда я расстегнул пуговицы на блузке и увидел ее грудь. Я никак не мог заставить себя прикоснуться к ней — не сейчас, не так скоро, — и тогда она сама прижала к груди мои пальцы. Я нарисовал маленькие сердечки на темных кружках вокруг ее сосков, а потом привлек к себе, чтобы поцеловать, наэлектризованный

прикосновением ее кожи к моей. Я помню, как ее тихие слова касались моего лица, когда мы говорили друг другу то, чего раньше не смели, когда просили о несбыточном и верили, что сдержим слово. Я помню, как ловил ее отражение в зеркалах заднего вида, когда отъезжал от ее дома, чувствуя появление в моей жизни чего-то нового и страх это потерять. Но я не могу вспомнить, как пахли ее волосы в ту ночь; больше они так не пахнут.



Там, где я вырос, в ландшафте преобладают прямые линии; куда ни глянь — в поле зрения лишь параллели и перпендикуляры. Самая длинная прямая — дымчатый росчерк горизонта, нерушимое обрамление дня. Когда я был маленьким, то нередко принимался крутиться волчком, не отрывая взгляда от горизонта, в надежде найти то место, где линия искривляется, прерывается или исчезает; но мне это так и не удалось, и загадка непрерывной прямой осталась со мной, не давая мне покоя, даруя мне покой.

Все остальные прямые рано или поздно сходятся у горизонта. Прежде всего, "высокие", связующие прямые: железнодорожные пути, телеграфные провода, каналы, дренажные канавы и реки — все это с помощью насыпей поднято высоко над уровнем полей и жилищ. Много лет назад, играя в поле, пока мой отец работал, я поднял голову и увидел вереницу лодок, величественно шествующих прямо по небу. Теперь-то я понимаю — это были баржи, идущие по Шестнадцатифутовому каналу к Линну, но тогда я видел лишь, что они плыли у меня над головой.

Есть также "нижние" прямые — линии границ. В этих краях между полями нет изгородей, только канавы. Они отмечают границы и отводят лишнюю воду с полей, а также стоят на пути у моря, которое время от времени является предъявить права на свою территорию; здесь, куда ни пойди, непременно увидишь, как кто-то колдует над своей канавой, углубляет или расширяет ее, поглядывая на небо, пытаясь вычислить спасительные дюймы, что уберегут поля во время дождей и разлива рек.

Паводки. Порой в этих краях все очертания стираются, и остается только равнина от края до края. И всегда это — деяние природы; небеса приносят ненастье, чтобы уничтожить рукотворную геометрию и напомнить людям, что когда-то этими полями владело море. Иногда дождь переполняет реки, и тогда воды срываются с насыпей и сквозь мешки с песком устремляются в поля; презрев молитвы фермеров, растекаются на многие акры и стоят неделями, отражая небо, так что можно видеть, как облака и чайки скользят по земле. А иногда снег укрывает все вокруг, заваливает канавы и дороги, сводит видимость и слышимость к нулю, и тогда матери не выпускают детей из дому, чтобы те не заблудились.

Я не помню, чтобы мама не пускала меня гулять, но, наверное, я был тогда слишком мал.

Иногда разрушителем рукотворной геометрии становится туман, вуалью укрывающий небо и съедающий даже линию горизонта. Иногда туман является вместе с паводком, и тогда наши края приобретают совершенно неземной, устрашающий облик.

Но те же паводки, что стирают очертания, приносят жизненные силы, делают наши земли самыми плодородными в стране. Во время пахо-

ты запах почвы пропитывает воздух, как запах побитых яблок или каштановой кожуры, запах чистой энергии. Иногда, будучи ребенком, я припадал ухом к вспаханной земле, и мне казалось, что я слышу ее щедрость; щедрость, благодаря которой, по словам моего отца, из посеянного шиллинга вырастают пятифунтовые бумажки. Наверное, такой же звук слышат детишки, когда прикладывают к уху ракушки и думают, что слышат море, но тогда я этого еще не знал. И я никогда не бывал у океана. Зато море само регулярно навещает нас, поскольку мы живем на землях, принадлежащих ему.



Плоскости, прямые линии — рукотворная геометрия; среди таких пейзажей я вырос; пейзажей, обрамленных непрерывной прямой горизонта.

Ту поездку я не забуду никогда. Теперь я часто езжу в город этой дорогой, но именно ту поездку я не могу забыть, ту ночь, когда возвращался от нее в дом моего отца, ту ночь, когда осознал, что жизнь уже не будет прежней.

Я вел машину, сложив руки на груди, чувствуя, как горит кожа от прикосновения ее пальцев; дорога была ровной и прямой, заходящая луна освещала Шестнадцатифутовый канал. Я никогда и не мечтал услышать то, о чем говорила она; она говорила "мы", "нас", "вместе" — как будто все уже было решено. И, двигаясь по дороге, я осознал, что так и есть, что после всего случившегося я не смогу вести жизнь одиночки-затворника, как мой отец. Я словно пробудился, словно получил пропуск во взрослую жизнь, и казалось закономерным, что произошло это на дороге, под небом, заслонившим собой все вокруг, среди темных равнин. Все случилось неожиданно, совершенно неожиданно.

Только что я ехал по безлюдному шоссе и думал о ней — и вдруг прямо передо мной оказался человек, оглядывающийся на меня через плечо, и я мчался прямо на него. Я не знаю, откуда он взялся на шоссе, не знаю, почему не заметил его раньше. Только что его не было — и вот он, перед носом, и мне не хватило времени сделать хоть что-нибудь. Я не успел ни вздрогнуть, ни закрыть лицо руками, ни закричать. Я даже не успел достать руки из-под свитера, и когда машина врезалась в того человека, меня швырнуло вперед, и рулевое колесо придавило руку. Удар — и его руки вскинулись вверх, спина выгнулась дугой над капотом, ноги соскользнули под колесо, а потом все его тело сползло на дорогу и исчезло из вида. Исчезли вскинутые в небеса руки, выгнутая дугой спина. Звук удара, когда отцовская машина врезалась в него, был такой громкий, такой гулкий, как будто я врезался в забор, а не в человека, с хрустом, с грохотом. А звук, который издал этот человек, с тех пор постоянно стоит комком в моем горле — сдавленный, секундный вскрик.

Его руки протянулись к небесам, даже пальцы указывали вверх, как будто он хотел ухватиться за что-то, чтобы подняться. Его спина выгнулась дугой над капотом, а потом он исчез под колесами отцовской машины. Это последнее, что я увидел, прежде чем моя голова упала на грудь. Машину подбросило, толкнуло, когда он сполз под колеса. Эти его поднятые руки, этот сдавленный крик, наклон машины и моя рука, зажатая между грудной клеткой и рулем...

А потом — полная тишина, и я выключаю мотор, а сердце грохочет в груди.

Он лежал на спине, глядя в ночное небо; его ноги загнулись прямо под туловище. Он словно сложился пополам — ноги, подумал я, наверняка сломаны. Я долго стоял возле машины, прежде чем смог подойти к нему. Он не издавал ни звука, вообще стояла абсолютная тишина, ночь замерла, только луна светила по-прежнему ярко, и на дороге в нескольких ярдах от меня лежал мертвец. Я не ощущал реальности происходящего, и сейчас иногда я спрашиваю себя, было ли все на самом деле; но я помню, как прикоснулся к его шее, чтобы нащупать пульс. Она была ни холодной, ни теплой; по крайней мере недостаточно теплой — как мертворожденный теленок. Пульс не прощупывался, взгляд был невидящим. Я осмотрел его — изломанное тело на гудроне, эти глаза, этот открытый рот...

На нем была белая рубашка, красный джемпер с треугольным вырезом и истрепанный твидовый пиджак. Его руки были подняты над головой, кулаки плотно сжаты. Разбитая бутылка виски вывалилась из кармана. Крови видно не было; синяки на перепачканном лице — но никакой крови. Одежда на груди разорвана — но крови нет. Я не понимал, как человек, по которому проехала машина, может не истечь кровью. Я не понимал, как он мог не истечь кровью и при этом умереть так быстро.

Белки его глаз при свете луны казались желтыми.

Я не понимал, кто он, почему оказался на дороге посреди ночи, почему я не заметил его, почему он умер. Я не знал, что делать. Стоял перед ним на коленях, глядя на поля, на небо, на отцовскую машину, на свои трясущиеся руки и снова на небо.

Названия, которые наши предки дали этим краям, лишены поэзии. В нашем географическом словаре не найти изящества или величия. Наши водоемы зовутся не реками, не ручьями или потоками, а дренажными каналами, и только так. И названия свои они получили не из старинных легенд, а из сферы гражданского строительства. Тридцатифутовый канал. Шестнадцатифутовый канал. Пожалуй, к величию наши предки приблизились только в одном названии: Стофутовый канал. Названия наших ферм созданы не для славы, а для безвестности. Ферма с Верхних полей. Ферма со Средних полей. Ферма на Шестнадцатифутовом канале. Такие названия, нанесенные на карту, чужеземцу не скажут ровным счетом ничего. Такие названия никогда не попадут в туристические маршруты или путеводители. Люди не приезжают сюда в поисках романтики; сюда вообще мало кто приезжает, так что пейзаж в основном безлюден и хранит свою исконную красоту. Поэзия этих мест — не в названиях, но в очертаниях равнин, в просторах, в завершенности пейзажа. Скрыто лишь то, что под поверхностью земли, все остальное между вами и горизонтом открыто взору.

В том, что скрыто, тоже есть поэзия. Под землей спрятано невидимое глазу движение. На полях — круговорот рождения и увядания; море приносит соли и минералы — кристаллы жизни для посевов. Меня всегда захватывает эта тихая невидимая жизнь, великолепие этого волшебства. Эту поэзию невозможно облечь в слова и написать на туристической от-

крытке, это скрытая поэзия. Секрет, скрытый от всех, кто не способен уловить перемены в облике полей, в оттенках неба, в узорах на почве.

Девушка, к которой я ездил в ту ночь, научила меня подбирать слова, чтобы выразить любовь к этим краям. Наверное, поэтому мои чувства к ней были так сильны, а еще потому, что в кончиках ее пальцев таилось обещание. Она говорила, что в ясный день расстояние до линии горизонта примерно десять миль; взрослый человек может пройти столько дважды за день, а это значит, что размеры нашей местности сравнимы с временным отрезком от восхода до заката. Она говорила, что протяженность равнин в наших краях оставляет эту пропорцию неизменной, и это — дар. Она говорила, что периоды наводнений — это эхо тех времен, когда наши земли были покрыты соленой водой; это напоминание о том, что мы живем здесь только по милости моря и небес. Она говорила, что мы не должны забывать об этом.

Еще она говорила — правда, какими точно словами, я не помню, потому что в тот момент мои губы были прижаты к ее груди, — но она говорила, что наше небо гораздо больше, чем в других краях, и это преимущество, которого не понять чужакам. Они говорят, у холмов есть глаза, но в этих местах нет холмов — и она улыбнулась, и я понял ее.

Она еще много чего говорила, и я моментально влюбился в ее речь, в то, как она связана с этими краями, и в то, как она касалась моей кожи. Она заставила меня полюбить эти края, заставила понять, почему я их люблю и почему жители других мест — не любят.

Чужаки нечасто приезжают сюда, потому что не понимают всего этого; добровольно они никогда здесь не селятся. Те же, кого заносит сюда, нередко сбиваются с пути, блуждают по дорогам и тропам от одного конца дня к другому, так и не добравшись туда, куда направлялись.

Он был чужаком — тот, кого я встретил той ночью. Я помню, как, глядя на него, всматриваясь в его лицо, думал: я не знаю тебя, я не знаю, кто ты, я никогда не встречал тебя раньше, ты не из этих мест, ты не наш. Казалось, что это меняло дело, и совершенное мною уже не выглядело так ужасно. Я все повторял: я не знаю этого типа, я ничего ему не должен. Наверное, если бы он остался в живых, я бы потребовал от него извинений за испорченный вечер. Какого черта он тащился по этой дороге — моей дороге — пьяный, не глядя, куда идет? Почему я должен переживать из-за его глупости? Я помню, как заставил себя думать, что этот тип, возможно, из Нейзби; отец всегда говорил, что от Нейзби не жди ничего путного. И хотя мне было не по себе из-за того, что я убил человека, и хотя до сих пор это заставляет меня просыпаться по ночам, я не чувствовал жалости к этому типу. В ту ночь я поступил неправильно, но у меня были причины сделать то, что я сделал.

У меня были причины. И хотя я часто сожалею о содеянном и порой думаю о том, что мои причины были недостаточно вескими, я знаю, что сделал бы это снова. Я был молод, я был напуган, а небо было так высоко, что я не мог взглянуть в него, пока все не было кончено. Если бы я был старше во время той ночной поездки, возможно, я бы держался лучше, а мои мысли были бы яснее. Но мне было семнадцать, и мне еще не доводилось стоять на коленях у мертвого тела. Так что я уехал. Встал, повернулся к телу спиной, вернулся к отцовской машине и уехал. Я не

посмотрел в зеркало заднего вида и не обернулся, когда притормозил на перекрестке. Наверное, именно в тот момент я начал осознавать, что произошло, что я натворил. На отцовской машине я сбил человека, я переехал его, и теперь он мертв. Я почувствовал дурноту, какой-то водянистый ужас, поднимающийся из самого нутра к горлу. Руки судорожно вцепились в руль, я боялся моргнуть.

Еще не доехав до дома, я понял, что мне придется вернуться к этому человеку. Человек, мертвец, труп, жертва, человек; каждое из этих слов заставляло меня вздрагивать. Но я знал, что мне нужно вернуться, что нельзя оставить его на дороге вот так, лежащим с аккуратно сложенными за спиной ногами. Я знал, что если найдут его, то рано или поздно найдут и меня, и девушка, что рисовала на моей груди, больше не взглянет в мою сторону, а этого я не вынесу.

Так что я взял лопату из сарая на отцовской ферме и поехал назад — туда, где сбил человека. Сейчас это звучит ужасно, так расчетливо, так трусливо. Нелепо. Но именно так я и поступил, и на то у меня были причины. Я достал лопату, спустился по насыпи в поле, снял тонкий свитер и начал копать.

Копать я умел. Хорошо знал, под каким углом начинать; работал ритмично, взмах — удар, взмах — удар, аккуратно складывая землю, чтобы потом было легко закапывать. Поле только что убрали, жнивье еще оставалось в земле. Я срезал верхний слой почвы и отложил в сторону. Я рассуждал четко, работал быстро, но основательно, стараясь забыть о том, для чего эта яма. Человека оттуда видно не было, так что мне удалось подавить тошноту и приналечь как следует. Ничто не мешало, только звук ударов железа о почву и небо надо мной.

Я копал до тех пор, пока не ушел в яму по пояс, взмах — удар, взмах — удар, железо — в почву, почва на железе. Мои ботинки и брюки пропитались землей и почернели; лицо, руки и грудь были в потеках пота и грязи. И все время к горлу подкатывала тошнота — от того типа на дороге, от ударов железа о землю, от неба над головой.

Ну вот, готово — достаточно глубоко. По крайней мере достаточно глубоко для того, чтобы его не зацепили лезвия плуга. Я поднялся по насыпи на дорогу, желая поскорее покончить с этим и в то же время оттягивая то, что предстояло сделать. Он лежал там, весь изломанный, я стоял над ним, а надо мною — небо, и так могло бы продолжаться без конца. Как дотронуться до него?

Я знал, что дотронуться придется. Нужно поднять его, стащить вниз по насыпи и уложить в подготовленную яму. Я с трудом мог заставить себя посмотреть на него, а нужно было дотронуться. Положить его в яму — яму, которую вырыл я; того, кого я убил — в яму, которую я вырыл в земле. Я наклонился, чтобы взять его за руки. От него разило виски. Я остановился, не в состоянии коснуться его, и даже имевшиеся у меня причины не помогали. Это были веские причины, но, возможно, веские недостаточно. Но когда я вспомнил прикосновение ее кожи к моей, ее глаза, то понял, что сделаю все, лишь бы не лишиться этого. Я схватил его за локти, приподнял до пояса и, пятясь, потащил к насыпи. Его ноги распрямились, голова свесилась под мышку, а бутылка виски выпала из кармана на дорогу и разбилась. Не останавливаясь, я тащил его прочь, прочь от дороги, вниз по насыпи, в поле.

Я положил его на землю у ямы, которую вырыл для него, и столкнул внутрь. Он упал лицом вниз, и мне стало не по себе, когда я представил его лицо в грязи.

Я вернулся на дорогу, собрал поблескивающие в лунном свете осколки бутылки и высыпал их ему на спину, а потом взял лопату и начал закапывать его. Этого человека. Я бросал на него комья земли, пока он не исчез, пока слой земли не стал таким тяжелым, что он перестал быть человеком, или трупом, или жертвой, или чем-то еще. Ничто, скрытое под землей. И только тогда я взглянул на небо, беззвучно темневшее надо мной, на луну, теперь укрытую облаками. Я зажмурился и прикусил губу, пока не пошла кровь. А когда вернулся домой, несколько часов простоял в душе, пока не опустел бак с теплой водой и я не остался под ледяными каплями.



Когда наступает рассвет, когда первые лучи света проглядывают с востока, небо окрашивается в цвет мрамора. Легчайший оттенок серого, как у запотевшего стекла. У вас за спиной все еще тонет во тьме, тени и неясные силуэты еще цепляются за убывающую ночь, но взгляните на восток — и увидите свет у самой кромки горизонта.

Сначала небо сбрасывает покровы, открывая себя наступающему дню, проступают клубы облаков, их текстура; а затем первый тонкий луч освещает очертания земли. И если у вас есть время остановиться и понаблюдать, то вы увидите, как с движением света приходит утро, как прямые линии полей и дорог подбираются к вам и тянутся дальше, на запад; как обретает завершенность геометрия дня и вода в каналах начинает блестеть и покрывается легкой дымкой. А потом вы заметите, как постепенно подтягиваются работники, выходят из мини-автобусов, растягиваются длинными цепочками по полям; вы увидите силуэты, снующие вдоль линии посевов.

Когда утро в разгаре, небо становится цвета льняного семени — бледно-голубой намек на будущую синеву. Иногда собираются облака, растягиваются аркой от края до края, их сцепленья и разрывы усыпают узорами окрестные поля.

Порой эти облака приносят дождь, набегают лужи и тут же впитываются в почву, и небо на несколько мгновений темнеет. Но вот дождь прошел, и небо стало еще ярче. Чище. И теперь видно еще отчетливее, как рабочие, переждав дождь, возвращаются к своим тележкам и ящикам, убирают урожай, сортируют, подрезают, складывают и двигаются дальше. Временами кто-нибудь останавливается, расправляет спину, выгибается и поднимает затекшие руки к небу, а затем вновь наклоняется к земле.

А когда приходит время обеда и на мгновение наступает покой и безмолвие, небо окрашивается в цвет летнего полдня. Эту синеву не с чем сравнить — просто чистый глубокий цвет, присущий летнему полдню в этих краях. Облака исчезают, движение замирает, и, задержав дыхание, вы делаете полный оборот, следуя за безупречной линией горизонта. Работники обедают в молчании, сбившись группами у дороги, и лишь поглядывают на поля, словно моряки, наблюдающие за морем. Так работники проводят свои дни, собирая урожай: сельдерей, весенний лук, лук-порей, салат — хрупкие культуры, которые легко повредить

при машинной уборке. Но в полдень они прерывают работу, и небо глядит вниз так, словно призывает землю открыть свои секреты, и сила тяжести, кажется, на миг изменяет свое направление.



Позже, когда день начинает клониться к закату и свет постепенно тускнеет, небо принимает оттенок свежего синяка. Рабочие замедляют темп, прерываются все чаще, чтобы дать рукам насладиться теплом почвы, отмечают первые дуновения прохлады, ждут, когда закончится рабочий день. Однажды, много лет назад, именно в такой день и час я, будучи ребенком, сидел и наблюдал, как собирают урожай, и старый фермер рассказал мне историю о ките. Его отец правил лошадьми, тащившими плуг, когда обнаружил находку — скелет кита, почти неповрежденный: челюсти и грудная клетка. Скелет так хорошо сохранился из-за торфа в почве; кости потом использовали, когда ставили церковь в Апуэлле — из челюстей сделали дверные косяки, а из ребер — стропила. Не знаю, правда это или нет, но временами призрак этого кита преследует меня во сне и заставляет обходить церковь стороной.

А потом наступает вечер, и пока дотлевают угольки уходящего дня, цвет неба становится таким же, как цвет глаз моего отца. Темнеющая, мутнеющая синева, постепенно теряющая силу, угасающая. Еще живая, видимая, но уже исчезающая. Медленно затухающая. Рабочие уходят с полей, получают плату в зависимости от количества собранного урожая, а ветер с моря гонит пыль, заметая их следы.

Я женился на той девушке, с которой впервые поцеловался. Некоторые говорили, что это не дело, что нужно было погулять еще, покрутиться с другими девчонками; что все парни влюбляются в своих первых девушек, но это не значит, что нужно жениться. Но они были неправы. Другие говорили, что завидуют нам — нашей любви, нашему безрассудству, но и они были неправы. Я был влюблен, и я думаю, что по-прежнему люблю ее, но у меня никогда не было уверенности в том, что она — моя Единственная Избранница; ничего такого пафосного. Я просто боялся, что она оставит меня и я больше не встречу другой такой, которая будет рисовать узоры на моей груди и дарить мне поцелуи под ночным небом. Поэтому я женился на ней, и с тех пор меня не оставлял страх, что она узнает о том, что я сделал в ту ночь, возвращаясь от нее домой. Что она узнает, почему я вздрагиваю, когда железо врезается в почву, почему так медленно вожу машину ночью. Она до сих пор не знает.

Мы поженились слишком рано и упустили шанс поступить в университет. Мне пришлось взять на себя управление фермой отца, и она не была против того, чтобы переехать и помогать мне — казалось, ей нравилась сама идея копаться в земле, из которой мы выросли. Тем летом у моего отца случился сердечный приступ, и он больше не мог работать. Помню, я услышал, как во дворе возле трактора зашелся лаем наш пес, вышел — и увидел, как отец хватается за грудь, как посинело его лицо; помню, как вытащил его из кабины прямо в грязь и стал делать массаж сердца. Я твердо решил, что не дам ему уйти вот так, и подгонял кулаками его сердце и вдувал воздух в его легкие до тех пор, пока синева не сошла с его кожи.

В своих воспоминаниях я вижу эту картину как будто с высоты: вот мой отец лежит прямо на земле, вот я стою возле него на коленях; на-

верное, так эту сцену наблюдало небо — собаки гавкают и бегают кругами, и я ору на отца до тех пор, пока он снова не начинает меня слышать.

И теперь мой отец — силач, который мог свалить дерево голыми руками, волшебник, который мог вдохнуть жизнь в пригоршню зерна, — сидит в кресле, сжимая грелку, и следит за тем, как меняются оттенки неба. Отец отказывается смотреть телевизор, вместо этого слушает радио и не спускает бдительного ока с полей и неба. Иногда, когда я приношу ему ужин, он рассказывает, что услышал по радио — концерт, прогноз погоды, новости, — и я обмираю от страха, что однажды он услышит по радио о моей тайне.

Но пока этого не случилось. Часто я просто сижу рядом с ним, слушаю его прерывистое дыхание и радуюсь тому, что он еще не лежит в земле.

Моя жена не составляет нам компанию. Она читает, разбирает счета и ждет, когда я приду, убедившись, что с отцом все в порядке. Мы почти все делаем вместе — сеем, убираем урожай, вспахиваем землю; а когда вся работа завершена, мы прогуливаемся по тропинкам вдоль каналов, разговариваем и наблюдаем, как потухает небо. По вечерам аромат полей за каналом становится сильнее, накопленное за день тепло поднимается от почвы и приносит запах плодородия, что год за годом дарует нам богатый урожай. Мы гуляем, смотрим на наши поля, на небо, мы поддерживаем друг друга.

Детей у нас нет, и мы оба переживаем из-за этого, но в то же время в такие вечера мы становимся ближе, беседами прокладываем тропы друг к другу или погружаемся в молчание. Мы соединяемся воедино, как сливаются рельсы на линии горизонта, и я очень рад, что взял отцовскую машину в ту ночь и позволил этой девушке рисовать на моем теле.

И все же...

И все же та самая ночь и та самая поездка, что сблизила нас, не дает нам стать единым целым, и мы не так близки, как хотелось бы; тайна, зарытая мною в землю, продолжает разделять нас, как если бы лежала между нами в нашей постели.

Иногда мне хотелось рассказать ей все; я убеждал себя, что она поймет и простит. Я представлял, как приду к ней, скажу, что мне нужно рассказать о чем-то очень важном, и она встревожится и расстроится, но возьмет себя в руки и поймет. Представлял, как она оторвется от работы, повернется ко мне, погладит маленькими руками впадинку на моей спине и скажет, что я могу рассказать ей о чем угодно. И тогда, в моих мыслях, я уже был способен признаться ей, что много лет назад я сбил насмерть человека, что испугался и не знал, что делать, и поэтому вырыл яму и закопал его. И в моих мыслях она губами осушала мои слезы. И в моих мыслях она швыряла чашки и тарелки мне под ноги и говорила, чтобы я убирался вон. Мне было стыдно, что я не узнал ее настолько хорошо, чтобы предугадать ее реакцию; но я не узнал, а потому в последний момент слова застревали у меня в горле. Я знаю, чем чревато раскрытие тайны, а потому лучше ей оставаться там, где она есть, — под землей.

Однажды я увидел мужчину с металлоискателем на том поле, где была спрятана моя тайна. Я проезжал мимо и заметил его машину, припарко-

ванную у обочины, и тонкую цепочку следов на земле. На фоне чистого и яркого света мужчина казался лишь силуэтом, его тень рябью ложилась на вспаханные борозды. Я сидел в машине и наблюдал, как, раскачивая сканером, словно маятником, он приближался к тому самому месту. Дважды мужчина наклонялся и начинал копать маленькой лопаткой. Дважды выпрямлялся, засыпал ямку и продолжал работу. Я хотел пойти и сказать ему, чтобы он остановился, но никак не мог придумать подходящий повод — земля была не моя, никаких прав на нее у меня не было. Наверняка мужчина получил разрешение на проведение работ, и потом, никакого вреда свежевспаханному полю нанести он не мог. Он двигался по направлению к ближней кромке поля. Наверное, прошел на середину и начал оттуда. Не представляю, что он мог искать на этом поле, — историей здесь не пахнет, и нет ничего такого, что можно отправить в музей. В этих местах никогда не делали громких открытий, не обнаруживали древних саксонских поселений, могильных курганов или кладов. Единственные артефакты, попадавшие под наши плуги, — это ржавые якоря, сохранившиеся еще с тех пор, когда эти равнины были морским дном.

Результаты вспахивания могут быть непредсказуемыми. Ожидаемые результаты — это рыхление затвердевшей почвы, ее обогащение, вспарывание идеально ровными рубцами для укрепления. Все время, пока лезвие плуга находится в земле, мы держим точный курс на определенную точку в отдалении, поэтому борозды у нас идеально ровные, и это — предмет нашей особой гордости. Но невозможно предугадать, что скрывается в глубине под вспаханным слоем. Взять хотя бы те ржавые якоря — они застряли в почве со времени первого осушения, и внутреннее движение земли может как вынести их на поверхность, так и упрятать еще глубже.

То же самое касается и моей тайны, погребенной на краю поля. Когда тот человек является мне в дурных снах, я слышу удары железа о почву и рокот камней и земли, и он то проваливается все глубже и глубже, то пробивается на поверхность. Иногда мне снится, как его тащат от кромки поля, или что он стоит столбом, вытянув руки прямо к небу. Когда мне видятся картины его обнаружения, то всегда это прежде всего руки, торчащие прямо из земли. И всякий раз, когда он является мне, его лицо скрыто, обмазано грязью, и только пучки продолжающей расти бороды пробиваются сквозь эту маску.

Я думал обо всем этом, пока наблюдал за взмахами металлоискателя. Я думал обо всем этом, когда увидел, что мужчина остановился на краю поля и принялся копать. Я почувствовал — вот он настал, момент, которого я так боялся, который преследовал меня в дурных снах. Но я не ожидал, что все произойдет именно так, — мне все представлялось поиному. Думал, что его вытащат на поверхность на лезвиях плуга или зачерпнут ковшом экскаватора, роющего канал, — всегда мне виделась именно такая внезапная трагическая находка, но никак не человек с металлоискателем, смахивающий комья глины с лица и рук мертвеца.

Я уже давно боюсь смотреть, как пашут — не только то самое поле, но и любое другое в округе. Когда фермер пашет, это можно увидеть с расстояния в несколько миль, потому что чайки густым белым облаком кружат над плугом, собирая насекомых из свежих срезов земли, и легко

провести линию через все поле, по которой они движутся, взлетая вверх и падая вниз. И всегда эта линия идеально прямая. Однажды мне пришлось помогать фермеру пахать то самое поле, и когда плуг прошел по тому месту, где спрятана моя тайна, я так испугался, что чуть не отправился вслед за моим отцом и уже ярко представил, как лежу в грязи, и мне делают массаж сердца, и как остаток дней я провожу запертым в четырех стенах. Но тогда ничего не обнаружилось. А в тот день, когда я сидел в машине и наблюдал, как мужчина с металлоискателем принялся копать, я вдруг понял, что мне не страшно. Отец наверняка отрекся бы от меня, но зато правда наконец вышла бы наружу и больше не пришлось бы ничего скрывать — все на поверхности, на виду у небес.



Я вышел из машины и, протянув руки, взглянул на самую освещенную часть неба. Это было сродни откровению. Мужчина в поле смотрел на меня, а я — на него, готовый услышать то, что он скажет, готовый наконец признаться. Но он просто взглянул на меня, собрал в сумку инструменты и спешно направился к своей машине, спотыкаясь на рытвинах. Я подошел ближе, когда он складывал вещи в багажник, и он нервно оглянулся. Возможно, у него и не было разрешения на проведение работ. Нашли что-нибудь, спросил я, и он ответил — нет, ничего, вскочил в машину и уехал.

Я постоял еще немного, прислонившись к машине, разглядывая маленькие холмики земли, выкопанные тем мужчиной. Собственная реакция удивила меня — я был почти разочарован. Я подумал: а не значит ли это, что пришло время наконец рассказать обо всем моей жене; сесть рядом с ней и выложить правду, и услышать ее ответ, и принять его.

Мне так хотелось этого, но я не мог решиться.

Я проезжал мимо того поля, наверное, миллион раз, и вот снова еду по этой дороге. Чувство опасности не притупилось ни на йоту, кулаки крепко стиснуты на руле, и невозможно моргнуть. Но поля сегодня выглядят не так, как обычно. Снова начался паводок, и дорога похожа на дамбу посреди моря. Вода поднялась до самого горизонта, и только телеграфные столбы торчат, словно мачты затонувших кораблей. Линия горизонта сегодня ближе — неясная граница между землей, водой и небом, смазанная туманом, что завис над затопленными полями.

На шоссе сегодня против обыкновения многолюдно, машины впереди и позади меня — длинная вереница красных огоньков растянулась в тумане. Движутся почти шагом, и я подумал, что причина — в дорожных работах. А потом случилось это — моя тайна раскрылась. Проезжая, я, как обычно, взглянул на то место, где все произошло, и увидел яркие огни и людей в белых комбинезонах по колено в воде. Свет прорезал туман, и я заметил полицейских на насыпи и маленькую белую палатку на обочине. Два полицейских фургона стояли на дороге — из-за них и замедлилось движение; полицейский взмахами пропускал машины небольшими группами, и все проезжающие глядели вниз на людей в белых комбинезонах, которые что-то делали в воде с шестами и лентой. У меня перехватило дыхание, в ушах зашумело.

Полицейский жестами приказал мне остановиться, и его лицо показалось мне знакомым. Он подошел к моей машине и попросил опустить стекло. Он сказал, что мы вместе учились в школе, и я улыбнулся в от-

вет — ну да, точно, и повисла пауза. Странная картина, не правда ли, сказал он, и я ответил — да уж, и было ясно, что он ждет, когда я спрошу, что случилось, но я молчал. Где-то работал генератор, до меня долетало его приглушенное ворчание.

Он сказал, что обнаружили тело, вернее, то, что от него осталось — оно плавало там, в воде, лицом вниз. Он сказал — похоже, его закопали около двадцати лет назад, а когда начался паводок, вода подмыла почву и вынесла его наружу. Он сказал, что от тела мало что осталось. Добавил, что вряд ли удастся опознать его, и выпрямился, чтобы взглянуть на дорогу. Ты, пожалуй, проезжай, сказал он мне. Спросил, как поживает моя жена, мой отец, и я ответил — с ними все в порядке, спасибо, еще увидимся; легонько нажал на акселератор и медленно поплыл в тумане.

В зеркале перед собой я видел, как он стоял на дороге и белые огни машин двигались ему навстречу. Я видел полицейские машины, белую палатку, людей, копошащихся в воде, а потом все исчезло в тумане, и до дома уже было рукой подать.

Что будет, когда я вернусь домой? Все изменилось, и все осталось неизменным. Жена встретит меня в прихожей, поцелует, проведет рукой по моим редеющим волосам. Я снова понесу ужин отцу, и он, возможно, расскажет мне о находке в полях, но тон его будет обычным. Мы будем сидеть в тишине, нарушаемой лишь его прерывистым дыханием, во дворе залают собаки, и день будет клониться к закату. Моя тайна открылась, но об этом никому не известно. Даже если узнают, кем был тот человек, никаких связей между нами не обнаружится. К тому же он был не местный, а в наших краях уже давным-давно никто не пропадал.

Так что опасность в очередной раз миновала, и моя жена будет по-прежнему любить меня, и я буду просыпаться по утрам и возделывать свои поля.

Но правда в том, что я по-прежнему в опасности. Каждый год эта тайна съедала часть меня, так же как паводки смывали слой за слоем с вырытой мною могилы. И теперь то, что я скрывал, готово прорваться сквозь истончившуюся оболочку. Жена уже догадывается, что со мной не все в порядке, совсем не в порядке, и от этого ее отношение ко мне изменилось. Теперь, прежде чем поцеловать меня, она всегда отодвигается. Когда она прикасается ко мне, то делает это очень осторожно. Она испытывает горечь оттого, что я что-то скрываю; запах этой горечи я чувствую по ночам в ее волосах, запах бессилия, запах старения.

Я въезжаю во двор, и собаки лаем приветствуют меня. Я сижу в машине, боясь того, что мне предстоит сделать, не в силах открыть дверь. Теплый, уютный свет льется из окон моего дома и растворяется в тумане. Я устал, я так устал, я хочу уснуть и проснуться лишь тогда, когда все это закончится. Та сила, которая снизошла на меня, то облегчение, которое я испытал, когда увидел человека с металлоискателем и подумал, что моя тайна наконец вышла наружу, — все это испарилось сейчас, и я чувствую себя слабым и старым. Я выхожу из машины, иду к дому, отгоняя собак, и в прихожей встречаю жену. Я смотрю на нее и не говорю ни слова. Я беру еду, что она приготовила для моего отца, и несу ему. Он говорит — в поле у дороги обнаружили тело. Да, я знаю, говорю я. Не думаю, что это кто-то из местных, говорит он. Я соглашаюсь. Он ест мед-

ленно, небольшими кусочками, и спрашивает, все ли со мной в порядке, и я отворачиваюсь к окну и отвечаю — да, спасибо, все отлично.

Весной, когда черные поля покрываются ранней зеленью, можно увидеть, как в течение дня молодые побеги поворачиваются от востока к западу. Позже, когда всходы окрепнут и станут выше, это движение становится неуловимым; но пока побеги еще ранние, видно, как они тянутся за дневным светом. Вот почему я чувствую себя таким старым, почему моя кожа кажется серой и дряблой — я забыл, что нужно тянуться за дневным светом, и пожух, сник. Я не верю в Бога, но я знаю, что такое грех. Я знаю, каково это — нести в себе бремя, скрывать его от дневных лучей, из последних сил удерживать в дряхлеющей оболочке. Я также знаю, что рано или поздно оболочка прорвется, и бремя спадет, и земля откроет небу свои секреты. И я знаю, что время пришло. Прошлой ночью, когда моя жена спала рядом со мной, я сделал открытие. То бремя, тот грех, что рос во мне пропорционально растущей лжи, заключается совсем не в том, в чем мне казалось. Дело не в том, что я убил того человека, и даже не в том, что вырыл яму, закопал его лицом вниз и никому не сказал об этом. Мой грех — в тех причинах, что побудили меня вырыть яму. Грех — это страх, трусость. Грех — мои мысли о том, что раз этот человек — чужак, то случившееся ничего не значит. Вот какой груз я нес и даже не знал об этом. Можно ли чувствовать вину за то, чего не осознал? Даст ли всходы семя, брошенное по ошибке?

Вчерашний туман рассеялся; небо, словно в зеркале, отражается в затопленных полях. День такой ясный и чистый, что над водой, словно гигантский корабль, виднеется собор в Эли; и я думаю, не пойти ли мне туда и там избавиться от своего бремени навсегда. Но, как уже было сказано, я не верю в Бога.

Воздух напоен прохладой и сыростью; на вкус он соленый, как ее губы в ту первую ночь. Сейчас она идет рядом со мной по дороге вдоль того, что недавно было Шестнадцатифутовым каналом; мы отмечаем уровень подъема воды. Собаки убежали вперед, и до нас доносится их лай и цокот когтей о шоссе.

Я думаю об отце, который смотрит через окно на небо, слушает радио и прислушивается к жжению в своем слабеющем сердце. Я помню, как он любил прогуляться по этим дорогам, как сажал меня на плечи, чтобы я мог увидеть больше, чем он. Видишь что-нибудь? Что это вон там? А там? И я придумывал, что вижу черепичные крыши, и драконов, и замки — лишь бы не разочаровывать его, лишь бы не говорить, что все, что я вижу, — это привычный пейзаж без конца и края.

Много позже я понял, что в этом и заключается магия нашего пейзажа — здесь мне помогла девушка, что стала моей женой.

Я думаю о моей матери, о которой мне никогда не рассказывали; думаю о том, где она может быть сейчас.

И я думаю о том человеке, что обернулся ко мне и через миг его руки взметнулись в небеса; думаю о том, кем он был. Ищет ли его кто-нибудь, заведено ли дело о его исчезновении, объявляли ли о нем по телевидению после местных новостей...

Моя спина чувствует тепло, и я поворачиваю лицо к самой светлой стороне неба. Я останавливаюсь; моя жена тоже останавливается и

смотрит на меня, а я оглядываю затопленные поля, простертые до самой линии горизонта, и перевожу взгляд на нее. Я говорю ей – есть нечто, о чем я должен рассказать тебе, и возможно, это расстроит или разозлит тебя, но я должен. Она подходит ближе, поглаживает своими маленькими руками впадинку на моей спине и просит, чтобы я рассказал об этом. И я рассказываю – громко и четко, – что в ту ночь, когда я поцеловал ее в машине моего отца, я сбил насмерть человека и зарыл его в этих полях. Я рассказал ей о том, почему сделал это; я сказал, что мне очень жаль, но я знаю, что сожалений в этом случае недостаточно. А потом я замолчал, и она посмотрела на меня.

Среди равнин, под куполом ясного синего неба, я ждал ее слов.

# *Из японской женской лирики* XII–XIV *веков*

*Перевод с японского и вступление* Т. Соколовой-Делюсиной

Несколько лет назад у меня возникла идея — возможно, слишком дерзкая — сделать книгу, в которую вошли бы стихи, написанные японскими женщинами разных эпох. Я тут же приступила к ее осуществлению, и к настоящему времени у меня скопилось довольно много переводов. Ориентировалась я в основном на те стихотворения, которые так или иначе попали в поле моего зрения за долгие годы общения с японской литературой. Почему именно женская поэзия? Дело в том, что в Японии роль женщин в литературе принципиально иная, чем в других странах. Литература в Европе, да и не только в Европе, традиционно считалась мужским занятием, а в Японии женщины изначально участвовали в литературном процессе наравне с мужчинами, причем не только в поэзии, но и в прозе, которая вообще, можно сказать, создана женщинами. К тому же меня всегда завораживал образ японской дамы, склонившейся над листком бумаги с кистью в руке.

Японское пятистишие *вака* (букв. японская песня) оформилось как основная поэтическая форма уже к VIII веку, причем его функции не ограничивались исключительно поэтической сферой. Стихосложение в Японии вообще никогда не считалось уделом избранных, оно было не столько способом самовыражения или приятного времяпрепровождения, сколько способом общения с внешним миром. Древние японцы обращались к ветру, тучам, людям, рассчитывая на вполне определенный результат, — чтобы ветер перестал дуть и позволил мужу благополучно добраться до дома, чтобы тучи рассеялись и открыли взору прекрасную вершину горы, чтобы сердце любимого загорелось ответным чувством... А в средние века поэзия стала главным посредником в любви. При том что женщина почти никогда не показывалась мужчине, о ее достоинствах судили прежде всего по поэтическому дарованию. Умение правильно сложить пятистишие, облечь свои чувства в изящную и утонченную форму и по возможности зашифровать их так, чтобы их мог понять только один конкретный адресат, было жизненной необходимостью. Образы природы использовались не как нечто самоценное, а как знаки, выражающие вполне определенные человеческие чувства.

Только к XII веку в поэзии произошло относительное разделение человеческого и природного и соответственно изменилось ее назначение: она стала рассматриваться как способ уловить и зафиксировать зыбкую красоту окружающего мира, как способ выразить тончайшие движения человеческой души. Именно к этой эпохе, знаменующей последний взлет классической поэзии японских пятистиший *вака*, относятся представленные здесь стихи Кэнрэймонъин-но укё-но дайбу и Эйфукумонъин. В них отсутствует характерная для более ранних пятистиший усложненность и зашифрованность поэтических образов, да и сам набор

© Т. Соколова-Делюсина. Перевод, вступление, 2009

этих образов гораздо шире (например, ворон у Эйфукумонъин — образ немыслимый для более ранней поэзии).

И Кэнрэймонъин-но укё-но дайбу (годы рождения и смерти точно не установлены, предполагается, что родилась она в 1155 или 1157 году и прожила примерно до 1233 года), и Эйфукумонъин (1271—1342) принадлежали к самым знатным столичным семействам. Первая прислуживала императрице Кэнрэймонъин (1155—1213), иначе Тайра Токуко, супруге императора Такакура (1161—1181, годы правления 1168—1180). Вторая сама была императрицей, супругой императора Фусими (1265—1317, годы правления 1287—1298). Настоящее имя первой неизвестно, в те времена было не принято упоминать реальные имена женщин (исключение составляли супруги императора) в исторических хрониках и прочих документальных произведениях, обычно они фигурировали там не под своими реальными именами, а под некими условными обозначениями, составленными по разному принципу и, как правило, включавшими в себя названия должностей их родственников мужского пола. В частности, Кэнрэймонъин-но укё-но дайбу означает что-то вроде "начальник правой столичной управы из дворца Кэнрэймонъин". Начальником правой столичной управы, иначе "укё-но дайбу", был известный поэт Фудзивара Сюндзэй (1114—1204), который скорее всего играл роль опекуна при поступлении этой дамы на службу к императрице Кэнрэймонъин, поэтому за ней и закрепилось такое имя. Настоящее имя второй известно, ее звали Фудзивара Сёси, но в истории поэзии она известна как Эйфукумонъин — так называлась резиденция императора Фусими, где он поселился после отречения от престола.

Кэнрэймонъин-но укё-но дайбу родилась в трагическую эпоху, когда относительно мирное существование столичной аристократии было прервано военным противостоянием между родами Тайра и Минамото. Она разделила трагическую судьбу своей госпожи, императрицы Кэнрэймонъин, которая была дочерью могущественного Тайра Киёмори. После того как многолетнее противостояние родов Минамото и Тайра закончилось решительным поражением Тайра в битве при Данноура (1185), императрица Кэнрэймонъин бросилась в море вместе с малолетним императором Антоку, но воины Минамото помешали ей умереть, и она, приняв постриг, удалилась в монастырь Дзяккоин на северо-западе Киото, где и жила до самой смерти. Очевидно, одновременно с ней приняла постриг и Кэнрэймонъин-но укё-но дайбу, потерявшая в той же битве при Данноура своего возлюбленного. После нее осталось нечто вроде поэтического дневника — "Домашняя антология Кэнрэймонъин-но укё-но дайбу", откуда и взяты представленные здесь стихотворения.

Эйфукумонъин выпала на долю куда более благополучная судьба. Император Фусими, годы правления которого оказались достаточно мирными, слыл большим любителем поэзии и каллиграфии, его наставником (а одновременно и наставником Эйфукумонъин) был поэт Фудзивара Тамэканэ (1254—1332), правнук знаменитого Фудзивара Тэйка (1162—1241), продолжатель традиций школы "Кёгоку", призывавшей к большей свободе поэтического выражения, к обновлению поэтических канонов. Эйфукумонъин активно участвовала в турнирах, ее стихи есть во многих поэтических антологиях. Перед смертью император Фусими завещал своему преемнику, будущему императору Гофусими, советоваться с ней во всех начинаниях, имеющих отношение к поэзии, и, выполняя его волю, она до конца жизни активно участвовала в деятельности поэтической школы "Кёгоку". Помимо пятистиший, вошедших во все ведущие антологии того времени, она оставила потомкам собрание "Сопоставление ста пар собственных песен Эйфукумонъин", откуда и взяты стихотворения, вошедшие в данную подборку.

Обе эти поэтессы, занимающие достойное место в японской поэзии, совершенно неизвестны русскому читателю, надеюсь, что встреча с ними поможет любителям японской классической литературы расширить свои представления о ней.



## Кэнрэймонъин-но укё-но дайбу

Кто возвестил
Соловью, что весна уже здесь?
В бамбуковой роще,
Где он обитает, о ней
Еще ничего неизвестно...

* * *

Расцветайте скорей!
А то разрываюсь на части:
Ночь напролет
Смотрю на луну, а мысли
Невольно стремятся к цветам.

* * *

Кто вздохнет обо мне?
Кто захочет меня проведать?
Пусть даже я
Обращусь в камень безмолвный
От тоски по тебе, жестокому[1].

* * *

*Когда одолевали печальные думы, услыхала голос соловья*
Печальным думам
Предаюсь, и мне незнакома
Весна души.
Зачем прилетел, соловей?
О чем мне хочешь поведать?

* * *

*Вечерней порой проезжая по лугам, любуюсь цветами...*
Мискант вдалеке,
Рукавами взмахнув призывно,
Полонил мое сердце.
Опустив поводья, доверюсь коню.
На луга опускается вечер...

1. "Обращусь в камень безмолвный" — намек на китайскую легенду о верной жене, которая, проводив мужа, отправлявшегося на войну, долго глядела на него с вершины горы и превратилась в камень... (*Здесь и далее – прим. перев.*)

* * *

*Слышим друг о друге только от чужих людей*
Ему что-то расскажут,
Я тоже что-то услышу...
Как тяжело...
Уж лучше бы вовсе меж нами
Никогда ничего не бывало...

* * *

*Когда окажется, что твой возлюбленный одновременно поклялся в любви еще и другой*
Как бы ждала
Сегодня тебя, поверив
Твоим обещаньям,
Не принеси мне гонец
По ошибке чужое письмо...

* * *

*О цветах, увиденных вечером сквозь ветви сосен...*
Иль у вершины,
Озаренной закатным солнцем,
Уже вишни цветут?
По соснам белое облачко
Растеклось, никак не растает...

* * *

*Любовная тоска, одолевшая днем*
Быть может,
Тобою назначенный час
Совсем уже скоро?
Увяли, яркость утратив,
Цветы "утренний лик"...

* * *

*Глядя, как гуси улетают по темному небу*
Гуси кричат,
В родные края улетая.
Что им цветы?
Даже луны предрассветной
Дожидаться не стали...

* * *

*Весенние сумерки на море*
Якорь опущен.
Погружается медленно в волны
Закатное солнце.
Уходящей весны картина
Вот она — перед взором.

* * *

Все вокруг
Словно велит — вздыхай,
Предавайся печали.
Так изменчиво, так ненадежно
Осеннее небо под вечер[1].

* * *

Ах, ну никак
Не выходят из сердца
Думы о нем.
Говорю себе — все, довольно,
А думается еще пуще.

* * *

*Человек, с которым я была связана, пожелал осведомиться, оправилась ли я после болезни, и я ответила*
Слова участия
Проникли целебным бальзамом
В самую душу,
И обильнее прежнего
Выпала слез роса...

* * *

*Сложила, когда его чувства не отвечали моим желаниям и мне подумалось: "Хорошо бы вернуться к тому времени, когда и он обо мне не ведал, и я его не знала..."*[2]
Ах, этим вечером
Твой образ встает предо мной
Чаще обычного!
А ведь решила как будто —
Все кончено между нами...

* * *

*Он давно уже не навещал меня, и однажды поздно ночью я проснулась и долго предавалась печальным думам, наверное, из глаз моих катились невольные слезы, во всяком случае, на следующее утро мое светло-синее изголовье слегка изменило свой цвет...*
Изголовье
Твой запах хранило, но слезы
Смыли его.
Даже цвет теперь изменился —
Ничего не осталось на память...

1. "Осеннее небо под вечер..." — есть поговорка: "Мужское сердце — что осеннее небо".
2. "И он обо мне не ведал..." — цитируется стихотворение Сайгё: "Зачем упрекать / Того, кто тебе стал чужим? / Не лучше ли нам / Вернуться к тем дням, когда / Меня ты не знала и я не знал о тебе..."

* * *

*Рядом с очагом стояла чаша, наполненная водой, в ней отражалась луна, и мне показалось это таким необычным...*
Чудеса!
Круг чаши — в ней круг луны
Приютился.
Облака, облекшие небо,
Не заслоняйте его!

* * *

*Когда я жила в Западных горах, он долго не навещал меня, мол, слишком занят. Увидела как-то засохшие цветы и невольно...*
Зачем мне считать,
Сколько дней от тебя
Не было писем?
Довольно просто взглянуть
На эти цветы в саду...

* * *

*Эту цветущую ветку он сорвал, когда приезжал ко мне дней десять тому назад, а когда уезжал, воткнул ее в тростниковую штору...*
То трепет восторга,
То горечь разочарований:
Не убежать
От судьбы, нас связавшей
Еще в предыдущих мирах.

* * *

*Дочь Масаёри, которую называли Сукэдоно, прислуживала Государыне. Она была очень мила и говорила всегда такие трогательные слова, поэтому я иногда откровенно болтала с ней о том о сем. Осенью она надолго переселилась в горное жилище ради купаний в целебном источнике, и как-то с оказией я послала ей письмо...*
В горном жилище
В спальню луна глядит
Сквозь бедную кровлю.
Верно, с ложа стряхнуть пытаешься
Ее блики, думая — иней...

* * *

*Я слышала о том, что государыня Кэнрэймонъин изволит пребывать в Оохара, но не имея соответствующего соизволения, не могла туда отправиться, однако спустя некоторое время, ведомая своей глубокой любовью к ней, все же решилась, как ни неразумно это было. Оказавшись в горах, унылых и мрачных, я не смогла удержаться от слез. Государыня жила теперь в таком жалком окружении, что невозможно было смотреть на нее без сострадания. Даже тех, кто не знал ее в былые дни, ужасал ее нынешний образ жизни. А мне так и вовсе казалось, что я вижу сон. Пронзительные порывы осеннего ветра, шум де-*

*ревьев, подступающих к самому дому, журчанье воды в желобе, крики оленей, стрекотанье насекомых – вроде бы обычные осенние звуки, но мне от них стало нестерпимо печально. В былые дни, в столице, Государыня облачалась в великолепную парчу, ей прислуживали более шестидесяти дам, а тут ее и не узнаешь в этом черном платье, окруженную тремя или четырьмя прислужницами. "Ах, что же теперь..." – только и повторяли и я, и они, и ничего более не могли произнести из-за душивших нас слез...*

Настоящее — сон?
Или прошлое мне приснилось?
Теряюсь в догадках...
Ясно одно лишь — явью
Это просто не может быть...

* * *

*В поисках утешения решила отправиться в те края, которые никак не были связаны с ним, но в день отъезда нахлынули воспоминания...*

Даже зная —
Вернуться смогу, как только
Пожелает душа, —
Все равно слишком печален
Миг расставания с домом.

* * *

*Было это, кажется, в первый день двенадцатой луны. К ночи посыпался не то дождь, не то снег, на небо набежали облака и скрыли от взора звезды. Я лежала, закрывшись с головой, но поздно ночью, часу в третьем, откинула покрывало и посмотрела на небо – на нем не было ни облачка, оно светилось зеленоватым светом, испещренное крупными, необыкновенно яркими звездами. Это было удивительно прекрасно, совсем как листок синей бумаги, присыпанной золотом. Мне казалось, что таких звезд я никогда еще не видела. Может, оттого, что я была в пути, мне увиделось в этом нечто особенное, и в голове невольно стали тесниться разные мысли...*

Раньше луной
Восхищалась привычно
И только сегодня
Поняла, как прекрасна
Бывает звездная ночь.

* * *

*Все вокруг радовало душу – и сад, и ветви деревьев. Все зеленело, отовсюду слышался птичий щебет, такой беспечный, что на глаза навернулись слезы...*

Птичий щебет,
Безоблачно чистое небо
Над головой...
Безмятежности этой
Завидую я невольно...

В предгорьях
Со звонкого птичьего щебета
Начинается утро.
Вишни являются взору —
одна пышнее другой.

* * *

Весна. На лугу
Цветут безвестные травы.
А в облаках
Жаворонок звенит
Так безмятежно.

* * *

Неужели
Так будет каждой весною?
Слив аромат,
Нежные краски вишен,
Трепет сердечный...

* * *

Снег лепестков,
Осыпавшись разом, устлал
Землю в саду.
Верни же его на ветки,
Ветер весенний.

* * *

Почему-то проснувшись,
Тщетно выжать пытаюсь
Мокрые рукава.
Окно распахну, а за ним —
Полночный весенний дождь.

* * *

По дороге домой,
Наверное, заблудились...
В обители туч,
Завешенной дымкой вечерней,
Тают крики диких гусей.

* * *

Летнего ливня
Нити с крыши свисают
В старом жилище.
Некому прясть их, никто не придет.
Как же тосклив этот вечер!

* * *

Позднее лето.
Заглушили буйные травы
Тропинки в саду.
Потаенным думам моим
Сквозь них никак не пробиться...

* * *

Ночью печалюсь
О быстролетных
Осенних днях.
Ах, хотя бы эта луна
Так не мчалась по небу!

* * *

Одинокая тучка
Возникла над горной вершиной
За окном.
Холодным дождиком брызнула
И поплыла себе дальше.
Горный ветер,
Подхватив алые листья,
Бросает их вниз.
Сколько же надо деревьев,
Чтобы сад парчою устлать?

* * *

Вниз по склону
Несется-мчится неистовый
Вечерний вихрь.
Слежу за его продвиженьем
По стайке летящих листьев.

* * *

Утром выгляну в сад —
Будто у самой стрехи
Каркает ворон...
Вон он, далеко, на дереве.
Голос сквозь толщу снега.

* * *

Сегодня вечером
Слезы не удается
Никак удержать.
Прижму к глазам рукава —
Катятся из-под них...

* * *

Странно самой —
В таком смятении чувства...
А ведь думала:
"Уж я-то вовек не стану
Страдать от любви..."

* * *

На берег невстреч
Одна за другой набегают
Соленые волны...
Жаль, что не видишь ты,
Как мои рукава промокли!

* * *

Готова тебя
Ждать всю жизнь, бесконечно.
Печалит одно —
Так надолго вряд ли сумею
Задержаться я в этом мире.

* * *

Никаких обещаний
В письме вечернем твоем,
Не пишешь — "когда"...
Уж лучше бы мне и сегодня
Не иметь от тебя вестей!
Вот и опять
Жду, надеюсь — "быть может..."
Хоть и помню о том,
Что мы с тобою расстались
Только сегодня утром.

* * *

Не придешь и сегодня —
Кончено, выброшу вон
Тебя из сердца.
А ты где-то ночь коротаешь,
О мыслях моих не ведая.

* * *

Непостижимы
Пути ночных сновидений...
Потому ли,
Что с мыслью о нем ложусь?
Иль его так безудержны чувства?

* * *

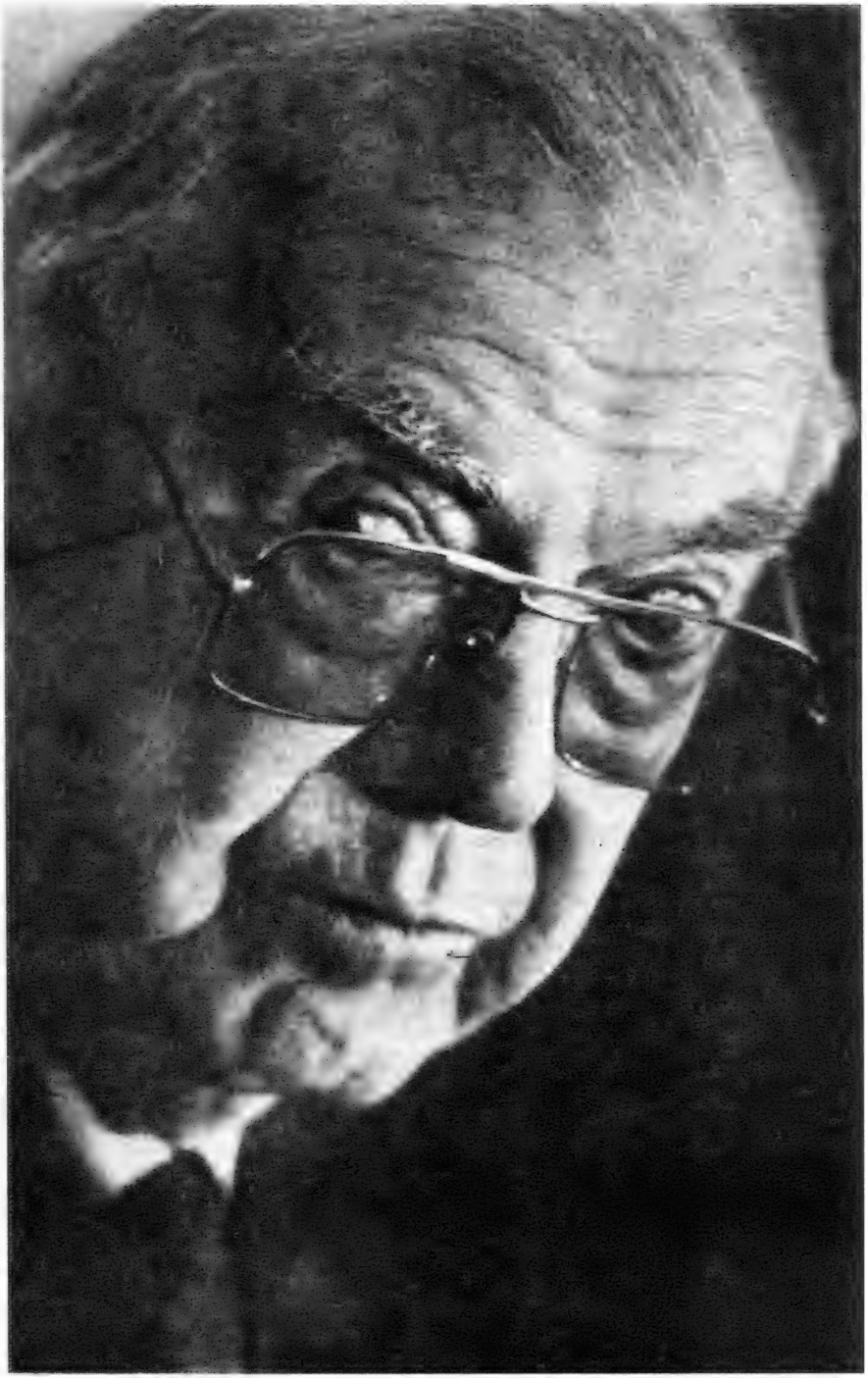
"Ты неизменно
В сердце моем". Ах, когда бы
Он так не сказал,
Не дала бы себе обмануться
В истинных чувствах его.

* * *

Печали, горести,
Их больше нет, остались
В далеком прошлом.
Но как же они теперь
Моему сердцу милы!

* * *

Сколько же я
Зарекалась: "Больше со мной
Такого не повторится!"
Увы, когда бы хоть раз
Удалось зарок не нарушить!



# Александр Ливергант

## *От первого и третьего лица*



На страницах "Иностранной литературы" в разные годы печатались многие произведения Грэма Грина. И вот теперь к романам крупнейшего английского прозаика прошлого века прибавился еще один немаловажный штрих — биографический: два его портрета и два автопортрета. Портреты — плод трудов двух мемуаристок: Ширли Хэззард, встречавшейся с писателем с начала 60-х годов, и Ивонны Клоэтта, многолетней подруги и секретаря Грина. Четверть века И. Клоэтта скрупулезно вела "Красный дневник", куда записывала "кое-что из того, о чем он со мной говорил", дабы создать "непредвзятый, опирающийся исключительно на факты" портрет автора "Силы и славы" и "Почетного консула". Непредвзятых портретов в природе не бывает. Как не бывает и непредвзятых автопортретов. Таких в нашем "Литературном гиде" тоже два: выдержки из двух автобиографий Грина "Часть жизни" и "Пути спасения", а также два эссе писателя разных лет.

Портреты — что живописные, что литературные — никогда не совпадают с автопортретами. Со стороны мы видимся совсем не такими, какими кажемся самим себе. И каждый человек воспринимает нас по-своему, не так, как остальные, и не так, как мы себя сами. Чем человек сложнее, талантливее, тем, вероятно, меньше сходства между его портретом и автопортретом. Вот почему мемуаристки Грина, Клоэтта и Хэззард, хоть и пишут об одном и том же человеке, видят его совершенно по-разному. В выигрыше, впрочем, оказывается читатель: большой художник предстает перед ним в разных ракурсах, так сказать, анфас и в профиль, будет прочитан от первого и третьего лица одновременно.

В своей книге "Моя жизнь с Грэмом Грином" Ивонна Клоэтта, сославшись на то, что ее дневник грешит "сумбуром мыслей и записей", называет свои воспоминания "моментальным снимком". Такое определение, однако, подходит, скорее, воспоминаниям Ширли Хэззард, ведь "момент" И. Клоэтта продолжался как-никак тридцать два года. Портрет Грина в исполнении И. Клоэтта, которую можно обвинить в субъективности, но никак не в отсутствии теплых чувств к Грину, куда более к себе располагает, чем "моментальный снимок" Ш. Хэззард, встречавшейся с Грином многократно, но близко его не знавшей.

Основной мотив "Моей жизни", написанной вскоре после смерти Грина, — защитить писателя и человека от нападок критиков и журналистов, считавших, что в Грине сочеталось несочетаемое: католицизм и "прогрессизм" — любовь к леворадикальным движениям и их лидерам. Пафос книги — восстановить его доброе имя, опровергнуть обвинения недоброжелателей. Вот почему, должно быть, Грин в книге Клоэтта несколько идеализирован, приукрашен, резкие черты его характера смягчены: вместо того, например, чтобы назвать Грина вспыльчивым, Клоэтта пишет, что у него "инстинктивное, мгновенно проявляющееся чувство неспра-

© Александр Ливергант, 2009

ведливости". Грин, по Клоэтта, добро- и мягкосердечен ("испытывает родственные чувства к неудачникам"), всегда и всем находит слова утешения, у него обостренное чувство ответственности. Человек хоть и не публичный, Грин, вспоминает И. Клоэтта, всегда стоял на страже угнетенных – одна глава в ее книге так и называется "Говорить от имени жертв", – чему, собственно, имеются многочисленные подтверждения. Вспомним поддержку – и моральную и материальную – наших Даниэля и Синявского, подпись под Хартией-77 в памятном августе 1968 года, отказ – из протеста против вьетнамской войны – от почетного членства в Академии и институте искусств и литературы США, памфлет "Я обвиняю", разоблачающий коррупцию на Лазурном берегу. Пишет И. Клоэтта и о том, как Грин умел ценить дружбу, как помогал нуждающимся писателям, как не жалел теплых слов и громких похвал в адрес писателей начинающих. Как много и тяжело работал над своими книгами ("Я не гений, я ремесленник"), как был к себе строг и придирчив, как много значила для него литература, с юных лет ставшая жизненной потребностью. "Я чувствую себя, – цитирует И. Клоэтта по своему "Красному дневнику" слова Грина, – в миллион раз подавленней, когда не пишу".

Портрет Грина, написанный Ширли Хэззард, которую И. Клоэтта, к слову сказать, обвиняет в "литературном снобизме" (читай – в предубежденности), далеко не столь положителен. У трезвой, наблюдательной Хэззард фигура писателя более неоднозначна и гораздо менее привлекательна. Любитель жить "на юге, не знающем терзаний", как писал Оден, сосед Грина по Неаполитанскому заливу, Грин, по версии Хэззард, между тем совершенно равнодушен к природе и памятникам искусства. "Я один из тех, – утверждает не без некоторого бахвальства Грин в воспоминаниях Хэззард, – для кого невозможно писать вдали от Англии". А между тем, прожив в Антибе четверть века, он и там написал немало. Мемуаристке Грин видится человеком язвительным, расчетливым, скуповатым ("Всегда имел такой вид, будто сводит концы с концами"), отрешенным от мира и от политики, легко, нередко по пустякам, впадающим в ярость. Хэззард, как и И. Клоэтта, пишет о том, что Грин поддерживал начинающих одаренных писателей, однако оговаривается, что о книгах он обыкновенно судил безапелляционно, огульно, с горячностью, был нетерпим, нередко враждовал со своими коллегами по цеху, бывал ко многим и во многом несправедлив...

Один и тот же человек, а какие разные портреты. Один "не равнодушен к несправедливости", другой несправедлив. Один мягкосердечен и участлив, другой скорее мизантроп, человек язвительный и вспыльчивый. Один активен, энергичен, политически ангажирован, другой отрешен, от политики, от публичной жизни далек. Кое-что, впрочем, у Хэззард и Клоэтта совпадает. И та, и другая, помимо склонности Грина к депрессии, передававшейся писателю (уточняет Клоэтта) от его героев, подметили в Грине, этом неустанном путешественнике, отважном и бескомпромиссном исследователе экзотических стран и преступных режимов, трогательную детскость, незащищенность. Хэззард называет Грина "неуклюжим подростком". Сходным образом, И. Клоэтта вспоминает, как Грин, перед решающим отъездом из Англии в Антиб зимой 1965 года, пишет ей, что решил отказаться от линованной бумаги. "Линейки, – жалуется, словно школьник, всемирно известный шестидесятидвухлетний писатель, – кажутся мне теперь тюремными решетками".

В каком-то смысле еще сложнее судить о Грине не по этим, во многом противоречащим друг другу портретам, а по автопортретам. О себе Грин предпочитает говорить, "надев (как он любил выражаться) маску", а потому Грин "от первого лица" ничуть не менее загадочен, противоречив, чем "от третьего". Из двух автобиографий Грина, отрывки из которых приводятся в этом номере, мы больше, пожалуй, узнаем про "Гринландию", чем про самого Грина, хотя и в "Части жизни", и в "Путях спасения" он много и подробно пишет о своей родословной, о детстве, о жизненных и творческих коллизиях. Несмотря на многие подробности частной и общественной жизни писателя, разглядеть лицо, спрятанное под маской, удается, однако, далеко не всегда. В то же время читателю автобиографий не составит труда узнать, откуда брались идеи, сюжеты, герои его книг. В толстом, жизнерадостном администраторе Ноттингемского собора, бывшем актере отце Троллопе мы узнаем, например, одного из прототипов пьющего падре из "Силы и славы". Узнаем также, что "путями спасения" в жизни Грина была, во-первых, литература — и как modus vivendi, и как средство воскресить и тем самым забыть прошлое: когда пишешь (не раз замечал в этой связи Грин), прошлое утрачивает над тобой власть. И во-вторых — непреходящее желание, своего рода навязчивая идея играть со смертью, "сбежать от всего"; желание это возникает, когда еще подростком Грин на пустыре в Беркемстеде играет в русскую рулетку, о чем он подробно пишет и в "Путях спасения", и в эссе "Револьвер в буфете". Не отсюда ли, кстати сказать, не покидавшая ни его, ни его героев тяга всю жизнь ездить в неспокойные места, многократно испытывать чувство опасности, будь то революционная Мексика конца 30-х, или Вьетнам 50-х, или колония для прокаженных в Бельгийском Конго? Не отсюда ли и его многолетняя служба в разведке? "Писатели в чем-то схожи со шпионами", — писал, имея в виду, скорее всего, самого себя, Грин в "Конце одного романа", книге, где героиня списана с подруги писателя американки Кэтрин Уолстон, той самой, с кем Грин приезжал в начале 60-х на Анакапри, на свою виллу "Розайо", описанную в воспоминаниях Ширли Хэзард.

Схожи со шпионами и биографы. И Ивонна Клоэтта, и тем более Ширли Хэзард подметили в Грине многое из того, чего он и сам, очень может быть, за собой не знал. И не узнал бы без посредства биографов его читатель. Вместе с тем даже И. Клоэтта, прожившая с Грином не один десяток лет, многое в нем не увидела (не хотела увидеть?) — когда имеешь дело с человеком в маске, пусть и очень близким, давно и хорошо знакомым, повествование от первого лица бывает в каком-то отношении выигрышнее, чем от третьего.

"Позиция рассказчика, — пишет Грин про повествование от первого лица, — страхует от соблазна перемен". Страхует — скажем от себя — и от соблазна излишне доверчиво, без дистанции относиться к жанру биографии. В автобиографии, даже такой "замаскированной", как "Часть жизни" или "Пути спасения", есть то, чего не найдешь в биографии, пусть и самой добросовестной. То, что было написано Грэмом Грином на листке бумаги, который Ивонна Клоэтта обнаружила в апреле 1991 года, вскоре после смерти писателя. "В поисках начала", — записал незадолго до смерти уже нетвердым почерком Грин. Вот в этих поисках самого в себе главного Грин — и в двух автобиографиях, и в эссеистике, и главным образом в художественных произведениях — преуспел, мне кажется, больше самых своих "непредвзятых" биографов.

# Ивонна Клоэтта

# *Моя жизнь с Грэмом Грином. В поисках начала*

Беседы с Мари-Франсуазой Аллен

Фрагменты книги

*Перевод с французского* Е. Клоковой

## Вступление

17 мая 1989 года, вручая мне экземпляр первого тома биографии Нормана Шерри, Грэм сказал: "Бедная моя, боюсь, однажды тебе придется иметь дело с биографами. Послушай моего совета: не рассказывай ничего — имеешь полное право, — но если решишься, говори всю правду, ничего не утаивай". Грэм смотрел на меня сочувственно, словно хотел предостеречь от соблазна превратить нашу историю в сказку. Прошли годы. Я долго обдумывала его слова.

Грэм умер 3 апреля 1991 года, и первым — сугубо эгоистическим — желанием было сохранить для себя одной воспоминания о тридцати двух годах нашей совместной жизни. Однако летом 1994 года на Грэма обрушился град обвинений, опорочить его посмертно пытались даже некоторые старинные "друзья". В его адрес летели столь гнусные обвинения, что я решила нарушить обет молчания. Не для того, чтобы опровергнуть клевету (это, увы, безнадежно), а чтобы, опираясь исключительно на факты и наблюдения, рассказать о человеке, которого я знала.

Восстанавливая в памяти образ Грэма, я старалась ничего не упустить, быть предельно точной, для чего обратилась к своему "Красному дневнику", который вела много лет. В дневник я записывала наши разговоры, которые всегда начинались спонтанно, без особого повода, и были очень откровенными. Грэм часто читал "Красный дневник" и делал в нем пометки.

Сделать запись моего рассказа о Грэме я доверила Мари-Франсуазе Аллен[1], дочери героя Сопротивления Ива Аллена, старого друга Грэма. Она автор книги "Грэм Грин: Другой и его двойник"[2].

Ивонна Клоэтта
*Веве, ноябрь 1999 г.*

© 2004 The Estate of Yvonne Cloetta and Marie-François Allain
© Е. Клокова. Перевод, 2009

1. В книге я называю Франсуазу привычным мне бретонским вариантом ее имени – Суазик. (*Прим. автора*). Ивонна Клоэтта – бретонка. (*Здесь и далее, если нет других указаний, – прим. перев.*)
2. Allain Marie-Françoise. Graham Greene, L'autre et son double, Entretiens avec Marie-Françoise Allain. – Paris: Pierre Belfond, 1981.

В апреле 1991 года, сразу после смерти Грэма Грина, Ивонна нашла в одном из ящиков письменного стола клочок бумаги, на котором неровным почерком было написано: In Search of a Beginning — В поисках начала. Она долго размышляла, пытаясь разгадать смысл этой короткой фразы. Что это — название новой книги? Но Грэм прекрасно понимал, что не успеет ее написать. Нет, скорее он пытался подготовить себя — в метафизическом смысле — к полному, окончательному одиночеству, к встрече со смертью... или с вечностью, если верил в Бога.

Работая над этой книгой, я пыталась понять, что же "искал" Грэм. Ключ к разгадке он оставил своей верной спутнице. В ее воспоминаниях, полных сомнений, тревог, но в то же время светлых и радостных, и содержится ответ.

Особенности Грэма Грина представлены в книге так, как их видела Ивонна, ведь она была очень близким его другом, но все же не alter ego. Не будь у нее тонкого, интуитивного, "точного" восприятия его творчества, они вряд ли прожили бы вместе тридцать два года.

Эта книга не претендует на то, чтобы называться биографией Грина. Но, возможно, именно таким незамысловатым рассуждениям о жизни писателя, рассуждениям любимой и любящей женщины, и стоит доверять. Все остальное есть в книгах самого писателя.

Мари-Франсуаза Аллен

# Встреча

**Суазик.** В письмах, которые Грэм писал тебе долгие годы, привлекает внимание повторяющаяся фраза "Люблю тебя. Навечно". Потом он стал приписывать "Навечно — и еще на один день", затем "Навечно — и на еще один, самый длинный день"... Он не думал о конце. Но каким было начало? Расскажи о начале.

**Ивонна.** Мы встретились совершенно случайно. Это произошло в Камеруне, в Дуале, в начале марта 1959 года. Мне позвонила приятельница — Хо Буккарю. "В Дуалу приехал наш друг Грэм, — сказала она, — приходи к нам на ужин". Я была занята, и пришлось отказаться, но мне очень хотелось познакомиться с ним. Я читала его книги, видела фильм "Третий человек". Особенно сильное впечатление произвел на меня роман "Сила и слава"; я все думала: каким надо быть, чтобы написать такую сильную вещь?

О приезде Грэма Грина в Дуалу никто даже не слышал, и поначалу я решила, что это шутка. Но в понедельник утром Хо снова позвонила и спросила, можно ли им с Грэмом зайти ко мне ненадолго. Я, естественно, согласилась, и мы встретились. Для меня он был тогда автором нескольких книг, которыми я искренне восхищалась, но не более того...

В ту первую встречу мы оба так смущались, что разговор все не клеился. Хо внесла оживление, вспомнив, что как-то раз ночью они с Грэмом решили посмотреть на гору Камерун с высоты птичьего полета. Дремавший много лет вулкан внезапно пробудился. Полет произвел на Грэма неизгладимое впечатление, он вспоминал, как потоки лавы завораживали его своей красотой и в то же время пугали.

**С.** Зачем Грэм приехал в Дуалу?

**И.** Как я потом узнала, туда он приехал из тогда еще Бельгийского Конго, где провел полтора месяца в расположенном неподалеку от Кокийявилля лепрозории. В столицу Камеруна его пригласил друг, человек по фамилии Морэ. Они тесно общались в 50-е годы в Сайгоне (во время войны в Индокитае Морэ был шефом Службы безопасности), а затем переписывались. К несчастью, накануне приезда Грэма Морэ попал в аварию, и его самолетом отправили во Францию. Когда Морэ на носилках вносили на борт, он инструктировал Хо и Поля Буккарю, как следует принимать Грэма. Во время войны супруги Хо и Поль тоже работали в Индокитае. Поль был высокопоставленным чиновником и служил вместе с Морэ в Сайгоне. После войны, в 1955-м, его, как и некоторых других французских служащих, перевели в Камерун. Дуала в то время была спокойным, мирным местом, где мы с моим мужем Жаком вели беззаботную, счастливую жизнь. Однако 1959 год — когда усилилась борьба за независимость — в корне изменил не только жизнь страны, но и нашу.

Вернемся к недолгому пребыванию Грэма в Камеруне: по радио передавали страшные новости о том, что происходит в колониях — людей убивали, а трупы сбрасывали во рвы; в городе было неспокойно, но супруги Буккарю решили во что бы то ни стало отпраздновать приезд Грэма в Дуалу и пригласили друзей на танцевальную вечеринку в единственный ночной клуб для европейцев. Вот так мы и встретились — в ночь с понедельника на вторник — и протанцевали в "Шантако" до четырех утра. Грэму подобные развлечения были явно не по вкусу, он вообще не любил танцевать.

На рассвете, прежде чем мы разошлись по домам, Поль сказал мне: "Грэм вечером уезжает и приглашает нас с тобой выпить в баре 'Кокосовые пальмы' — это в гостинице, где он остановился. Заеду за тобой в четыре", — и умчался, не желая слушать мои возражения. Через несколько часов он разбудил меня: "Вставай, я привез Грэма. Поедем простимся с ним". — "Но мы уже попрощались, — не соглашалась я, — в 'Шантако'". Поль приложил палец к губам и зашикал на меня — в гостиной ждал Грэм. Поль был известным сводником, поэтому я сразу сказала: "Мы ведь с тобой друзья, правда? Поклянись, что не оставишь меня с ним в гостинице одну". Он поклялся, и мы поехали, но пошли не в бар, а в номер Грэма. Он собирал вещи, и — к великому разочарованию Поля — зашел серьезный разговор о жизни, смерти и любви...

Короткое пребывание Грэма в Дуале подходило к концу. Мне наша встреча показалась немного странной, и я думала, что очень скоро о ней забуду. А вот Грэм отнесся к нашему знакомству иначе. Уже в дверях он как бы невзначай бросил: "Хо сказала, что в августе приедет в Ниццу, кажется, вы тоже будете в это время на юге Франции? Сегодня я возвращаюсь в Англию, потом лечу на Кубу, а оттуда — на Капри. В конце августа рассчитываю провести неделю с друзьями в Сен-Жан-Кап-Ферра, в 'Золотом парусе'. Приедете с Хо выпить со мной?" "Посмотрим, — ответила я, — до августа еще далеко!"

В тот момент я не осознавала, как решительно настроен Грэм. Однако в августе мы с Хо и в самом деле оказались у него, и он предложил мне

поужинать с ним в "Ла Резерв де Больё", недалеко от гостиницы, где он остановился. Я приняла приглашение, о чем ни разу не пожалела.

Мы впервые оказались наедине и поговорили спокойно. Именно тогда началось наше общее будущее. В марте 1959-го, когда Грэм был в Дуале, политическая ситуация, как я уже рассказывала, стремительно ухудшалась, и мы с Жаком не без колебаний решили, что дети уедут со мной во Францию, а Жак останется в Африке (по карьерным соображениям). Для нас с мужем начиналась новая жизнь, в определенном смысле мы обретали некоторую свободу. Мне предстояло самой воспитывать двух наших дочерей — Мартине было восемь, Брижит — четыре — и я прекрасно понимала свою ответственность. Перемены, произошедшие всего за три месяца со времени нашей встречи, я переживала так тяжело, что Грэм не мог не заметить: "Когда мы встретились в Дуале, вас переполняла радость. А сейчас вы сами на себя не похожи. Что случилось?"

Я принялась рассказывать обо всех моих тревогах, а он слушал так внимательно, с таким неожиданным интересом, что я вдруг поняла: два часа назад мы были друг для друга чужими, а теперь он знал и понимал меня лучше, чем я сама. Таких людей я еще не встречала. И дело тут было не в отношении Грэма ко мне и не в писательском таланте, а в его человеческих качествах.

**С.** В то время к нему уже пришло признание. Возможно — первое время, — тебя привлекала его известность? Ведь слава подкупает или, по крайней мере, производит впечатление.

**И.** Доля истины тут есть. Я восхищалась Грэмом, а восхищение — часть любви, но его слава оставалась для меня чем-то внешним, не имеющим ко мне прямого отношения, и я не придавала ей особого значения. Меня поразила его способность проявлять неподдельное участие и интерес к другому человеку, в данном случае — ко мне. Грэм умел находить слова утешения, знал, как успокоить. В тот вечер я обрела настоящего друга. Человека, на которого могу положиться.

На следующий день Грэм возвращался в Лондон. Он спросил, не хочу ли я проводить его в Ниццу, в аэропорт, и я согласилась. Мы пообедали в ресторане "Лазурный берег" на верхнем этаже аэровокзала. Объявили посадку, мы сели в лифт, Грэм обнял меня и спросил: "Ты меня любишь?" Я удивилась тому, как скоро он спрашивает меня об этом, и ответила: "Но... Не знаю... Это так неожиданно. Слишком быстро. Не могу сказать". Возможно, он был разочарован. Наверное. Но не показал этого.

Неделю спустя, вернувшись из Лондона, Грэм рассказал мне: "В лифте я понял, что начинаю тебя любить. Понимаешь, я уже был влюблен, но твой ответ, твоя честность восхитили меня".

## "Сезон дождей"?

**С.** В 1961 году Грэм написал на твоем экземпляре "Сезона дождей": "Это книга об Африке, которой ты не знаешь". Но ведь именно Африка, скажем так, вас объединила, ведь там вы впервые встретились?

**И.** Все не так просто. Африка — огромный континент, и мы с Грэмом бывали в разных ее странах. Ведь я провела там четырнадцать лет: в Дакаре, столице Сенегала, где вышла замуж; в Котону, столице Дагомеи, в Ломе, столице Того, в Бамако, столице Мали, и, наконец, в Дуале, во французском Камеруне. По большей части я проводила время в счастливой праздности. Домом занималась прислуга, а я вела светскую жизнь. Через некоторое время мы начали задыхаться в тесном пустом мирке коктейльных приемов и ночных клубов: общение с одними и теми же людьми, сплетни, пересуды отравляли мозг и душу.

Для Грэма же подобное времяпрепровождение было неприемлемым. Приезжая в Африку, он всякий раз рисковал жизнью. Даже когда он попал туда впервые (в 1934 году), он едва не умер от нервного перенапряжения и усталости, да еще подхватил малярию. В "Путешествии без карты" (1936) он описал, чем могла закончиться та безрассудная вылазка.

Несколько лет спустя, в 1941-м, он вернулся в Западную Африку, в Лагос, и побывал во Фритауне в Сьерра-Леоне. Во Фритауне он провел полтора года, выполняя задание МИ-6. В путевом дневнике "В поисках героя" (1961) он рассказывает, насколько "широки и неопределенны" обязанности "правительственного чиновника". В свободное от работы время он написал "Ведомство страха" (1943) и "Суть дела" (1948).

Мы встретились в начале марта 1959 года. Грэм только что вернулся из тяжелого путешествия в "сердце тьмы" — лепрозорий в Йонде — и отлично понимал, как непохожи наши жизни, чем и объясняется посвящение к "Сезону дождей".

Африку мы с Грэмом знали с разных сторон, но этот континент, который он называл "Смутно-сладенькой страной", очень нравился нам обоим. Мы любили ее тропическую красоту, детскую беспечность и доброжелательность ее жителей, интересовались их обычаями и суевериями, часто вспоминали особый, незабываемый аромат, который исходит от кожи живущих там людей, — стойкий влажно-пряный, с примесью гумуса. Этот запах не встречается больше нигде, и со временем мы стали тосковать по нему.

**С.** Грэм рассказывал, что провел в лепрозории полтора месяца? Что он там делал?

**И.** В детали он никогда не вдавался... Летом, при встрече, объяснил только, почему отправился туда. Он говорил, что разочаровался в жизни и чувствует себя опустошенным и обессиленным (a burnt-out case[1]), словно "исцелившийся прокаженный". Тогда я поняла, что́ привлекало Грэма в этом затерянном месте: он пытался убежать от жизни, ставшей невыносимой. Тогда он было решил, что пора кончать с писательством, что источник вдохновения иссяк и будущий роман — "Сезон дождей" — станет последним. Он больше ни во что не верил, и меньше всего — в любовь. Его преследовали неудачи. Он рассказывал о бесконечных разочарованиях, об отчаянии — ничего не получалось, — о пресловутой писательской хандре.

1. Отсылка к названию романа Грина "A Burnt-Out Case" (1961). Русский перевод: Грэм Грин. Ценой потери / Перевод Н. Волжиной. — М.: Худож. лит., 1994 // Собр. соч. в 6-ти тт. Т. 3.

**С.** То есть в тот раз он переживал более тяжелую депрессию, чем обычно?

**И.** Мне судить трудно, ведь когда мы встретились, я почти ничего не знала о прежней жизни Грэма. Одно могу сказать: ни в одном его романе нет персонажа мрачнее Керри, героя "Сезона дождей".



**С.** Ты полагаешь, это герой так повлиял на своего создателя?

**И.** Природа отношений между героем и его создателем мне до сих пор не ясна. Вот что сказал по этому поводу Грэм (я записала его слова в "Красный дневник"): "Когда придумываешь героев, очень важно не ошибиться в эмоциях. Единственный способ вдохнуть в них жизнь — представить, как бы они реагировали в той или иной ситуации. Чтобы описать влияние событий на человека и его реакцию на эти события, я должен сам по-настоящему глубоко все прочувствовать". Теперь ты понимаешь, почему такой депрессивный персонаж, как Керри, давался Грэму особенно тяжело.

Причем Керри доставлял Грэму не только душевные страдания. Мне вспоминается Рождество, которое мы праздновали в 1960 году в Сан-Ремо у моей итальянской подруги Леллы (Грэм жил в гостинице по соседству). Мы веселились, всем было хорошо. Но на следующее утро Грэм чувствовал себя ужасно. Я спросила: "Может, съел вчера что-то не то?" — "Нет, — ответил он, — просто, вернувшись, решил немного поработать над книгой, очутился в обществе Керри, впал в уныние, и меня вырвало". Помню, я тогда ужасно удивилась: как может тошнить из-за того, что пишешь роман? Со временем я многое поняла. Несколько лет спустя в Антиб приехали Притчетты. Мы пошли обедать в ресторан в старом городе. По дороге Виктор[1] и Грэм разговаривали о писательском ремесле. Оба сошлись во мнении, что их труд бывает невероятно тяжелым, а Виктор признался, что очень часто, выполнив "дневную норму", ощущает себя совершенно разбитым.

## *"Сжечь корабли"*

**С.** Что было главным в первые годы ваших отношений с Грэмом?

**И.** В начале 60-х важнейшей задачей было наладить новую жизнь во Франции с двумя детьми, ответственность за которых отныне несла только я. В Жуан-ле-Пен у нас был дом, там жил и мой отец. Это облегчало задачу.

Тогда Грэм большую часть времени проводил в Англии и курсировал между Лондоном и Ниццей. Обычно он селился в гостинице "Руаяль" в Антибе, на самом берегу моря. Достаточно было перейти ведущее в Кан-д'Антиб шоссе, чтобы оказаться на пляже де Лилет. Затем он стал чаще прилетать на юг Франции, проводил там все больше времени, а в 1964-м решил снять маленькую квартирку на седьмом этаже "Флориды", окнами на сады Альбера I, рядом с крепостной стеной. Это была скромно обставленная студия, но она была нашей. Грэм называл ее гнездышком. То были безумные годы. Страсть захватила нас, и мы не задумывались о будущем. Важно было одно — сохранить любовь.

1. Виктор Соден Притчетт (1900–1997) — английский прозаик, эссеист, критик.

В 1961 году увидел свет "Сезон дождей", Грэм освободился от кошмарного Керри и спокойно писал "Вы позволите одолжить вашего мужа?" (1967) и другие повести более легкого жанра.

1966-й стал для Грэма поворотным. То было время важных решений — и в личной жизни, и в профессиональной. В ноябре 1965-го он писал мне из Лондона: "Сегодня я освободил все шкафы, уничтожил кое-какие письма. Готовлюсь к новой жизни". В письме от 17 декабря 1965 года я прочла следующее: "Думай обо мне 31 декабря: я устраиваю прощальный ужин в 'Коннафе', будут Макс и Джоан, Джон и Джиллиан и мисс Рид[1]. На следующий день, в десять часов, я сяду в поезд, а в шесть пятнадцать — выйду на Северном вокзале свободным человеком!" В подтверждение этих слов Грэм не без удовольствия как-то заявил мне: "Чтобы ознаменовать мое новое состояние, я решил отказаться от линованной бумаги — линейки кажутся мне теперь тюремными решетками". Решение, конечно, несколько ребяческое, но чрезвычайно показательное, на мой взгляд.

Когда Грэм сообщил мне, что собирается покинуть Англию и окончательно обосноваться во Франции, я долго не могла ему поверить. Я никоим образом не хотела влиять на Грэма, но ничто не могло помешать ему осуществить задуманное. Лучшего доказательства любви и быть не могло. Счастье переполняло меня, но я не могла не беспокоиться о том, как переезд во Францию скажется на его работе. Мои страхи быстро рассеялись, когда Грэм прилетел в Ниццу: он был полон решимости остаться со мной и явно счастлив.

Вскоре он купил в Антибе, который хорошо знал и любил, трехкомнатную квартиру — довольно скромную, но удобную — в современном доме под названием "Цветочная резиденция", у порта Вобан, напротив Квадратного форта, с видом на старый город с одной стороны и на горы — с другой. Там он и жил до конца своих дней. Можно сказать, что в старинном Антибе Грэм обрел дом.

Об этом поворотном этапе своей жизни Грэм рассказал в "Путях спасения" (1980): "Что помогло мне не только выйти из депрессии, но даже сделало меня счастливым, позволило написать большинство рассказов из книги 'Вы позволите одолжить вашего мужа?' и приступить к работе над 'Путешествиями с тетушкой'? Думаю, нелегкое решение, касающееся моей личной жизни, а также мой отъезд из Англии в 1966 году, когда я окончательно обосновался во Франции. Я сжег несколько кораблей и в свете пламени начал писать роман".

Именно в те восторженно-счастливые годы перемен, когда к Грэму возвращался вкус к жизни, он объявил мне, что собирается работать над "серьезной" книгой о смерти. Роман должен был называться "Последнее десятилетие". Грэм написал первые страницы, а потом вдруг решил бросить (такое с ним часто случалось): "То, что я делаю, бессмысленно. Теперь я понимаю: писать о смерти можно только в абсурдистско-шутливом тоне". Так родились "Путешествия с тетушкой", единственная книга, по словам самого Грэма, которую он написал "ради удовольствия".

1. Макс Рейнхардт — исполнительный директор издательства "Бодли Хед" и его жена Джоан были нашими близкими друзьями, как и Джон и Джиллиан Сутро. Джозефина Рид — многолетний секретарь Грэма. (*Прим. автора.*)

"Путешествия с тетушкой" вышли в 1969-м. Отзывы были разные, некоторые критики, особенно английские, выказали суровость. Грэм расстроился. "Мои соотечественники не хотят, чтобы я шутил, – сказал он, – это противоречит их пониманию и ожиданиям. Не соответствует ярлыку, который они на меня навесили. Тут я бессилен и могу сделать только одно: напомнить, что книга – о смерти. Это фарс, но фарс, в отличие от комедии, – жанр не смешной, пусть в нем и есть забавные сцены. Клоун смешит, но сам остается печальным" (из "Красного дневника").



**С.** Эта книга о таинственной личности – "С. З. К., которая помогла мне больше, чем в том можно признаться", а на твоем экземпляре Грэм дописал: "(и?) Ивонне, с любовью. Грэм". Кто это – С. З. К.?

**И.** С. З. К. означает "счастливая здоровая кошечка", так меня иногда называл Александр Стюарт Фрир[1], когда мы дурачились, а я звала его братишкой. Грэм хотел посвятить книгу мне, но из скромности и по совету Фрира взял это сокращение, хотя сам никогда так меня не называл.

**С.** Уверена, что Грэм ни разу не пожалел о решении, так круто изменившем его жизнь?

**И.** Ни разу! Я часто его об этом спрашивала. Он не только ни о чем не жалел, но даже, по его словам, не тосковал по родной стране. Дело в том, что он нигде, что называется, не пускал корней, умел жить, не ощущая их. Он так и говорил: "У меня нет корней – в этом и состоит моя тайна".

## В *поисках компромисса*

**С.** Итак, Грэм принял очень серьезное решение: поселиться в Антибе, в нескольких километрах от твоего дома в Жуан-ле-Пен: Что изменилось в ваших отношениях?

**И.** Многое. Изменились сами отношения, у них появилось будущее, а вместе с этим – право на существование. Так, во всяком случае, думала я... Мы не жили под одной крышей, но теперь мы были вместе практически всегда – насколько позволяли наши дела и обязанности. Расстояние больше нас не разделяло.

**С.** Так почему же вы просто не стали жить вместе?

**И.** С самого начала я сделала сознательный выбор, решила разделить жизнь на две половины: в одной я была матерью, в другой – женщиной. Однако никаких жестких рамок я не устанавливала: Грэм всегда помогал мне решать проблемы с детьми, а я предпочла избавить его от их постоянного присутствия, иначе он не мог бы работать. Чтобы писать, Грэму требовались тишина и возможность сосредоточиться.

**С.** Значит, ты сознательно приняла решение не жить вместе с Грэмом?

**И.** Получается так. А может, просто трусила... В 1966-м, когда Грэм решил переехать в Антиб, Мартине было пятнадцать лет, Брижит –

1. Александр Стюарт Фрир пришел в издательство Уильяма Хайнеманна в 1923 году. Он был главным редактором с 1932-го по 1940-й, директором – с 1945-го по 1961-й и председателем совета директоров до 1962 года. Общеизвестна его долгая дружба с Грэмом Грином. Он умер 3 октября 1984 года в возрасте 91 года. *(Прим. автора.)*

одиннадцать, и они ничего не знали о моей личной жизни. Честно говоря, мне не хватало духу сказать им правду.

**С.** А что Грэм? Как он реагировал на твое поведение?

**И.** Грэм не просто соглашался с моими решениями, он тоже хотел вести себя ответственно и разумно. 20 августа 1964 года он написал мне: "...Я очень хочу, чтобы ты жила со мной, но только ни о чем не жалея". Видишь, мы оба понимали, что импульсивность и поспешность в такой непростой ситуации привели бы к печальным последствиям. И не хотели рисковать.

**С.** Удивительно, что ваши отношения продлились так долго, учитывая многочисленные трудности, с которыми пришлось столкнуться. Ведь принять подобные решения, да еще и последовательно придерживаться их (причем не в теории, а в реальной жизни) — очень непросто. Как это у вас получилось?

**И.** Не знаю, тогда все казалось четким и ясным. Жизнь напоминала огромную мозаику: каждый кусочек вставал на свое место; было так, потому что не могло быть иначе.

Кроме того, все можно объяснить сложившимися обстоятельствами и характерами каждого из нас троих.

Обстоятельства заключались в следующем: Жак все еще работал в Африке[1] и отсутствовал десять месяцев в году, предоставляя нам достаточно свободы для устройства совместной жизни во Франции. Грэм сосредоточился на писательстве, что в его случае было связано с многочисленными поездками и путешествиями. В те годы его больше всего интересовали Куба, Гаити, позже — Панама, Никарагуа и Сальвадор, в эти страны он никогда не брал меня с собой, заявляя, что это слишком опасно... Грэм старался посвящать путешествиям два месяца, когда я занималась семейными делами, но никогда не отсутствовал дольше двух недель кряду. Мы встречались в Антибе, Лондоне, Париже или в других городах, сокращая таким образом время разлуки. Сделать паузу (a break) — так он называл наше вынужденное расставание.

С другой стороны, два летних месяца (которые всякий раз казались Грэму, судя по его письмам, "страшно долгими") позволяли моим дочерям провести время с родителями. Хоть на какое-то время мы превращались в нормальную семью... Думаю, девочкам эта иллюзия была очень нужна.

Что касается особенностей наших характеров, то я имела в виду следующее: по совершенно разным причинам ни Грэм, ни Жак не были созданы для брака, я же, в силу независимости, которая у меня в крови, всегда плохо переносила принуждение, от кого бы оно ни исходило. И Грэм и Жак были и достаточно умны, чтобы понимать это, и достаточно великодушны, чтобы принимать.

**С.** Вы нашли компромисс, приняли решение, удобное для каждого из вас, но какой ценой? Это действительно было так легко, как ты сейчас рассказываешь? Зная сложную натуру Грэма, его прежние неудачи с женщинами, не могу поверить, что жизнь вдруг стала такой удивительно свободной и спокойной...

1. Жак работал на побережье Западной Африки в одном из отделений крупной англо-голландской компании "Юнайтед Африка компани". (*Прим. автора.*)

**И.** Нет, нашу жизнь не назовешь длинной спокойной рекой[1]. Вначале сохранить равновесие было непросто, и Грэм очень беспокоился. Помню, он как-то сказал: "Если ты поймешь, что я тебе больше не нужен, если полюбишь другого, пришли мне чистый лист в конверте – я все пойму и не стану надоедать".



А для меня каждый отъезд Грэма был испытанием. Всякий раз приходилось гадать, расстаемся мы на время или навсегда... В подобной ситуации все зависело только от веры каждого из нас в нашу любовь.

**С.** Не задумывалась ли ты о разводе?

**И.** Конечно, у меня неоднократно возникало желание развестись с Жаком. К тому же каждый из нас мог рано или поздно устать от такой игры. Мы сознавали, что рискуем, но были к этому готовы. Будущее меня не пугало. Я знала, что бы ни случилось, я могу положиться на Грэма. Прошлое приучило его к осторожности, и с самого начала он стремился во всем добиться ясности. Он заявил, что не станет "подталкивать меня к разводу", и добавил: "Решать будешь ты, но помни одно: захочешь изменить свою жизнь – добро пожаловать ко мне!"

**С.** Что ты имела в виду, сказав: "Прошлое приучило его к осторожности"?

**И.** Я хотела сказать – заметь, я основываюсь на его собственных словах, – что благодаря жизненному опыту он знает, как опасно и глупо подталкивать замужнюю женщину к разводу, особенно если у нее есть дети. Грэм убедился, что это только разрушает отношения любовников и, in fine, – взаимную любовь. Он был твердо намерен не повторять ошибок.

**С.** Вы оба вели себя "разумно", но все же отношения могли в любой момент распасться, ведь никаких гарантий вы друг другу не давали, так ведь?

**И.** Вступать в отношения с другим человеком всегда рискованно. Не рискуют только трусы. Сомневаюсь, что брачные узы дают супругам гарантию стабильности. Посмотри вокруг – и убедишься в моей правоте. По-моему, для уверенности в завтрашнем дне важны решимость и желание быть вместе. А у нас обоих такое желание было.

Только Жак мог положить конец нашему браку – если бы захотел начать новую жизнь и потребовал развода. Мы с Грэмом были готовы и к такому развитию событий. Грэм подчеркнул это в письме от 20 августа 1964 года: "Если разрыв произойдет раньше, чем мы предполагаем, я изо всех сил постараюсь сделать тебя счастливой".

Несколько раз Жак угрожал мне разводом, но дальше слов дело не пошло.

**С.** Испытывала ли ты угрызения совести?

**И.** Нисколько. Нравственные принципы зачастую оказываются обычным ханжеством. Я считаю, что никто не имеет права судить других. Я жила в ладу со своей совестью, лишь это имело для меня значение.

**С.** Но ведь вы с Грэмом католики. Как мысли о разводе сочетались с христианством?

1. Отсылка к названию культового фильма французского режиссера Этьена Шатийеза "Жизнь – длинная спокойная река" (1988).

**И.** По церковным законам, даже если бы мы оба развелись, наш союз никогда бы не признали. Мы были обречены жить "во грехе".

**С.** Я спросила о разводе — не о браке...

**И.** Думаю, многих мой ответ шокирует, и все-таки скажу: нас не волновало, что наша связь не укладывается в рамки христианской морали.

**С.** А что думал об этом более "воцерковленный" (по сравнению с тобой) католик Грэм? Ведь он ходил на службу каждое воскресенье?

**И.** Да, ходил, и это доказывает, что он не чувствовал себя отторгнутым Церковью и сообществом, к которому хотел принадлежать. Грэм не понимал, как, занимаясь любовью с женщиной — с ее согласия и даря ей наслаждение, — можно оскорбить Бога и почему это считают грехом. Так что в этом смысле совесть Грэма тоже была спокойна.

**С.** А если можно было бы прожить этот этап заново?

**И.** Ответ на твой вопрос дал сам Грэм, надписав снимок, сделанный в 1979 году в Братиславе: "Если бы я мог прожить жизнь заново, то сохранил бы в ней только одно — нашу встречу, наше знакомство, нашу любовь". В ответ я написала: "А если бы я могла вернуться назад, то я бы просто-напросто не стала этого делать, потому что такая любовь, как наша, — это дар Божий. Он бы не стал порицать нас, ведь тогда Ему пришлось бы осудить Себя Самого".

**С.** Значит, ни сожалений, ни раскаяния?

**И.** По большому счету — нет. Жизнь поворачивалась к нам только светлой стороной, у нас не было ни материальных трудностей, ни убивающих любовь привычек. Я искренне и глубоко сожалею только о том, что не поняла, как серьезно болен Грэм, и решилась все бросить и быть с ним рядом всего за год до его смерти.

## "Кто же вы, мистер Грин?"

**С.** Грэм Грин всегда охотно говорил о своих книгах, но стоило задать вопрос о его личной жизни — и дверь захлопывалась: эта тема всегда оставалась запретной. Кем же он был на самом деле?

**И.** Почти все интервью заканчивались вопросом: "Так кто же вы, мистер Грин?" Грэм отвечал коротко: "Я — это мои книги". Ждать объяснений было бессмысленно, и разочарованные журналисты уходили ни с чем.

Признаться, вначале я и сама не всегда понимала его, тем более что, говоря о себе (ты это тоже замечала!), он никогда не употреблял местоимения "я", даже если речь шла о самых безобидных вещах. Случалось, я не сразу понимала, что за безличным "кое-кто" (one) скрывается сам Грэм.

Я объяснила Грэму, что с трудом его понимаю, и он перестал так выражаться. Скрытность породила множество толкований его подлинной сущности.

Не стану утверждать, что знала Грэма "от и до", но давай попробуем рассеять завесу, за которой скрывается его загадочная и сложная личность.

**С.** Не боишься разрушить образ, который он сам хотел создать? Если хотел, конечно...

**И.** Грэм никогда не пытался создать некий образ, просто страшно не любил говорить о себе на публике, объясняя это так: "Если приходится рассуждать о себе, я надеваю маску".



Скрытность его легко понять, когда знаешь, насколько застенчив он был и как мало любил себя: "Внутри меня есть другой человек, и он на меня сердится" (этот афоризм сэра Томаса Брауна[1] Грэм использовал в качестве эпиграфа к роману "Человек внутри" [1929]). С другой стороны, он прекрасно сознавал все свои слабости и из деликатности и самолюбия старался не выдавать их окружающим.

**С.** Его нежелание появляться на телевидении (он согласился сняться всего один раз, две другие съемки произвели без его ведома в Советском Союзе) было связано с попыткой защитить свою частную жизнь?

**И.** Как-то я спросила Грэма об этом. Вот что он ответил: "Я отказываюсь участвовать [в телепередачах] по множеству причин. Во-первых, я считаю, что писатель — человек не публичный. Его творчество может быть известно — это даже желательно, — но сам он должен оставаться в тени.

Кроме того, телевидение — опасное оружие. Добившись успеха, вы становитесь востребованным, и тогда актер берет верх над литератором. Так случилось с Малкольмом Маггериджем[2] в Англии. Ну, а если успех не пришел... зачем 'светиться'?

Я с самого начала занял эту позицию по отношению к английскому телевидению, и было бы нечестно изменять ее сейчас. Те, кому я когда-то отказал, могут предъявить претензии". (Из "Красного дневника".)

Еще один довод Грэм привел однажды, когда мы обедали в кафе "У Феликса" в Антибском порту со стоматологом Жоржем Розанофф и его женой Моной. Доктор спросил: "Грэм, почему ты никогда не появляешься на телевидении? Из скромности?" А Грэм ответил: "Нет, из гордости".

Немного погодя я попросила его объяснить, что он имел в виду, и Грэм сказал: "Рекламировать книгу на телевидении — дело издателя. Не автора". (Из "Красного дневника".)

Грэм хотел наблюдать за людьми в их естественном состоянии, чтобы они не чувствовали, что за ними следит писатель. Мы часто обсуждали между собой и с друзьями эту профессиональную потребность оставаться "в тени".

Помню один обед "У Жермены" в гавани Вильфранш-сюр-Мер с Уной и Чарли Чаплинами, Максом и Джоан Рейнхардтами. Не успели мы устроиться за столиком, как налетели журналисты и принялись снимать Чарли. Они долго щелкали фотоаппаратами, а потом исчезли. Чарли спросил Грэма: "Почему все накидываются на меня, а не на вас?" "Так и должно быть, — ответил Грэм. — Вы — публичный человек, Чарли, а я — нет. И ни в коем случае не хочу им стать".

1. Томас Браун (1605—1682) — английский религиозный писатель-эссеист, врач по образованию.
2. Малкольм Маггеридж (1903—1990) — британский философ, сатирик и журналист.

Значит ли это, что у Грэма Грина было много больше тайн, чем у Чарли Чаплина? Сомневаюсь, но и не думаю, что Грэм, по определению почитавшего его французского писателя Жерара Гегана, был "великой посредственностью"...

Возможно, следует вдуматься в безобидную на первый взгляд фразу "Я – это мои книги", которая позволяла каждому судить о писателе по его героям. Ни в одном из них нет полного сходства с Грэмом, но в каждом так или иначе запечатлена его личность. Осознавал ли это он сам? Как-то раз я спросила: "Тебя часто идентифицируют с теми или иными героями твоих романов. Что ты сам об этом думаешь?" Ответ я записала в "Красный дневник": "Ни один из них на меня не похож, но в их характерах, чувствах, которые они испытывают, есть кое-что от меня. Иначе как бы я мог описать их? Вероятно, некоторые мои герои напоминают меня больше остальных – например, Дейнтри из 'Человеческого фактора'". (Дело было в 1978 году, "Человеческий фактор" только что вышел. Спрашивая, я имела в виду героев именно этого романа, хотя специально и не уточняла.)

Намного позже, перечитывая этот отрывок в моем дневнике, Грэм написал на полях: "Дейнтри? Странно, что я идентифицировал себя с ним, хоть он и жил в моей старой квартире на Сент-Джеймс-стрит. Думаю, я придал ему физический облик одного из тех, кого встречал в первые месяцы работы в Секретной службе. Кого-то, кто умеет охотиться, у кого нюх получше, чем у меня".

Нельзя, как это делает в своей трехтомной биографии Норман Шерри, валить в одну кучу жизнь Грэма и его творчество и уж тем более – искажать факты. Еще хуже "Грэм Грин, Человек внутри" Майкла Шелдена[1], непристойное и уродливо-комичное сочинение.

**С.** Что тебя так шокирует в этой работе?

**И.** Сама манера подачи материала, недвусмысленно демонстрирующая дурные, злобные намерения автора, его желание представить своего героя чудовищем. Все в этой так называемой биографии точно рассчитано и умело подогнано.

Например, Майкл Шелден утверждает, что Грэм Грин был гомосексуалистом. В качестве доказательства он приводит то обстоятельство, что Грэм повсюду возил с собой плюшевого мишку. По Шелдену, мишка – символ гомосексуальности...

На самом деле мишку подарил ему А. С. Фрир (которого Грэм называл Тоб). Так вот у Тоба был старый вытертый одноглазый медведь Тед, спасшийся вместе с хозяином с терпевшего бедствие корабля. Фрир считал, что спасся благодаря медведю, и не расставался со своим талисманом. Он верил, что плюшевый "мудрец" дает ему во сне отличные советы. Грэму нравилась эта красивая история, и он даже завидовал такой дружбе. Когда в январе 1963 года мы впервые навестили Фриров на Барбадосе, Грэма ждал великолепный подарок – маленький мишка с синей атласной лентой на шее.

1. Norman Sherry. The Life of Graham Green. – London: Jonathan.Cape, 1989. Michael Shelden. Graham Green, The Man Within. – London: Heinemann, 1994. См. об этом: Дэвид Лодж. Разные жизни Грэма Грина / ИЛ, 2001, № 12.

В письме, посланном 27 июля 1963 года из отеля "Националь" в Гаване, Грэм пишет мне о своем мишке: "Он смотрит в окно на улицу. Думаю, ему нравится Гавана".

Майкл Шелден сознательно искажает по-детски наивную историю, чтобы дискредитировать (поскольку считает гомосексуальность пороком – в отличие от Грэма Грина, у которого было много друзей-гомосексуалистов) замечательного человека, которому якобы хочет воздать должное[1].

В потоке гнусностей, которые я не стану здесь перечислять даже ради того, чтобы показать все их убожество и идиотизм, одна являет собой верх извращенности. Речь идет об интерпретации истории чудовищного убийства, совершенного 17 июня 1934 года в Брайтоне, известного как "Дело о брайтонском чемодане". Это преступление так и не было раскрыто, но там, где не преуспели самые опытные сыщики Скотленд-Ярда, Майклу Шелдену удалось найти – шестьдесят лет спустя – виновного. Убийцей он объявил Грэма Грина. Доказательства? Сон Грина. "Кто-то припомнил сон, в котором Грин боялся, что полиция арестует его за то, что он совершил убийство, и оставил тело в вокзальном туалете"[2].

По поводу вышедшей из-под пера Шелдена биографии, на мой взгляд, особенно точно выразился Мартин Стэннард. Его рецензия на книгу опубликована в "Нью-Йорк таймс бук ревью" от 2 июля 1995 года: "Несмотря на поправки и другие косметические ухищрения, 'Грэм Грин, Враг внутри'[3] остается актом преднамеренного недоброжелательства. Трудно убить труп, но Майкл Шелден старался из последних сил". "'Биографии', как признает сам господин Шелден, – условный жанр, но они не должны быть небылицами и измышлениями".

**С.** Однако факт остается фактом: многие терпеть не могли Грэма Грина. Что ты об этом скажешь?

**И.** Грэма можно было любить или ненавидеть, но равнодушным он не оставлял никого. Он прекрасно понимал, что некоторые коллеги по цеху терпеть его не могут, ведь в литературном мире царит беспощадность. Грэм знал своих врагов и вполне мог защитить себя, как в случае с Энтони Бёрджессом, когда от взаимного восхищения и дружбы они перешли к яростной полемике, которую вели на страницах газет.

Мог ли Грэм предвидеть, что, когда он умрет, на него обрушится такой поток ненависти и злобы? Вопрос вовсе не риторический. Примерно за месяц до смерти Грэм неожиданно спросил меня: "Помнишь мой рассказ 'Разрушители', опубликованный в 1954 году?" – "Конечно по-

1. Хочу уточнить, что Майкл Шелден посетил меня в Корсо, в Швейцарии, в августе 1991 года, по рекомендации Пэт Фрир – дочери поэта Эдгара Уоллеса и моей давней подруги. Мы провели вместе два часа, и все это время он говорил о неспособности Нормана Шерри написать биографию, достойную Грэма Грина. Я поняла, что "война боссов" объявлена и жертвой их борьбы за славу – и деньги – неизбежно станет умерший пять месяцев назад Грэм Грин. Впоследствии – несмотря на многочисленные письма и телефонные звонки – я решительно отказывалась от новых встреч с этим человеком. Утверждения Майкла Шелдена; что я участвовала в написании его книги, являются чистой воды ложью. (*Прим автора.*)

2. Речь идет об обвинении, предъявленном Грину Майклом Шелденом, в соучастии в зловещем и загадочном (и не раскрытом до сих пор) убийстве беременной женщины, расчлененный труп которой впоследствии обнаружили в двух чемоданах.

3. Так у автора рецензии.

мню, тем более что на 'Таймс телевижн' по нему была снята одна из серий 'Тени Грина'. Мы вместе с Хью[1] однажды присутствовали на съемках. Но почему ты спрашиваешь?" — "Я думаю, читатели не совсем поняли смысл рассказа, а история, по-моему, очень хорошая. Правда, времена меняются, и, кто знает, возможно, когда-нибудь к нему отнесутся по-другому, прочтут 'новыми' глазами. Я не доживу, но ты увидишь".

Тогда я не придала особого значения нашему разговору, но летом 1994 года, когда развернулась безобразная кампания, порочащая имя Грина, я перечитала рассказ.

"Разрушители" — история о пострадавшем от немецкой бомбежки доме в восточном предместье Лондона. Банда молодых хулиганов решает потехи ради разрушить жилище старика. На месте чудом уцелевшего во время войны дома теперь лишь груда камней, но хозяин остается в живых. Так старик, которого все зовут Старый Доходяга[2], а настоящее имя его Томас (то же, что дали Грину при крещении, когда он принял католичество), берет верх над "разрушителями". Странное совпадение, если вдуматься. Предчувствовал ли Грэм, что произойдет после его смерти? Я бы не удивилась. Но для меня эта история не столько о прошлом, сколько о будущем: Старый Доходяга, переживший своих "разрушителей", — не это ли лучший из реваншей?

## *Писательский труд*

**С.** Стиль произведений Грэма Грина кажется простым и прозрачным. Однако у всех, кто пытался проникнуть в тайну этого стиля, неизбежно возникал головоломный вопрос: как утекающий сквозь пальцы словесный песок становится типично гриновским? Как-то раз журнал "Нью стейтсмен" объявил конкурс на лучшую имитацию стиля Грэма Грина, и победил в нем... Грэм Грин. Затея доставила ему неописуемое удовольствие (и он неоднократно, до апреля 1980-го, повторял этот трюк). В следующем конкурсе второе место досталось человеку, хорошо знавшему Грэма, — его брату Хью[3].

За прозрачностью и простотой, как следует из ответов Ивонны, стоит упорная безостановочная работа. Грэм трудился, преодолевая множество подводных камней, сталкиваясь с повергающими в ужас сюрпризами. Ведь как только персонаж начинает жить — к радости автора — независимой жизнью, он неизбежно вступает в спор со своим создателем.

Откуда же в Грине эта "одержимость писательством"? Почему он писал?

**И.** Писать — было для Грэма жизненной необходимостью, и он это четко сознавал. "Порой я спрашиваю себя, — говорил он, — как переносят жизнь те, кто не пишет книг, не рисует картин, не сочиняет музыку.

1. Брат Грэма Хью (впоследствии сэр Хью Грин) — генеральный директор Би-би-си (1960–1969), был консультантом этого сериала.
2. Грэм Грин. Разрушители / Перевод А. Иванько // Грэм Грин. Избраные произведения в 2-х тт. Т. 1. С. 523—538. — М.: Худож. лит., 1986.
3. См.: С наилучшими пожеланиями. Письма к прессе, 1945—1989. (*Прим. автора.*)

Литературное творчество — тяжкий труд, но я чувствую себя в миллион раз более подавленным и беспокойным, когда не пишу". (Из "Красного дневника".)

Это непреодолимое желание писать, писать до конца дней, доставляло Грэму немало тревог: "Что я буду делать, если доведется слишком долго жить, утратив способность работать? — волновался он. И добавлял: — Мужчины всегда тяжело переносят пенсию. А для писателя пенсия — это смерть, ведь в этой профессии полагаешься только на себя самого, а не на обстоятельства"[1].



И он не сдавался — никогда не сидел сложа руки.

**С.** Вы часто откровенно говорили с Грэмом о работе?

**И.** Как правило, инициатором таких разговоров была я. Всю нашу совместную жизнь я пыталась понять сложнейший механизм литературного творчества, разгадать тайну писательского искусства. Но я так и не смогла разгадать, из чего складывались книги Грэма. Ведь даже сам он мало что мог рассказать о писательском гении, как я это называю. Грэму это определение не нравилось. Как-то прочитав статью, где была фраза о "гении Грина", он сказал: "Я не гений. Я — ремесленник, мои книги — плод долгой и тяжелой работы". (Из "Красного дневника".)

**С.** Вот снова "тяжелая работа"... В разговоре о Грэме без этого не обойтись?

**И.** "Создание книги, — говорил Грэм, — сродни вынашиванию ребенка, только роды в этом случае длятся дольше и причиняют больше страданий". (Из "Красного дневника".) Грэм в самом деле работал мучительно. Достаточно было взглянуть в конце дня на его бледное осунувшееся лицо и покрасневшие глаза, чтобы понять, как тяжело ему дается предельная концентрация на работе. Я никак не могла понять, почему он так устает, и однажды спросила: "Что же так тебя изматывает? В чем главная трудность? И что тебе кажется самым важным?" — "Все трудно, и все важно, — ответил он, — но труднее всего придумать героев, сделать их реальными, живыми. В самом начале персонаж — крошечная точка, в которую я так напряженно вглядываюсь, что через час или два глаза начинают слезиться и приходится прерывать работу. Потом точка начинает расти, приближаться, обретать форму... медленно... постепенно... В конце концов, если все получается, персонаж оживает и даже становится самостоятельным. У него свой собственный характер, своя, не зависящая от меня воля. Когда я обдумывал сцену в исповедальне между Кэслом и священником в романе 'Человеческий фактор', в голове у меня не было фразы: 'Священник нехотя повернулся к нему лицом, глаза его были налиты кровью. У Кэсла возникло впечатление, что он по злой игре случая напал на такую же жертву одиночества и молчания, как и он сам'[2]. Эта фраза меняет всю атмосферу сцены, и ее продиктовал мне сам Кэсл. Это хороший знак, доказывающий, что Кэсл — живой, чего не скажешь о Дэвисе, тот остается искусственным. Это чувствуется, и я это знаю. Лишь одна фраза вдыхает в него жизнь: 'Кэсл порадо-

1. Записано Ивонной Клоэтта. *(Прим. автора.)*
2. Здесь и далее "Человеческий фактор" цитируется в переводе Т. Кудрявцевой.

вался, что лицо Дэвиса было спокойно — значит, он не страдал. Кэсл застегнул пижаму на впалой груди. На куртке не хватало пуговицы'. Правда, в этой сцене бедняга уже умер. В общем, Дэвис 'ожил' только после смерти". (Из "Красного дневника".)

Грэм всегда был скрупулезно точен в деталях. Перечитав этот отрывок в моем дневнике, он приписал: "Когда я слежу за взглядом персонажа — я концентрируюсь не на самом герое, а на его движениях. Для повествовательной канвы не имеет значения, напишу я, что персонаж сел на диван или подошел к окну, но для меня самого важен малейший его жест"[1]. Это неотрывное следование за героями, как если бы Грэм снимал их на камеру, значительно облегчало экранизацию его романов, так считают и Кэрол Рид, и Питер Гленвилл[2].

**С.** Грэм уставал от работы, но была ли эта усталость приятной?

**И.** Не всегда. Это зависело от результата. Грэм слишком требовательно относился к себе и своему творчеству, поэтому даже некоторое удовлетворение от работы не могло компенсировать затраченных на нее усилий. Таков был его характер. Он никогда не был доволен собой. Вот что он написал об этом в моем дневнике: "Для писателя, как и для священника, успеха не существует. Я всегда думаю, что могу лучше, что должен — лучше". (Из "Красного дневника".)

**С.** Помимо недовольства собой — а у Грэма оно было неискоренимым — писатели нередко испытывают страх перед чистой страницей, да и "творческий кризис" может застигнуть врасплох...

**И.** Он часто говорил мне: самое страшное, что с чистым листом автор всегда остается один на один. Поэтому работа в команде казалась Грэму долгожданным отпуском. Он вспоминал, как легко было участвовать в театральной постановке его собственной пьесы "Возвращение А. Дж. Раффлса" (1975), когда с ним вместе работали режиссер и вся труппа.

**С.** У Грэма часто случались "творческие кризисы"?

**И.** Слишком часто, и это его ужасно угнетало. Например, работая над "Почетным консулом", он вдруг впал в ступор: не мог писать дальше. Книга была на две трети готова, а он всерьез думал о том, чтобы ее бросить. В отчаянии он сказал мне: "Теперь я понимаю, почему Хемингуэй пустил себе пулю в лоб. Иногда это единственный выход". (Из "Красного дневника".)

Следующие несколько дней он был мрачнее тучи. Помню, как он, сгорбившись, сидел в кресле — хмурый, напряженный, а потом вдруг выпрямился и произнес историческую фразу: "Back to the wall, Greene!" ("Ну же, последний рывок, Грин!") Выход из тупика Грэм нашел той же ночью, во сне...[3]

**С.** О каких сторонах "ремесла" он с тобой говорил?

**И.** Больше всего меня удивляло постоянное присутствие в его сознании вымышленных персонажей. Ведь с каждым из них Грэм поддер-

1. Этот разговор был записан в 1978 году, сразу после выхода "Человеческого фактора". (*Прим. автора.*)
2. Кэрол Рид (1906–1976) — английский режиссер; Питер Гленвилл (1913–1996) — режиссер "Комедиантов".
3. О своих снах Грэм написал книгу "Мой Собственный Мир". (*Прим. автора.*) См. Г. Грин. Мой Собственный Мир / ИЛ, 2003, № 12.

живал отношения. Он все принимал близко к сердцу, и со Скоби, Кэслом, Гэрри Лаймом Грэм жил в буквальном смысле этого слова. "Я провел гораздо больше времени с героями моих книг, чем с реальными людьми", — говорил он порой.



Как-то утром Грэм заглянул ко мне в комнату. Я заметила, что он очень взволнован. "Страшно подумать, — удрученно произнес он, — что мне придется три года прожить с человеком по имени Чарли Фортнум..." Больше он ничего не добавил и вернулся к своим делам. В то время Грэм только-только начал писать "Почетного консула". (Роман вышел в 1973 году.)

Несколько лет спустя на полях моего дневника он оставил комментарий к этой утренней реплике: "Сегодня это замечание меня удивляет, но, возможно, тогда я все еще помнил, как невыносимо было сожительствовать с Керри, ведь его пришлось терпеть до завершения 'Сезона дождей'. На самом деле я очень привязался к этому Чарли Фортнуму". (Из "Красного дневника".)

**С.** Грэм, сколько я могу судить, вряд ли часто "убегал" от реальности в мир своих книг, не думаю, чтобы это как-то отражалось на ваших отношениях. Или ему все же было свойственно уединяться со своими творениями в секретной писательской лаборатории?

**И.** К Чарли Фортнуму Грэм относился по-особенному. Что же до остальных героев, то неизменным было одно: работая над книгой, Грэм никогда ее не обсуждал.

**С.** Как ты думаешь, почему?

**И.** Грэм слишком хорошо понимал, как опасно вторгаться в подсознание — источник вдохновения. Механизм создания персонажей был хорошо отлаженным, но хрупким. Грэм не терпел вмешательства в свою работу. Книга принадлежала ему, и только ему.

**С.** Но, судя по твоему дневнику, вы часто обсуждали его работу. Пожалуй, творческий процесс занимал тебя больше всего.

**И.** На самом деле мы с Грэмом говорили обо всем — о том, что происходило в мире, о письмах, которые он получал... но в дневник я записывала лишь самые интересные наши беседы. Но, безусловно, создание художественных произведений мы обсуждали чаще всего, ведь тут для меня все было в диковинку, и я задавала множество вопросов о писательском ремесле.

Хорошо помню наш разговор на Капри[1] в июле 67-го, когда я впервые туда приехала. Мы ужинали в его любимом ресторане "У Джеммы". Я твердо решила "разговорить" Грэма, чтобы он наконец-то рассказал о себе самом не как о человеке, а как о писателе, и спросила:

— Как бы ты охарактеризовал свое литературное творчество?

— Ну, теоретическим или философским его не назовешь, ведь я всего лишь рассказываю истории: сначала придумываю героев, потом учу их говорить и заставляю рассказывать интересную историю. Среди моих предшественников назову Роберта Луиса Стивенсона, автора "Острова сокровищ", Конрада и, пожалуй, Генри Джеймса, которым восхи-

1. У Грэма на Капри была вилла, где он любил работать больше всего. Мы часто там бывали. (*Прим. автора.*)

щаюсь. Когда нет сил писать, перечитываю его, и вдохновение возвращается". (Из "Красного дневника".)

На полях Грэм добавил: "Стивенсон превратил 'сочинителя историй' в респектабельного литератора. Да и предшественниками Стивенсона – Энтони Хоупом, Стенли Уэйманом, Конан Дойлом и Хорнунгом (создателем образа взломщика Раффлса) – я восхищаюсь не меньше"[1].

В общем-то, на такие темы мы говорили очень редко. Чаще мы обсуждали техническую сторону творчества – навязчивые идеи, суеверия, предубеждения и прочие трудности, с которыми сталкиваются авторы.

**С.** Можешь привести примеры?

**И.** Сколько угодно. Грэм был очень суеверен и в жизни, и – как следствие – в литературе. Я поняла это, когда мы говорили о его ранних книгах. Первый его роман "Человек внутри" имел определенный успех – во всяком случае, критики отзывались о нем одобрительно, – но два следующих – "The Name of Action" (1930) и "Rumour at Nightfall" (1931)[2] – как ты знаешь, оказались провальными. Грэм очень тяжело переживал неудачу. И после долгих размышлений пришел к выводу, что всему виной недостаток опыта и – главное – начальная буква "С" в именах главных героев: Чант (Chant), Чейз (Chase) и Крейн (Crane). Грэм усмотрел в этом происки нечистой силы и решил отказаться от "про́клятой" буквы[3].

С этим страхом он справился лишь много лет спустя, после выхода в свет "Человеческого фактора" (1978), где главного героя зовут Кэсл (Castle).

Помимо имен героев Грэм придавал большое значение названию книги и эпиграфу. Выбрав то и другое, он уже представлял – в общих чертах, – каким будет новый роман.

Он всегда горько сожалел, что его американский издатель изменил название "Сила и слава" на "Извилистые пути", что, по его мнению, не соответствовало духу книги. Дело было в 1940-м, Грэму пришлось смириться с требованиями издателя. Но когда в 1974-м Монике Макколл, литературному агенту Грэма, сообщили из "Вайкинг пресс", что хотели бы изменить название "Путешествия с тетушкой" на "Моя тетя Августа", Грэм впал в ярость и отправил в Америку телеграмму следующего содержания: "Предпочту сменить издателя. Грэм Грин". Словами он не ограничился и, покинув "Вайкинг пресс", ушел в издательство "Саймон и Шустер" – чем невероятно смутил и расстроил Тома Гинзбурга, председателя правления "Вайкинга"[4].

Грэм часто принимал скоропалительные решения. Он был импульсивным по натуре, не утруждал себя раздумьями, действовал без промедлений, пусть даже потом придется об этом пожалеть.

**С.** А об уходе от Тома Гинзбурга он сожалел?

1. Энтони Хоуп (1863–1933), Стенли Уэйман (1855–1928) и Эрнст Хорнунг (1866–1921) – английские романисты.
2. Произведения "The Name of Action" (London: Heinemann, 1930) и "Rumour at Nightfall" (London: Heinemann, 1931) Грэм Грин исключил из списка своих книг. (*Прим. автора.*)
3. Грэм признался, что призрак ненавистного Картера в Беркемстеде все еще живет в его подсознании. (*Прим. автора.*)
4. Грэм вернулся в "Вайкинг пресс" в 1984 году – опубликовав там "Знакомство с генералом". (*Прим. автора.*)

**И.** Конечно. Осталось горькое чувство, ведь со всеми своими издателями он дружил и очень ими дорожил. Разрыв с Томом Грэм переживал очень тяжело, но именно этот случай доказывает, как важно для Грэма было название романа, как сильно оно было связано с текстом.



**С.** Ты говорила об эпиграфах — в твоем дневнике я отыскала короткую реплику Грэма на этот счет: "Эпиграф вкратце излагает сюжет книги". Что ты можешь сказать по этому поводу?

**И.** Расскажу, как появилась эта фраза. 7 октября 1978 года в журнале "Фигаро-магазин" Грэм прочел статью Энтони Бёрджесса, где, кроме прочего, говорилось: "Грин, на мой взгляд, лучший эпиграфист среди нас". Отношения между Грэмом и Бёрджессом в ту пору значительно ухудшились, и Грэм был немало удивлен и польщен. "Мне это приятно, и я готов согласиться с ним, — сказал он мне. — Я всегда питал живейший интерес к эпиграфам и придаю им огромное значение".

Но объяснить, как он подбирает эпиграфы, Грэм не мог: "Эпиграф, которым открывается 'Знакомство с генералом' (*Я иду вперед, но все время оказываюсь там, откуда пришел / Я хотел бы быть кормчим сумерек и сна*), таинственным образом взят из Теннисона. Помню, я никак не мог подобрать нужных слов, чтобы начать этот роман. Теннисона я не особенно люблю и редко его читаю. Но в тот раз мне случайно попался под руку сборник его стихов. Книга начиналась длинным незнакомым стихотворением, но я сразу же приметил строфу, идеально соответствующую моему пониманию Омара Торрихоса".

А вот еще: "Другая загадка — эпиграф, который мне приснился, из Гераклита Эфесского (500 г. до Р. Х.): 'У тех, кто бодрствует, общая вселенная, каждый спящий пребывает в собственном тайном мире'. Ума не приложу, где я его откопал?" (Из "Красного дневника".)

**С.** А как он сам оценивал свое творчество? Обсуждал ли свои произведения с другими людьми?

**И.** Да. Хотя Грэм не любил говорить о себе, он охотно отвечал на вопросы о работе и книгах, что могут подтвердить многие критики, бравшие у него интервью. Грэм был очень строг к себе, даже суров, но проницателен, объективен и непредвзят. Он принимал упреки, когда считал их справедливыми, но глупая и уж тем более основанная на предубеждении критика возмущала и угнетала его.

Однажды я спросила: "Какой же из своих романов ты любишь больше всего?" Он задумался. "Трудный вопрос, — ответил он. — В каждом романе что-то люблю больше, что-то меньше, но, если бы все-таки пришлось выбирать, я бы остановился на 'Почетном консуле'. Я люблю эту книгу за то, что ее герои меняются в соответствии с жизненным опытом, особенно Пларр и Фортнум. А добиться этого очень трудно". (Из "Красного дневника".) Разговор происходил в 1976 году, до выхода "Человеческого фактора", "Доктора Фишера из Женевы" (1980), "Монсеньора Кихота" (1983) и последнего художественного произведения "Капитан и враг".

Листая несколько лет спустя мой дневник, Грэм поспешил наверстать упущенное: "Много позже выхода этой книги родились другие романы: думаю, сегодня я выбрал бы 'Монсеньора Кихота'". Тогда Грэму исполнилось семьдесят восемь лет, и эта книга — о пользе сомнения — соответствовала его тогдашнему состоянию ума и духа: он назы-

вал себя католиком-агностиком. В те времена Грэм мечтал, что обновленный коммунизм "с человеческим лицом" каким-то образом сблизится с лучше "приспособившимся к жизни" католицизмом. Эта мечта воплотилась в дружбе мэра-коммуниста со священником – сюжет романа был очень связан с внутренней жизнью самого Грина. Вот какой путь проделал Грэм со дня публикации в 1961 году "Сезона дождей"; а ведь тогда он всерьез полагал, что это произведение завершит его писательскую карьеру!

## Реальность и вымысел

**С.** В предыдущих главах мы уже касались автобиографических аспектов творчества Грэма Грина, дававших пищу для кривотолков: для одних "творчество Грина – это слегка переработанная автобиография"[1]; другие приписывают его произведениям универсальный характер, позволяющий каждому читателю идентифицировать себя с тем или иным персонажем. Какая из позиций тебе ближе?

**И.** Конечно последняя. Для меня важны, во-первых, содержание книг Грэма, и, во-вторых, – его писательский метод. Ведь главные темы его произведений – жизнь и смерть, политика и религия, любовь и ненависть – так или иначе затрагивают каждого из нас. А метод его состоял в следующем: он никогда не считал, что как писатель исполняет некую миссию, никого не поучал. "Я не предсказатель и еще меньше – педагог", – часто говорил он. Книги Грэма ставят перед читателем фундаментальные вопросы, но при этом ничего не навязывают, позволяя каждому самостоятельно выбрать "лагерь". Читатель гриновских романов совершенно свободен: он может толковать написанное, как ему вздумается, может отождествить себя с тем или иным героем по собственному выбору. Все это замечательно иллюстрирует письмо одного американского читателя (перескажу его основное содержание): "Дорогой господин Грин! Большое спасибо за прекрасную литературу, за каждую страницу ваших книг, ставших для меня богатейшим источником размышлений и веселья, а также всего того, что я делал в перерывах между этими двумя занятиями. Больше всего я люблю 'Путешествия с тетушкой', эту книгу я прочел раз двадцать. Много лет она побуждала меня меняться к лучшему, как Генри Пуллинга. Еще раз спасибо вам за это". Грэм отдал мне это письмо 13 ноября 1990 года со словами: "Сохрани его и, когда будешь перечитывать, вспоминай, сколько радости оно мне доставило".

**С.** Как сам Грэм соотносил реальность и вымысел? Вы говорили с ним об этом?

**И.** Он все пропускал через себя. Мы часто говорили об этом, и я поняла, что пережитое должно было сначала опуститься в бессознательное – быть стертым (obliterated), – и лишь потом оно превращалось в не поддающийся опознанию плодотворный материал. Материал, в котором невозможно узнать не только "копию" реальности, но даже про-

1. Victor de Pange. Graham Greene. – Paris: Éditions Universitaires, 1952.

екцию личности автора на его героев. Как-то раз Грэм попытался мне объяснить, как протекает этот процесс: "Я обладаю способностью в следующую же секунду забывать секрет, который мне доверили. Думаю, из меня вышел бы хороший священник. Но эта способность забывать — бесценный дар для романиста, оружие против скудости воображения и мысли". Позже он прибавил: "Полагаю, то, что тонет в бессознательном, обогащается там и всплывает на поверхность в обновленном виде". (Из "Красного дневника".)



Как видишь, это полностью противоречит утверждениям, что творчество Грэма — не более чем отражение жизни. Грэм старался развенчивать подобные теории, о чем свидетельствует письмо-посвящение его другу А. С. Фриру, ставшее предисловием к роману "Комедианты" (1966):

Читатели часто, я знаю это по опыту, отождествляют "я" с автором. В свое время меня принимали за убийцу друга, за ревнивого любовника жены одного чиновника, за одержимого игрока в рулетку... И не только "я" в "Комедиантах" вымышленный характер: все его персонажи, начиная от таких эпизодических ролей, как британский поверенный в делах, и до главных героев, никогда не существовали в действительной жизни. Где-то позаимствованная внешняя характеристика, манера разговаривать, услышанная от кого-то забавная история — все это переварено в котле подсознания и вышло оттуда почти неузнаваемым для самого повара...[1]

**С.** Но ведь ты сама говорила, что Грэм все пропускал через себя?

**И.** Ответ на твой вопрос дал он сам в автобиографической повести "Часть жизни":

Если писатель изучил себя — и знание его опирается на реальность, а не на романтические представления, — то опыт его можно сравнить с источником энергии, из которого он должен черпать постоянно: один точно направленный вольт этой силы способен вдохнуть жизнь в героя...

Отсюда можно заключить, что придуманные персонажи вышли из его подсознания, что творчество основывается на методе интроспекции — упражнении, к которому Грэм прибегал с шестнадцати лет.

**С.** Однако в "Путях спасения"[2] Грэм говорит:

Главные герои романа должны быть в некотором родстве с автором, они выходят из его тела, как ребенок из матки, потом пуповину перерезают, и они обретают независимость. Чем больше автор знает о себе, тем дальше он может отойти от выдуманных им героев и тем больше у последних свободного пространства для развития...

Не противоречит ли это твоим доводам?

1. Грэм Грин. Комедианты / Перевод Е. Голышевой, Б. Изакова. — М.: Правда, 1986.
2. Грэм Грин. Пути спасения (фрагменты) / Перевод А. Бураковской // Грэм Грин. Путешествие без карты. — М.: Прогресс, 1989. С. 76—154.

**И.** Если внимательно и вдумчиво читать "В поисках героя"[1], становится ясно, что противоречия здесь нет: автор сомневается, ищет точное имя, идеально подходящее тому или иному персонажу. Потом наступает момент, когда предварительная работа окончена и "самолет взлетает". Грэм часто использовал этот образ, объясняя, что отпускает свои "создания" на волю.

**С.** Ты хочешь сказать, что они выходят из-под контроля "родителя"?

**И.** Не только выходят из-под контроля, но и навязывают собственную волю. По сути дела, автор становится заложником тех, кому подарил жизнь.

**С.** Что помогло тебе понять эти механизмы, откуда такая уверенность?

**И.** Мне объяснил это сам Грэм.

**С.** Как это было?

**И.** Разговор произошел 16 февраля 1988 года (я записала его в дневник). Мы были в квартире Грэма в Антибе. Не помню почему, но я спросила его: "Ты, как я понимаю, чаще действуешь инстинктивно, чем по зрелом размышлении. И как это влияет на творчество? Ты — в жизни и ты — в творчестве — это разные люди?"

"Думаю, мои человеческие особенности — основа всего моего творчества, — ответил он. — Писателями называют людей, которые выполняют совершенно разные функции. Назову три главных: историки — их творчество базируется на реальных фактах, теоретики — они дают интеллектуальную интерпретацию фактов, а потом строят теории, и наконец — писатели-фантазеры. Я принадлежу к последним..." Потом он добавил, продолжая наш прежний разговор о его отношениях с Керри, героем "Сезона дождей", и о вовлеченности автора в создаваемый им мир: "Единственный способ вдохнуть в них [героев] жизнь — вообразить, как они реагируют в той или иной ситуации. На этой стадии в игру вступают эмоции". Позволь мне снова процитировать ключевую фразу: "...В той ситуации, в тех условиях, в которые я помещаю своих героев, я должен сам испытывать определенные эмоции, испытывать по-настоящему". (Из "Красного дневника".)

В "Путях спасения" Грэм писал: "...сосуществовать с героем, чью горечь, ревность, нечестность перед самим собой, предательство он [писатель] впитывает каплю за каплей, приходится много лет, год за годом... вот почему жить с героями так тяжело".

Грэм замечал, что нечто подобное происходит и с другими "писателями-фантазерами". Например, о Флобере он писал: "Видно, как он сам становится госпожой Бовари, чувствуешь, как в нем поднимается разрушительная страсть его героини" ("Пути спасения").

**С.** Флобер ведь так и сказал: "Госпожа Бовари — это я..." А Грэм? В своем безудержном стремлении влезть в чужую шкуру, но остаться при этом самим собой, заходил ли он так же далеко, как Флобер?

**И.** Это творческий парадокс. Разобрать на части сложнейший процесс создания литературного произведения невозможно, как невозмож-

1. Грэм Грин. В поисках героя / Перевод Д. Сильвестрова // Грэм Грин. Путешествие без карты. — М.: Прогресс, 1989. С. 284–341.

но постичь великую тайну. Единственное, что могу сказать: у Грэма нет ни одного героя, в котором я узнала бы человека, которого понимала и любила.

**С.** А как насчет сходства между героинями Грэма и тобой? Как в этом случае вымысел соотносится с реальностью?



**И.** С уверенностью могу сослаться лишь на замечание Брауна, главного героя "Комедиантов", о его любовнице Марте: "... я оценил ее прямоту. Она не играла никакой роли. Она точно ответила на мой вопрос. Она никогда не притворялась, будто ей нравится то, что ей не нравилось, или что она любит то, к чему равнодушна. Если я ее не понял, то лишь потому, что неправильно задавал ей вопросы".

Этот "женский портрет", вернее эскиз к портрету, показался мне невероятно знакомым, несмотря на измененный фон. И я спросила у Грэма, с кого он списал эту женщину. Он ничего не ответил, просто улыбнулся – и все. Но улыбка говорила о многом... Был еще один случай, когда вымысел и реальность слились воедино, и я полностью отождествила себя с одной из героинь Грэма. Дочитывая "Человеческий фактор", я захлебывалась слезами. В конце два любящих существа – Кэсл и его жена Сара – разлучаются навсегда... и осознают они это в ту секунду, когда их телефонный разговор безжалостно прерывают. Грэм увидел, как я расстроилась, и сказал: "Не беспокойся, дорогая, с нами такого не случится. Мы умрем вместе... погибнем в авиакатастрофе, например".

**С.** Но как же Грэм, который был так счастлив с тобой в реальной жизни, мог придумать подобное несчастье, пусть даже в романе?

**И.** Это очень хороший пример того, как четко Грэм отделял реальность от вымысла. По его собственному признанию, он так и не сумел сочинить роман с живыми героями.

**С.** Почему? Как ты думаешь?

**И.** Грэм говорил, что люди не способны узнать друг друга полностью. У каждого человека есть свой "тайный сад", проникнуть в который невозможно по определению. Превратить в литературного героя живого человека, можно только искалечив его, обеднив, сделав бесцветным, неубедительным. По его мнению (каким бы парадоксальным оно ни казалось), единственный способ вдохнуть жизнь в героев – это создать их из отдельных частей, мысленно наделяя их инстинктами – хорошими и плохими, – скрытыми в глубине каждого из нас.

**С.** Значит, ни в одной из книг Грэма нет реальных прототипов?

**И.** Почему же, такие персонажи у него есть. Например, главным героем романа "Знакомство с генералом" должен был стать Омар Торрихос, выдающийся панамский деятель 1970–1980-х годов. Харизматичный генерал произвел неизгладимое впечатление на Грэма с первой же их встречи в 1974 году. Но потом он познакомился с Хосе Хесусом Мартинесом – тот командовал личной гвардией Торрихоса и сопровождал Грина в поездках по Панаме, – и его образ отодвинул образ генерала на второй план. "Эта книга – ошибка, – сказал мне раздосадованный Грэм и добавил: – Никогда, никогда больше не возьмусь за что-нибудь подобное..."

**С.** В таком случае, можно ли сказать, что все его́ романы – чистый вымысел, плод его воображения?

**И.** Безусловно нет. Мы говорили с тобой только о литературных героях. Они – действующие лица трагикомедии, коей является жизнь, реальная жизнь – во всяком случае, такой она представлялась Грэму.

**С.** Ты не согласна с тем, что его видение мира столь индивидуально, столь "по-гриновски" неповторимо, что его творчество не без причин называют "Гринландией"?

**И.** Грэм отвечал на это так: "Те, кто говорит о 'Гринландии', смотрят на мир, закрыв глаза". Его очень раздражало, когда под сомнение ставилась достоверность его свидетельств о событиях и фактах, которые он наблюдал непосредственно. Писательская фантазия Грэма была безудержной, но он всегда был скрупулезно точен в том, что касалось деталей фона, окружающей среды, а также его репортажей о войне – например, в Индокитае. В "Тихом американце" (1955) или "Комедиантах" не отыскать ни одной ошибки или неточности.

**С.** А вы говорили с Грэмом о его таланте рассказчика, признаваемом даже недоброжелателями?

**И.** Грэм был слишком скромен, чтобы это обсуждать, но похвалы принимал и соглашался, что он не только просто сочинитель историй, но и "довольно хороший писатель. Лучше многих других". Он ведь сам тебе это говорил.

О своем понимании искусства повествования он заговорил со мной незадолго до смерти и совершенно неожиданно. Однажды он пришел ко мне в комнату с томиком "Писем Эзры Паунда"[1]. Он не расставался с этой книгой до конца своих дней. Открыл ее и прочел мне отрывок из письма Паунда к Харриет Монро, датированного январем 1915 года: "Язык состоит из слов, обозначающих конкретные предметы. А общие слова, неконкретные термины – это леность, пустая болтовня. В них нет ни искусства, ни творчества. Общие слова представляют собой воздействие предметов *на* писателя, а не акт творения *самого* писателя". (Курсив – *И. К.*)

"Вот фраза, – сказал он, – которую я хотел бы написать, потому что она совершенно точно выражает мой взгляд на искусство повествования".

## "Говорить от имени жертв"

Взгляды Грэма Грина на права человека хорошо известны и самым недвусмысленным образом выражены и в его обращениях к прессе, и в статьях в журналах, выступлениях на конференциях. Позицию Грина один критик назвал "отчаянным и неизменным состраданием к вечной человеческой жертве"[2].

Изумляет в нем не только бесконечное участие к другим людям, но и способность переходить от желания помочь к решительным действиям. Грин никогда не ограничивался пустыми речами на конгрессах и форумах и формальным выражением симпатий. "Речи, – говорил он, – зача-

1. The Letters of Ezra Pound, 1907–1941. – London: Faber and Faber, 1950.
2. Vernon Young. The political Graham Greene speaks his mind. – The Philadelphia Enquirer, 29.05.1983. (*Прим. автора.*)

стую способ избежать действия, вместо того чтобы ему предшествовать". Потребность вникать в беды людей, не важно — живущих ли в других странах или рядом с ним, была для него естественной потому, что проистекала из живейшего интереса к правам личности и правам человека. Последние Грин защищал во времена теологии освобождения[1], в эпоху перестройки или "бархатной революции" в Праге... Умение сопереживать проявилось и в первом, дублинском, репортаже 1923 года, и в романе "Тихий американец", который, по словам Глории Эмерсон (писательницы и репортера вьетнамской войны), "отражал полную решимость Грэма помогать вьетнамцам".



В его последнем романе "Капитан и враг" одновременно присутствуют как "фактор человеческий", так и фактор политический. Грин был настолько последователен,что, если ради убеждений приходилось рисковать жизнью, он не задумываясь шел на это. Его памфлет "Я обвиняю"[2] не только разоблачал де-факто царившую на Лазурном берегу коррупцию, но и, по признанию самого Грина, должен был помочь некоторым друзьям справиться с "драматическими событиями", "невольными" участниками которых они стали. Памфлет запретили под предлогом вмешательства в частную жизнь, а Грину и его друзьям много лет угрожали организованные преступные группировки Ниццы.

Он легко проникался состраданием к людям. "С точки зрения географии и политики, — объяснял он в 1985 году, — жертвы это не всегда одни и те же люди. Писатели выражают сочувствие узникам ГУЛАГа, обличают политику США в Центральной Америке, защищают жертв Амина Дада в Африке... Но я думаю не только о жертвах политических режимов, писатель должен сочувствовать и рядовым гражданам, людям из своего ближайшего окружения. И все же, когда человеку, как в моем случае, приходится много путешествовать, он не может не интересоваться политической жизнью разных стран, поэтому политика и всплывает на поверхность. Свою первую книгу о Латинской Америке я назвал 'Сила и слава', ее героями стали жертвы того времени — мексиканские католики. Их судьба вызвала у меня сочувствие, и я написал роман... Однако повторюсь: я отстаиваю права людей не только в глобальном смысле, но и предельно конкретно: права нищего, который просит милостыню на углу улицы, права обманутой женщины, права человека, которого предали..."

**С.** Как ты объясняешь его дар сопереживания?

**И.** В детстве он претерпел немало унижений и всю жизнь активно боролся за попранное человеческое достоинство. Это общепризнанно.

Не случайно его так часто приглашали участвовать в круглых столах, когда обсуждались мир и права человека. В апреле 1981-го он получил Иерусалимскую премию мира. В феврале 1987-го был в Москве. В 1985-м — на коллоквиуме, посвященном десятилетию подписания Хельсинкского договора.

1. Реформационное направление в латиноамериканской богословской мысли (вышедшее затем за региональные рамки Латинской Америки), провозгласившее необходимость пересмотра места и роли религии (первоначально католичества) в современном мире, ее переориентации на реализацию целей тотальной эмансипации человека через преобразование его исторически сложившихся социально-политических практик.

2. Памфлет опубликован на английском и французском языках издательством "The Bodley Head" в Лондоне, в 1982 году. (*Прим. автора.*)

Мне приходят на ум два примера, особенно хорошо иллюстрирующие то, о чем мы говорим, потому что речь идет о коллективном мнении, о коллективной позиции, а Грэм в большинстве случаев высказывал лишь собственное мнение.

В 1968 году, когда в Чехословакию вторглись войска стран-участниц Варшавского договора, Грэм присоединился к подписантам Хартии-77. А в 1970-м ушел из Академии и института искусств и литературы США в знак протеста против того, что он называл "необъявленной вьетнамской войной". Одновременно он присоединился к Комитету 272-х[1].

**С.** Почему ты привела именно эти примеры?

**И.** Прежде всего потому, что они имели наибольший резонанс, к тому же — и это для меня главное — они показывают, что Грэм умел абстрагироваться от собственных политических взглядов, когда требовалось сражаться с несправедливостью. В первом случае, в 1968-м году, симпатии Грэма как человека левых убеждений были, естественно, на стороне СССР. Однако защита подвергшихся агрессии чехов заставила его изменить позицию. (Кстати сказать, Вацлав Гавел не забыл, как повел себя Грэм в то непростое время, и они оставались друзьями до самой его смерти. Помню, незадолго до конца Грэм сожалел о двух вещах: о том, что никогда больше не увидит Кубу, и о том, что не сможет поехать в Прагу и поздравить Гавела.)

**С.** Чем руководствовался Грэм, когда принимал ту или иную позицию по отношению к происходящему?

**И.** Чаще всего — негодованием. Если его что-либо возмущало, то он протестовал сразу же, инстинктивно. Я бы назвала это своего рода аллергией. Грэм признавался: "Этот гнев — следствие того, что я видел во Вьетнаме, на Таити, в Мексике, всего того, что заставило меня написать 'Тихого американца', 'Комедиантов', 'Дороги беззакония'. Люди, с которыми я говорил, мои собственные наблюдения, а не абстрактные принципы или факты, о которых мне кто-то рассказал, и побудили меня писать, мне нужно было рассказать обо всем, что я видел и слышал".

Для него главным было говорить от имени жертв. Он срывался с жесткого поводка собственных политических взглядов и объяснял это так: "Писатель должен быть готов в мгновение ока изменить свои убеждения. Он говорит от имени жертв, а жертвами становятся самые разные люди"[2].

**С.** Грэм когда-нибудь приходил в ярость в подобных ситуациях? Или протестовал "с холодной головой"?

**И.** Если Грэма возмущала какая-нибудь публикация в газете или журнале, он диктовал секретарше письмо, в котором выражал свое несогласие. Такие решительные действия были, в некотором смысле, противоядием гневу.

Сама понимаешь, сколько врагов в результате нажил Грэм, но он плевать хотел на это: никто и ничто не могло помешать ему высказать свое мнение.

1. Ивонна уточняет: "Комитет 272-х подписал письмо протеста против американского вторжения во Вьетнам. Грэм написал его текст и был инициатором сбора подписей. После смерти Грэма, по словам Ивонны, "текст был использован крайне неудачно".
2. Из речи Грэма Грина на вручении премии Шекспира в Университете Гамбурга 6 июня 1969 года / Le Magazine littéraire, № 142.

Конечно, он не всегда бросался с места в карьер. Все зависело от характера и масштаба проблемы. Главными проблемами Грэм считал Вьетнам (об этом мы уже говорили), Гаити, Панаму и Никарагуа, многие страны Южной Африки, где изучил ситуацию на месте. Он тщательно готовился к поездкам. Грэм всегда заранее планировал "место высадки" и договаривался с определенным "контактером" — так он это называл. Во Вьетнаме с ним работал Тревор Уилсон, на Гаити — Бернар Дидерих[1], в Панаме в 1974 году — Хосе Хесус Мартинес, в Южной Африке — Этьен Леру. Все они были очень близкими его друзьями. Они составляли подробный доклад о ситуации в стране и повсюду сопровождали Грэма.

**С.** На твой взгляд, какая из "войн" далась ему особенно тяжело?

**И.** Грэма больше всего затрагивали проблемы Гаити. Остров и его жителей Грэм полюбил еще в 1954 году и пронес это чувство через всю свою жизнь. Одну из последних радостей доставили ему известия, пришедшие именно с Гаити: кровавая диктатура отца и сына Дювалье[2], правивших страной почти тридцать лет — с 1957-го по 1986 год, — пала, состоялись демократические выборы, и президентом стал священник Жан-Бертран Аристид.

К бурной радости примешивалось огорчение: Грэм не мог принять участие в церемонии инаугурации Аристида, потому что лежал в больнице. Он поручил мне отправить новому президенту телеграмму следующего содержания: "Сожалею, что из-за болезни не имею возможности принять Ваше приглашение. Ваше избрание для меня — великая радость и огромное облегчение. Примите мои самые искренние поздравления Вам лично и всему народу Гаити. Г. Г.".

**С.** В чем причина столь долгой и глубокой привязанности Грэма к острову, о котором в Европе мало что знают?

**И.** Именно безразличие мира к нуждающимся в помощи было для него дополнительным стимулом действовать, разоблачать злодеяния, касающиеся всех живущих на земле людей. После выхода "Комедиантов" гаитяне выразили ему свою признательность: "Грэм Грин осветил мрак Гаити". В те времена ходила такая трогательная шутка: "Теперь [после 'Комедиантов'] никто не спутает Гаити с Таити".

**С.** Можно ли сказать, что Грэм вмешивался в жизнь тех стран, в которых побывал, и людей, с которыми был знаком?

**И.** Не думаю. Спонтанно возникшая симпатия к гаитянам безусловно повлияла на активную позицию Грэма, но он мог с тем же пылом и упорством бороться за права незнакомого человека. Его скромная квартира в Антибе была штабом, куда стекались сведения обо всех событиях и происшествиях, требовавших вмешательства или участия.

**С.** Можешь привести какие-нибудь примеры?

1. Сотрудник журнала "Тайм".
2. См. предисловие Грэма Грина к книге Бернара Дидериха и Эла Бёрта "Папа Док" (Bernard Diederich, Al Burt. Papa Doc. — London: The Bodley Head, 1970): "Никто лучше Бернара Дидериха не расскажет страшную историю Гаити, острова, где царит и правит Доктор Дювалье... Он не только наблюдал за становлением режима, но и помнит наместничество Маглуара, олицетворявшее добрые старые времена. Бернар женился на гаитянке, был арестован и выслан Папой Доком и обосновался по другую сторону границы, в Санто-Доминго, где и устроил свой наблюдательный пункт". (*Прим. автора.*)

**И.** Расскажу о двух похищениях людей, случившихся в Сальвадоре в 1980 году. О первом сообщил по телефону Габриэль Гарсия Маркес (он так волновался, что Грэм не сразу узнал его). Сальвадорские повстанцы похитили двух сотрудников Лондонского банка. Первым делом Грэм связался с дирекцией банка, чтобы получить необходимые сведения об этих людях: имена, фамилии, задание, которое они должны были выполнить в Сальвадоре, и — по возможности — место преступления.

Начались долгие переговоры об условиях, выдвинутых повстанцами (размер выкупа за заложников), Грэм все время разговаривал по телефону с Хосе Хесусом Мартинесом, который координировал действия и переводил переговоры с захватчиками. В конце концов стороны договорились, англичан освободили, и мы отпраздновали счастливое разрешение трагического происшествия.

Несколько недель спустя Омар Торрихос прислал в Антиб молодого панамца с секретным посланием. На сей раз сальвадорские мятежники захватили южноафриканского посла. Сопротивление режиму усиливалось, в стране было много повстанческих группировок — герильерос, с отдельными руководителями которых Грэм с помощью того же Мартинеса встретился в Никарагуа (он рассказывал мне о некоем Гаэтано — его схватили и пытали подручные Хосе Дуарте, новоизбранного президента Республики Сальвадор).

Необходимо было выяснить, какая группировка ответственна за похищение. Хосе Хесус должен был осуществлять розыск на месте и пытаться войти в контакт с герильерос. Чтобы освободить посла, потребовалось немало времени и сил, но все получилось. Грэм выступал в роли теневого, но весьма эффективного "переговорщика"...

**С.** Тебе не кажется, что там, где человеческая жизнь ничего не стоит, Грэмом и его писательской известностью пользовались в пропагандистских целях?

**И.** Конечно. Но жизнь человека имела для него огромную ценность — независимо от происхождения и цвета кожи. Защита прав человека была для Грэма делом принципа, от которого он ни за что не отступился бы, и свою известность он сам пускал в ход "на полную катушку".

Определенные люди и в самом деле использовали Грэма в пропагандистских целях, и он это понимал, но говорил: "Если мною пользуются в интересах дела, в которое я верю, то мне это совершенно безразлично". Когда Грэм приехал на Кубу в последний раз, в 1983 году, Фидель Кастро спросил: "Итак, Грэм, какое послание Вы мне привезли?" И он ответил: "Никакого. Я и есть послание!"

**С.** Активное участие Грэма в политической жизни как-то влияло на вашу частную жизнь?

**И.** Он всегда с огромным воодушевлением говорил мне об СССР, о национальных республиках, которые с юных лет неодолимо влекли его к себе. Как только Грэм стал финансово независимым, он поехал в Советский Союз, побывал там несколько раз, у него появились друзья, особенно среди интеллигенции. В начале нашего знакомства он пообещал ввести меня однажды в этот незнакомый мне мир. Но я и предположить не могла, что на осуществление плана уйдет больше двадцати лет...

**С.** Почему пришлось ждать так долго?

**И.** Сначала мы не могли поехать из-за событий, которые едва не привели к полному разрыву отношений Грэма с его советскими друзьями. В 1964 году, когда начался процесс над писателями-диссидентами Юрием Даниэлем и Андреем Синявским и их приговорили соответственно к пяти и семи годам лагерей за публикацию на Западе некоторых их произведений, Грэм попросил, чтобы его авторские гонорары, копившиеся за "железным занавесом", были перечислены их женам.

Однако первый секретарь Союза писателей решительно и безоговорочно отказался передавать гонорары женам диссидентов. Грэм был потрясен и немедленно запретил публиковать свои произведения в СССР.

Ситуация стала тупиковой, и возобновления отношений не предвиделось. Но в начале восьмидесятых в стране повеял ветер перемен. В 1981-м Грэма снова пригласили приехать в страну. Грэм уже готов был согласиться, но в апреле 1981-го ему присудили Иерусалимскую премию мира, и мы отправились в Израиль. Власти устроили Грэму торжественный прием, население встретило его исключительно тепло[1]. Когда наше пребывание на Святой земле подходило к концу, мэр Иерусалима Тедди Коллек передал Грэму просьбу жены диссидента Анатолия Щаранского о встрече. Грэм согласился, и мы узнали печальную историю этой достойной женщины: за три года до нашей встречи, в июле 1978 года, ее мужа арестовали, причем на следующий же день после свадьбы. Его посадили в тюрьму, а ей разрешили выехать на родину, в Израиль. С тех пор она бьется за пересмотр дела и пытается ускорить освобождение мужа. Грэм был растроган до слез. Он внимательно выслушал Щаранскую и сказал: "К несчастью, я мало что могу для вас сделать, поскольку дело ведется в СССР. Но я окажу вам моральную поддержку, не только отказавшись от намеченной поездки в Союз, но и объяснив причины своего отказа. Я обязательно упомяну нашу сегодняшнюю встречу и все то, что вы мне рассказали".

Как только мы вернулись во Францию, Грэм попытался выполнить данное обещание. Увы — безрезультатно. Анатолий Щаранский был освобожден только в феврале 1986 года. Тогда Грэм снова отложил поездку в СССР по принципиальным соображениям.

Летом 1986 года Грэм снова получил официальное приглашение посетить СССР, подписанное новым первым секретарем Союза писателей. Он дал согласие и попросил меня поехать с ним.

Так в сентябре 1986 года исполнилось то, во что я уже перестала верить, и, должна признаться, реальность превзошла все мои ожидания.

Казалось, былые разногласия и размолвки забыты. В эйфории "встреч после долгой разлуки" Грэм пообещал принять участие в круглом столе за мир. Но за этот "мир" (как стало ясно позднее) пришлось бы заплатить слишком дорого. Произошла очередная — уже не знаю, какая по счету, — заминка: 15 декабря 1986 года газета "Таймс" опубликовала статью об ужасной судьбе православного диссидента Александра Огородникова. Огородникову удалось переправить матери письмо, в котором он рассказал, что за семь лет заключения держал голодовку шестьсот пятьдесят девять дней,

1. В 30-е годы Грин не избежал влияния антисемитского движения, широко распространенного тогда в Великобритании. Это отчетливо видно в романе "Брайтонский леденец". (*Прим. автора.*)

требуя, чтобы ему вернули сначала Библию, а потом крестильный крест. В карцере этот человек провел четыреста одиннадцать дней...

Грэм был взбешен и 17 декабря 1986 года написал в Москву Генриху Боровику, тогдашнему секретарю правления Союза советских писателей: "Сожалею, но публикация в газете 'Таймс' за 15 декабря делает невозможным мое участие в круглом столе. Я стал бы протестовать против того, как обращаются с Александром Огородниковым, даже если бы считал себя не слишком усердным верующим.

Тем не менее уважение и восхищение господином Горбачевым — который, я уверен, ничего не знает об этой истории! — заставляют меня воздерживаться от публичных выражений протеста; кроме того, я не хочу огорчать моих многочисленных советских друзей"[1].

Ответная реакция не заставила себя долго ждать: Боровик пообещал связаться с компетентными органами и заняться делом Огородникова. Через несколько дней Грэм получил заверения, что религиозного диссидента освободили. Только тогда, в феврале 1987-го, он счел возможным отправиться в СССР на московский коллоквиум.

**С.** Многие открыто называли Грэма "верным спутником" Советов. Проявлял ли он особую щепетильность, когда речь шла о правах человека в этой стране?

**И.** Да. Ведь он считал, что если бесчинствуют его друзья, то он непременно должен вмешаться, и был склонен строже судить нарушения правовых норм в любимой им стране, чем в других. В письме, опубликованном в "Таймс" 4 сентября 1967 года, Грэм выразился как нельзя более ясно: "Чем бóльшую симпатию испытываешь к стране, тем активнее борешься с творящимися там беззакониями..."

1. Грэм попросил меня отпечатать это письмо на машинке, и я сохранила копию. (*Прим. автора.*)

**С.** Как ты думаешь, Грэм написал эссе "Я обвиняю!", исходя из собственных убеждений, или его вынудили обстоятельства?

**И.** Сразу хочу уточнить: появление "Я обвиняю!" не связано с политическими взглядами Грэма. Просто он считал, что раз уж ему довелось стать свидетелем семейной драмы, то он не имеет права молчать. А ведь ему много раз звонили по телефону и угрожали убийством. Один такой звонок — под Рождество 1980 года — мне запомнился особенно хорошо, незнакомый голос поинтересовался, готов ли Грэм "принять у себя трех членов Красных бригад[1]". Помнишь, какими словами Грэма завершается книга "Грэм Грин, Другой и его двойник": "Старость писателя бывает весьма странной. Порой автор повторяет судьбу своих героев: Ивлин Во насмехался над 'гром-боксом Эпторпа'[2] — и умер в уборной. Золя скончался от отравления ядовитым газом, как шахтеры из его романа 'Жерминаль', а я в семьдесят шесть лет вступил в схватку с 'преступным миром' Ниццы, но надеюсь взять верх над Пинки"[3].

Говоря о памфлете "Я обвиняю!", думаю, важно отметить следующее: во-первых, Грэм был очевидцем всех этих событий и прекрасно сознавал, какому риску подвергается. Кто читал памфлет, наверняка помнят слова: "Верховный суд, конечно, существует, и мы ему полностью доверяем, но пробиться в этот суд нам мешают те же преступные группировки, которые еще на уровне местных властей запутали все, что могли, лишь бы не дать делу ход..."

В конце концов мы взяли верх над Пинки, и правосудие свершилось. Но Грэм был так расстроен тем, какой оборот принимало дело, что решил вернуть правительству свой орден Почетного легиона, дабы "иметь полное право говорить от имени жертв"[4]. Копию письма Грэм отослал тогдашнему министру юстиции Алену Пейрефиту, подробно объяснив причину отказа (орден, конечно, не взяли назад). Грэм считал, что во Франции правосудие плохо функционирует. Пейрефит сразу же принял меры: на Лазурный берег был отправлен чиновник по особым поручениям. Результаты расследования не оглашались, но оно возымело положительные последствия.

**С.** Выручая людей из беды, Грэм всегда боролся во имя справедливости, или ему случалось помогать другим просто так, без "высокоморального" повода?

**И.** Конечно случалось. Грэм порой казался сдержанным, даже безучастным, но на самом деле он был очень великодушным человеком. Расскажу тебе один забавный и весьма показательный случай: как-то на пороге его дома появилось двое бедолаг (возможно, это было в Антибе, точно не помню). Они путешествовали автостопом, остались без гроша, и им было негде переночевать. Хочешь верь, хочешь нет — но они показались ему такими несчастными, что он пустил их переночевать в своей небольшой квартирке!

1. Красные бригады — подпольная итальянская коммунистическая организация, действовавшая террористическими методами.
2. "Гром-бокс" — переносной туалет (автономный химический клозет фирмы "Коннолли"), который Эпторп — герой трилогии Ивлина Во "Офицеры и джентльмены" — всегда возил с собой.
3. Главный герой "Брайтонского леденца", олицетворение абсолютного зла.
4. Письмо, адресованное Великому магистру ордена Почетного легиона. — Yours, etc., Letters to the Press 1945—1989. — London: Reinhardt Books, 1989.

Кроме того, Грэм никогда ничего не ждал взамен. И меньше всего, конечно, от нищих, которых встречал на улице или у церкви. Но как-то в воскресенье — дело было в Антибе — он вернулся после службы мрачнее тучи. "Что случилось?" — спросила я. "Думаю, я убил человека... — похоронным тоном ответил Грэм. — Помнишь того нищего с паперти? Того, которому я иногда отдаю мелочь... Так вот, сегодня его там не было". — "И что же?" — "В прошлое воскресенье — не знаю, что на меня нашло? — я дал ему пятьсот франков. Полагаю, это его прикончило!" — уже со смехом закончил Грэм.

Он был очень щедр — во всем, в том числе не жалел и своего времени, Грэм помог бы худшему из бандитов, если бы решил, что права того нарушаются. Например, он испытывал симпатию к знаменитому гангстеру Жаку Месрину и очень огорчился, узнав обстоятельства его гибели[1]. Одним словом, Грэм помогал другим без оглядки, сражался с несправедливостью и обличал власть денег. Об этом он и написал повесть "Доктор Фишер из Женевы, или Ужин с бомбой".

**С.** Выходит, в этой книге затронуты те же проблемы, с которыми вы с Грэмом столкнулись и в реальной жизни: деньги и коррупция. Не списал ли Грэм героя повести с какого-нибудь конкретного человека?

**И.** Я задавала ему этот вопрос, но Грэм ответил, что нет. Сегодня это кажется странным, но тема денег прозвучала только в "Докторе Фишере" и больше нигде — ни в одной другой его книге.

**С.** А разве в романе "Капитан и враг" о деньгах не говорится?

**И.** Анна-Луиза, конечно, сталкивается с финансовыми проблемами и строит козни, чтобы Капитан помог ей воспитывать малыша Джима, но это не главная сюжетная линия романа. Темы двух названных книг диаметрально противоположны: в первой — деньги содействуют коррупции, во второй — помогают любви...

**С.** А с беспомощностью, вызванной отсутствием денег, Грэм тоже боролся?

**И.** Нет, никогда. Вот нуждающимся Грэм помогал. Он записал в "Красном дневнике": "Я бы не хотел быть богатым человеком. Я должен работать, чтобы содержать семью, и мне это нравится". Конечно, Грэм не бедствовал, однако гонорары предпочел получать месячными выплатами, чтобы состояние досталось окружавшим его людям, а не потомкам. Так к концу жизни Грэм избавился от забот по управлению капиталом и даже не знал, сколько у него на черный день. Когда понадобилось нанять сиделок в Шано, он очень беспокоился, хватит ли у него на это денег, что может показаться нелепым, учитывая, кем он был... Грэм даже связался со своим управляющим, месье Пашу. До сих пор помню их разговор: "Ради бога, назовите мне общую сумму моего состояния". Жан-Феликс ответил, и реакция Грэма была по-детски непосредственной и бурной: "Да вы шутите, Жан-Феликс!" Понимаешь, он чувствовал вину перед семьей за то, что скопил недостаточно!

**С.** Видимо, потому, что главной заботой Грэма, делом всей его жизни были права человека — в самом широком смысле этого слова...

1. Жак Месрин (1936—1979) был убит полицейскими в Париже в ноябре 1979 года. (*Прим. автора.*)

**И.** Ты права, Грэм чувствовал, что отвечает не только за свою семью. Пусть биографы составят список авторских прав, которые он переуступил тому или иному фонду и монастырю, жертвам катастроф и стихийных бедствий. До самого конца Грэм руководствовался искренним сочувствием к людям... Не мне об этом рассказывать. Грэм часто негодовал по тому или иному поводу, легко впадал в ярость, но за тех, кто тронул его сердце, он стоял горой и шел до конца. Всегда. Просто он умел любить.



## *Черный будильник*

В 1979 году Грэм дал определение смерти: "стена, которая не прощает". Тогда он сказал: "Тревожиться не о чем. Скоро я узнаю все... или не узнаю ничего".

**С.** Каким был в самом конце жизни человек, которого ты знала тридцать два года?

**И.** Самое поразительное, что именно тогда проявились лучшие его свойства — любознательность, ясность ума, трезвость мышления. Пожалуй, изменилось только одно — он стал невозмутим.

В больнице Провидения, в Веве, за неделю до смерти — Грэм уже тогда чувствовал, что скоро умрет, — он сказал мне: "А знаешь, ведь это может оказаться интересным: наконец-то я узнаю, что находится по ту сторону".

Он произнес это очень спокойно, и в глазах блеснула искорка: ему и правда было интересно. "Скоро я узнаю ответ на все наши вопросы, — вот как он это сформулировал. И добавил: — Заодно проверим, действительно ли, умирая, видишь яркий свет, о котором рассказывают побывавшие в коме люди".

Чуть раньше — мы тогда были в Шано и Грэм еще мог ходить (за неделю до смерти он даже прогуливался) — он поделился со мной и такой мыслью: "Если мы, люди, приходим на землю только для того, чтобы прожить на ней лет восемьдесят, в этом нет никакого смысла. Что такое восемьдесят лет по сравнению с вечностью? Ничто. Значит, должно быть еще что-то..."

**С.** Хочешь сказать, у него появилось иное восприятие потустороннего мира?

**И.** Да, он всю жизнь размышлял о жизни после смерти, но его мучили сомнения. А потом он внезапно нашел ответ: смерть — не "конец", а "начало".

Думаю, он успокоился именно тогда, когда сделал это открытие. Он был готов умереть. Когда принимаешь смерть, перестаешь ее бояться[1].

1. Через несколько дней после того, как была сдана рукопись этой книги, я получила письмо от Аманды Сондерс, племянницы Грэма. Она написала следующее: "Я приехала в Швейцарию накануне смерти Грэма, неделю прожила у Ивонны и уехала после похорон. Мы разговаривали все дни напролет, а иногда засиживались до полуночи. Ивонна показала мне свой "Красный дневник", куда записывала разговоры с Грэмом и где его рукой были сделаны некоторые пометки. Перед отъездом она отдала мне листок из "Дневника", чтобы я передала его маме (Элизабет). "Возможно, в раю мы получаем дар помогать живым, — писал Грэм. — Рай представляется мне очень деловым местом. Иногда я молюсь не *за* своих ушедших друзей, но обращаюсь к *ним* за помощью". *(Прим. – М.-Ф. А.)*

**С.** Думаешь, за два года тяжелой болезни ему удалось смириться с мыслью о смерти?

**И.** Безусловно. За несколько лет до болезни у него участились приступы хронической усталости, но никому и в голову не пришло, что это начало болезни, а не обычная хандра. На Рождество он с дочерью Каролиной отправился в Швейцарию, где почти сразу попал в госпиталь в Веве. После многочисленных обследований и анализов выяснилось, что у Грэма заболевание крови, но его можно лечить переливаниями. Все это происходило зимой 1989–1990 гг.

Потом – увы! – начался долгий период лечения, ставший для Грэма страшным сном. Впрочем, чувства юмора он не утратил. "Так чем же, в конце концов, я болен, – спросил он как-то раз, – анемией или амнезией?" Грэм играл словами с прежней готовностью, но все-таки очень тяжело переносил собственное бессилие. От болей он не страдал, но его жизнь зависела от регулярных (раз в две недели) переливаний крови. Он чувствовал себя "арестантом в цепях".

Пока оставалась надежда на излечение, Грэм соглашался на процедуры. Но время шло, сдвигов в лучшую сторону не наблюдалось, и он захотел покончить со всем этим. Другого выхода не было – тело Грэма отторгало чужую кровь. Он прекрасно осознавал, что́ это означает, но не волновался – даже почувствовал облегчение. Словно торопил смерть[1].

Когда-то давно Грэм уже перенес смертельную болезнь, но лечение прошло успешно, и он рассказал, что ужас, который он тогда испытал, был порожден "надеждой остаться в живых и страхом потерять эту надежду"... Теперь же он "торопился уйти". Странно, но нетерпение Грэма было очень сильным, несмотря на крайнее физическое истощение...

1 апреля мы остались одни в больничной палате. "Почему так долго?" – вздохнул Грэм. Он уходил от меня. Мы были вдвоем, разговаривали. Грэм говорил о себе в прошедшем времени. "Ты еще жив, – возразила я, – мы все еще вместе!" Я взяла его за руки. Он сразу же отнял их... и сказал: "Но я хочу уйти". Это было невыносимо! Тогда мне казалось, что он поступает со мной жестоко. Сегодня я понимаю: Грэм вел себя так ради моего же блага. Возможно, давал понять: "Когда меня не станет, ты вспомнишь, что я хотел уйти, и тебе будет легче".

В тот день я предложила позвать его друга, испанского священника Леопольдо Дурана. Он с отрешенным видом махнул рукой и сказал: "Делай как хочешь..." Ему было все равно... На следующий день Грэм впал в кому. Он умер 3 апреля, в среду, в одиннадцать сорок утра.

...Помню один наш разговор. Он твердил: "Я боюсь разлуки с тобой". Я его успокаивала: "Но я же к тебе присоединюсь". – "Не сразу", – возразил Грэм. А я ответила: "Но ты-то этого не почувствуешь, для тебя время перестанет существовать..." Однако для него время имело огром-

1. См. подробнейшую и чрезвычайно интересную работу Пьера Смолика о пребывании Грэма Грина в Швейцарии и о последних днях его жизни. Смолик записал некоторые свидетельства Ивонны, подтверждающие то, что я от нее слышала: "Грин принял осознанное решение уйти из жизни, попросил не проводить ни новых обследований, ни переливаний, что и было выполнено". – Пьер Смолик. "Грэм Грин и Швейцария". (Pierre Smolik. Graham Greene et La Suisse. – Vibiscum, Annales veveysannes.) Ивонна сделала несколько поправок в тексте этой книги, в частности уточнила, что Грэм "не оставлял на ночном столике никаких записок..." *(Прим. – М.-Ф. А.)*

ное значение. Всякий раз, когда мы отправлялись в больницу Провидения на переливание крови или анализы и я спрашивала: "Что положить в чемодан?" — он неизменно отвечал: "Черный будильник"... Маленький черный будильник. Такая вот ирония судьбы... Мелочь, глупость, и все же... Время для Грэма имело первостепенное значение. Он всегда хотел точно ориентироваться во времени.



Угасания Грэм боялся больше смерти. В последней главе книги "Мой Собственный Мир" он пишет: "Мы говорили о страхе исчезновения. Я начал рассказывать свой сон... Во сне люди, которых я знал и любил, звали меня к себе. Но из-за недостатка веры я выбрал исчезновение. Большой черный конус вроде того, которым гасят свечу, должен был опуститься мне на голову.

Мы обсудили мой сон, и я доказал остальным, что все мы, независимо от наших убеждений, боимся, что нас погасят"[1].

И все-таки, несмотря на все противоречия и сомнения, одолевавшие Грэма перед смертью, я не замечала в нем страха. Все, кто видел Грэма, поражались его спокойствию... После смерти Грэма его лечащий врач доктор Моранди сказал мне: "За всю мою практику я не видел никого, кто так спокойно и осознанно ожидал бы смерти. Все пациенты — не важно, сколько им лет и чем они больны, — боятся смерти. Они упираются, цепляются за жизнь, паникуют. Ничего подобного с мсье Грином не происходило". — "Чем вы это объясняете?" — спросила я. "Его умом, его потрясающим интеллектом", — вот что он мне ответил.

Грэм был очень умен, но дело не только в этом. Думаю, ему удалось преодолеть страх, "населив пустоту..."

**С.** Что ты имеешь в виду?

**И.** После смерти Грэма я нашла в столе написанное его рукой стихотворение без даты. Расшифровать я сумела не все. Прочти, Суазик...

**С.** "The tall houses along the quai / seem as grey / as the mood / of those who remember a certain February / perhaps, a certain December / when the same Paris was not empty / as in a day called today. / The bar of the Ritz was full / and the place Vendôme was full / and the rue St Honoré was full..." (не могу разобрать следующие слова) "...and the shoppers around... how empty our existence..."[2]

Вот так он "заселяет пустоту"...[3]

**С.** Но какое место отведено вере? Кем был Грин перед лицом смерти? Католиком или агностиком? Или тем и другим одновременно?

**И.** Уж точно не... святым.

**С.** А ведь это о твоей бабушке он сказал как-то раз: "Да она же была святая!" Расскажи ее историю, думаю, это поможет понять, что чувствовал Грэм в конце...

1. Г. Грин. Мой Собственный Мир / ИЛ, 2003, №12. С. 187.
2. "Высокие дома вдоль набережной / выглядят бесцветными, / как скука / тех, кто помнит, как однажды в феврале / а может в декабре / тот же самый Париж не был так пуст, / как сегодня./ Бар "Ритца" был забит / и Вандомская площадь / и улица Сент-Оноре... повсюду было полно прохожих... до чего же пуста наша жизнь..." (*Прим. автора.*)
3. Ивонна полагает, что это стихотворение было напечатано в разных местах, в том числе в библиографическом каталоге сочинений Грэма Грина, составленном Ником Деннисом. (*Прим. – М.-Ф. А.*)

**И.** Хорошо. Так вот, моя бабушка в конце жизни жила с нами, у моей матери, в здании вокзала. Мама была начальником станции в Таль-Ар-Гроазе, что по-бретонски означает "У подножия креста". В названии этом нет ничего мистического: там пересекались две главные дороги с указателями направлений. Перед смертью бабушка захотела увидеть священника. Она была глубоко верующей женщиной. Мама позвала деревенского кюре. А потом бабушка запричитала: "О, если бы ты ушла вместе со мной, я бы не боялась смерти". Сначала мама не обращала внимания, но бабушка не успокаивалась, и мама в конце концов ответила: "У меня трое детей, я должна их растить, воспитывать, учить. Я не могу вот так взять и уйти, бросив всех и вся". Говорили они на бретонском, потому что по-французски бабушка не знала ни слова. Потом мама спросила: "Какая тебе разница, буду я с тобой там или нет?" Бабуля ответила: "Я ведь ни читать, ни писать не умею, вот и боюсь ошибиться. Попаду на перекресток, в одну сторону — ад, в другую — рай, возьму и перепутаю". Понимаешь, она нисколько не сомневалась, что заслужила рай...

Когда я рассказывала эту историю Грэму, он слушал очень внимательно, а потом вдруг я заметила слезы у него на глазах. Выслушав меня, он долго молчал... а потом произнес: "Ты должна молиться за бабушку, молись ей — она святая". Бабуля и правда была святая...

**С.** Думаешь, Грэм ощущал то же, что твоя бабушка?

**И.** Нет, самоощущение Грэма скорее напоминало парадоксальное богоискательство поэта Унамуно[1], которым он всегда восхищался. В "Путях спасения" Грэм цитирует слова Унамуно, которые часто повторял мне: "Тот, кто думает, что верит в Бога, но чье сердце закрыто для страсти, а рассудок для тревог и страхов, кто ни в чем не сомневается и ни о чем не сожалеет, верит лишь в идею Бога, а не в самого Бога".

Но когда Грэм говорил: "Я люблю тебя навечно и еще на один день!" — он в это верил. Так он видел жизнь вечную. Если бы не верил, не стал бы так часто повторять мне эти слова...

1. Мигель де Унамуно (1864–1936) — испанский писатель, философ-экзистенциалист.

# Ширли Хэззард

# *Грин на Капри*



Фрагменты книги

*Перевод с английского* Марии Штейнман

Это случилось на Капри в конце 1960-х годов. Декабрьским утром я сидела у окна в "Гран кафе", что на Пьяцетте[1], и решала кроссворд в "Таймс". Вот уже несколько дней стояла дождливая погода, резкие очертания Монте-Соларо были скрыты темной пеленой. Море штормило, прибытие парома из Неаполя то и дело задерживалось, грузы с материка не доставлялись, а только что пришедшие лондонские газеты давно устарели. В кафе кроме меня никого не было. Случайно заглянувший сюда рабочий, а может лавочник, промокший до нитки, подошел к стойке выпить чашечку кофе. От мокрой одежды и от эспрессо шел пар, слышались звяканье ложечек и отдельные итальянские слова. Время приближалось к полудню.

Между тем на пустой площади появились две высокие фигуры под зонтами, спешащие по направлению к кафе. Они оказались англичанами; на обоих были дождевики, а один из них — тот, что постарше, — носил еще и берет. Это был Грэм Грин. Я узнала его — как узнал бы на моем месте всякий. Правда, я уже видела его тут, на Капри, в ресторанчике "У Джеммы": он сидел за угловым столиком вместе со своей спутницей — Кэтрин Уолстон, его самой большой любовью послевоенных лет. Это было в самом начале 50-х, когда я приезжала в Неаполь и на Капри из Сиены, где тогда подолгу жила. Все знали, что у Грина дом в Анакапри — городке в верхней части острова. Он неизменно, хотя и не очень регулярно, приезжал туда в течение многих лет.

В то промозглое декабрьское утро Грин и его темноволосый приятель вошли в "Гран кафе", отряхнули плащи, повесили их на вешалку и уселись за крохотный столик по соседству. Я вернулась к кроссворду, но невольно слышала, что говорится — по крайней мере одним из собеседников. Слова Грэма звучали негромко, но очень язвительно, к его интонациям невозможно было не прислушиваться. Намеренно он понижал голос очень редко, только для "реплик в сторону" — когда не хотел, чтобы слышали другие. Его тон нельзя было спутать ни с чьим, а манера вести беседу напоминала старые времена, когда все британцы еще не заговорили на один лад, никто не подчеркивал свой статус излишне вычурной речью, и голос каждого звучал как уникальный инструмент, зачаровывавший собеседника по-своему. Впрочем, я в любом случае не могла не обратить внимания на слова Грина, потому что он начал цити-

© 2000 by Shirley Hazzard. Originally published by Farrar, Straus & Giroux. Reprinted by arrangement with the author.
© Мария Штейнман. Перевод, 2009

1. Пьяцетта (в переводе с *итал.* маленькая площадь) — главная площадь г. Капри. Из-за причудливого скалистого рельефа острова даже главная площадь в городе, в силу необходимости, невелика. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

ровать стихотворение Роберта Браунинга "Погибшая возлюбленная", которое начинается так:

Все кончено! Правда страшнее молчанья
При повторении, слышишь?
К чему же теперь воробьев щебетанье
Там, на выступе крыши...

Но Грину важнее была следующая строфа:

Увидимся ль завтра, скажи, дорогая?
Любимая, дай же мне руку.
Пусть нам остается лишь дружба простая,
Но горше во сто крат разлука...

Он процитировал стихотворение почти до конца, но не мог вспомнить заключительную строчку — после слов:

Скажу тебе то, что друзья говорят,
Или немного больше;
Я буду с тобой, пока горы стоят...

Он несколько раз повторил строфу без последней строки — никак не мог восстановить в памяти, что же дальше.

Тем временем я допила кофе, решила кроссворд, заплатила по счету, сняла с вешалки плащ и зонт, а затем произнесла:

— Там так:

Или немного дольше.

Повернулась и вышла под дождь. Я направилась к отелю "Сан-Феличе", где мы останавливались всегда, когда приезжали на Капри. (Правда, вскоре мы дешево сняли квартиру в старом доме, где и свили себе гнездо на последующую четверть века.) Фрэнсис — мой муж Фрэнсис Стигмюллер — ждал меня в гостинице. Конечно, я сразу рассказала ему об этом случае, который похóдил на готовый сюжет для рассказа. Фрэнсис встречался с Грином несколькими годами раньше в Нью-Йорке. В те послевоенные годы Грэм со своей женой Вивьен путешествовал по Америке, о которой у Грина сложилось самое благоприятное впечатление. Некоторое время Фрэнсис и Грэм переписывались.

Эта утренняя встреча на Капри казалась мне — да и сейчас кажется — сценой из романа, настоящего, хорошего и очень старомодного. Думаю, что Грэму она виделась подобным образом.

Вечером того же дня, не успели мы подойти к нашему столику у камина в ресторане "У Джеммы", как Грэм и его друг Майкл Ричи поднялись поздороваться с нами. Мы поужинали вместе. Так началось наше многолетнее общение с Грином на Капри.

Кажется, на следующий день Грин пригласил нас отобедать к себе в Анакапри. По счастью, погода улучшилась, и мы сели в автобус, который повез нас по серпантину на Монте-Соларо, самую высокую доломи-

товую гору на острове. Мы вышли в Пьяцца-Каприле — наиболее удаленной части городка Анакапри, который карабкается вверх по склону Соларо, и через несколько сотен ярдов оказались у гриновского дома. Свое название "Иль Розайо" он делил с находящимся рядом имением, а свой облик приобрел в 1922 году — в то время на Капри изменился архитектурный стиль. Произошло это благодаря некоторым жителям Капри, особенно любившим светскую жизнь и настроенным на модернизацию; главную роль тут сыграл предприимчивый Эдвин Черио[1], которому остров обязан очень многим. В основе нового стиля лежит старинный сельский колорит: закругленные своды, плавные линии, очаровательные беленые домики — прочные, но не массивные; вполне комфортабельные, но не слишком роскошные, соответствующие климату, вписывающиеся в рельеф острова. Около двух десятков таких строений, объединенных одним архитектурным решением, разбросаны по всему острову. Большинство до сих пор находится в частном владении. Подобные подделки "под древность" не бывают без изъяна: вот и в этих есть нечто жеманное, ненатуральное, но климат Капри сделал свое дело. Испепеляющая жара, сменяющаяся промозглой влажностью, ветры и штормы старят и облагораживают любые, даже самые невзрачные и однотипные здания. Буйная островная растительность, кустарники и лианы довершают остальное.

Кованые железные ворота "Розайо", вделанные в высокую беленую стену, были снабжены колокольчиком на шнурке. Войдя, гость попадал в уединенный садик, чем-то напоминавший Грецию или Северную Африку. Такие садики до сих пор очень характерны для этой местности, и по ним все еще видно, как на быте островитян сказались и средиземноморский климат, в прошлом диктовавший людям образ жизни, и морские набеги сарацин, которыми полна здешняя история.

Пересекающиеся дорожки, вымощенные старым розовым кирпичом, вели, как в детском сне, к незаметной входной двери. Должно быть, в этом намеке на лабиринт таилась неодолимая притягательность для автора "Путей спасения". Домик был невелик. На первом этаже — всего четыре комнаты, на втором — пустое пространство наподобие антресолей. (Позже Грэм устроил на крыше нечто вроде террасы, выходящей прямо на пологий западный склон, а также на открывавшиеся за ним конус Искьи и море до самого горизонта. На закате и вода, и скалы окрашивались киноварью.) Именно из-за этого сравнительно небольшого зданьица придирчивые биографы и репортеры часто упрекали хозяина дома в сибаритстве. На самом деле "Розайо" скорее напоминал английский пригородный дом с садовым участком. Повод для критики, однако, все равно оставался — ведь находился он не в английском пригороде, а на Капри.

В круглом камине пылали сосновые шишки и небольшие поленья, освещая крохотную гостиную, где мы потягивали спиртное с Грином и гостившим у него Майклом Ричи. Ричи, писатель, скульптор, график,

1. Эдвин Черио (1875—1960) — уроженец острова Капри, инженер, автор книг, посвященных истории, флоре и фауне острова, архитектор, историк и ботаник. В 1920—1923 гг. прилагал значительные усилия к тому, чтобы защитить местный ландшафт от коммерческой многоэтажной застройки.

морской волк и многолетний директор Королевского института навигации, познакомился с Грином в 1940 году в Лондоне. За исключением военных лет, их дружба никогда не прерывалась. Беседа текла легко, видимо, благодаря атмосфере простоты и уюта, свойственной этому месту. Комнату украшали книги, несколько картин ("Вот эту написала моя бывшая подруга"), а также неаполитанская статуэтка XVIII века – Мадонна в вертепе под стеклянным колпаком. Все очень скромно, мило, приятно и без излишеств.

Высокий потолок со стеклянным фонарем в центре – особым благом в пасмурную погоду – закруглялся наподобие купола. Пол был выложен старинной керамической плиткой белого цвета, по краям шел бордюр из зеленых листьев и желтых цветов. Такую плитку, очень прочную, толщиной почти в два дюйма, веками использовали в неаполитанских домах. В XVIII веке из нее выкладывали целые картины на полах церквей, монастырей и вилл. Местные жители называют ее le riggiole. Сейчас она сто́ит очень дорого, потому что процесс ее изготовления крайне сложен – каждую плиточку обжигают отдельно. Но в результате достигается удивительный эффект: сквозь гладкую белую глазурь просвечивает – как в жилище Грэма – живой розовый цвет терракоты.

Зимний свет попадал в столовую сквозь ряд узких высоких окошек. Обед, состоявший из пасты и цыпленка, нам подала Кармелина. Вместе со своим мужем Аньелло она обслуживала Грэма, когда он бывал на Капри, а в остальное время супруги ухаживали за домом и садом. Высокая, статная, в цветастом платке на седых кудрях и в длинном фартуке поверх черного платья, Кармелина казалась воплощением идеальной женщины Капри – работящая, жизнерадостная и добродушная massaia[1] своего времени. Строгая, но не лишенная чувства юмора, она жила в гармонии с родной землей и природой, подчиняя домашний распорядок ходу сельскохозяйственных работ – прежде всего жатве и сбору винограда, но находила время и для ежедневной болтовни с соседками, и – самое главное – для общения с родственниками.

Такие женщины редко покидают остров хотя бы на день, чтобы побывать в Неаполе, расположенном всего в двадцати милях. Поколение Кармелины было последним из тех, что проводило на острове всю жизнь.

За разговорами время шло незаметно. Мы шутили, болтали, пили сухое вино, которое делают только здесь, в Анакапри. Все без исключения наслаждались беседой. Но к удовольствию примешивалось и чувство удивления. В самом деле, странная это была встреча – зима, скалистый средиземноморский остров... Все это походило на приключение – и Грин больше всех наслаждался неожиданным ходом событий.

В то время ему было уже за шестьдесят, Фрэнсис был двумя годами моложе, Майклу Ричи немного оставалось до пятидесяти; мне перевалило за тридцать. И Грэм, и Майкл были католиками. Собственно говоря, Грэм перешел в католичество в молодости, когда собирался жениться. (Спустя много лет, уже после смерти Грэма, Майкл писал мне: "Могу ска-

1. Massaia – хозяйка дома (*итал.*).

зать безо всякого пафоса, что нас связало католичество — без него все было бы иначе".) Воспитанный в католической семье, Фрэнсис, напротив, отошел от веры предков в ранней юности. Мои же родители исповедовали англиканство, хотя и формально. Все мы имели самое непосредственное отношение к слову, были писателями и читателями и жили в мире, где слово — произнесенное или записанное — значит много, если не все. Мы часто прибегали к тому, что Джон Бейли[1] однажды назвал "утешением, которое дарит хороший стиль". Наконец, все мы, несмотря на присущую нам общительность, были в той или иной степени закоренелыми индивидуалистами.



Негустые волосы Грэма заметно поседели. Легкой сутулостью и походкой он скорее напоминал английского школьника, чем немолодого писателя. В последние годы в нем явственно ощущался неуклюжий подросток — долговязый, узкоплечий, что-то бормочущий себе под нос. Единственная "физкультура", которой он в жизни занимался, — пешие прогулки (в свое время он обошел немало стран и даже континентов). Тем не менее он и сейчас не утратил проворства, свойственного ему от природы. Запоминались руки — изящные, сильные, энергичные. Небольшие, но бесспорно мужские. Худые пальцы, кисти, немного тронутые, как представляется, контрактурой Дюпюитрена[2], — эти руки сразу притягивали к себе взгляд. За столом он обычно подпирал щеку или подбородок левой рукой, как, наверное, привык делать за работой. Но эта поза совсем не выглядела расслабленно-задумчивой, "георгианской" — напротив, кулак был так сжат, что сильно выступали костяшки пальцев. Когда же пальцы расслабленно лежали на столе, они напоминали полураскрытый веер. Вообще его жесты никогда не выглядели бессознательными движениями — простыми "сигналами тела". Напротив, они неизменно выдавали в нем интеллектуала: легкие, сдержанные, обдуманные, глубоко индивидуальные; в жестах этих участвовали в основном кисти рук и кончики пальцев, а еще плечи, которыми он легко пожимал. Руки, как и фигура, указывали на обостренность чувств. Все говорило скорее о сдержанности, чем о хладнокровии.

С ним всегда было интересно. Нельзя было не ощутить напряженного ожидания и — одновременно — спокойной умудренности, свойственных ему. Лицо его, носившее следы пороков молодости, но отнюдь не раскаяния, освещалось удивительными голубыми глазами.

Глаза Грэма Грина часто пытались и описать, и сфотографировать. Им он был во многом обязан своей невероятной притягательностью, что прекрасно осознавал; власть их была вполне реальна. Его друг, итальянский писатель Марио Сольдати[3], писал о Грэме, что "его глаза, глаза демона, сверкали синим огнем". Норману Шерри, биографу Грина, он сказал: "У Грэма было, я бы сказал, такое страдающее, оскорбленное лицо, словно каждое событие оставляло на нем невидимые раны. Это выражение не держалось постоянно, но чуть что шло не так — мгновен-

1. Джон Бейли (р. 1925) — английский литературовед, критик и прозаик. Автор исследований творчества А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого, Г. Джеймса, А. Мердок и др., а также нескольких романов.
2. Контрактура Дюпюитрена — заболевание суставов, из-за которого перестают разгибаться пальцы рук.
3. Марио Сольдати (1906–1999) — итальянский писатель, режиссер и драматург.

но проступали гнев и обида... Тогда в его глазах появлялось нечто пугающее".

В период нашего знакомства, как и почти всю жизнь, Грэм был очень хорош собою и никогда не испытывал недостатка в женском внимании. Внешность и поведение выдавали в нем типичного англичанина своего времени, но впечатление, которое он производил на людей, всецело зависело от его сиюминутного настроения. Когда ему исполнилось шестьдесят, короткая верхняя губа, свидетельство юношеской ранимости, постепенно удлинилась, став тверже, рот сжался, обозначился двойной подбородок, прожилки на носу и щеках выдавали пристрастие к алкоголю. В профиль было особенно заметно, как покраснели и припухли нижние веки выпуклых глаз. (Лучше других сознавая, как он выглядит, Грэм Грин нередко наделял своей внешностью своих героев: "Выпитое бренди сказалось даже на глазных яблоках. Они мгновенно покраснели, словно сосуды только и ждали возможности полопаться, подобно почкам на ветках".) Стеклянный взгляд, зачастую колючий или гневный, никогда не мутневших голубых глаз. Если Грин впадал в ярость, они сверкали, но не из-за выступивших слез, а от негодования и возмущения. Из-за седых густых бровей глазницы казались еще более глубокими, при этом грозно выкатывались глаза — это когда он желал задеть, оскорбить, унизить, высмеять. В такие по-настоящему жуткие моменты Грин странным образом напоминал мне Томаса Митчелла в роли безумного отца Скарлетт О'Хара.

По глазам легко угадывалось его настроение — не только гнев, но и любопытство, готовность удивляться, радоваться, пуститься на поиски приключений. Глаза выдавали ум, строгость и оригинальность мышления, невероятную широту и свободу мысли. В них проглядывали какая-то особая твердость и отчаянная храбрость, порой мелькало понимание, искренность, откровенность, благоразумие, иногда — что-то вроде доброжелательности. Но чего я в них никогда не замечала, так это нежности. Да, Грэм не знал ни порывов чувства, ни угрызений совести, и уж менее всего — сколько-нибудь продолжительного ощущения счастья. Не скрываемая им "льдинка в сердце"[1] временами казалась верхушкой целого айсберга.

Грэм даже в преклонном возрасте не отказывал себе в разного рода удовольствиях. Но наслаждение всегда было мимолетностью, а не необходимостью. Отчасти — в силу особенностей темперамента, отчасти — воспитания, а также образа жизни целого поколения. Как и его сверстники, чья юность пришлась на бойню Первой мировой, а взросление на Великую депрессию, он не считал удовольствие от жизни чем-то самим собой разумеющимся и никогда сознательно не стремился к нему. Зато страдание стало для всех них величиной постоянной и даже своего рода делом чести. Именно страдание было необходимым условием творчества. Напротив, в "счастье" явно скрывались пустота и бессодержательность, которые Грин запечатлел в своих романах: "Покажите мне счастливого человека, и я покажу вам либо самовлюбленность, эгоизм и злобу, либо полнейшую духовную слепоту"[2].

1. Здесь и далее цитаты из "Комедиантов" даны в переводе Е. Голышевой, Б. Изакова.
2. Суть дела. Перевод Е. Голышевой, Б. Изакова // Собр. соч. в 6-ти тт. Т. 2. — М.: Худож лит., 1992–1996.

Кстати, Флобер в письме от 1846 года писал примерно то же самое: "...тупость, эгоизм и здоровье — вот три условия счастья, и если тупость отсутствует, все потеряно". Рассуждая о высших формах счастья, которых можно достичь лишь постоянным напряжением лучших душевных качеств, Флобер продолжал считать, что для него самого подобное счастье недостижимо.



Один из немногих современников, пользовавшихся уважением Грина, падре Пио — сельский священник с юга Италии, который, как говорили, был стигматиком, — утверждал, что "страдание есть испытание и проявление любви". Мне все же кажется, что Грину страдание было необходимо для самосохранения: духовные потрясения в некотором смысле спасали его от наводящей ужас апатии. "Я страдаю, следовательно, живу", — пишет измученный герой в первых строках его романа "Ценой потери".

Радости плоти часто предстают у Грэма в соседстве с безумием или отчаянием. Вот как рассказчик "Комедиантов" говорит о физической стороне любви: "Я кидался в наслаждение очертя голову, как самоубийца на мостовую".

В романе Марио Сольдати "Письма с Капри" главный герой замечает, что люди нуждаются в несчастье ничуть не меньше, чем в счастье. У Сольдати этот вполне европейский взгляд на вещи высказывает его герой-американец. Я бы сказала, что в жизни Грэма Грина тревога должна была присутствовать в самых разных проявлениях — даже в удовольствиях.

Грэм был нетерпим к американскому образу жизни, в особенности же — к извечной погоне за Граалем личного счастья. Он считал, что в Декларацию независимости эта жажда успеха попала незаслуженно, ведь цель подобного поиска те же американцы заклеймили как приземленную и материалистическую. <...>

Грэм заметил, что в Америке, без сомнения, льется немало слез, но слезы не пробуждают у окружающих сочувствия к чужой боли, ведь американцы воспринимают их как знак отчаяния и доказательство поражения. Вспоминая "Тихого американца", он добавил, что всегда сохранять хорошую мину — на самом деле значит отказываться от чувств, оправдывать собственное безразличие или жестокость.

— Поллианна[1] — жестокая богиня, — согласилась я.

— И к тому же у нее нет вкуса, — добавил Фрэнсис.

Желание "покоя и тишины", которое Грэм якобы испытывал на протяжении всей жизни, а также упоминал в романах и в переписке, на самом деле было всего лишь литературной позой. Все, кто хорошо знал его, — а кто знал его лучше, чем он сам? — прекрасно понимали, что "покой" был последним, к чему он стремился. Причем последним в буквальном смысле: в его романах покой часто приравнивается к смерти. В "Тихом американце", например, любовница рассказчика, вьетнамка Фуонг,

1. Поллианна — героиня одноименной повести (1912) американской писательницы Элионор Портер (1868–1920). Дочь пастора, Поллианна с детства приучена находить во всем только светлую сторону.

порой "казалась невидимой, словно сама тишина", — и тишина становилась воплощением ее кукольной пассивности. Постоянные мысли Грэма о самоубийстве — игра со смертью в юношеском возрасте, кошмарные довоенные путешествия, последовавшие затем поездки в зоны военных действий по всему миру — вполне уживались с неуемной любовью к жизни и деятельной энергией, достойной XIX века, что позволяло ему выживать — и писать.

Наш первый визит в "Розайо" оказался весьма приятным. Грэм вспомнил отрывок из Браунинга, который свел нас вместе. Они вдвоем с Майклом Ричи ходили к мессе в Санто-Стефано, чудесной барочной церкви на крохотной центральной площади Капри, прямо над каменной лестницей. Фасадом церковь повернута не на прямоугольник бывших монастырских строений, превращенных в магазинчики и кафе, а в другую сторону. Одно церковное крыло, которое выходит на площадь, было превращено — вполне в духе смешения христианства и язычества, священного и мирского, духовного и коммерческого, столь характерных для Капри, — в миленькое кафе "Бар Тиберио", интерьер которого был решен в духе знаменитой крипты Санто-Стефано. В конце 60-х изменения в католической литургии еще не закрепились, и "новая месса" служила предметом горячих дискуссий. Как рассказывал нам Грэм, когда они с Майклом вышли из церкви и отправились в "Гран кафе", ему показалось, что нововведенное рукопожатие перед евхаристией, которым прихожане приветствуют друг друга, может оказаться весьма приятным, если "заблаговременно усесться рядом с хорошенькой девушкой".

В тот день разговор Грэма был пересыпан именами: неисправимый энтузиаст Генри Джеймс; естественно, Конрад; неожиданный, но вполне предсказуемый Фрэнсис Паркмен; Роберт Луис Стивенсон, с которым Грин состоял в родстве по материнской линии и, что гораздо важнее, — по линии литературной; до сих пор недооцененный критик викторианства, скептик Артур Хью Клаф (Фрэнсис и я дружно хвалили его длинную "итальянскую" поэму "Amours de voyage"[1], которой Грэм не знал). Наконец, грозный Ивлин Во, друг и ровесник Грина, с которым Грэма роднили возраст, воспитание, уважение к английскому языку, писательский дар, вскормленный литературой Британии того времени, и переход в католичество. Грин и Во были схожи также и безудержными вспышками ярости, когда глаза мечут молнии, а гнев побуждает крушить все и вся на своем пути.

Мы нашли немало точек пересечения. Среди общих знакомых обнаружился, во-первых, Гарольд Эктон ("Мы были с Гарольдом на ножах в Оксфорде, но даже тогда я относился к нему с уважением: он был щедрым и храбрым. Друзьями мы стали гораздо позже"); Руперт Харт-Дэвис, который в свое время пришел Грэму на помощь, когда они оба бы-

1. Фрэнсис Паркмен (1823–1893) — американский историк, путешественник, этнограф, изучавший жизнь индейцев Вайоминга и написавший на основании увиденного роман "Дорога на Орегон". Артур Хью Клаф (1819–1861) — английский поэт, в лирике которого отчетливо звучит мотив религиозных сомнений; "Влюбленности в пути" (*франц.*) — поэма, написанная им в эпистолярной форме и опубликованная в 1858 г.

ли начинающими писателями. Питер Кеннел, которого Грэм знал еще со школы, но отношения с которым у него на тот момент "слегка пошатнулись"; Элизабет Боуэн[1]: "Мой старый друг. Очень люблю ее книги, кроме той, про шпиона" (роман "Дневная жара" до сих пор остается моим любимым). Когда Грэм узнал, что мы с Фрэнсисом встретились благодаря Мюриэл Спарк, он заметил: "Не знаком с нею, но восхищаюсь тем, что она пишет". И ни словом не обмолвился о том, что мне стало известно от самой Мюриэл: оказывается, он регулярно посылал ей деньги, чтобы поддержать в первые трудные годы писательства. Вместе с чеками каждый месяц приходило несколько бутылок красного вина — "чтобы согреть холодную благотворительность", как она выразилась. Грин использовал подобную уловку, чтобы в течение многих лет помогать нуждающимся писателям. Среди них можно назвать индийского писателя Р. К. Нарайана[2], который получал от Грина неоценимую материальную и профессиональную поддержку. Так человек постепенно переходит от случайных добрых дел, вроде денежной помощи небогатым друзьям, к серьезной благотворительности, находя в ней интерес и смысл жизни.

По контрасту нельзя не упомянуть и о расчетливости Грэма. Когда мы стали восхищаться "Розайо", он сказал нам, что купил этот дом в 1948 году за сумму, составлявшую, сколько я помню, четыре тысячи фунтов: "Причем со всей обстановкой, включая сервизы, кастрюли, постельное белье и одеяла". Это было невероятно выгодной покупкой даже для тех лет, а теперь, с учетом сумасшедшего спроса на недвижимость на Капри, стоимость дома Грина достигла, наверное, уже миллиона долларов. Впоследствии каждый раз, когда заходила речь о красоте дома, Грин считал себя обязанным повторять рассказ про кастрюли и сковородки.

В старых островных домах сырость непобедима, а зимой из-за пола, выложенного керамической плиткой, высоких потолков и толстых стен к тому же очень холодно. Так что в тот декабрьский день камина и маломощного отопления не хватало; впрочем, мой муж, чей рассказ об одиночном парусном плавании через Атлантику вряд ли выдавал в нем человека изнеженного, жалобы хозяина на дороговизну топлива ("А вообще я холода не боюсь") сносил стоически. Впоследствии мы привыкли к этим ритуальным фразам о бережливости, и нас уже не удивляло, когда Грэм, стоило нам засидеться у Джеммы, смотрел на часы: "Не пропустить бы последний автобус. Иначе придется ехать на такси".

Все эти разговоры были, очевидно, попыткой предотвратить расспросы о богатстве. Но еще очевидней было другое: маску капризного и трудного в общении человека Грин почти сознательно использовал для того, чтобы смутить собеседника — и не только. Заявить ему прямо: "За-

1. Гарольд Эктон (1904–1994) — английский писатель, автор ряда работ о китайском театре и поэзии. Руперт Харт-Дэвис (1907–1999) — английский издатель, литературный редактор, основатель собственного издательского дома. Питер Кортни Кеннел (1905–1993) — английский литературовед, эссеист, поэт, критик, автор многочисленных биографий. Элизабет Дороти Коул Боуэн (1899–1973) — ирландская писательница, автор романов "Отель", "Дом в Париже", "Мир любви", "Дневная жара" и др.
2. Разипурам Кришнасвами Нарайан (1906–2001) — индийский романист, писавший на английском языке. Его первый роман "Свами и его друзья" был опубликован в 1935 году благодаря усилиям Г. Грина.

чем вам (с вашими средствами) думать о ценах на топливо, такси, стоимости проезда на пароме?!" – было бы невежливо. Более того, сказать так значило попасть в расставленную Грэмом ловушку: его маниакальная экономность провоцировала собеседника на грубость, а этого Грин никому не прощал (он, как говорится, часто подсовывал вам коврик, чтобы потом выдернуть его из-под ваших ног). Ради собственного спокойствия приходилось мириться с таким необъяснимым поведением.

Родившийся в 1904 году в состоятельной семье, Грэм задолго до нашей встречи на Капри разбогател благодаря многочисленным романам, рассказам, мемуарам, статьям, эссе, пьесам и киносценариям. Однако ему, как и миллионам современников, довелось пережить (сначала в двадцать, потом в тридцать лет) сначала унизительные последствия Великой депрессии, а вслед за ней – кровавые ужасы Второй мировой войны, радикально изменившие британские характер и общество, как и политику, проводившуюся до конца предыдущего XIX века.

Бедность и страдания мужчин, женщин и детей, балансирующих на краю гибели, – вот какова атмосфера его ранней прозы, где действие часто разворачивается в унылых, холодных помещениях, напоминающих мрачные декорации, и где даже у циников мало шансов улучшить жизнь или хотя бы жилище, тогда как богатые процветают за оградой своего равнодушия. Опыт, дорогой ценой доставшийся Грину во время Великой депрессии, нашел отражение в его трехчастной автобиографии. Его биограф Норман Шерри отметил, с какой радостью Грэм и его молодая жена приняли десять шиллингов в подарок от тетушки, которая и сама находилась в весьма стесненных обстоятельствах. Вивьен Грин рассказала Шерри, что в те годы они находились на грани выживания и "были до ужаса бедны... беднее, чем другие люди нашего круга". Несмотря на унижения и нищету, Грин, подобно многим другим, старался не утратить веру.

Беспомощность перед лицом жестокой судьбы, часто фигурировавшую в его ранней прозе, читатели опрометчиво принимали за безусловную солидарность с люмпеном и рабочим классом. Однако симпатии Грэма, от природы непостоянные, правда, со временем ставшие более последовательными, никогда не определялись классовой принадлежностью. Он был на стороне тех беспокойных душ, которые постоянно мучились разочарованием, чувством вины, сомнением и неудовлетворенностью собой и жизнью. У Грэма не было потребности объединяться с кем бы то ни было или разделять чужую "позицию". В своих книгах он всегда ставит акцент на повествовании, а не на поучениях или обобщениях.

Его индивидуализм импонировал публике. Джулиан Саймонс, литературный критик, тонко чувствующий прозу Грэма, писал в рецензии на сборник его писем в 1989 году: "Это письма человека, очень не равнодушного к маленьким несправедливостям и большому беззаконию западного общества; человека, готового использовать свой писательский авторитет, чтобы задавать неудобные вопросы и предавать огласке неприятные факты. Врожденное недоверие к официальным наградам не позволило Грэму Грину открыто держаться какой-либо политической линии, в отличие от кого-нибудь вроде Гюнтера Грасса. И все же читателю этих писем ясно, на чьей стороне их автор и к каким слоям общества он испытывает сочувствие".

Мне думается, что при всей своей противоречивости это заявление вполне справедливо – если не считать приписываемого Грэму "сочувствия" к опередленным "слоям общества", что неминуемо вызвало бы его негодование. Опять-таки, он скорее "испытывал родственное чувство к неудачникам – чувство, что среди них и есть его настоящее место"[1].



Грэм знал огромное количество самых разных людей. Среди его близких друзей или случайных знакомых было немало чудаков, как знаменитых, так и никому не известных. Как правило, общение служило для него неким стимулом; при этом даже среди близких знакомых Грина встречались откровенные лжецы и подхалимы – к счастью, их было не очень много. Грэма они отнюдь не раздражали. Женщинам в его присутствии следовало послушно молчать и ловить каждое его слово, чтобы избежать эпитета "вздорная".

Судя по книгам Грэма, у него были весьма солидные связи, и он умело ими пользовался, но никогда о них не распространялся. Разные сферы его жизни никогда не пересекались. Он крайне редко позволял себе ввязываться в политику и никогда не отдавался ей целиком. Зато блестящая суета театральной жизни, с которой он успел соприкоснуться, всегда его притягивала. Предположение, высказанное уже после его смерти, будто он искал знакомств с богатыми и влиятельными людьми, не имеет ничего общего с действительностью: он никогда ни перед кем не заискивал, внешние атрибуты его не привлекали. Знаменитости сами хотели познакомиться с ним, а не наоборот.

Иногда, в зависимости от настроения, он не возражал против новых знакомцев – они могли занять его внимание на час или на вечер. Подобные случайные встречи обычно пробуждали в нем искренний, хотя и недолгий интерес.

Его совершенно не волновала мода. В мрачной послевоенной Англии именно простота и уют семейного гнездышка Кэтрин Уолстон оказались чем-то новым для него и усилили чары этой нью-йоркской Цирцеи. Юная красавица вышла замуж за Генри Уолстона, богатого англичанина с заурядной внешностью и прогрессивными политическими взглядами, родила ему пятерых детей и вслед за тем, в молодом еще возрасте, сразила Грэма, сделала его своим любовником и в течение пятнадцати лет заставляла испытывать то восторг, то муку. Кэтрин была живой, великодушной, необычной. В ее кругу Грэм познакомился с "главными героями" – людьми не только влиятельными, но и интересными. К тому же и его повседневная жизнь существенно улучшилась. Контраст между его аскетическими потребностями и ее светскими привычками нашел свое отражение в замечательной книге "Конец одного романа"[2], где писатель работает в своей одинокой комнате, а через парк стоит уютный дом, где живет его возлюбленная и ее вежливый муж-политик.

Жизнь и творчество Грэма говорят сами за себя. Что же касается намеков, будто он выбирал знакомства в зависимости от статуса людей или их материального положения, то для всех, кто знал его, эти намеки просто смешны.

1. "Суть дела".
2. Перевод Н. Трауберг. "ИЛ", 1992, № 5.

Первые литературные опыты Грэма были омрачены чередой неудач, в которых частично виноват был и он сам. Когда же он достиг наконец определенной финансовой стабильности (на руках у него были двое детей и жена) — благодаря не только писательству, но и ценой изнуряющего журналистского труда, — планету уже сотрясала Вторая мировая война. Население поставили под ружье. Грэма, которому тогда было за тридцать, сразу же затянуло в водоворот войны. Как он сам потом заметил, только после сорока, когда ему удалось упрочить свое положение благодаря таланту, интеллекту и неустанному труду, он смог позволить себе писать о том, к чему лежит душа. Срок ученичества кончился.

Деньги принесли свободу. От природы нетребовательный и бережливый, Грэм не имел вкуса к роскоши и был совершенно лишен претенциозности. Жил он весьма скромно, зато, не утруждая себя оправданиями, останавливался в хороших отелях, если такова была его воля; помогал другим людям деньгами, но не выставлял этого напоказ. Ко времени нашего знакомства он обосновался в Антибе, в небольшой современной квартире, вблизи своей давней приятельницы Ивонны Клоэтта, которая жила с мужем и дочерьми по соседству. Помимо дома в Анакапри, он приобрел квартиру и в Париже, которую охотно отдавал нам в распоряжение, когда мы приезжали во Францию в его отсутствие. Через несколько лет Грэм предоставил квартиру в пожизненное пользование своему литературному агенту во Франции Мари Биш Шебеко, у которой было слабое здоровье. В этой квартире она с мужем прожила до самой своей смерти. Время от времени Грэм, находясь в соответствующем настроении, заводил разговор о продаже "Розайо" — быть может, чтобы напомнить себе, что это в принципе возможно. Ранее он с подозрением относился ко всякой собственности, а теперь просто отвергал ее как обузу. Единственные "приобретения", фигурировавшие в разговорах с нами, — это книги, купленные им во время визитов на родину. Тогда под руководством младшего брата Хью он совершал набеги на букинистические магазины в долине реки Уай[1].

В 1975 году, когда вышла в свет "открытая" Грэмом биография лорда Рочестера (на самом деле его собственная рукопись 1931 года), на аукционе в Нью-Йорке был выставлен парный женский портрет кисти сэра Питера Лели[2]; в рекламном буклете под репродукцией портрета была подпись: "Графиня Рочестер и неизвестная леди (предположительно Нелл Гвинн)". Мы написали об этом Грэму в Антиб и получили такой ответ: "В 'Сотби' не умеют устанавливать авторство. Жаль, что у меня нет денег на картину! Интересно, за сколько она уйдет". (Картина была продана за четыре тысячи долларов.)

Малкольм Маггеридж писал о Грэме: "Каковы бы ни были его обстоятельства на самом деле, он всегда имел такой вид, будто живет на съемной квартире и едва сводит концы с концами. И духовно, и даже

1. Долина реки Уай — природный заповедник, центр туризма в Уэльсе. Городки в долине славятся обилием антикварных и букинистических магазинов.
2. Питер Лели (наст. имя Питер ван дер Фас; 1618–1680) — английский живописец голландского происхождения, ставший после Реставрации главным художником Карла II. Неоднократно писал портреты королевских фавориток, к числу которых относилась и Нелл Гвинн (1650–1687), бывшая продавщица апельсинов, ставшая актрисой.

физически он по природе своей скиталец". В самом деле, Грэм никогда не позволял себе привязаться к какому-нибудь дому или месту под воздействием привычки или воспоминаний — в любой момент он был готов все бросить. Привычка вызывала у него беспокойство и протест. Даже найдя себе подходящий уголок, вроде "Розайо", он оставался странником.



Мало кто вызывает такую неприязнь, как талантливые писатели, добившиеся благополучия (редкий случай!), в то время как миллионеры, чьи состояния и не снились ни одному литератору, как правило, не страдают от враждебного отношения ближних. Даже после смерти писателя комментаторы не устают упрекать его в том, что он нанес непоправимый ущерб своей бессмертной душе, получая на протяжении более чем полувека доход от своих книг, проданных миллионам читателей.

Словесное творчество, и только оно из всех изящных искусств, обманчиво представляется доступным любому, кто способен связать два слова. Оно всегда вызывает странную смесь уважения и зависти у людей — его истоки кроются в незаурядности творца, чья загадка никогда не перестанет волновать человека стороннего. По мысли У. Х. Одена, "притягательность зависит не от природы искусства как такового, а от свободы творчества. В наш век художник едва ли не единственный, кто сам себе хозяин. И поскольку стремление к независимости искони присуще роду человеческому, иным людям кажется, что способностью творить также наделены все без исключения и что у них тоже может получиться шедевр — стоит только постараться".

Абсолютная свобода и независимость — вот чем Грэм Грин, по моему убеждению, руководствовался в жизни. Любые ограничения, кроме добровольных, были для него — человека ранимого — не просто трудны, а совершенно нестерпимы. И самые тяжелые черты его характера коренятся именно в этом. Если кто-нибудь вел себя назойливо (или Грэму так казалось), либо мешал ему настоять на своем, Грин оскорблялся и совершенно выходил из себя. Когда он пребывал в подобном настроении, бесполезно было даже выражать согласие с ним: любую подобную попытку он считал подхалимством. Если же собеседник — особенно если это была женщина — не разделял его мнения, Грэм приравнивал это к предательству. Во время споров люди обычно опираются на некие общеизвестные логические предпосылки и истины, и этого обычно довольно, чтобы разговор не превратился в бессмысленное словопрение. Именно таких "общих мест" Грэм и не выносил. Проявить подобную покладистость и христианскую снисходительность по отношению к ближнему было для него страшнее адских мук.

Все это мне еще предстояло увидеть и испытать. <...>

В тот далекий день в Анакапри разговор зашел о войне во Вьетнаме, что вызвало бурю эмоций, не утихавших в течение всех последующих лет. Мы говорили о неосмотрительности и недальновидности тех, кто начал эту войну. Грэм с пристрастием расспрашивал меня и Фрэнсиса о том, как американцы нашего круга выражают протест против нее. Массовые антивоенные выступления в Америке тогда только начинались. В

дальнейшем по мере углубления конфликта война во Вьетнаме стала неизбежной темой наших разговоров и переписки.

Затронула она и интеллектуальную жизнь Америки. В мае 1965-го, во время ежегодного собрания Академии и института искусств и литературы США, ее президент Льюис Мамфорд в присутствии видных деятелей культуры и множества гостей резко высказался против продолжения военных действий. "Выступая по собственной инициативе как частное лицо и американский гражданин", обращаясь к гуманистическим традициям США, Мамфорд призвал президента Линдона Джонсона "остановить нагнетание страха и загладить ошибки" американской политики во Вьетнаме.

Некоторые члены Академии отозвались тогда в прессе о Мамфорде как об "эмоционально нестабильном, фанатичном человеке". Характерно, что через несколько лет, когда большинство граждан восстало против войны, эти же самые люди обнаружились в первых рядах протестующих.

Грэм был избран почетным иностранным членом Академии в 1961 году. И не мог не знать о речи Мамфорда и ее последствиях. К позиции, занятой Академией по отношению к вьетнамской войне, он относился с большим недоверием. А в мае 1970 года направил Джорджу Ф. Кеннану, тогдашнему президенту Академии, письмо, где отказывался от членства в этой организации:

Сэр,

С сожалением вынужден просить вас об отставке с поста почетного иностранного члена Академии и Института искусств и литературы США. Решение мое вызвано тем, что Академия не сумела занять сколько-нибудь определенную позицию по отношению к необъявленной войне во Вьетнаме.

Я списался с другими иностранными членами в надежде организовать массовую отставку. Некоторые немедленно выразили свое согласие. Двое поддержали войну во Вьетнаме. Другие считают, что военные действия не имеют никакого отношения к предмету культуры. Остальные готовы просить об отставке, но только в том случае, если таково будет решение большинства почетных членов. Не испытываю ни малейшего уважения к тем, кто прячется за спину большинства, и абсолютно не согласен с мнением, будто Академия не имеет отношения к происходящему. Я не могу представить себе, что стал бы почетным членом Германской академии искусств и литературы при Гитлере, будь он избран канцлером демократическим путем. Точно так же не могу более считать для себя честью избрание в американскую Академию, имевшее место несколько лет назад.

Когда мы на закате уходили из "Розайо", чтобы успеть на автобус, спускавшийся по горному серпантину, Грэм указал нам на крохотную белую мастерскую, где обычно работал. Похожая то ли на перевернутую лодку, то ли дом-баркас Пегготи[1], она виднелась в дальнем конце сада, окруженного стеной. В следующий раз он пригласил нас туда зайти. Изнутри она походила на каюту. Там было очень тихо; деревянные полы

1. Пегготи – рыбак, брат няни главного героя романа Ч. Диккенса "Жизнь Дэвида Копперфильда, рассказанная им самим".

приглушали звуки и зимой давали немного тепла. Я вспоминаю узкие книжные полки в сводчатых нишах, сплошь уставленные потрепанными томиками стихов, карманными антологиями и изданиями Шекспира — в потертых, но аккуратных переплетах. Еще там помещались маленький диван, стул и переносная пишущая машинка на массивном старом столе у окна, выходящего в сад. И везде — неизбежная на Капри сырость. Это было идеальное место для работы — уединенное, тихое убежище, где никто не побеспокоит, да к тому же расположенное на острове. <...>



Мы вернулись на Капри следующей весной, как и Грэм. Майским вечером — как раз когда мы с несколькими друзьями обедали у Джеммы за нашим любимым столиком — он появился у камина. Грэм пришел не один — с ним была Ивонна Клоэтта, которая держала на поводке своего любимого спаниеля Сэнди. В 60-е Грэм переехал в Антиб именно из-за нее, а познакомились они в Африке в 59-м.

Вряд ли можно найти женщину, которой более подходило бы определение "изящная". Улыбчивое лицо "сердечком", коротко стриженные белоснежные волосы, стройная фигурка, облаченная в брюки и рубашку нежной пастельной расцветки, на плечи по случаю вечерней прохлады накинута шаль. Она говорила по-английски прекрасно, с очаровательным легким акцентом. Благодаря безупречному английскому она стала для Грина незаменимым личным секретарем в Антибе. А знание итальянского позволяло ей быть его переводчицей во время их визитов на Капри.

Ивонна любила, можно даже сказать, обожала Грэма. Именно ее любовь поддерживала этого довольно мрачного человека последние тридцать лет. Глядя на них, слыша, как он обращается к ней, было почти невозможно представить себе муку и дисгармоничность, без которых у Грэма Грина с юности не бывало отношений с женщинами.

В тот весенний вечер их с радостью встречали в ресторанчике, где он был завсегдатаем еще с 40-х годов. Здесь к нему все обращались "синьор Грин". Все, за исключением Джеммы, которая не владела английским вообще и называла его Грамгрин или же просто Грам. Остров Капри устраивал Грэма — и во многом именно благодаря простоте, неизменно царившей в ресторане Джеммы. Подобно прочим беспокойным людям, он предпочитал, чтобы в родной гавани все оставалось по-прежнему. А сама Джемма могла бестрепетно подойти к столику Грэма и, улыбаясь, взять его за руки. Как ни странно, он относился к ней с безграничным доверием и теплотой. Мне думается, что свою роль в этом сыграл не только языковой барьер: спокойная доброжелательность Джеммы привлекала посетителей, которые оставались ей верны всю жизнь.

Она открыла свой ресторан в 30-е годы вместе с мужем, который много лет исправно исполнял должность шеф-повара. Родившаяся в большой крестьянской семье, с детства привыкшая к труду, она, как и большинство ее ровесников на Капри, с юности стала опорой и поддержкой для своих близких. Сначала два, а потом и три поколения ее родственников работали в ресторане, ее брат занимался ловлей рыбы, которую поставлял ежедневно. Джемма иногда рассказывала о своих

родителях, об их жизненной стойкости и постоянной заботе о многочисленных детях. Еще она рассказывала о голодных военных годах, когда запасы продовольствия на острове изымались для нужд действующей армии; о том, как толпы отчаявшихся жителей Неаполя в марте 44-го наводнили Капри после ужасных бомбардировок, к которым прибавилось еще и извержение Везувия. Тогда неапольцы тщетно ожидали найти на острове кров и пищу. Умиротворенность и спокойствие, свойственные Джемме, царили в ее ресторане даже в самый разгар сезона — с середины июня по конец сентября. В те дни большая застекленная терраса, откуда открывался прекрасный вид, обычно бывала заполнена до отказа самой пестрой публикой: влюбленными парами, семьями отпускников, светскими знаменитостями, появлявшимися к полуночи.

Если Грэм задерживался с весенним или осенним визитом на Капри, Джемма всегда спрашивала у нас, когда он собирается приехать. Фрэнсис, который очень любил Джемму, как-то шутя укорил ее: "Грэм тебе дороже, чем я". На что Джемма совершенно серьезно ответила: "Ну да. Ему я гораздо нужнее".

В 1984 году, когда Джеммы не стало, Грэм провожал ее в последний путь.

Однажды, в самом начале своих визитов на Капри, Грэм и Кэтрин неожиданно приехали под Рождество и обнаружили, что все закрыто, включая ресторан Джеммы. Даже Кармелина уехала из "Розайо" — отмечать Рождество в кругу семьи. Грэм вспоминал:

— Узнав, что нам негде не то что встретить праздник, но и купить еды, Джемма пригласила нас к себе на праздник. Нас усадили за стол, и тут обнаружилось, что все остальные остались стоять. Вся семья прислуживала нам, и никакими силами нельзя было убедить их присоединиться к трапезе.

— Вы там были почетными гостями, прямо как на Востоке, — добавил Фрэнсис.

— Да, именно. Мы сидели, как мандарины на троне, и нам подавали еду.

Именно тогда было положено начало многолетней традиции, соблюдавшейся, впрочем, не слишком аккуратно, — встречаться вчетвером на Капри весной и осенью. Грэм и Ивонна приезжали примерно на месяц, Фрэнсис и я оставались дольше. Однажды мы пошли к ним в "Розайо" обедать. Дом был открыт настежь по случаю хорошей погоды, и сад — подобно всем садам острова — являл собой сплошное буйство цвета. Бордюры из белых маргариток, гирлянды петуний и вьющейся герани, темно-синяя лобелия, шпалерные розы и живописные группки амариллиса, бледного или темно-красного, — все это великолепие, переливавшееся на фоне белостенной ограды, было делом рук Аньелло, мужа Кармелины.

Несколько раз мы собирались в "Розайо" второго октября, чтобы отметить день рождения Грэма, когда сад полыхал золотом и бронзой позднего средиземноморского цветения. Иногда мы заглядывали туда по вечерам пропустить стаканчик-другой, чтобы затем идти ужинать в тратторию "Ла Рондинелла" в Анакапри, где Грэм заранее заказывал столик в укромном уголке. В первые годы нашей дружбы Грэм и Ивонна время от времени покидали Монте-Соларо и взбирались по крутым сту-

пеням на крытую террасу нашего дома. Гораздо реже Грэм предлагал пообедать у моря или неторопливо пройтись до какого-нибудь отдаленного ресторанчика. Но нашим излюбленным местечком по вечерам оставался ресторан Джеммы. Довольно часто мы просто заходили туда не сговариваясь; иногда мы с Фрэнсисом выбирали отдельный столик, чтобы Грэм с Ивонной могли посидеть одни.



После целого дня работы так приятно было переодеться и пройтись до площади, наслаждаясь видом моря и неба. Мягкие сумерки, предвкушение приятного вечера, радушный прием в любимом ресторане и ранний, по итальянским понятиям, ужин.

Когда мы познакомились, Грэм уже не был любителем спиртного. Они с Ивонной могли посидеть за бутылкой сицилийского "Корво" ("Название понравилось") или розового из Равелло. Как правило, ели мы мало, в основном местную рыбу или морскую живность. Еда для нас никогда не значила много, и мы почти о ней не говорили и не обсуждали выбор. Разве что Грэм иногда принимался ворчать по поводу вспомнившейся ему дорогой или невкусной еды, поданной в далеком прошлом ("Не могу забыть, сколько с нас взяли в отеле за тот пикник". — Это о послевоенном путешествии в Афины). Аскетизм был частью парадоксальной личности Грэма.

Хотя вечерние визиты к Джемме доставляли Грэму явное удовольствие, мне кажется, что сама по себе необходимость питаться несколько раз в день была ему в тягость. Он был необыкновенно чувствителен к любому виду принуждения. Вряд ли можно представить себе что-либо более императивное, нежели зависимость человека от его пищеварительной системы. Судя по воспоминаниям, Грэм еще в детстве бунтовал против установленных часов приема пищи ("В еде на скорую руку есть прелесть, не свойственная обычным завтракам, обедам и ужинам"). В детстве он таскал смородину и изюм из школьной кладовой: "Набив левый карман смородиной, а правый — изюмом, я прятался в саду и устраивал там пир". Последствия этой трапезы были вполне закономерны — "под конец меня всегда немного подташнивало, но из соображений безопасности я вынужден был съедать все подчистую, даже хвостики, к которым прилипала пыль из карманных швов"[1]. <...>

Хотя Грэма часто называли писателем своей эпохи, ему посчастливилось избежать плена литературной хронологии. Его лучшие работы — гремучая смесь остроумия, захватывающего сюжета и пронзительного чувства одиночества — не утратили свежести и живости. Да и самого Грэма, встречавшего жизнь лицом к лицу и с неизменным скепсисом, уж никак не назвать старомодным. По правде говоря, старомоден — и как писатель, и как мужчина — он был только в молодости и лишь в одном — в отношениях с женщинами.

С 20-х по 40-е годы Грину и нескольким его талантливым соотечественникам довелось создать такие произведения, где причудливо переплетаются страх и решимость, гнев и угроза, чувствительность и чувственность и где ироничная доброта героя резко контрастирует с

1. Цитаты этого абзаца даны в переводе А. Бураковской.

бессмысленной суетой официальной власти и исходящей от нее угрозой. В центре подобной прозы зачастую стоит особая личность — писатель по призванию, умный, тонко чувствующий меланхолик с обнаженными нервами (порой наделенный тягой к алкоголю), которого буквально обожествляет красивая и самоотверженная женщина существенно моложе его.

Эти вполне узнаваемые отношения между полами, столь характерные для британских интеллектуалов в период между двумя мировыми войнами, так или иначе представлены и в произведениях самого Грэма — порой слегка разбавленные восточным колоритом, как, например, в "Тихом американце".

Если же на первый план выходит героиня, романисты тех лет пишут так, словно в литературе никогда не существовали Элизабет Беннет, Доротея Брук[1], Бекки Шарп или Эмма Бовари. С точки зрения писателей-мужчин, идеальная женщина — либо служанка, либо объект случайных постельных утех.

В своей книге "Враги обещания" Сирил Коннолли[2] рассуждает о печальной участи тех хороших писателей (исключительно мужского пола), кто имел неосторожность жениться. Из этой западни можно выбраться разве что благодаря счастливой случайности, если лишенная всякой индивидуальности жена всецело посвятит себя интересам мужа: "Жене должно хватать ума и чуткости, чтобы понимать и ценить непонятную для нее работу творческого воображения. Настоящая жена хорошо понимает, что бывают моменты, когда тихое домашнее счастье начинает надоедать, когда любовь, уборка, плата за жилье, цены, одежда, развлечения и звонки в дверь должны прекратиться. Настоящая жена также должна понимать, что у искусства нет большего врага, чем коляска в прихожей".

Этот пассаж как нельзя лучше отражает собственные мысли Грина. В "Тихом американце" они вложены в уста главного героя, стареющего журналиста Фаулера, который бежит на Восток, подальше от тихих английских пригородов; они означают для него "дом, в котором нечего рассчитывать на сострадание: поломанный трехколесный велосипед в прихожей, разбитую кем-то из домашних любимую трубку, а в гостиной — детскую рубашонку, к которой еще не пришили пуговку"[3]. Миниатюрная вьетнамка Фуонг, любовница Фаулера, — не более чем игрушка, которая оказывается в комнате или постели своего хозяина только тогда, когда он в ней нуждается, а в остальное время послушно растворяется в пространстве. Приготовив трубку опиума для Фаулера, она ложится "у ног, как верная собака на могиле крестоносца".

Надо сказать, что и Коннолли, и Грин прошли через довольно продолжительные и при этом крайне неудачные любовные связи (а Кон-

1. Элизабет Беннет — героиня романа Джейн Остин "Гордость и предубеждение" (1813), Доротея Брук — героиня романа Джордж Элиот "Миддлмарч" (1872). Ш. Хэззард здесь ставит в один ряд героинь добродетельных (Элизабет и Доротея), циничных (Бекки Шарп) и распущенных (Эмма Бовари), но способных самостоятельно принимать решения.
2. Сирил Коннолли (1903—1974) — английский журналист, критик и эссеист; в наиболее известном его сборнике "Противники обещания" (1938) речь идет о судьбах писателей и путях признания.
3. Перевод Е. Голышевой, Б. Изакова.

нолли — еще и через брак) с красивыми и энергичными женщинами, чьи темперамент и целеустремленность совершенно не вязались с идеалом домашней хозяйки. И при виде холла, забитого колясками и велосипедами, Грэм и его герои тут же рвались в далекие поездки. В свою очередь, мысль о самоуничижении женщины практически не покидает страниц его романов. Прототипом главной героини "Конца одного романа" Сары Майлз, как известно, послужила Кэтрин Уолстон, блиставшая в доме мужа, где бывали самые влиятельные персоны. А вот выдуманная Сара, чье положение в браке было не менее устойчиво, убеждена, что ради собственного счастья следует бросить долготерпеливого супруга и уйти к раздражительному любовнику-писателю. При этом у нее, молодой еще женщины, нет ни малейшей склонности развивать свой нераскрытый личностный потенциал. Напротив, она рассуждает так: "Если я буду печатать на машинке для тебя, мы сэкономим 50 фунтов в год".



Роза в романе "Брайтонский леденец" буквально готова умереть по первому слову возлюбленного: "Я все для тебя сделаю. Только скажи". В пьесе "Гостиная" героиня — тоже Роза — жертвует всем ради любви, покончив с собой: "Скажи мне только, чего ты хочешь. Я на все ради тебя готова". В ранней прозе Грина активность женщины всегда подозрительна. Девушки могут быть милыми и даже остроумными, но никогда — приспособленными к жизни. В романе "Суть дела" скучная, надоедливая и слезливая жена Скоби Луиза неожиданно заявляет, что хочет найти работу, пока идет война. Ее добродетельный муж не медлит с ответом: "Надеюсь, что до этого не дойдет". Напротив, его любовница, девятнадцатилетняя Элен, восхитительно беспомощна: "Я совершенно ни на что не гожусь". Спасенную после кораблекрушения Элен поселяют в барак, где ее и навещает Скоби. Любовь к нему оказывается для нее, фигурально выражаясь, кораблекрушением — у нее нет ни цели, ни како-либо перспективы в жизни. Именно беспомощность — залог ее обаяния: "Скоби навсегда запомнил, как ее внесли в его жизнь — на носилках, с закрытыми глазами, судорожно вцепившуюся в альбом для марок"[1]. В этом романе кончает с собой и сам главный герой Скоби, будучи не в силах сделать выбор между двумя женщинами, каждая из которых целиком зависит от него.

Супруга Кэтрин Уолстон звали Генри. Как раз этим именем беспощадный Грэм наградил нелепого мужа-рогоносца в "Конце одного романа". Сама эта книга, по накалу страстей скорее напоминающая любовное письмо, была написана в первые годы бурного романа между Грэмом и Кэтрин и вышла в свет в 1951 году, когда до разрыва оставалось еще десять лет.

Генри Уолстон, как правило, тактично не замечал многочисленных связей Кэтрин — и в особенности ее затянувшихся отношений с Грином. Его любезная близорукость стала казаться многим подозрительной, но он оставался терпимым, доброжелательным и покорным, будучи, судя по всему, твердо убежден, что красавица-жена никогда его не

1. Перевод Е. Голышевой, Б. Изакова.

оставит. Он упорно цеплялся за свою позицию, которую трудно назвать выигрышной. Тем временем страдающий Генри Скоби из "Сути дела" успел уступить место целой череде малодушных и трусливых Генри — Генри Майлзу, Генри Пуллингу, "бедному Генри" Готторну ("...жаль, что его зовут Генри")[1] — наделенных в романах Грина свойством нежизнеспособности. Да и само имя Генри стало для Грэма нарицательным — обозначающим недалекость и слабость.

При этом самого Грэма также звали Генри. Осенью 1904 года он был окрещен Генри Грэмом Грином. Лет до двадцати его иногда называли Генри. Зная его, могу сказать с уверенностью, что Генри попало в его книги неслучайно. <...>

Годы занятий журналистикой выработали у него не только наблюдательность, но и особое умение определять потенциальный коммерческий успех попавшегося ему произведения. Если в новой книге обнаруживались живость и энергия, пусть даже приправленные некоторым цинизмом, это его отнюдь не раздражало. Правда, оценку подобным текстам Грин всегда старался выносить, исходя из достоинств сугубо литературных, а его требования к языку по-прежнему были высоки и бескомпромиссны. В женщинах-литераторах он ценил те неожиданные черты, которые уравновешивали свойственную их полу чувствительность: насмешливость, чудачество или же терпкую асексуальность — нечто такое, что он впервые заметил в "Миланской гадюке". "Когда я — не знаю, на счастье или на беду — снял в четырнадцать лет с библиотечной полки 'Миланскую гадюку' мисс Марджори Боуэн, участь моя была решена. С этого момента я стал писать... Читая ее, вы не сомневаетесь, что писать — значит радоваться"[2]. "Миланская гадюка" вышла в свет в 1906 году, когда ее автору было всего шестнадцать лет[3]. Книга прочно заняла почетное место на книжных полках целых поколений юных англичан. Стала она частью и моего собственного детства. Я храню ее до сих пор. Это историческое повествование о бесконечных войнах между герцогами Вероны и Милана (Миллана, как мы тогда произносили), своей отстраненной интонацией напоминающее произведения Стендаля об этих удивительных и жестоких временах. Умелое сочетание ужаса и очарования захватывает читателя книги целиком: благоухающая желтофиоль в залитом лунным светом весеннем саду своим цветом "напоминала подсыхающую кровь". По словам Грэма, в этой книге зло вызывает у читателя интерес.

В женской прозе Грина всегда раздражало, что отношения между полами описаны без должной сдержанности и такта, но с еще большим возмущением он относился к изображению любви у писательниц-интеллектуалок. Он сообщил мне, что никогда не читал "Гордость и предубеждение", причем в его словах невольно угадывался подтекст, которого он, может, и не имел в виду.

1. Генри Майлз — слабовольный муж Сары, главной героини книги "Конец одного романа", Генри Пуллинг — рассказчик и главный герой "Путешествия с тетушкой" (1965), Генри Готторн — персонаж "Нашего человека в Гаване" (1958).
2. "Потерянное детство". Перевод А. Бураковской.
3. "Миланская гадюка" (1906) — роман английской писательницы Габриэлы Маргарет Веры Кэмпбелл (1886–1952), известной под псевдонимом Марджори Боуэн. В тексте Ш. Хэззард допущена неточность — роман был опубликован, когда писательнице исполнилось двадцать лет.

Грэм не жалел времени и похвал в адрес полюбившихся ему новых книг. Он всегда читал с энтузиазмом. Каждая из них была потенциальной загадкой, неизведанной землей, обещанием нового. Мне думается, что, только рассуждая о книгах, Грин превращался в оптимиста.



Хотя он не любил, когда пресса именовала его "католическим писателем" или "католическим романистом", он не скрывал своего интереса к художественной прозе, так или иначе связанной с католицизмом. К тому же некоторые его молодые протеже-литераторы были католиками. Он сохранил определенный интерес к книгам-паломничествам, посвященным опасным блужданиям по окольным путям мира сего. Обычно наши мнения о той или иной книге совпадали — и почти всегда речь шла об авторах прошлых лет. Но у Грэма была еще одна черта, на этот раз касающаяся тех произведений, которые попали в его не подлежащий обжалованию черный список. Он высказывал свои суждения настолько безапелляционно и с такой горячностью, что перечеркивал всякую возможность дальнейшего обсуждения. Надо сказать, что он никогда не чувствовал себя потерянным в лавине новых публикаций и всегда помнил понравившихся ему авторов и названия книг — будь то один-единственный роман, малоизвестные мемуары или сборник злободневных рассказов. Обнаружив, что нам известно имя романиста Фрэнка Таохи[1], который к тому времени давно перестал писать, Грэм возмущенно переспросил: "Таохи? А куда пропал Таохи? Он же неплохо пишет". Его собственная плодовитость, не иссякавшая до конца дней, заставляла его нетерпимо относиться к тем, кто не обладал подобной способностью.

Весьма рассудительный во всем, что касается издательской политики, Грэм тем не менее всегда был на стороне писателя. Однажды стало известно, что один молодой, подающий большие надежды автор, которого он сам и привел в издательство "Бодли Хед", вскоре ушел оттуда. Грэм сказал нам тогда: "В издательстве заявили, что новая рукопись — не лучшая его работа. Как будто ты обязан всю жизнь выдавать только самое лучшее".

Грэм очень доверял Максу Рейнхардту, возглавлявшему "Бодли Хед", который создал особый стиль работы и добился процветания издательства. В самом Рейнхардте он ценил прежде всего благоразумие и способность держаться на плаву. В марте 1972-го, когда был убит итальянский издатель Джанджакомо Фельтринелли (сработало взрывное устройство; мотивом, видимо, послужила нелегальная деятельность покойного), Грэм написал нам, что предпочитает в издателе твердость и устойчивость во всех смыслах: "Не представляю себе, чтобы Макса взорвали под какой-нибудь колонной".

Посещая Капри, Грин руководствовался отнюдь не теми соображениями, которые приводили туда прежние поколения иностранных писателей и художников: древней историей острова, его непреходящей красотой или жаждой новых впечатлений. Напротив, если предыдущие

1. Джон Фрэнсис (Фрэнк) Таохи (1925–1999) — английский прозаик, автор ряда романов и нескольких сборников рассказов.

путешествия Грэма можно назвать "бегством", то и его приезды на Капри как нельзя лучше характеризуются тем же словом. Он стремился убежать — от рутины и бесконечных помех, а значит, и от апатии, подстерегавшей его в Антибе, где он жил постоянно. А еще на Капри он мог побыть наедине со своей любовью — то есть, по большому счету, с творчеством.

Грэм никогда не оставался на Капри надолго. Короткие приезды на остров весной и осенью обычно были начальным или заключительным этапом небольших путешествий по знакомым уголкам Италии, связанным для него с именем Кэтрин Уолстон. Они с Ивонной могли провести несколько дней в Равелло, городке высоко в горах над Амальфи, или же отправиться поездом в Рим, где они останавливались в "Гранд-отеле" неподалеку от вокзала. Но даже в этих коротких поездках целью Грэма отнюдь не было спокойствие. Напротив, в письмах он не без удовольствия перечисляет разного рода мелкие отступления от привычного распорядка. "Как только мы прибыли в Рим, обнаружилось, что "Гранд-отель" кишмя кишит полицией, поскольку все ожидают королеву. Во время сиесты мы сидели в пижамах у себя в номере и наблюдали из окон за ее прибытием". В 1970-х он приезжал к Гарольду Эктону во Флоренцию и к Кеннету Макферсону (с ним он познакомился во время одного из своих первых визитов на Капри) на красивейшую виллу в Четоне. Таким образом, для Грэма пребывание на Капри было чем-то вроде передышки от постылой рутины. В "Розайо" он каждое утро садился работать: "Задаю себе триста пятьдесят слов" — а вообще старался придерживаться местного распорядка. Одним словом, остров создавал иллюзию "дома", насколько Грэм вообще мог выдержать такую иллюзию.

Чувства, которые Грэм испытывал к "Розайо", во многом зависели от обстоятельств и настроения. Он признавался, что подумывал продать дом практически с момента его покупки. Как-то раз в начале 70-х снова заговорив о продаже "Розайо", он признался: "На Капри меня не покидает странное чувство. Мне кажется, что мне здесь не место". — "А где же тогда ваше место?" — спросил его Фрэнсис. Грэм в ответ только со смешком пожал плечами: "Ну уж не в Антибе, это точно. Но зато там *она*". Она — это Ивонна; Грэм называл ее так до самого конца. <...>

В 1948 году, пока Грэм занимался покупкой "Розайо", на соседний остров Искья прибыли У. Х. Оден и его спутник Честер Калман. Это были первопроходцы, авангард будущего нашествия на Искью, к чему обитатели острова привыкли довольно скоро. По своим размерам Искья существенно превосходит Капри, к тому же в те годы там было заметно спокойнее и тише. Прибавьте к этому отличные пляжи и дивные места, которые весьма украшают виднеющиеся тут и там погасшие вулканы. Позже, правда, выяснилось, что подобный рельеф как нельзя лучше подходит для строительства современных автострад и многочисленных новых домов — для всего того, что невозможно на Капри из-за меловых утесов и обрывистых горных склонов.

Находясь существенно ближе к материку, чем Капри, Искья по неизвестной причине весьма редко упоминается в путевых записках прошлых столетий, хотя в XVIII веке остров служил местом королевской охоты неаполитанских Бурбонов. Само название (происходящее, веро-

ятно, от искаженного "Питекуза" — колонии эвбейских греков, основанной здесь в VII веке до Рождества Христова) едва ли было известно за пределами Италии, исключая, быть может, археологов или охотников до целебных грязей и минеральных источников.



В 1957 году, покидая ставшую шумной Искью ради северной прохлады, Оден поведал, отчего англосаксонскую культуру тянет к неаполитанским берегам:

Выходцы с готики севера, бледные дети
Культуры картошки, пива и виски,
Мы, подобно отцам, отправляемся прочь,
На юг, в загорелую неизвестность

Винограда, барокко, la bella figura,
Утонченных селений. Туда, где мужчины —
Самцы. Где не учат детей беспощадной
Словесной борьбе, как нас обучали...

...Кто-то едет, решив, что amore
Приятней на юге, к тому же дешевле
(Что вряд ли). Другим рассказали,
Будто вредно для вирусов солнце

(Что есть очевидная ложь). А такие, как я —
Средних лет, — мы стремимся сбежать
От проклятых вопросов — кто мы и во что превратимся.
Юг, похоже, не знает подобных терзаний...[1]

Для Грэма Грина все это — природа, античность, архитектура, живопись, солнечные ванны, созерцание красот и даже вирусы — не имело никакого значения. Кроме того, ничуть не менее англичанин, нежели Оден, он никогда не сравнивал себя с другими народами и уж тем более не стремился, чтобы сравнение говорило в его пользу.

Зато amore никогда не покидала его. Внезапная покупка "Розайо", видимо, была следствием серьезного увлечения Кэтрин Уолстон. Ему хотелось жить вместе с ней в экзотическом, но уютном гнездышке — вдали от ее мужа, детей, плохой погоды и всего прочего, что связано с Англией. Он мечтал быть наедине с ней и — работой. При этом у него не было особого желания эмигрировать или радикально менять что-либо. "Гринландия", как и amore, путешествовала вместе с ним.

В юности Грэм повидал много стран, весьма отдаленных как от Англии, так и от цивилизации, и в высшей степени ярко и оригинально описал их в своих книгах. Но серьезная работа над словом совершалась только в Англии. В 1948 году в переписке с Элизабет Боуэн и В. С. Притчеттом изложены его взгляды на этот счет:

Еще одна серьезная угроза [для писательства] — в том, что мы часто не можем позволить себе жить вдалеке от источника вдохновения, какой бы комфортабельной ни была такая ссылка. Я один из тех, для кого практически не-

1. У. Х. Оден. Прощание с Mezzogiorno. Mezzogiorno — полдень; юг (*итал.*).

возможно писать вдали от Англии (как пришлось во время войны), поэтому одна мысль об этом внушает мне настоящий ужас.



В тот же самый год Грэм купил "Розайо", отнюдь не собираясь оседать в Италии на сколько-нибудь длительное время. Дом, который так хвалили за обстановку, был приобретен, насколько я припоминаю слова Грэма, всего лишь за гонорар от "Третьего лица", несмотря на то, что счета в Европе были заморожены. В ту пору для частного лица было практически невозможно перевести деньги из Великобритании в другую страну, тогда как любая сумма, переведенная в Великобританию из-за границы, освобождалась от налога. <...>

С учетом всего этого, "писать вдали от Англии" Грэму не очень-то и приходилось, поскольку его визиты на Капри были сравнительно непродолжительными. К тому же его мало интересовала не только жизнь самого острова, но и положение дел на родине. За прошедшие годы изменился и сам остров, утратив многое из того, что ранее привлекало Грэма, и поездки туда постепенно превращались в стимул для перемены обстановки или развлечение. К тому же в его творчестве все меньше и меньше ощущалось влияние Музы. Остроты ранней прозы, равно как и энергии более легкомысленных, ярких и живых книг, которые сам Грэм однажды определил как "развлекательные", больше не было. Оставался, однако, профессионализм: неповторимые стиль и интонация, отточенное, сжатое повествование, которые захватывали читателя, не давая ему отвлечься. <...>

Сирил Коннолли, один из приятелей молодости Грэма, призывал разграничивать "бегство эмигранта по кратчайшему маршруту к вожделенной цели... и прихотливую траекторию движения завзятого путешественника, который никуда не стремится, но без оглядки отдается опьянению дорогой".

Мне думается, что Грэмом руководили в его странствиях оба эти побуждения — а также беспокойное желание побродить по опасным границам собственного мира. Что касается опьянения дорогой, то оно существенно выветрилось с годами, уступив место безразличию. В эпоху реактивных самолетов билет в оба конца не только заметно сократил время пути, но и уничтожил крупицы риска и трудности, которые в свое время заставляли Грэма в одиночку отправляться в разные загадочные страны. То, что раньше было достоянием немногих, вдруг стало маршрутами туристических групп.

Путешествия Грэма — в Центральную и Латинскую Америку, в Центральную и Южную Африку, в Россию — в 1950-х годах стали для него необходимостью: сначала из-за глубокой внутренней потребности сменить одну разновидность несчастья на другую, а впоследствии — оттого, что его привлекала бурная политическая жизнь и обещание новых тем. Единственное, что сохраняло для него важность, — это непременные, хотя и нерегулярные поездки на Капри.

В "Розайо" распорядок дня Грэма оставался неизменным: по утрам работа в студии, днем — получасовая прогулка с Ивонной по тропе, называвшейся "Мильера", вдоль Анакапри и дальше, к чудесным меловым утесам на западной оконечности острова. Вечером — поездка на автобу-

се в город Капри, столицу острова, где в кафе на площади можно было пропустить стаканчик-другой, за которым обычно следовал ужин у Джеммы. Островитяне, да и большинство туристов, даже если узнавали Грэма в лицо, обычно проявляли такт, уважая его уединение. Возможно, они чувствовали его равнодушие не только к их назойливому любопытству, но и ко всему, что его окружает. Попытки городских властей изобразить его искренним почитателем острова, этаким представителем артистической богемы, неизменно разбивались о стену его отчужденности. Он не был местной достопримечательностью и не мог ею стать, не имея ничего общего ни с атмосферой острова, ни с его жителями. Пребывая на Капри, он не принадлежал ему. <...>



Среди причин равнодушия Грэма к Италии нужно назвать и полное безразличие к ее красотам, столь ценимым туристами. Ивлин Во после Второй мировой войны выражал сожаление, что не уделил Европе должного внимания во время своих ранних путешествий в 20—30-е годы. Позже он писал о молодых неугомонных английских писателях, которые ошибочно воображали, что:

...Европа может подождать. Для Европы еще будет время... Это были годы, когда мистер Питер Флеминг отправился в пустыню Гоби, мистер Грэм Грин — в глубь Либерии, а Роберт Байрон[1] путешествовал по развалинам Персии. Мы повернулись спиной к цивилизации. Но если бы мы только знали... Если бы мы только знали, сколь хрупко и непрочно все то, что нам представлялось тогда незыблемым и построенным на века. Если бы мы знали, что пышное великолепие здания Запада обречено растаять, как ледяной дом... Но мы не знали ничего. Мы искали трудных дорог и опасных путей. Меня тянуло в тропики и Арктику в поисках взросления, путешествия казались залогом возмужания.

Конечно, среди литераторов встречались исключения — например, восемнадцатилетний Патрик Ли Фермор[2], который в 1933 году отправился в свое знаменитое пешее странствие из Роттердама в Константинополь.

Сожаления Ивлина Во о сумеречном очаровании Европы между двумя мировыми войнами Грэм Грин разделял далеко не всегда. Хотя он был ближе знаком с Во, чем многие его современники, Грэм, как он сам сказал мне, "не испытывал трудностей" из-за взрывного темперамента Ивлина. "Я часто видел их вдвоем и невзирая на то, что один другому не уступал мощью, ни разу не видел, чтобы Ивлин плохо вел себя в его [Грэма] присутствии", — пишет Кристофер Сайкс, один из первых биографов Ивлина Во, и проливает свет на эту загадку: хотя Грина и Во можно назвать современниками, Грэм неизменно относился к Ивлину как к старшему и более мудрому коллеге, его письма к Во временами проникнуты странным благоговением.

1. Роберт Байрон (1905—1941) — английский журналист, автор многочисленных книг о путешествиях. Побывал в Индии, Тибете, Афганистане, Китае, Персии, России и в других местах.
2. Патрик Ли Фермор (р. 1915) — английский ученый и путешественник, кадровый военный; автор ряда книг воспоминаний и путевых заметок.

Однажды, увлекшись обсуждением последней биографии Ивлина Во, написанной Мартином Стэннардом, Грэм проговорился: "Меня удивило, каким плохим солдатом он был". Притом он никогда не уставал восхищаться сатирическими романами Во.

Женская красота, волнующая и мучительная, никогда не оставляла Грэма равнодушным, тогда как произведения искусства, памятники античности или города Европы он редко удостаивал упоминания, будь то в книгах или разговорах ("Скучал во Флоренции", "В Риме меня ничего не трогает", — цитирует Норман Шерри его любовные письма к Кэтрин). В этих словах, помимо укоренившегося нежелания быть как все, прочитывалось и подлинное отсутствие интереса. С другой стороны, Грин мог удивить своей неожиданной памятливостью, касавшейся необычной архитектурной детали или пейзажа, виденного несколько лет назад. Иногда он повторял хрестоматийные фразы о видах Капри, будто затверженный урок. И все же красота природы привлекала его внимание очень ненадолго. Во время своих азиатских странствий он делал живые и точные наброски уличных сценок в Индокитае, где причудливо смешиваются томная лень и назойливая экзотика. Рисовые поля и дельты вьетнамских рек были интереснее для его писательского взгляда, нежели английская буколика. Но он никогда ни словом не обмолвился ни о живописи и живописцах, ни о музыке и композиторах. Невероятной казалась сама мысль о том, будто он мог зайти в музей, посетить выставку или концерт. Если же он и бывал в музеях или концертных залах, то нам об этом ничего не было известно. Когда мы — признаться, лишь изредка — касались в разговоре нашего увлечения искусством, он не проявлял ни малейшего любопытства. Для человека, совершенно равнодушного к зрительным образам, выбор Капри выглядел несколько странно — а может быть, напротив, совершенно закономерно.

Поколение Грэма выросло в атмосфере обывательского равнодушия к внешним красотам. (Во, в свою очередь, "печально признавался" своей приятельнице Анне Флеминг, что "красота природы не доставляет ему никакого удовольствия"). При этом в юности Грэм отнюдь не был обделен яркими зрительными впечатлениями. Да и роман с Кэтрин Уолстон, которая собрала за время замужества весьма неплохую коллекцию картин, явно подогрел его интерес к живописи. Если в конце концов Грэм счел подобные вещи пустым развлечением, видимо, они его и впрямь не слишком трогали.

Он сам говорил и писал в мемуарах об ослабленности своего зрительного восприятия, которое, в сочетании с усиливающейся апатией, стало в известное время предвестником его подросткового срыва, с которым пытался справиться Кеннет Ричмонд летом 1921 года: "После психоанализа я несколько лет не воспринимал красоты окружающего мира. Глядя на пейзаж, который, по мнению других, был прекрасен, я не испытывал ровным счетом ничего"[1]. Видимо, доля этого равнодушия осталась у Грэма на всю жизнь.

1. Перевод А. Бураковской.

Сам Ричмонд, который, судя по отзывам, был человеком эксцентричных взглядов и столь же эксцентричной внешности, искусством очень интересовался. Но даже его странности — а Ричмонд был спиритист, убежденный медиум, отчасти фрейдист, отчасти юнгианец, психоаналитик, который сторонился общепринятых оценок, методов лечения и материальных целей, — лишь увеличивали доверие Грина. Одержимый интересом ко всему сверхъестественному и необычному, психиатр, по словам Грэма, проявлял особую заботу о пациентах, живших в его лондонском доме. Само по себе освобождение от школьных мучений и жизнь в окружении мудрых и добрых людей сыграли, как признавался потом Грэм, немалую роль в его выздоровлении. Здесь его спасли, и Грэм никогда не забывал этого. Более того, здесь он сформировался как личность. Именно Ричмонд поддерживал Грэма и убеждал его писать и публиковаться. Именно он познакомил шестнадцатилетнего мальчика с известными писателями и издателями. Он помог Грэму не только своими литературными связями — он вселил в него надежду. <...>

Несколько раз Грэм принимался рассказывать нам о своих предках XVIII и XIX столетия — мягкотелых и эксцентричных, жестоких и безнравственных, распутных и закосневших в грехе. Он замечал при этом, что, когда врачи подробно расспрашивали его о родителях и детских впечатлениях, они почему-то совсем не интересовались такой его наследственной чертой, как меланхолия. Среди своих эмоционально нестабильных родственников он мог бы назвать — хотя и не называл — имя Томаса Стивенсона, известного шотландского изобретателя, в чьем нраве и темпераменте, судя по замечательному эссе его сына Роберта Луиса, воплотились все семейные качества. Описывая отцовские "вспышки гнева", сын делает вывод: "Любовь, гнев и раздражение бурлили в нем и находили выход в фантазии".

Теплые чувства к Роберту Луису Стивенсону заставляли Грэма испытывать глубокую неприязнь к жене писателя — он полагал, что эта женщина, олицетворявшая, по его мнению, хищное и разрушительное начало, укоротила и без того недолгие дни писателя. Когда Фрэнсис однажды осмелился заметить, что и самой миссис Стивенсон, несмотря на все ее странности, пришлось немало выстрадать, реакция Грэма была мгновенной: "Нет и нет. Она контролировала каждый его шаг и вертела им как хотела. Она утащила его оттуда, — подразумевается, из Калифорнии и, позднее, с Южных морей. — А потом она, — непередаваемый жест скрюченными, как когти, пальцами, — зацапала его окончательно". И немигающий взгляд голубых глаз.

"Иногда мне кажется, что на жизнь человека больше влияют книги, чем живые люди: о боли и любви можно больше узнать из чужих рук".

Норман Шерри рассказывает, что в их первую встречу Грин заставил его дать обещание посетить все те места в мире, где побывал когда-то он сам за свою долгую писательскую жизнь. Это оригинальное предложение Грэм выдвинул в качестве условия работы над его биографией. Верный договору, Шерри героически объехал земной шар, отыскивая свидетелей, все еще помнивших молодого Грэма, сталкиваясь порой с неменьшими опасностями, подхватывая те же болезни, и наконец — опять-таки как Грэм — чуть не умерев по дороге. Мог ли Грэм заставить

Шерри прочитать такое же немыслимое количество книг, которые неизменно окружали его самого, повлияли на его жизнь, образ мыслей и деятельность, утешали или разжигали страсти и наконец, по его же словам, привили ему "желание писать"? Предположение абсурдное, но все же, кажется, недалекое от истины.

Пожалуй, литература оставалась единственной неизменной радостью Грэма. В ее атмосфере он жил по-настоящему. Она поддерживала равновесие между реальным и воображаемым мирами. Мучительные влюбленности зрелых лет, в особенности страсть к леди Уолстон, привели его на грань безумия и самоубийства. Но читать и писать ему нравилось еще с детских лет. Чтение и письмо доставляли ему ни с чем не сравнимое удовольствие, дарили пищу воображению, помогали развивать талант; общение с родителями, людьми сдержанными, не могло дать ему ничего похожего. Лучшие наши минуты с Грэмом как раз и вырастали из спонтанных словесных игр — того, на чем держалась и его жизнь, и наша собственная. <...>

Фрэнсис однажды поинтересовался, беспокоят ли Грэма литературоведы и прочие препараторы литературы.

— Да, надоедают порой. Но Антиб далеко — если человек в своем уме, разве он туда поедет? А я часто бываю за границей. Конечно, когда я в Лондоне, они порой находят меня. Это совершенно закомплексованные люди. Мне кажется, к ним надо быть особо внимательным, потому что они вечно разочарованы. А также — подчеркнуто вежливым и предупредительным. Как с индусами или женщинами, — внезапно добавил он, явно в мой адрес.

Позднее — как говорится, задним умом — мне пришла в голову нужная реплика. "Я должна была спросить его, — сказала я тогда Фрэнсису, — а разве вы подчеркнуто вежливы с индусами или женщинами?" Он ответил: "В такие моменты обычно теряешь дар речи, на что Грэм и рассчитывал".

# Грэм Грин

# *Часть жизни*[1]



Фрагменты автобиографии

*Перевод с английского* А. Бураковской

...Живя в Сент-Джоне, я прочитал роман Q[2] "Фоу-Фаррел" раза три-четыре, не меньше. Это была драматическая история мести, а я жаждал драматической мести. Насколько помню, в книге политик-демагог погубил эксперимент великого хирурга, напустив толпу на его лабораторию, где он якобы занимался вивисекцией. С этого момента хирург Фоу (а может, Фаррел?) выискивал Фаррела (или Фоу?) по всему миру, год за годом, с одной только целью — отомстить. По-моему, он даже столкнулся с врагом лицом к лицу на шлюпке в Тихом океане, что, конечно, звучит неправдоподобно. Во время долгой и мучительной погони персонажи поменялись местами: преследуемый обрел благородство, а преследователь заразился былой пошлостью врага. Должен сказать, что моральная сторона этой высоконравственной истории меня мало интересовала: меня занимала только месть.

Дело в том, что в школе учился некто Картер, и, когда мне было лет четырнадцать-пятнадцать, он довел до совершенства систему интеллектуальных пыток, основанных на моем двусмысленном положении в школе. Картер обладал воображением взрослого: он умел провоцировать столкновение привязанностей — привязанность к сверстникам против привязанности к отцу и брату. Придуманные им насмешливые прозвища вонзались в мой мозг, как занозы под ногти.

Полагаю, что со временем я справился бы с Картером — мне кажется, в наших отношениях был элемент невольного восхищения друг другом. Меня восхищала его жестокость, а его, странным образом, моя уязвимость. Между палачом и жертвой возникает некая связь. Если пытка длится, значит, палачу не удается сломить жертву и он признает ее ровней себе. В последующие годы я никогда всерьез не собирался мстить Картеру. Другое дело Уотсон.

Уотсон был одним из моих немногих друзей, и он бросил меня ради Картера. В нем не было и тени *тонкости* Картера — тот постоянно протягивал мне руку дружбы, которую отдергивал в последний момент, как конфету, оставляя тем не менее впечатление, что где-нибудь, когда-нибудь пытка кончится. Уотсон же всего лишь неуклюже и тупо подражал ему. Сам он не в силах был меня ранить. Однако именно Уотсону я поклялся отомстить, потому что его бегство оставило меня в полном одиночестве.

A Sort of Life ©1971 Verdant SA
© А. Бураковская. Перевод, 2009

1. Публикуемые фрагменты не вошли в книгу под названием "Путешествие без карты" (Вагриус, 2007), включающую также и "Часть жизни". (*Прим. ред.*)

2. Псевдоним прозаика, поэта и литературного критика сэра Артура Томаса Квиллер-Коуча (1863–1944). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

После окончания школы прошло много лет, но когда я мысленно возвращался в Сент-Джон, то чувствовал, что жажда мести живет во мне, как ящерица под камнем. Правда, я заглядывал под камень все реже. Я начал писать, и прошлое отчасти утратило власть надо мной, перейдя на бумагу. И все-таки раз в несколько лет какой-нибудь запах, кусок стены, книга на полке, фамилия в газете заставляли меня приподнимать камень и смотреть, как ящерица поворачивает голову к свету.

В декабре 1951 года я зашел в магазин "Колд сторедж компани" в Куала-Лумпуре купить виски на Рождество, которое собирался провести в Малакке[1]. Я только что вернулся из Пананга[2] после трехдневного патрулирования джунглей с Гуркхскими Стрелками[3], выискивающими партизан-коммунистов, и чувствовал, что Малайя мне порядком надоела. Чей-то голос произнес: "А ведь это Грин!"

Рядом стоял человек с лисьим лицом и усиками.

— Да, — ответил я, — боюсь, что...

— Я Уотсон.

— Уотсон?

Вероятно, я очень давно не поднимал камень, потому что ни имя, ни бурое лицо обитателя колоний ни о чем мне в тот момент не говорили.

— Мы учились в одной школе, помнишь? Ты, я и еще Картер, мы были этакой троицей. Ты еще натаскивал нас с Картером по латыни.

В те дни, когда я грезил наяву, мне не раз представлялось, как мы с Уотсоном сталкиваемся где-нибудь в людном месте и я его публично унижаю. Ничего более публичного, чем куала-лумпурский магазин "Колд сторедж компани" во время рождественской лихорадки, невозможно было себе представить, однако я смог лишь пробормотать, что "был не слишком силен в латыни".

— Но уж точно посильнее нас.

— Чем занимаешься? — спросил я.

— Таможня и акцизы. Ты играешь в поло?

— Нет.

— Тогда приходи посмотреть, как играю я.

— Я сегодня уезжаю в Малакку.

— Ну, когда вернешься. Вспомним старые времена. Мы ведь были неразлучны: ты, я и Картер.

Было очевидно, что его воспоминания разительно отличаются от моих.

— А что стало с Картером?

— Работал в управлении связи и умер.

Я сказал:

— Когда я вернусь из Малакки...

И в задумчивости вышел из магазина.

Встреча вышла совсем не такой, как я себе представлял. По пути в гостиницу я размышлял, начал бы я писать или нет, если бы не Уотсон и покойный Картер, если бы не те годы унижений, которые вселили в меня неукротимое желание доказать, что я чего-то стою, сколько бы

1. Штат в Малайе.
2. Штат в Малайе.
3. Британские войска специального назначения, состоящие из уроженцев Непала. Славятся бесстрашием и выносливостью.

времени это ни заняло. Нужно ли мне было благодарить за это Уотсона или наоборот? Я вспомнил еще одну старую мечту: стать консулом в средиземноморской стране; чтобы ее осуществить, я даже успешно прошел собеседование. Если бы не Уотсон... Но Уотсон тревожил меня недолго: по приезде в Малакку я напрочь о нем забыл.



И лишь много месяцев спустя, когда я уехал из Малайи, как полагал, навсегда, я вспомнил, что так и не позвонил ему, не сходил посмотреть, как он играет в поло, не предался совместным воспоминаниям о трех неразлучных друзьях. То, что я забыл его так легко, возможно и было моей неосознанной местью. Приподняв камень в очередной раз, я увидел, что под ним ничего нет.

## Глава 4

...С годами меня все больше интересуют мои предки, которые были мне совершенно безразличны в молодости. Круг тем на сеансах психоанализа ограничивался детством и отношениями с отцом и матерью. Я искал причины своего бунтарства внутри себя, в собственных влечениях и страхах. Мне и в голову не приходило, что оно может быть всего лишь звеном в цепи бунтарств, которые бушевали задолго до моего рождения. Один мой предок, священник в летах, скинул с себя облачение и все, что под ним было, стоя посреди поля, другой внезапно бросил семью и отправился на поиски золотой мечты, поразившей его в шестнадцать лет, когда он жил на острове в Карибском море один, далеко от семьи. Мои отец и мать тоже наверняка бунтовали, хотя не знаю, как именно, а может быть, и сам их брак был любовным безрассудством.

Ближе всех я сейчас чувствую себя к деду, отцу моего отца. Четырнадцатилетним мальчиком он отправился на Сент-Китс, чтобы помочь брату управлять плантациями сахарного тростника, принадлежавшими их отцу, однако старший брат Чарльз умер от желтой лихорадки через два года после приезда младшего, и в 1840 году Уильям остался на острове с плантациями "на руках". Баллантайн[1] вполне мог бы использовать эту ситуацию как сюжет для детской книги, хотя туда вряд ли вошла бы легенда о том, что после Чарльза, умершего в девятнадцать лет, осталось тринадцать детей. Уильям тоже переболел желтой лихорадкой и вернулся домой. Мы всегда слишком рано покидаем Коралловые острова, у которых терпим счастливые крушения, но воспоминания о горе Мизери[2] с окутанной облаками вершиной, о черных песках Дьеппе-Бея[3], о церквушке Крайстчерч, возле которой лежал под серой плитой его брат, оказались достаточно сильными, чтобы оторвать пожилого мужчину от семьи с восемью детьми в Бедфорде, при том, что доход его обеспечивал им всем достойное существование (хотя сахарного тростника на далеком острове собирали все меньше и меньше). За двадцать

1. Роберт Майкл Баллантайн (1825–1894) – шотландский писатель, автор книги "Коралловый остров".
2. Другое название – Лиамуига. Потухший вулкан, самая высокая гора (1156 м) на Сент-Китсе, одном из Малых Антильских островов.
3. Пляж на Сент-Китсе.

лет он не сделал почти ничего — в отличие от своих энергичных братьев, никогда не живших как герои Баллантайна: один был директором Английского банка, второй — членом парламента от тори, третий — успешным адвокатом. Уильям взялся было за сельское хозяйство с мыслью вести его по всем правилам науки, но бросил; сдал экзамены на адвоката, но так никогда и не практиковал. Единственное занятие, которому он предавался достаточно долго, было связано с местом, где он поселился и чей адрес он определял в письмах как "Холодный Дом, Долина Отчаяния".

Уильям — не слишком усердно — управлял торфяной компанией, оказавшись в полном одиночестве после того, как его младший партнер покончил с собой. И вдруг исчез из Бедфорда, бросив большой дом, большой сад и большую семью, которой не оставил никаких денег, а потом от него пришло письмо, написанное из халупы сторожа, единственного жилья, стоявшего посреди черных болот (возможно, они напоминали ему черные вулканические пески Карибского острова). Делами компании он почти не занимался, зато совершал долгие прогулки с книгой в кармане, а вечером возвращался к недостроенной трамвайной линии, брошенной гидравлической мастерской, грубой еде, нехитрым речам, которые велись при свете лампы, и узкой походной кровати. Он не был создан для семейной жизни в Бедфорде, игр в саду и волнующих посещений некоего мистера Раста, повергавшего девиц в трепет. Между ним и детьми стояла преграда. Он сидел у себя в кабинете, читая и делая заметки на полях книг. Лишь одна из его дочерей, Алиса, унаследовала отчаяние и романтизм отца, которые завели ее, после его смерти, в Южную Африку, откуда она изредка наведывалась в Англию с рассказами о новых экзотических друзьях: Оливии Шрайнер и генерале Смутсе[1]. Я помню Алису, ее широкое, доброе, умное лицо, в котором с возрастом появилось что-то мужское, помню платье, кажется, габардиновое. В двадцать два года она писала своему брату Грэму: "Когда я думаю о странах, куда хочу поехать, о горах, на которые хочу взобраться (ее отец написал маленькую книжку, напечатанную в Сент-Китсе, о восхождении на гору Мизери), о реках, лесах и долинах, которые хочу увидеть, то прихожу в ярость при мысли, что старею, а возможностей отправиться путешествовать у меня не больше чем десять лет назад".

В мае 1881-го — худшее время года для путешествия на Карибы — дед вдруг собрался туда ехать. Грэм попрощался с ним в Лондоне и написал матери: "Прислал ли тебе отец хоть строчку из Саутгемптона? Я простился с ним во вторник, около часа ночи, в гостинице Чаринг-Кросс. Он курил огромную сигару и не собирался ложиться, чтобы лучше спать следующую, первую на борту, ночь. Надеюсь, его план удался, однако не могу не опасаться, что если море было неспокойно, то в дополнение к морской болезни он был еще и совершенно разбит. В театр мы сходили неудачно, смотрели "Леди из Лиона"[2], крайне тоскливую вещь, совершенно неспособную поднять настроение накануне отплытия".

1. Оливия Шрайнер (1855–1920) — южноафриканская писательница, суфражистка. Иэн Смутс (1870–1950) — выдающийся британский и южноафриканский политический деятель.
2. Мелодрама британского писателя и драматурга Эдуарда Булвер-Литтона (1803–1873).

Судя по письмам Алисы брату Грэму в Лондон, по отцу не слишком скучали. Жизнь в Бедфорде была такой же увлекательной, как и прежде, с сюрпризами в дни рожденья, поездками, чаем в саду, прогулками при луне и очередным приездом опасного мистера Раста ("Его внешность, слова и поступки настолько загадочны, что его чувства мне не более понятны, чем если бы он был сфинксом").



Несмотря на склонность к приключениям, Алиса без колебаний отказалась навестить отца. "Мы с Флоренс очень благодарны, дорогой папа, за приглашение пожить с тобой, но боюсь, что это невозможно. С твоей стороны было так мило предложить это, что я чувствую себя неблагодарной, отвечая отказом, но я и в самом деле могла бы поехать, только если бы все остальные поехали тоже. Как и маме, мне тяжело сознавать, что ты там совсем один, тебе, должно быть, очень тоскливо. Но поскольку мама, полагаю, изложила тебе все "за" и "против", касающиеся твоего предложения, то я не стану больше ничего добавлять и буду лишь надеяться, что мы все когда-нибудь где-нибудь встретимся". "Когда-нибудь где-нибудь" — какими холодными должны были показаться эти слова пожилому человеку, не сумевшему вернуть свою юность под горой Мизери. Меньше чем через два месяца он умер от лихорадки.

Его могила той же формы и размера, что и у брата, но памяти о себе в виде темнокожих Гринов он на острове не оставил. Там помнят Чарльза, умершего девятнадцати лет от роду, на сорок один год раньше. Вероятно, под легендой о его тринадцати детях все же есть какая-то основа: когда я был на острове два года назад, то в лице одного аборигена уловил отчетливое сходство с дядей Грэмом. Наверное, мы были родственниками...

Не знаю, методом какого исключения отец и брат нашли Кеннета Ричмонда, который стал моим психоаналитиком, но я всегда буду благодарен им за этот выбор, потому что в доме Ричмонда, расположенном в Ланкастер-гейт, прошли, пожалуй, самые счастливые полгода моей жизни. Безоблачность счастья в какой-то мере зависит от контраста — встреча влюбленных была бы иной без предшествовавшей разлуки, — и эти завтраки в постели, аккуратно накрытые на подносе, приносимые горничной в накрахмаленном белом чепце, и эти следовавшие за ними частные уроки под деревьями Кенсингтонского сада казались нереально прекрасными после каменных ступеней, классных стен в чернильных пятнах, перекличек, вони в душевой. Лондон был тут же, только руку протяни. Я был свободен. Я мог поехать на автобусе или метро куда угодно. Кино и театры зависели только от содержимого моего кошелька. Воскресных прогулок в тягостной компании не было. Я стремительно взрослел, не испытывая мук переходного возраста.

Только однажды случилось нечто, нарушившее спокойное и тихое течение дней. Пришедший на обед гость рассказывал о несчастном случае — и я мысленно вернулся на десять лет назад в Харстон, к истории о двух дамах в коляске на дороге близ Ройстона: лошадь понесла, одна из дам выпала на дорогу, и длинная шляпная булавка впилась ей в голову. Очнулся я на полу столовой. Я потерял сознание, что иногда случалось со мной и прежде, на ранних службах в школьной церкви. Меня это не встревожило. Воображение нарисовало мне случившееся несчастье во всех деталях, хотя о них не было сказано ни слова, и я упал в обморок,

как студент-медик во время операции. К моему удивлению, Ричмонд отвел меня к специалисту на Харли-стрит[1], но я об этом тогда не думал...

По вечерам я часто оказывался в компании писателей. Одним из них был сам Ричмонд, хотя написанная им книга по теории образования была, на мой взгляд, скучной. В дом был вхож Уолтер де ла Мар — поэт, которым я тогда безмерно восхищался; его паучья подпись украшала мой свежекупленный экземпляр "Вуали"[2]. Он часто приходил со своей близкой подругой Наоми Ройд-Смит, редактором "Уикли Вестминстер", где были напечатаны ранние стихи Руперта Брука[3]. Она была слишком добра ко мне, и через год я принялся бомбардировать ее рифмованными фантазиями сентиментального содержания (некоторые она даже напечатала). Бывал также и Дж. Д. Бересфорд — прозаик, искалеченный детским параличом. "Хамденширское чудо" до сих пор остается одной из лучших, но обойденных вниманием книг, написанных в период между великими войнами, хотя мне тогда нравился его более слабый роман "Революция". Как-то вечером мы играли в игру, где гости по очереди изображали овощи, и помню, как мы все одновременно опознали стручок спаржи Уолтера де ла Мара. Такие вечера сильно отличались от тех, что я проводил в затхлых классах Сент-Джона, готовя домашние задания. В мои обязанности входили только занятия историей по утрам в Кенсингтонском саду, а затем, в одиннадцать часов, посещение сеансов психоанализа.

Кеннет Ричмонд походил скорее на эксцентричного музыканта, чем на человека, который лечит душевные недуги. В сорок с небольшим он был высоким, сутулым, со лбом великого музыканта, длинными волосами, зачесанными назад без пробора, и лицом, которое портили большие пятна, вероятно, нервного происхождения. У него были две маленькие дочери, воспитанные по принципу "детям можно все", а потому безнадежно избалованные. По воскресеньям я присматривал за ними в течение часа, который Ричмонд и его красивая жена Зоя проводили в церкви с эзотерическим уклоном на Бейсуотер, где священник просил прихожан проголосовать, что они предпочитают сегодня: службу или лекцию на психологическую тему. Я же в это время следил дома за тем, чтобы дети хоть раз в неделю слышали слово "нельзя"...

Когда по утрам часы на Бейсуотерской церкви били одиннадцать, я поднимался с садовой скамейки, переходил улицу, поворачивал за угол и входил в маленький дом на Ланкастер-гейт. Если я не помнил свой ночной сон, то Ричмонд просил меня его придумать (в придуманных снах почему-то всегда фигурировала свинья). Насколько я сейчас понимаю, Ричмонд не принадлежал к какой-то определенной школе психоанализа: он был ближе к Фрейду, чем к Юнгу, и, вероятно, находился также под влиянием Адлера. Двадцатью годами раньше произошла трагедия: его пациент покончил с собой, и следователь вел себя отвратительно, поэтому у меня было впечатление, что Ричмонд действует очень осто-

1. Улица в центре Лондона, знаменита тем, что на ней расположены кабинеты известных врачей.
2. Сборник стихов Уолтера де ла Мара (1873—1956) "Вуаль и другие стихотворения", 1921 г.
3. Руперт Брук (1887—1915) — английский поэт, погиб на фронте во время Первой мировой войны.

рожно, мягко. Жизнь с ним принесла мне огромную пользу, однако, что было важнее: психоанализ или завтраки в постели, тишина Кенсингтонского сада и неожиданная свобода — я сказать не решаюсь, равно как не берусь судить, был ли анализ достаточно глубоким. В любом случае, как писал Фрейд, "очень хорошо, если нам удается превратить истерическое состояние в обычную тоску"...



...Когда я вспоминаю годы, проведенные в Оксфорде, они кажутся мне какими-то странными. Во всяком случае, они были совсем не такими, как у Ньюмена или у героев "Возвращения в Брайдсхед"[1]. Их скорее можно сравнить с кембриджскими днями Маклина и Кима Филби[2].

В начале 1924 года произошло незначительное событие, которое могло толкнуть меня на путь шпионажа. Я прочитал сборник рассказов Джеффри Мосса "Поражение" об оккупированных зонах Германии. Мосс описал попытку французских властей создать в подвластной им зоне, между Мозелем и Рейном, сепаратистскую Палатинскую республику[3]. Для поддержки коллаборационистского правительства они свезли туда из Марселя и других портов немецкий криминальный сброд — сутенеров, владельцев борделей, выпущенных из французских тюрем воров. Даже один из министров отсидел срок. Французские солдаты сдерживали натиск толпы, пока безоружных немецких полицейских избивали до бесчувствия. Только вмешательство британского и американского правительств положило конец тому, что получило название "Револьверной республики", однако в Германии продолжали опасаться нового "спонтанного" взрыва.

Я легко приходил в негодование от жестокости — чужой, разумеется, а не собственной. Желание поиграть с опасностью заставило меня написать в немецкое посольство на Карлтон-гарденз письмо и предложить себя в качестве пропагандиста. В моем распоряжении был университетский "Оксфорд аутлук" — я был его редактором, а кроме того, мои опусы регулярно появлялись в городской газете "Оксфорд кроникл", пусть даже это и были любовные стихи по пять шиллингов за штуку.

Немцы отозвались с быстротой, которой я не ожидал. Вернувшись как-то вечером к себе в Баллиол-колледж, я увидел, что мое кресло занято, единственная бутылка бренди почти пуста, а навстречу мне поднялся толстый блондин, представившийся графом фон Бернсторфом. Он был первым секретарем немецкого посольства, человеком, любившим роскошь и мальчиков, завсегдатаем сомнительного клуба "Абиссиния" на Арчер-стрит в Сохо. Кто бы мог подумать, что под этими складками жира скрывается герой, который во время Второй мировой войны тайно вывезет евреев из Германии в Швейцарию и погибнет в тюрьме Моабит.

После этого мою жизнь заполнили немцы: прелестная графиня фон Бернсторф, кузина дипломата, забывшая у меня в комнате душистую перчатку, которую я присоединил к своему подростковому гарему, со-

1. Джон Генри Ньюмен (1801—1890) — английский религиозный философ и писатель, получивший образование в Оксфорде. "Возвращение в Брайдсхед" (1945) — роман Ивлина Во.
2. Советские шпионы, завербованные в 30-е годы во время учебы в Кембриджском университете.
3. Палатинат, или Рейнский Палатинат — историческое название земель на юго-западе Германии.

стоявшему из неодушевленных предметов; молодой человек с длинным, сложным титулом и с родословной длиннее и благороднее, чем у Гогенцоллернов; загадочный, худой, как щепка, капитан П. с лицом, отмеченным шрамом, — его полное имя я забыл. Капитан П. заглядывал нерегулярно, как человек, проверяющий, не кипит ли чайник на кухне. Если бы у меня тогда, как сейчас, был опыт службы в разведке, я сразу же распознал бы в нем тайного агента. Настал день, когда я приехал на Карлтон-гарденз, и граф Бернсторф вручил мне пакет, велев сжечь конверт, который я, разумеется, хранил несколько лет как сувенир. Внутри была пачка банкнот по двадцать пять фунтов, которой в те дни с лихвой хватало на двухнедельное путешествие по Рейну и Мозелю.

Отец отнесся к этому очень серьезно. Напомнив мне, что лорд Холдейн[1] поплатился карьерой за слишком тесную связь с немцами, он предложил оплатить поездку из своих средств. Я знал, что ему это не по карману, и отказался. В конце концов я вовсе не стремился к вершинам власти, как лорд Холдейн, и вряд ли достиг бы его положения.

Я предложил Клоду Кокберну составить мне компанию, а в Германии к нам должен был присоединиться мой двоюродный брат Тутер, поскольку ни Клод, ни я не говорили по-немецки. Мы выбрали дешевый путь через Хук-ван-Холланд и предавались веселью в поезде, который вез нас до Хариджа[2], в предвкушении каникул, подаренных доверчивыми немецкими дипломатами, когда в нашем купе возник капитан П. с дуэльным шрамом на лице. Веселье немедленно прекратилось, и мы напустили на себя вид серьезных наблюдателей, каковыми нам и следовало быть. На море меня жутко тошнило, несмотря на лекарство от качки. Капитана П. я больше не видел: возможно, ему тоже было плохо.

Наша поездка была бедна событиями, несмотря на пачку рекомендательных писем, ожидавших нас в кёльнской гостинице. Там мы познакомились с человеком по фамилии Вальденхайм, активистом Народной партии Германии, и промышленным магнатом доктором Геннингсом, владельцем огромного завода по производству красок недалеко от Кёльна, который закатил в нашу честь в Леверкузене лукуллов пир, сопроводив его многословным комментарием о голоде в стране.

После Кёльна мы отправились в Эссен, где остановились в роскошном частном отеле Круппа. Рур, недавно оккупированный французскими войсками, был пропитан "восхитительным духом ненависти, которую к нам испытывают все, — писал я матери. — В Руре не ждут туристов, и всех иностранцев, должно быть, принимают за французских чиновников. Вечером мы ходили в кабаре, где нас облили презрением, а довольно толстая голая женщина исполнила символический танец 'Германия в оковах', с непременным разрыванием оных в конце". Я до сих пор помню грозовую атмосферу Эссена, где рабочие в основном бастовали: плохо освещенные улицы, угрюмо молчавшие группы людей. Мы играли со страхом и задумали вместе написать триллер в духе Бакана[3].

1. Ричард Холдейн (1856—1928) — крупный государственный деятель, вынужденный в 1915 году оставить пост лорда-канцлера из-за обвинений в прогерманских симпатиях.
2. Портовый город на юго-востоке Англии, от которого ходят паромы до Хук-ван-Холланда в Голландии.
3. Джон Бакан (1875—1940) — английский историк, политик и писатель, автор приключенческого романа "Тридцать девять ступеней".

В Бонне, который был тогда провинциальным университетским городком, мы жили на полкроны в день в Gasthaus[1], построенном в 1649 году. Воодушевленные рассказами о зверствах, которыми пугал приезжих Кёльн, мы отправились вечером к реке вслед за кроткими солдатами-сенегальцами в надежде увидеть изнасилование, однако просчитались. В Трире на Мозеле, центре сепаратистского движения, кавалеристы-африканцы в тюрбанах и длинных плащах маялись от безделья у городских ворот времен Римской империи, но ничего интересного не происходило. Редактор местной газеты рассказал нам, что все письма из Трира французы подвергают цензуре, и я написал письмо самому себе, адресовав его "Редактору *Оксфорд аутлук*", с описанием мнимых зверств французов и указанием дня и часа, когда наш поезд будет выезжать из французской зоны. Но напрасно я ждал, что нас арестуют прямо на платформе, да и письмо благополучно добралось до Англии невскрытым. Именно тогда я понял, что информацию надо проверять.

И лишь за пределами оккупационной зоны, в Гейдельберге, рекомендательное письмо привело нас к необычному человеку. В бюро организации, носившей солидное название "Общество помощи ссыльным из оккупированных территорий", мы познакомились с добродушным человеком сорока с чем-то лет, в брюках-гольф, назвавшимся доктором Эберлайном, который честно рассказал нам, чем занимается его общество: похищением людей. Эберлайн нанимал молодых мужчин, которые въезжали во французскую зону на мощных автомобилях, хватали мэров и чиновников, сотрудничавших с французами, и переправляли в Германию, где их "судили" за государственную измену.

В те дни, когда мы еще не слыхали о Гитлере, авантюрное занятие, которому предавался доктор Эберлайн, показалось мне увлекательным и подсказало новую идею. Вернувшись домой, я написал графу Бернсторфу письмо, в котором высказал предположение, что переправлять денежные средства тайным националистическим организациям в оккупационную зону наверняка непросто. А кто заподозрит курьера в студенте Оксфордского университета?.. После небольшой задержки пришел ответ от Бернсторфа. Он писал, что затруднений при передаче фондов пока не испытывает, но его берлинские "друзья" спрашивают, не соглашусь ли я вернуться во французскую зону, связаться с лидерами сепаратистов и попытаться выяснить их планы на будущее. Читая письмо, я испытал возбуждение и прилив гордости, поскольку предложение сменить пропаганду на шпионаж означало повышение. Для девятнадцатилетнего юнца это была упоительная перспектива, и сейчас, в более осторожные времена, я могу только поражаться тому, с каким безрассудством мы с моим адресатом доверялись бумаге.

Сегодня я был бы щепетильнее в выборе цели, которой собирался служить, но в те годы я готов был посредничать в чем угодно, если это сулило приключения и немного риска. Кроме того, я считаю, что писатели в чем-то схожи со шпионами: и те и другие подсматривают, подслушивают, ищут причины, анализируют характеры и неразборчивы в выборе средств.

1. Небольшая гостиница с рестораном (*нем.*).

В осенний семестр 1924 года я жил странной шизофренической жизнью. Я ходил на занятия, пил кофе в кафе "Кадена", писал реферат о Томасе Море, изучал революцию 1688 года "по оригинальным источникам", посещал дебаты в студенческом союзе, напивался с друзьями и в то же время "только шаг сквозь зыбкий сумрак отделял меня от сказки"[1]. Была и другая жизнь, где я обменивался прощальными письмами с любимой женщиной, помолвленной с другим, написал первый роман, который так и не был опубликован, — историю о несчастном чернокожем ребенке, родившемся у белых родителей, — и строил шпионские планы с Бернсторфом. Все это время в моей жизни наличествовали немцы: они без предупреждения приезжали поездом с Паддингтонского вокзала и проводили день в Оксфорде, осматривая колледжи и выпивая в моей комнате. Разумеется, родители не подозревали, что у меня на уме, но круг моего общения в тот последний университетский год наверняка вызывал у них удивление. "Берлинский господин из министерства иностранных дел, — писал я матери, — очень меня позабавил. Типичный пруссак довоенной закваски, но с очаровательной женой. В театре он посмотрел 'Примулу', 'Святую Иоанну' и 'Белый груз', объяснив такую всеядность самым брутальным образом: 'Нужно смотреть все пьесы подряд, чтобы научиться сочувствовать абсолютно всем, потому что только сочувствие обеспечивает господство над людьми. Кроме того, это помогает изучать их слабые места'. Сидя в 'Митре', где он кормил меня обедом, я наблюдал, как он выискивает мои слабые места. Но поскольку его слабым местом является тучность, я его одолел и помыкал им самым бессовестным образом, таская по Оксфорду со скоростью экспресса". Неужели моим родителям не приходило в голову, что их сын водит несколько странную компанию?

Кроме того, я написал в журнал правого толка, принадлежавший герцогу Нортумберлендскому и носивший название "Патриот", который поддерживал сепаратистскую республику, и предложил быть их корреспондентом в Трире. Поскольку я не просил денег и был выпускником Оксфорда, они согласились печатать мои статьи, честно предупредив, что я могу выражать только одну точку зрения: их собственную. Затем я написал во французское посольство в Лондоне, сообщив, что еду в Трир корреспондентом от "Патриота" и буду благодарен им за любые рекомендательные письма. Все было подготовлено наилучшим образом, когда грянул гром. На свет появился план Дауэса[2], Великие Державы встретились на каком-то швейцарском курорте, подписали соглашения, раздали гарантии, и одним новоявленным кандидатом в шпионы стало меньше: в его услугах перестали нуждаться. Уроки немецкого, которые я брал у старой девы, жившей в северном Оксфорде, не нашли практического применения.

Я часто думал, что произошло бы, если бы мои планы осуществились. Шпионаж — странная профессия, для кого-то — призвание, чистое, не обремененное моралью, не замутненное корыстными или даже патриотическими соображениями: шпионаж ради шпионажа. Уже тогда мне было не слишком интересно всего лишь собирать факты и слухи, а затем передавать их кому-то. Я подумывал о том, чтобы стать двойным агентом. Я

1. Из стихотворения Роберта Браунинга "Еще одно слово".
2. Репарационный план, предоставлявший Германии займы и кредиты для восстановления промышленности.

был уверен, что без труда проникну в намерения своих немецких работодателей: даже вопросы, на которые мне предстояло отвечать, представляли бы интерес для французских властей, а искренняя жалость, которую я прежде испытывал к побежденной Германии, быстро испарилась после чревоугодничества в Леверкузене и лжи трирского редактора. Возможно, мне повезло, что Германия обошлась без меня, потому что жизнь двойного агента полна опасностей.



## Глава девятая

...Вивиан была католичкой, а мое восприятие религии не шло дальше сентиментальных гимнов в школьной часовне. "Боже, пошли нам милость твою" означало, что Бог иногда бывает милосердным; любил я и роскошную меланхолию "Пребудь со мной"[1]. Единственной наградой, полученной мною в школе, был специальный приз за "высокохудожественное сочинение", учрежденный пожилым учителем в память о сыне, погибшем в Первую мировую войну. В тот год приз присуждался впервые, и учителю, глубоко верующему человеку, было жаль, что им отметили рассказ о старом, выжившем из ума Иегове, брошенном на опустевших небесах.

Я познакомился с девушкой, которая стала моей женой, после того как получил от нее записку, переданную через привратника Баллиол-колледжа. Девушка сетовала на неточность, допущенную мной при рецензировании фильма: я писал о "поклонении" католиков Деве Марии, в то время как правильно было бы воспользоваться словом "почитание". Меня заинтриговало, что кто-то всерьез относится к столь тонким оттенкам неправдоподобной теологии, и мы познакомились. Теперь, в Ноттингеме, я думал по утрам — таким долгим и ничем не заполненным, — что должен хоть немного уразуметь природу и ограничения веры, которой следовала Вивиан. К тому же это помогло бы убить время.

Однажды я прогуливал Пэдди[2] у закопченного неоготического собора, который обладал для меня какой-то мрачной притягательностью, поскольку был символом непостижимого и немыслимого. К его стене был прикреплен деревянный почтовый ящик, и я опустил туда письмо с просьбой о духовном наставлении. Потом мы вернулись домой к консервированному лососю, и Пэдди опять стошнило. У меня не было намерения переходить в католическую веру. Чтобы вознамериться, я должен был убедиться в ее истинности, а так это представлялось маловероятным.

Когда неделей позже я пришел в собор, чтобы познакомиться с отцом Троллопом, вероятность этого и вовсе улетучилась. В последующие недели я очень привязался к отцу Троллопу, но на первый взгляд он был воплощением всего, что я в церкви терпеть не мог. Очень высокий, очень толстый, с пухлыми и гладкими щеками, которым, казалось, не нужна была бритва, он выглядел как персонаж с картин художников XIX века, выставленных в витринах художественных салонов на Пиккадилли, где монахи и кардиналы ублажали себя пятничным постом, пожирая огромных

1. Христианский гимн, написанный англиканским священником Генри Фрэнсисом Лайтом в 1847 году, когда он умирал от туберкулеза.
2. Собака Грина.

омаров и опрокидывая кубок за кубком. Бедный отец Троллоп! Его внешность была обманчивой. Он вел очень аскетичную жизнь, и одним из самых тяжких испытаний, которым он в то время подвергался, был запрет на посещение театров, потому что когда-то отец Троллоп был вест-эндским актером[1] — не звездой, а одним из тех разносторонних, надежных актеров, которые всегда так нужны для второстепенных ролей. Вначале он перешел в католичество (доктор Фрай, этот злой гений Беркампстеда, убедил семью Троллопа, жившую рядом с настоятельским домом, противиться его выбору), а потом, повинуясь внутреннему зову, стал священником. Книги по теологии соседствовали у него на полках со сборниками пьес: когда он их читал, огни рампы придвигались ближе.

Он рассказал мне свою историю, когда со времени нашего знакомства прошло несколько недель, и словно рука опустилась мне на плечо в знак предостережения. "Вот что бывает, если зайти слишком далеко", — говорил его рассказ. "Будь очень осторожен. Подумай, прежде чем глубоко нырнуть. В море множество опасных течений, они могут занести тебя куда угодно..." Отца Троллопа занесло очень далеко, но и теперь бушующее море не оставляло его в покое. Он занимал высокое положение в католическом мире Ноттингема: будучи настоятелем собора, он мог подняться в те церковные круги, где ценят деловые качества, однако ему претила сама идея возможного успеха — он принес еще не все жертвы, и через несколько лет после моего отъезда из Ноттингема он написал, что вступает в орден, казавшийся мне наименее привлекательным из всех возможных, орден редемптористов[2]. Что общего было у этих монахов, обязанных напоминать во всех своих проповедях о существовании ада, с этим толстым, жизнерадостным человеком, который любил запах грима и аплодисменты в конце спектакля? Возможно, ничего, кроме желания утонуть. Через несколько лет он умер от рака.

Прошло немало времени, прежде чем я понял, что мое первое впечатление о нем было совершенно ошибочным и что я столкнулся со случаем непостижимой доброты. Мы встречались с Троллопом раз или два в неделю, и он наставлял меня в течение часа. К своему изумлению, я понял, что жду этих встреч, и огорчался, если он отменял их по причине занятости. Иногда мы встречались в необычных местах: наш урок мог начаться дискуссией о датировании Евангелий на верхней площадке трамвая, тащившегося в какой-нибудь ноттингемский пригород, где у Троллопа было дело, и закончиться панегириком Иосифу Флавию в благочестивой, обшитой сосновыми панелями гостиной монастыря.

Я обманывал его с самого начала, не говоря, почему интересуюсь католическими догматами, и скрывая, что собираюсь жениться на католичке. Сначала я думал, что, если скажу правду, он будет считать меня слишком легкой добычей, а позднее стал бояться, как бы он не усомнился в искренности моего обращения, если я все-таки решу перейти в католическую веру: после нескольких недель серьезных дискуссий этот шаг перестал казаться мне невероятным. Епископ Гор[3] в своей великой книге о ве-

1. Многие театры Лондона расположены в Вест-Энде.
2. Католический монашеский орден, известный также как Конгрегация Святейшего Искупителя.
3. Чарльз Гор (1859–1932) — епископ протестантской церкви.

ре писал, что труднее всего ему было поверить в любовь Бога, мне же труднее всего было поверить в Бога вообще. Датирование Евангелий или исторические доказательства существования человека по имени Иисус Христос хоть и были интересны сами по себе, но не выражали сути моего неверия. Я верил, что Христос жил, но не верил в Бога. Если бы я мог хотя бы отчасти поверить в существование высшей всемогущей и всеведущей силы, то возможным стало бы все. Я боролся с позиций догматического атеизма, и боролся упорно. Казалось, что это борьба за выживание.



Много лет спустя моя подруга Антония Уайт рассказывала, что, когда она ездила хоронить отца, старый священник, знавший Антонию ребенком, попытался уговорить ее вернуться в лоно церкви. В конце концов, чтобы не огорчать его, она сказала: "Хорошо, отец мой, напомните мне, пожалуйста, доказательства бытия Бога". После долгого молчания он признался: "Когда-то я их знал, но теперь не помню". Вот и у меня такой же провал в памяти. Помню только, что в январе 1926 года я поверил в возможность существования чего-то, что мы называем Богом, хотя сейчас и не люблю это слово со всеми его антропоморфическими ассоциациями, предпочитая ему шарденовскую Точку Омега[1], и уж моя вера точно не стала следствием тех неубедительных философских аргументов, которые я высмеял в рассказе "Визит к Морину"...

# *Пути спасения*[2]

## Фрагменты автобиографии

*Перевод* А. Бураковской

...В Италии я написал черновик сценария "Третьего человека" и, что было гораздо важнее для будущего, нашел в Анакапри маленький дом, где писал потом, хотя бы частично, все свои книги. (Я горжусь званием почетного гражданина этого городка, где живет 5 000 человек.)

Опытному литератору писать книги ничуть не легче, чем начинающему. Медленное постижение собственного писательского метода — процесс захватывающий, но с возрастом наступает момент, когда осознаешь, что ты не столько используешь этот метод, сколько находишься у него в плену. Писателя начинает мучить тоска, ему кажется, что он уже все сделал. Ему страшнее читать благосклонных к нему критиков, чем тех, которые его не любят, потому что благосклонные с ужасающим терпением разворачивают перед ним ковер с одним и тем же узором. Если он во многом полагается на подсознание и способен забыть даже собственные книги, после того как они становятся на полку, критики ему напомнят: эта тема возникала десять лет назад; это сравнение, которое

1. Словосочетание, описывающее Бога в теологической концепции французского священника и философа Пьера Тейяра де Шардена (1881–1955).

Ways of Escape © 1980 Verdant SA
© А. Бураковская. Перевод, 2009

2. Публикуемые фрагменты не вошли в книгу под названием "Путешествие без карты" (Вагриус, 2007), включающую также и "Пути спасения". (*Прим. ред.*)

так бездумно выпорхнуло из-под его пера несколькими неделями раньше, было использовано двадцать лет назад в абзаце, где...

Я попытался вырваться из своей тюрьмы, начав писать сценарии к фильмам, но "Третий человек" всего лишь заманил меня в другую, более роскошную тюрьму. Прежде чем вернуться к тому, что я считал своей настоящей работой, я прочел "Большие надежды". Раньше я не очень любил Диккенса, но теперь поразился тому, с какой легкостью он писал от первого лица. Таким методом я прежде не пользовался и подумал, что это может спасти меня от привычной схемы. Рассказ от первого лица дает очевидное техническое преимущество: позиция повествователя ограждает от соблазна изменить точку зрения. "Я" может описать только то, что видит само (хотя Пруст позволял себе какие угодно вольности). Впрочем, порой, когда я читал рассказ от первого лица у Сомерсета Моэма или его подражателей, то всегда думал, что у них выходит слишком легко и сухо, слишком близко к нескладной человеческой речи, бесцветно...

Сухо и бесцветно у меня, пожалуй, получалось, а вот легко — нет. Сколько раз мне хотелось бросить это "я" на его унылой дороге и начать "Конец одного романа" с начала, чтобы описать Бендрикса, главного героя, снаружи, с позиции третьего лица! Никогда прежде я не прилагал столько усилий, чтобы сделать повествование интересным. Например, каким образом можно было менять пресловутый тон, если обо всем рассказывал один и тот же персонаж? Тон был задан Бендриксом на первой же странице — "Этот рассказ скорее о ненависти, чем о любви", — и я страшно боялся, что вся книга прокоптится этой ненавистью, как рыба. Диккенс каким-то загадочным образом ухитрялся варьировать тон, но когда я пытался понять, как он этого добивается, то чувствовал себя дальтоником, пытающимся определить, чем один цвет отличается от другого. У моей книги было всего два оттенка одного и того же цвета: всепоглощающая любовь и всепоглощающая ненависть. Частный детектив мистер Паркис и его маленький сын были придуманы, чтобы внести в роман еще две ноты: юмористическую и трогательную.

Роман стал приобретать очертания в декабре 1948 года в номере гостиницы "Пальма" на Капри, прежде чем я перебрался в свой домик. Мне всегда казалось, что на него повлияла книга, которую я тогда читал, — "Избранное" барона фон Хюгеля[1], и особенно отрывки из работы о святой Екатерине Генуэзской[2]. Обычно я делаю заметки на полях, когда читаю, однако строки, посвященные Екатерине Генуэзской, которые я отметил, никак не связаны с романом... В голове у меня проклевывалась история о человеке, которого обычные обстоятельства мало-помалу меняют настолько, что он начинает допускать немыслимое — существование Бога. Увы! Этому намерению я изменил. Мне многое нравится в романе: по-моему, он написан проще и яснее, чем его предшественники, в нем занимательная композиция, позволившая избежать соблюдения временно́й последовательности (я кое-чему научился, бесконечно перечитывая замечательный роман Форда Мэдокса Форда "Хороший солдат"), но я не представлял, какую огромную трудность сам себе создал, пока не дошел до финала.

1. Фридрих фон Хюгель (1852–1925) — британский католический философ и писатель. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Св. Екатерина Генуэзская (1447–1510) — подвижница милосердия, автор мистических сочинений. Прославилась тем, что лечила больных чумой во время эпидемий 1497 и 1501 гг.

Сара, моя героиня, умерла, но роман должен был идти дальше, развиваясь во временно́м промежутке, причем не короче того, что предшествовал ее смерти. Однако мне, как и любовнику Сары Бендриксу, было неинтересно идти дальше, когда Сары больше не было, и оставалось только философствовать. Я старался поскорее дойти до конца, и хотя в последней части есть сцены, особенно те, где показана растущая привязанность между Бендриксом и Сариным мужем, которые мне кажутся удачными, я понял — слишком поздно, — что хитрил: с самим собой, с читателем и с бароном фон Хюгелем. История о багровом родимом пятне атеиста Смитта (которое Сара вроде бы свела после смерти) была неоправданной; каждое так называемое чудо, например, излечение сына Паркиса, должно было иметь совершенно естественное объяснение. Совпадения должны были накапливаться годами и опровергать рациональные доводы Бендрикса, заставляя его против воли усомниться в своем атеизме. Последние страницы я бы оставил без изменений (честно говоря, последние страницы мне очень нравятся), но конец я все же скомкал.

Именно поэтому в следующем издании я попытался приблизиться к своему первоначальному замыслу, заменив родимое пятно Смитта заболеванием кожи, которое могло иметь нервное происхождение, а значит, и поддаваться лечению внушением.

Многим критикам не нравится эпизод, из которого следует, что Сара в детстве была тайно крещена матерью в католичество. Читатель-агностик — а он нравится мне все больше и больше — полагает, что таким образом я ввожу в роман идею чуда. Но если мы начинаем верить в силу, бесконечно превосходящую нас возможностями и знаниями, то чудо непременно становится частью этой веры, иначе говоря, чудо — это слово для обозначения мистического и необъяснимого, как стигматы падре Пио, которые я видел, стоя неподалеку от него во время ранней мессы в монастыре на юге Италии.

Историю с тайным крещением Сары я позаимствовал из жизни Роджера Кейсмента[1]. Когда Кейсмент попросил тюремного католического священника совершить над ним обряд крещения, тот выяснил, что его уже тайно окрестили в детстве. Я вовсе не утверждаю, что тут мы находимся в области "чуда" или совпадений — возможно, мы оказались в пространстве "Эксперимента со временем" Данна[2].

"Конец одного романа" имел бо́льший успех у читателей, чем у критиков. Я настолько сомневался в нем, что послал рукопись своему другу Эдварду Саквиллу-Уэсту, спрашивая, что с ним делать: отослать в издательство или положить в стол и забыть? Он честно ответил, что от книги не в восторге, но тем не менее посоветовал напечатать ее: чем мы хуже викторианцев, которые без колебаний публиковали и хорошее, и плохое? И я ее напечатал. Меня очень поддержала похвала Уильяма Фолкнера, а позднее я оценил опыт двухлетней практики письма от первого лица, иначе побоялся бы воспользоваться им в "Тихом американце" — книге, где иной тип повествования был бы невозможен и которая, хотя бы формально, была более успешной...

1. Роджер Кейсмент — один из лидеров ирландского национально-освободительного движения, казненный в 1916 году по обвинению в государственной измене.
2. Джон Уильям Данн (1875—1949) — английский ученый-авиастроитель. Умел предсказывать будущее.

...Пятидесятые годы были для меня периодом смятения. Пий XII, сказав епископу Хинану, что прочитал "Конец одного романа" (странное чтение для Папы), проницательно заметил: "Мне кажется, этому человеку плохо. Помогите ему, если он к Вам придет". (Разумеется, я никогда не обращался к Хинану.)

У меня было желание убежать от всего, что возникает, наверное, у всех мужчин в середине жизни. Со мной это произошло раньше: еще в детстве я пытался убежать от скуки, убежать от депрессии. Если бы я служил в банке, то наверняка мечтал бы плюнуть на доверие начальства и сбежать в Южную Америку, прихватив деньги.

Но вдосталь, слава богу,
На свете славных мест,
Куда забыл дорогу
Наш ордер на арест;
Но есть архипелаги,
Где люди нарасхват,
А мертвые бумаги
Туда не допылят[1].

Мне всегда нравилось это стихотворение Киплинга. Однако у меня не было начальства, от которого хотелось бы бежать — только я и никого больше. Доверяли же мне те, кто меня любил, и наплевать я мог только на них. Я попросил было друга-психиатра провести курс электрошоковой терапии, но он отказался. У меня было ощущение, что спустя много лет я возвращаюсь на пустырь в Беркемпстеде, где подростком играл в русскую рулетку, чтобы избавиться от несчастной любви.

В "Конце одного романа" я описал любовника, который так боялся, что любовь когда-нибудь кончится, что поторопил ее конец в надежде скорее избавиться от боли. Мне на сей раз не нужно было убегать от несчастной любви: моя любовь была счастливой. Трудности есть во всем, в том числе и в любви, и основная трудность заключалась в моем маниакально-депрессивном характере. Так вот и получилось, что в пятидесятые годы я, подобно Бендриксу, постарался приблизить конец, но не конец любви, а конец жизни. У меня не хватило смелости покончить с собой, но я стал ездить в неспокойные места — не для того, чтобы собирать материал для книг, а чтобы вновь испытать чувство опасности, пьянившее меня под бомбежками в Лондоне. В 1951-м как корреспондент журнала "Лайф" я провел три месяца в Малайе, где шла война; в 1951—1955-м прожил четыре зимы во Вьетнаме, освещая войну с французами в "Санди таймс" и "Фигаро"; в 1953-м ездил от "Санди таймс" в Кению, охваченную восстанием "Мау-Мау"; в 1956-м пробыл несколько недель в сталинистской Польше, но там я почувствовал опасность всего один раз — когда передавал на лестнице золотые часы музыканту, чтобы у него были средства для побега на Запад (он, впрочем, убегать не захотел, но часы я ему все равно оставил). В 1958 году я совершил самый дальний побег (не с географической точки зрения) — в колонию для прокаженных на территории доживавшего свои последние дни Бельгийского Конго.

1. Редьярд Киплинг. Изгои. Перевод В. Топорова.

# Грэм Грин

# *Револьвер в буфете*



*Перевод* А. Ливерганта

Хорошо помню тот день, когда в буфете из темной сосновой древесины, находившемся в комнате, где спали мы с братом, я обнаружил револьвер. Было это ранней осенью 1922 года. Мне минуло семнадцать, я ужасно тосковал и был по уши влюблен в гувернантку сестры; влюблен той безответной, безнадежной, романтической подростковой любовью, которая многим внушает мысль, будто любовь и отчаянье нерасторжимы и счастливой любви на свете не бывает. В этом возрасте ничего не стоит навсегда влюбиться в собственную несостоятельность, и всякий успех, прежде чем его добиваешься, теряет половину своей притягательности. Такую любовь выпрашиваешь, как выпрашивает мелочь нищий, что распевает песни, стоя на краю тротуара, или старый приятель, который клянчит доллар. У многих людей в таком положении сохраняется разве что любовь к Богу; им кажется, будто они до гробовой доски обречены быть такими же унылыми, жалкими, незадачливыми и тем самым вправе обратить на себя Его внимание.

Был револьвер маленьким и изящным; шесть камер напоминали крошечную подставку с выемками для яиц, пули были аккуратно сложены в картонную коробку. Мне только совсем недавно пришло в голову, что пули, скорее всего, были ненастоящие; тогда же я счел их "боевыми патронами" и ни разу не обмолвился о своей находке брату, ибо стоило мне револьвер увидеть, как я сразу же понял, *как* им распорядиться. (До сих пор не знаю, зачем брат им обзавелся, права на хранение огнестрельного оружия у него наверняка не было, да и был он всего-то тремя годами меня старше. Большая семья сродни министерству: дети в ней столь же неотличимы, сколь одно министерство от другого.)

Брат в те дни отсутствовал — быть может, путешествовал по Озерному краю, — и до его возвращения револьвер всецело принадлежал мне. Что с ним делать, я знал прекрасно, поскольку как раз тогда читал книгу (написанную, если не ошибаюсь, неким Оссендовским), где описывалось, как белые офицеры, обреченные на бездействие на юге России в конце Гражданской войны, заключали со скуки всевозможные пари. Один офицер загонял в револьвер патрон и наудачу проворачивал барабан, после чего другой офицер приставлял револьвер к виску и спускал курок. У жизни шансов, разумеется, было в шесть раз больше, чем у смерти.

Как же легко забываются собственные эмоции! Окажись в моем тогдашнем положении вымышленный персонаж, и он бы у меня из соображений правдоподобия долго колебался, прятал револьвер обратно в буфет и потом, спустя какое-то время, со страхом, превозмогая себя, доставал его

The Lost Childhood And Other Essays © 1951 Verdant SA
© А. Ливергант. Перевод, 2009

снова, когда скука становилась совершенно непереносимой. Сам же я не колебался ни минуты; сколько помню, я в тот же день с револьвером в руках пробирался к буковому парку в Эшридже через кустистый, изрезанный редкими окопами Первой мировой пустырь Беркемстед-Коммон. Очень может быть, скука, которую я испытывал, сделалась совершенно непереносимой еще до того, как я обнаружил в буфете револьвер.

Думаю, скука была гораздо сильнее любви — детства без скуки не бывает. Скучать начинаешь уже на второй день каникул. Зато первый день испытываешь полное счастье — после школьного людного затворничества все кругом полнится светом, воздухом, тишиной. Увы, тюрьма накладывает отпечаток на своих узников. Я никогда не хотел возвращаться в школу (и в конце концов выразил свое мятежное нежелание, попросту из нее сбежав), и вместе с тем школьная жизнь приучила меня к тому, что свобода от нее вызывала у меня невыносимую скуку.

В результате курса психоанализа, последовавшего за моим актом неповиновения, скука проявилась так же отчетливо, как негатив в растворе фиксажа. Из лондонского дома моего психоаналитика, где я провел несколько незабываемых месяцев — самых, может статься, счастливых за всю жизнь, — я вышел "правильно сориентированным", способным проявлять "адекватный экстравертный интерес" к соученикам (как тут обойтись без профессионального жаргона!), но зато выжатым как лимон. В течение многих лет после этого я оставался совершенно равнодушен ко всему, что попадалось мне на глаза; зрелище, которое другим казалось красивым, у меня не вызывало никаких эмоций. Проявившись, скука словно бы утвердилась во мне раз и навсегда. (В этой связи не могу не вспомнить замечание Рильке: "Для меня психоанализ — подспорье слишком сильное. Психоанализ помогает раз и навсегда, он проливает на жизнь ослепительный свет, но, живя в этом свете, ощущаешь себя еще более беспомощным, чем в кромешном мраке".)

И вот теперь, с револьвером в кармане, я почувствовал, что начинаю из этого состояния выходить. Идеальное средство найдено. Укроюсь от жизни, обращусь в бегство, а поскольку побег в моем сознании напрямую ассоциировался с пустырем Беркемстед-Коммон, туда я и направился.

Дикий кустарник, старые траншеи, заброшенные стрельбища — неизменная декорация большинства приключений детства. Еще за несколько лет до истории с револьвером я в своем тогдашнем бунтарском порыве тоже отправился в Беркемстед-Коммон с намерением, суть которого изложил после завтрака в оставленном на серванте письме, где сообщал домочадцам, что впредь жить буду на пустыре и либо умру с голоду, либо родители пойдут мне навстречу и заберут из школы. Когда я представлял себе войну, то велась она неизменно на этом пустыре, я же партизанил, прячась в высокой траве, ибо был убежден: лучше меня пустырь не знает никто на свете. (Как вскоре выяснилось — за исключением старшей сестры: уже через несколько часов после моего бегства она подстерегла меня в кустах.)

За пустырем тянулась широкая лесная дорога, почему-то прозванная Колд-Харбор[1], где я иногда, хоть и с опаской, катался на лошади, а

1. В переводе с английского — холодная гавань (*Прим. перев.*).

еще дальше, за дорогой, простирался Эшридж-парк с гладкими, оливкового цвета буками и густой, сваленной в кучу прошлогодней листвой, забуревшей, точно старые, потертые пенсы. Парк этот я выбрал совершенно сознательно, не испытывая при этом особого страха — то ли потому, что и сам не знал, не ломаю ли я комедию; то ли потому, что до этого, довольно рискованного поступка были и другие. Родители объясняли их моими расшатанными нервами, я же считал их при создавшихся обстоятельствах вполне правомерными.

Как-то утром, в последний день каникул — было это лет за пять до истории с револьвером, — запершись в темной комнате за комодом, я не моргнув выпил полстакана фиксажа, пребывая в уверенности, что принимаю яд. В другой раз осушил синий флакончик со средством от сенной лихорадки; зная, что в нем содержится немного кокаина, я счел, что оно поднимет мне настроение. Приходилось есть пучок ядовитого паслена, оказавшего на меня, впрочем, лишь наркотическое действие, а также глотать двадцать таблеток аспирина, который я принял перед тем, как поплавать в пустом — по причине каникул — школьном бассейне. (До сих пор помню странное ощущение, будто плывешь сквозь шерсть.) Вот почему, запустив пулю в магазин и провернув у себя за спиной барабан револьвера, я не ощутил ровным счетом ничего непривычного.

Испытывал ли я в это время романтические чувства к гувернантке? Вне всякого сомнения — но чувства эти, думаю, лишь помогали, что называется, запить горькое лекарство. Главным же моим побуждением была не любовь, а скука, неприкаянность. Несчастная любовь, известное дело, не раз подталкивала мальчишек к самоубийству, но в моем случае, что бы потом ни говорил коронер, это было не самоубийство, а игра в рулетку: пять — за, один — против. Романтика — осенний лес, маленький тяжелый компактный предмет, который я сжимал в пальцах, — явилась, быть может, данью подростковой влюбленности, однако решающим для меня тогда было внезапно сделанное открытие, что, рискнув потерять этот мир навсегда, можно вновь обрести способность им наслаждаться.

Я вставил дуло револьвера в правое ухо и спустил курок. Раздался щелчок, и, взглянув на барабан, я увидел, что заряд встал на место. Один раз пронесло. Помню, я испытал необычайно радостное чувство. Впечатление было такое, как будто вдруг включился свет. Сердце радостно билось в своей клетке, и мне казалось, что жизнь содержит бессчетное число возможностей. Я ощутил себя молодым человеком, впервые переспавшим с женщиной, только что в этом Эшриджском парке сдавшим экзамен на зрелость, ставшим настоящим мужчиной. Я пошел домой и сунул револьвер обратно в буфет.

Самое поразительное в этой истории то, что повторялась она не один раз. Время от времени я испытывал непреодолимое желание вновь испробовать привычный наркотик. Я взял револьвер с собой в Оксфорд и ходил с ним из Хедингтона в Элсфилд по дороге, которая теперь стала широкой, гладкой и блестящей, точно стены общественной уборной, а тогда была сырой, узкой сельской улочкой. Я заводил револьвер себе за спину, прокручивал барабан и, стоя под черным уродливым зимним деревом, быстро и воровато вставлял дуло в ухо и спускал курок.

Со временем действие наркотика ослабло. Я утратил чувство ликования, осталось разве что тупое возбуждение. Разница была такая же, как между любовью и похотью. И по мере того, как острота этого переживания уменьшалась, росло чувство ответственности, а с ним и тревоги. Я сочинил очень слабое стихотворение, написанное белым стихом (белым — потому что так было легче передать мысль, не прибегая к литературной условности), где говорилось, как, дабы испытать ложное чувство опасности, я "спускал курок револьвера, что был не заряжен". Стихи эти я постоянно держал на письменном столе, чтобы, проиграй я пари с самим собой, у несчастного случая имелось бы неопровержимое доказательство. Тогда бы мои родители легче, мне кажется, пережили потерю; им было бы куда тяжелей, если бы мою смерть сочли самоубийством или если бы они узнали всю — довольно нелепую — правду.

Окончательно с этим наркотиком я распростился тоже в Беркемстеде. "Приняв" пятую дозу, я вдруг поймал себя на том, что не испытываю даже возбуждения. Курок теперь я спускал так, словно принимал таблетку аспирина. И тогда я решил дать револьверу (он был шестикамерным) шестой — и последний — шанс. Провернув барабан, я в последний раз приставил дуло к уху и услышал знакомый щелчок. Действие наркотика кончилось. И когда я шел через пустырь по новой дороге, мимо разрушенного замка, мимо отдельного, выложенного гравием, предназначенного специально для лорда Браунло входа на старую железнодорожную станцию, меня занимали уже совсем другие мысли. Эта кампания завершилась, однако до конца войны со скукой и неприкаянностью было еще далеко.

Я спрятал револьвер обратно в буфет и, спустившись вниз, кротко и убедительно солгал родителям, что уезжаю к приятелю в Париж.

# Торжествующее невежество
## (Хэвлок Эллис "Моя жизнь"[1])



*Перевод* Т. Казавчинской

В своей автобиографии, подчас грубой и самодовольной, подчас тонкой и нежной, Хэвлок Эллис излагает историю "прогрессивного" брака. Вся книга и в самом деле посвящена этой теме; в ней есть главы о семье и детстве, об Австралии, где, служа в юности учителем на глухой железнодорожной станции, он впервые стал задумываться о карьере сексолога, но все это не более чем введение к встрече с Эдит Лиз – секретарем "Нового общества"[2] и долгой, несчастной, "научно обоснованной" супружеской жизни с ней. События даются на фоне времени, уже завершившегося: странновато-притягательного ореола вокруг Фабианского общества[3], феминизма, анархистов – всего того, что так чудесно названо самим Эллисом "высоковольтным нравственным напряжением". Не лишне напомнить, что в этот исторический зазор угодили живые люди – растерянные, серьезные, измученные.

Перед нами на редкость личное свидетельство, слишком личное, чтобы стать чтением для всех и вся. "Какая разница, коль скоро нас обоих нет на свете? Кому от этого может быть больно, если она и я, которым было больно, превратились в несколько горстей праха, рассеянного между травами и цветами? Написанное – мой давний выбор в пользу правды, которую я рассказываю на холодную голову, ничего и никогда не писал я более осознанно. Ибо теперь я знаю, что, по большей части, мир населен людьми, которые даже не достойны именоваться глупцами... Отныне все человечество, если ему угодно, может сговориться и мучить нас. Нам не больно".

Но на самом деле это они сами сговорились мучить себя: разгуливая по пляжам Корнуолла, они старались обсудить все стороны жизни – экономическую, наследственную, репродуктивную (контроль над рождаемостью); странная, самососредоточенная, трогательная любовная пара, отбросившая все естественные, *не-евгенические* чувства – чувства ревности, обладания. Члены "Нового общества" снабдили их полным собранием сочинений Эмерсона.

Но несмотря на принятые меры, брак не заладился. Жаркой страсти между супругами никогда не было, и Эллис вскоре счел, что ничто

The Lost Childhood And Other Essays © 1951 Verdant SA
© Т. Казавчинская. Перевод, 2009

1. (Генри) Хэвлок Эллис (1859–1939) – английский медик, психолог, писатель; автор монографии "Мужчина и женщина" (1894); фундаментального шеститомного труда "Очерки по психологии секса" (1897–1928), оказавшего большое влияние на общественное отношение к проблемам секса; "Эротических прав женщин" (1918). Автобиография "Моя жизнь" впервые была опубликована посмертно в 1940 г. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

2. Видимо, имеется в виду "Fellowship of the New Life"(букв. "Общество новой жизни"), членами которого был Х. Эллис, Б. Шоу и др.

3. Фабианское общество – социал-реформистская организация, проповедовавшая постепенный переход к социализму путем реформ; основана в 1884 г.; названа по имени древнеримского полководца Фабия Кунктатора, известного своей выжидательной тактикой.

ему не мешает завести любовницу. Рассказывая об этом сорок лет спустя, он все еще пребывал в уверенности, что у его жены не могло быть возражений. А если и были, он разбил их в пух и прах с помощью теории: жене следует подружиться с любовницей. Он не видел причин для огорчений с ее стороны и не понимал, почему она умоляет, чтобы любовники не встречались в корнуоллской деревне, где супруги впервые были близки. Так все и шло: как женщина она не могла не следовать своему естеству и не подчиняться мужу и его рациональному жизненному канону. Хотя боль буквально рвалась наружу из каждого письма жены, Эллис ничего не замечал, лишь мягко выговаривал ей за недостаток сочувствия и понимания.

Через некоторое время они отказались от супружеской близости, хотя какой-то отблеск горячей нежности не исчезал из их отношений никогда: так плавает буек на месте кораблекрушения. В Лондоне у Эллиса была собственная квартира, за городом они занимали два смежных коттеджа (и когда жена болела, он, немолодой уже человек, лежал, прильнув ухом к разделяющей их стене). Все это время миссис Эллис, чье здоровье и разум подтачивались неумолимым Молохом теории (любовь свободна, ревность унизительна, собственничество постыдно), все ближе подходила к роковой черте. Ей не всегда удавалось сдерживаться: "О Хэвлок, не думай, что ты не хочешь меня. Я не могу сопротивляться... меня утягивает на дно чувство, что ты хочешь только Эми, а не меня... Все, чего мне нужно на свете, — это чтобы ты обнял меня и сказал, что хочешь, чтобы я жила". И так — до конца дней, ибо чудо состояло в том, что теория так и не смогла убить ее любовь к нему, лишь превратила в муку. Его сердца это так и не смягчило: он писал ей в ответ любезные, ласковые письма о весенних цветах и ни при каких обстоятельствах не прерывал своей научной работы: продолжал выпускать книги по сексологии, где было много случаев из практики и — торжествующего невежества. И все же между этим стареющим человеком, этим ложным пророком — величественным, как Санта Клаус из универмага Селфриджа, — и женщиной, все более страдавшей от одиночества и собственной подозрительности, оставалось такое море любви, что невозможно не сокрушаться о том, сколь многого они лишились из-за того, что не были воспитаны в христианской традиции. Через долгие годы, прошедшие после ее смерти, он пишет чуть ли не со страстным обожанием и религиозным трепетом: "Прохаживаясь теперь по Лондону, будь то по делам или ради развлечения, я всякий раз наталкиваюсь на эти места (где они встречались. — *Г. Г.*): здесь она стояла; здесь подошла ко мне; здесь мы когда-то вместе сидели. Но и там, где она никогда не бывала, мне то и дело попадается на глаза какая-нибудь малость, какой-нибудь совершенный пустяк, и путем самых далеких ассоциаций я все равно прихожу к ней. Так что порой мне кажется, будто я не могу сделать и шага, не могу подумать о чем-нибудь, чтобы передо мной не встало нечто, с ней связанное, и сердце мое заходится от нежности, а губы невольно шепчут: 'Родная моя!'"

# Александр Суконик

# *Условности и сентименты христианского романа*

Константин Леонтьев отмечал, что произведения Достоевского замешаны на сентиментальности, и потому как художника ставил выше Льва Толстого. Но с тех пор чем более возносилось значение Достоевского, тем меньше эта сентиментальность упоминалась, причем — странное дело — не только в России, но и на Западе. (И это при том, что традиции прочтения Достоевского в России и на Западе диаметрально противоположны: наша традиция "высокой мысли" подчеркивает, что у Достоевского — упор на иррациональное в человеке и, как следствие, превознесение христианства; западная же всегда находилась под влиянием рационалистической дерзости его мысли, в том числе — идеи убийства "из головы".) И если про его ранние вещи, "Бедные люди" или "Белые ночи", еще можно сказать, что на них есть налет сентиментальности, то уж никто не осмелится назвать "Преступление и наказание" или "Братьев Карамазовых" романами сентиментальными.

Но так ли это, действительно ли эти романы не сентиментальны? И что такое сентиментальность?

Из всех великих писателей XIX века классическим "сентименталистом" считается Диккенс. Это, кроме всего прочего, и сознательная его позиция: в английском языке слово "sentiment" служит антонимом слову "reason" (рациональному суждению), и через все романы Диккенса красной нитью проходит идея предпочтения действия по чувству действию по здравой мысли. Но это не главное, а вот главное зафиксировать не так-то просто. Диккенс сентиментален, потому что у него непременно счастливые концы? Диккенс сентиментален, потому что он "всегда преувеличивает", по выражению Честертона? Диккенс сентиментален, потому что подчиняется моральным условностям викторианской эпохи? Или же он сентиментален просто потому, что чтение его романов вызывает сентиментальные чувства, сердечный трепет, невольную слезу и прочее в таком роде? На каждый из этих доводов можно бы выдвинуть контрдовод — например, показать, насколько его преувеличения, ослепительные по своей художественности (которая так же непереводима на другие языки, как художественность Гоголя), секут под корень не только человеческие ханжество, фальшь, жадность, глупость, но и социально-государственное устройство. Впрочем, не будем суемудрствовать и прямо признаем свое согласие с общепринятым мнением: да, Диккенс изрядно сентиментален. Тут интересно другое: считается, что Диккенс и Достоевский писатели во многом близкие, и близкие в том именно, что отличает их обоих от других великих романистов XIX века, — в той самой манере "преувеличивать", то есть брать людей в экстремальных ситуациях и придумывать экстремальные характеры; так почему же Диккенс выглядит сентиментальным, а Достоевский — нет?

В английском языке есть емкое слово "conditional", оно совмещает в себе понятия "условленное" и "ус-

© Александр Суконик, 2009

ловное". Жизнь всякого общества одновременно "условлена" и "условна", и эти качества суть залог цельности его жизни и его культуры. В силу сплошной "условленности" общества и культуры как бы очерчивают круг, определяют границу, возводят стену, внутри которой и существуют; точно так высокий забор образует загон, внутри которого существует стадо коров, лошадей или овец (если кому-нибудь мое сравнение не нравится, пусть заменит его другим, своим). Литературные произведения иногда дерзают нападать на эти самые "условленные" границы, и тогда возникают "Гаргантюа и Пантагрюэль" Рабле, "Путешествие на край ночи" Селина или "Так говорил Заратустра" Ницше. Вот уж их произведения никак не назовешь сентиментальными, но, при всей своей экстремальности, Диккенс — писатель прямо противоположный вышеназванным и при всех своих крайностях напоминает "человека из подполья", на которого подобная стена-граница производит действие совершенно умиротворяющее, даже восторженное. Внутри границ он готов громить и крушить всех и вся, но — и тут тонкость — во славу безусловной незыблемости этих самых условленных (и условных) границ, которые для него есть наивысший абсолют.

Границы эти у Диккенса даже и не религия. Это у Достоевского Сонечка Мармеладова носит крестик, а Эми Доррит крестик вовсе не нужен (меж тем как они близнецы, и не только по "кроткому" складу характера, но из-за сходства — до невероятия — их внешнего вида). В романах Диккенса никто не носит крестиков и никто, кроме ханжей, не говорит о религии, как и не цитирует библейские тексты и в критические минуты жизни не спешит в церковь. И тем не менее Диккенс, как и Достоевский, которому без крестика не обойтись, — два самых *условных* христианских "сентименталиста" во всей европейской цивилизации, потому что *действие в их романах на порядок более условно и именно таковым задумано во славу границ, которые есть не что иное, как правила христианской этики и морали.* Приведу пример. Известно, как жалел Достоевский, что "Анна Каренина" не заканчивается сценой всеобщего примирения во время болезни Анны. Если бы Толстой закончил свой роман на такой вот точке всеобщего умиления, самоотречения, просветления и проч. и проч., то он бы тоже стал *условным* писателем, как Диккенс и Достоевский, но он этого не сделал, не придал жизни этакую совсем уж высокую упорядоченность и потому остался в роли более низкой — реалиста (как известно, у реалистов жизнь протекает более хаотично и не зависит от торжества идеальных чувств: тут Бетси процветает, а Анна умирает). Разумеется, Толстой — тоже христианский писатель и даже христианский моралист, но — не христианский "сентименталист". Произведения сентиментальных авторов всегда "выше", всегда более упорядочены, чем произведения авторов не сентиментальных, всегда доведены до состояния специфической экзальтации. И с этой точки зрения Достоевский не менее, если не более сентиментален, чем Диккенс. Мне могут возразить, что Раскольников в "Преступлении и наказании" берется атаковать упомянутую Стену, но только делает он это так экзальтированно и с таким результатом (заведомо известным), что становится понятно: атаку придумал автор с единственной целью — Стену эту восславить.

Но вот посмотрим в контексте "Преступления и наказания" и "Крошки Доррит" на кардинальное слово "любовь", "любить". У писателей-реалистов, вроде Толстого, люди влюбляются, испытывают эротическое влечение, порой, разумеется, любят самоотверженно — но все это, если можно так выразиться, от случая к случаю, в хаосе той самой не слишком детерминированной жизни. У Диккенса же — иначе, его кроткие героини (или герои) любят кротко и самоотверженно и не от случая к случаю, а постоянно, между

тем как эротическое влечение неизбежно и зловеще приводит их к "падению" и отторжению от общества, то есть полной "гибели" (зачастую буквальной). Но Достоевский идет дальше, потому что он употребляет слова "любить", "любит" почти исключительно в форме неопределенной, то есть в форме "бесконечного" — infinitive — глагола. Слов "влюбиться", "полюбить" в его словаре практически нет, и эта условность девальвирует, если подумать, самую суть слова "любовь" как прочного, прошедшего испытание временем *реального* чувства. Любовь Эми Доррит к Артуру Кленнэму возникает постепенно, затем длится долго, очень долго, без всякой надежды на взаимность. Но Разумихин не влюбляется, а "любит" Дуню с первого взгляда, и так же любит Раскольникова Соня (эта идеальная любовь, по крайней мере художественно мотивирована отношением Раскольникова к Соне). Но все побивает пресловутая любовь проститутки Лизы к герою "Записок". В последней сцене он на протяжении трех страниц буквально раздевается перед ней: называет себя мерзавцем, подлецом, себялюбцем и лентяем, самым смешным, самым мелочным, самым завистливым из всех червяков на земле, паршивой лохматой шавкой, что бросается на своего лакея, пристыженной бабой, униженной гнидой, которая всегда будет получать от всех щелчки, и при этом он произносит "всю эту тираду со слезами" — и после такого монолога вдруг заявляет, что она "поняла из всего этого гораздо больше, то есть то, что женщина всегда прежде всего поймет, если *искренне любит* (курсив мой. — *А. С.*), а именно: что я сам несчастлив". Достоевский тут идет на редкую для него художественную (психологическую) натяжку, потому что в приведенной сцене только слепой и глухой не поймет, что герой несчастен, тем более — женщина, сама униженная жизнью. Но Достоевский знает, что если сцена так и останется реалистической, то он "заземлит себя" в реалиста-психолога и ирониста (что считал не приемлемым для себя), а если закончит последнюю сцену "Записок" пусть даже на довольно грубом, сентиментальном преувеличении и условно-абстрактной "любви", то исполнит свой долг христианского "сентименталиста". Недавно один известный литературовед, верный последователь традиции "высокой мысли", назвал "Записки из подполья" музыкальным произведением (на том основании, что конечный эпизод "Записок" вызывает у него такие сильные чувства, какие способна вызвать только музыка). Разумеется, он не прав: музыка может быть какой угодно, только не сентиментальной, если, конечно, не сопровождает определенное сюжетное действо. А вот литература — о да, именно и только литература, и именно литература христианской цивилизации, на это способна, и легко догадаться почему: наша цивилизация слишком сильно завязана на *литературный сюжет с изначально стоящим в горле комком* – на сюжет униженного, оплеванного и распятого Бога, который затем является миру воскресшим и преображенным. Так что взрыв сильных чувств с комком в горле, который, очевидно, испытал уважаемый литературовед, понятен и даже закономерен, если оставаться в системе обязательных высоких условностей и не желать замечать, как художественность приносится тут в жертву идеологии.

Но говорить о сюжете униженного, оплеванного и распятого Бога, явившегося миру воскресшим и преображенным, как о сюжете сентиментальном, явно недостаточно. Чувство (сентимент) — это одна его сторона, в то время как вторая его сторона — ирония. И то же самое с нашей цивилизацией. И то же самое с Диккенсом и Достоевским, творчество которых, как ничье другое, конгениально духу нашей цивилизации.

Тут возникает проблема, противоположная поставленной в начале статьи: точно так же, как непривычно говорить о сентиментальности в поэтике Достоевского, так же не-

привычно утверждать, будто поэтике Диккенса не чужда ирония. В "Крошке Доррит" есть маленький, но необыкновенно характерный эпизод, относящийся к разряду специфических условностей-неестественностей, о которых говорилось выше. Когда Артур Кленнэм приносит Дорритам известие о найденном наследстве, Эми расспрашивает о деталях освобождения отца из долговой тюрьмы.

– Мистер Кленнэм, отец должен выплатить все долги, прежде чем он выйдет из тюрьмы?

– Безусловно, все до копейки... вы довольны?

– А вы? – спрашивает крошка Доррит задумчиво.

– Я? Я рад от всего сердца!

– Значит, так должно быть.

– А вы разве не рады?[1]

И тут крошка Доррит произносит любопытную фразу:

– Мне кажется несправедливым, что отец потерял столько лет жизни и так перестрадал и при этом должен еще уплатить все свои долги. Мне кажется несправедливым, что он должен платить за свои долги одновременно и жизнью и деньгами.

Чем же так знаменательна эта фраза? Только тем, что крошка Доррит *единственный раз* позволяет себе *мыслить критически*, в данном случае критически вовсе не в отношении абсолютных законов морали и не в отношении даже законов общества, а всего только – конкретного государственного закона, который, кстати, уже отменили ко времени написания романа. И Диккенс ее за это осуждает! Тот самый Диккенс, который и вообще в своих писаниях, но особенно в романе "Крошка Доррит" со всех сторон издевается над законами общества, прежде всего над законами высшего общества (над приемами у мистера и миссис Мёрдл), а более всего – над государственным устройством (чего стоит Департамент Околичностей и кормящаяся при нем династия правящей клики Барнаклей).

– Мое дитя... – начал Кленнэм.

– Да, я знаю, что неправа, – робко сказала она. – Не думайте обо мне плохо. Это выросло во мне вместе со мной здесь, в тюрьме.

И Диккенс уточняет, чтобы у читателя не оставалось сомнения:

Тюрьма, которая может извратить натуру человека многими способами, затронула и натуру крошки Доррит – но только краешек ее, не более того... Это было первое и последнее пятнышко, как смог заметить Кленнэм, которое наложила на ее натуру тюремная атмосфера... Ее чистота и ее добродетель, оттененные этим пятнышком, только еще ярче засияли в глазах Кленнэма.

Что же это такое? Что он за писатель, этот Диккенс? Почему он осуждает в крошке Доррит такую *робкую* реакцию на несправедливость не общего устройства жизни, а всего только единичного случая в устройстве государства? Выходит, для него самого существуют одни правила морали и этики (согласно которым он пишет уничижительно и об английской законности, и об английском правящем классе), а для его героини – другие? Правила, которые вполне можно назвать нормальными, существуют не для него одного, но и для его идеального героя Артура Кленнэма, который именно вследствие благородства характера и врожденного чувства справедливости благородно и справедливо негодует против Департамента Околичностей и тех самых Барнаклей. Почему же крошке Доррит воспрещено мыслить и чувствовать согласно этим правилам?

Но Диккенс знает, что делает, потому что в крошке Доррит он изображает святую (даже если и без крестика). Или опять же, изобража-

1. Здесь и далее цитаты из романа Ч. Диккенса "Крошка Доррит" даются в переводе автора статьи. (*Здесь и далее – прим. ред.*)

ет идиотку — точка зрения тут зависит от того, принимать ли во внимание и в какой мере упомянутую Стену. Потому что только святые и идиоты (равно мужского и женского пола) не умеют мыслить аналитически, кротко сходясь друг с другом в этом и таким образом обнажая двойственность и иронию, лежащие в самой основе иудеохристианской цивилизации. В этом их достоинство, точней, в этом их свобода от социальных горизонтальностей жизни и от "греховности" суетных горизонтальных выборов. Но нет никаких оснований предполагать, что Диккенс, несмотря на все его несравненное чувство юмора, хоть краем глаза видит в крошке Доррит идиотку, равно как и невозможно предположить, что он исподтишка указывает на эту двойственность.

Другое дело Достоевский.

"Крошка Доррит" вышла в 1857 году, "Преступление и наказание" — через одиннадцать лет, а еще через два года — "Идиот". Хотя сходство Эми Доррит с Сонечкой Мармеладовой бросается в глаза, не меньше сходства у крошки Доррит с князем Мышкиным. Диккенс постоянно называет крошку Доррит timid — робкой, несмелой, застенчивой, и эти определения вполне подходят Сонечке Мармеладовой. Но еще он называет крошку Доррит naive и simple — простоватой, а это уж скорей как князь Мышкин. (Лебедев о князе: "Гм... по крайней мере простодушны и искренни, а сие похвально!") Крошка Доррит почти не способна концентрироваться и не способна четко мыслить, когда дело доходит до осмысления жизненных событий, в особенности, когда эти события (во второй книге "Богатство") достаточно быстро сменяют одно другое. Тогда ей начинает казаться, что за этими событиями на самом деле стоят какие-то другие события из ее прежней жизни, и то же самое — с новыми странами и природными ландшафтами, что являются ее глазам: "Они необыкновенно красивы, их вид изумляет меня, но я не способна собраться внутри себя, чтобы действительно получать удовольствие". Ее обучают языкам, но она не способна к их усвоению, и так далее, и так далее. (Князь Мышкин: "Меня по болезни не находили возможности учить".) И так же как князь Мышкин, она способна предчувствовать надвигающуюся трагедию (смерть мистера Доррита). В ней несомненно есть что-то "идиотическое", и именно в том плане, в каком описывает себя князь Мышкин. Куросава в предварительном варианте титров к киноверсии "Идиота" написал, что когда Достоевский захотел изобразить свободного человека, то сделал его идиотом. Но свободный человек в образе идиота — это ирония, так что в подобном контексте вполне уместно говорить об иронии Достоевского как о сознательном (по крайней мере достаточно сознательном) приеме. Крошка Доррит совершенно так же свободна от всех несвобод, накладываемых на человека общественной жизнью, как князь Мышкин. Богатство, комфорт, наряды, украшения не столько неприятны ей, сколько как бы ей *посторонни* – не пристали ей, не касаются ее (даже когда ей приходится ради отца и согласно новому социальному положению одеваться по моде). Равным образом потеря Дорритами богатства проходит где-то в стороне — за границами романа, да мы и не знали бы об этом событии, если бы Эми Доррит не упомянула о нем Артуру Кленнэну, чтобы успокоить его *социальную щепетильность*. Но повторим: невозможно даже на мгновенье предположить, будто Диккенс вкладывает хоть ничтожную долю иронии в образ крошки Доррит. И тем не менее...

В начале статьи мы определили Диккенса и Достоевского как двух наиболее христианских писателей европейской цивилизации, потому что действие их романов на порядок более условно и задумано таковым во славу неких абсолютов, которые есть не что иное, как правила христианской этики и морали. Но определение это одномерно, потому что предполагает со стороны пи-

сателей полное и недвусмысленное приятие этих абсолютов как аксиом. Мы также отметили, что для творчества обоих писателей характерны крайность сюжетных ситуаций и "крайность" действующих в них персонажей, и эти крайности мы определили как условность, уклоняющуюся в сентимент. Но тут должно крыться кое-что еще, потому что крайности Диккенса и Достоевского весьма близки к экзальтации, если не сама экзальтация. А экзальтация — вещь весьма двусмысленная, она подразумевает порывистое движение куда-то вверх, куда устремляются глаза и простираются руки, и, может быть, все это для того, чтобы избавиться от ужаса, который испытываешь, глядя вниз, в жизненную реальность.

С этой точки зрения анализировать Достоевского легче, потому что он сам говорил о себе, имея в виду XIX век, что он дитя времени сомнений и колебаний. Обратимся к "Запискам из Мертвого дома", в которых мы найдем два существенных образа:

мужика Марея — как олицетворение идеи почвы (то есть сентимента),

каторжника Орлова — как олицетворение идеи сверхчеловека (то есть крайне противоположной почве и сентименту).

Мужик Марей слишком даже известен вследствие установившейся у нас "высокой" традиции прочтения Достоевского, в то время как каторжник Орлов совершенно неизвестен — вследствие той же традиции:

> Из любопытства я познакомился с ним ближе и целую неделю изучал его. Положительно могу сказать, что никогда в жизни я не встречал более сильного, более железного характером человека, как он... Я видел уже раз, в Тобольске, одну знаменитость в таком же роде, одного бывшего атамана разбойников. Тот был дикий зверь вполне, и вы, стоя возле него и еще не зная его имени, уже инстинктом предчувствовали, что подле вас находится страшное существо. Но в том ужасало меня духовное отупление. Плоть до того брала верх над всеми его душевными свойствами, что вы с первого взгляда по лицу его видели, что тут осталась только одна дикая жажда телесных наслаждений, сладострастия, плотоугодия... Совершенно противоположен ему был Орлов. Это была наяву полная победа над плотью. Видно было, что этот человек мог повелевать собою безгранично, презирал всякие муки и наказания и не боялся ничего на свете. В нем вы видели одну бесконечную энергию, жажду деятельности, жажду мщения, жажду достичь предположенной цели... Между прочим, я был поражен его странным высокомерием. Он на всё смотрел как-то до невероятности свысока, но вовсе не усиливаясь подняться на ходули, а так как-то натурально. Я думаю, не было существа в мире, которое бы могло подействовать на него одним авторитетом. На всё он смотрел как-то неожиданно спокойно, как будто не было ничего на свете, что могло бы удивить его... Я пробовал заговаривать с ним о его похождениях. Он немного хмурился при этих расспросах, но отвечал всегда откровенно. Когда же понял, что я добираюсь до его совести и добиваюсь в нем хоть какого-нибудь раскаяния, то взглянул на меня до того презрительно и высокомерно, как будто я стал в его глазах каким-то маленьким, глупеньким мальчиком, с которым нельзя рассуждать, как с большими. Даже что-то вроде жалости ко мне изобразилось в лице его. <u>В сущности, он не мог не презирать меня и непременно должен был глядеть на меня как на существо покоряющееся, слабое, жалкое и во всех отношениях перед ним низшее.</u> (Подчеркнуто мною. — *А. С.*)

Вот портрет Сверхчеловека, или пресловутого "Наполеона", встреченного Достоевским в реальной жизни; приводит ли он здесь хоть малейший довод в пользу Стены, оставляет ли хоть какую-нибудь ниточку, за которую могли бы ухватиться сентименталисты "высокой" традиции? Выявляет ли он в Орлове хоть какую-нибудь тень этической, духовной ограниченности, неполноценности (как художник он мог бы это прекрасно сделать, если бы

захотел ввести понятия добра и зла)? Напротив, согласно Достоевскому, Орлов являет собой дух в самом чистом своем составе. Сказав вначале, что Орлов был ужасный разбойник, "резавший хладнокровно стариков и детей", в середине рассказа Достоевский, находясь под обаянием этой личности, уже называет его действия "похождениями", а желание грабить и убивать – "жаждой действия", как будто Стена Морали в этот момент превращается в призрак и исчезает из его сознания. Я подчеркнул последнюю строчку: в ней кристально чисто сформулировано то, что потом будет расширено до целого романа – "Преступление и наказание", только совсем под другим углом. В "Записках из Мертвого дома" мы видим саму формулу, без экзальтации и сентимента, в то время как "Преступление и наказание" – это квинтэссенция экзальтации, сентимента и условности даже в сравнении с остальными романами Достоевского. Лихорадочно спешащий стиль Достоевского как будто возникает оттого, что он торопится выговорить свое, опасаясь момента, когда Орлов обернется к нему лицом, поймает с поличным и презрительно улыбнется, как улыбнулся, когда понял, что Достоевский пытается пробудить в нем раскаяние. Не только стиль "Преступления и наказания", но вообще стиль Достоевского – это восторг и экзальтация как средство подавить внутри себя бездонность пугающего знания о том, как обстоят дела на самом деле (с точки зрения реализма). Так возникает двойственность стиля писателя как христианского сентименталиста: образ Орлова, поданный прямо, целостен и реалистичен, без всякой иронии, потому что для Орлова не существует никакой Стены. Но написанный по его следам образ Родиона Раскольникова в своей экзальтации и двойствен, и ироничен, и Стена тут играет решающую роль.

Вот странное противоречие, которое принято объяснять болезненной вроде бы психикой Достоевского. Противоречие между особенно ясным видением (недоступным огромному большинству людей), безо всяких условностей и загородок, что такое есть человек, и – *как следствие этого* – уходом в состояние экзальтации: поднятыми к небу глазами и так далее и тому подобное. Одно тут влечет за собой другое, но это "одно" настолько уникально для данного индивида (то есть Достоевского), что судить его за экзальтацию и сентиментальность стиля, за условности и художественные огрехи весьма неразумно. Например, для того чтобы судить Достоевского за художественную натяжку с "любовью" проститутки Лизы, нужно сперва уметь раздеть человеческое существо так, как он это делает на протяжении всех "Записок из подполья"... Нет, следует хотя бы быть в силах признать, что герой "Записок" – это не какой-то там психически вывихнутый и неприятный тип, с которым у нас мало общего, а это – все мы (что не значит, будто те, кто ходит по земле с заведомо поднятыми вверх глазами, хорошо "понимают" Достоевского; они как раз – менее других).

Но как насчет другого индивида, Диккенса? Английский романист не был на каторге и не сидел в тюрьме, но многие ключевые сцены его романов происходят в тюрьмах[1]. Тюрьмы постоянно притягивали его, он посещал их не только в Англии, но и в разных странах, путешествуя по Европе и Америке. И посещая, помногу и подолгу разговаривал с заключенными. В этом смысле важен ранний и как будто малоудачный его роман "Барнеби Радж" (тираж еженедельного журнала, в котором Диккенс печатался, упал во время публикации "Барнеби Раджа" с семидесяти до тридцати тысяч). Формально в романе идет речь о так называемых "гордоновых бунтах" 1780 года, когда несколько недель антипапистские

1. Хотя, как широко известно, тюрьму знал с детства и не понаслышке: Доррит-старший списан Диккенсом с собственного отца, сидевшего в долговой тюрьме.

толпы не только громили и сжигали дома католиков, но и взяли штурмом лондонскую тюрьму Ньюгет. Роман представляет собой странную и непоследовательную смесь исторического жанра с жанром готики, тут и подражание Вальтеру Скотту, и французской мелодраме, но уникальность художественного видения Диккенса проявляется в образах лидеров, которые ведут за собой толпу мародеров. Вначале у него вообще была удивительная идея поставить во главе восставших трех умалишенных, выпущенных во время бунтов из Бедлама, лондонского сумасшедшего дома, — вот вам и сентиментальный писатель, которому не хватает иронии! Можно ли представить себе более ироническую идею для романа? Впрочем, в окончательном варианте "Барнеби Раджа" Диккенс недалеко ушел от этого: во главе толпы — цыган Хью, огромный малый, которого одни именуют получеловеком, другие — кентавром, палач-вешатель в отставке Деннис и слабоумный Барнеби Радж, именем которого назван роман. У Диккенса персонажи всегда делятся на драматические и комические, и вешатель Деннис, несмотря на мрачную профессию и на то, что из всех троих он один все-таки, можно сказать, "член общества", относится к разряду персонажей комических, между тем как более дикие и экстравагантные Барнеби и Хью — к драматическим. Барнеби и Хью друзья детства, оба они находятся в очень близком отношении к миру природы и куда менее близком — к миру людей. Беззаботный Хью горд и смотрит на людей со смехом и презрением, говоря, что его собака дороже ему всех людей. При малейшей возможности заваливается спать где угодно, и когда прыгает на лошадь, то прямо сливается с ней — ему и седла не нужно. Он храбр и идет на казнь смеясь — как смеялся и во время погромов; он человек дикий и свободный, и его вполне можно зачислить в литературные предшественники разбойника Орлова. Барнеби более робок, у него свои страхи, он всматривается и вслушивается в природу так, будто она живое существо — то нашептывает ему что-то листвой, то сверкает зарницами, и он все пытается понять, что же она ему хочет сказать. Но он вольно носится по полям и лугам в окрестностях Лондона, и его тоже можно назвать свободным и невинным существом в том смысле, в каком мы говорим это о князе Мышкине, даже если внешне между ними нет ничего общего. Развитие образа Барнеби диаметрально противоположно развитию образа князя Мышкина: если в начале романа Барнеби — пугливый идиот, и не более того, то в конце он бесстрашный лидер восставших. Разумеется, он по-прежнему патологически наивен и доверчив и примыкает к бунтовщикам только потому, что следует за Хью, который, смеясь, назначает его знаменоносцем; разумеется, ему неизвестны реальные "низкие" мотивы, которые движут и Хью, и Деннисом, и толпой, но тем не менее он внезапно как бы прозревает, найдя себе дело, за которое не страшится умереть, и оттого речь его становится разумной:

— Благословение тебе! — вскричал Барнеби, делая шаг вперед. — Я не испуган, Хью. Я вполне счастлив. Я не согласился бы остаться в живых, даже если бы они помиловали меня. Глянь на меня! Ну что, выгляжу я как человек, который боится умереть? Достанется ли им увидеть меня дрожащим от страха?

Хью какое-то мгновенье вглядывался в его лицо, которое озаряла странная, неземная улыбка, в его сверкающие глаза. И, встав между ним и священником, прохрипел тому:

— Я не стал бы тратить время на него, господин хороший. Он тоже может испортить вам аппетит перед завтраком, к которому у вас такая похвальная привычка.

Вот почему я заговорил о не таком уж существенном вроде бы романе Диккенса "Барнеби Радж". Как и Достоевский, Диккенс писал для заработка, только читателей у него было во много раз больше и умер он

миллионером. В отличие от Достоевского, Диккенс заботился о развлекательности своих романов и писал счастливые концы даже тогда, когда не хотел этого делать ("Большие ожидания"). Диккенс был классический entertainer[1] и был так же не свободен от внутренней цензуры, как Достоевский — от внешней, может быть, более несвободен, потому что хуже внутренней цензуры нет ничего. То есть мы не можем сказать, до какой степени викторианская мораль повлияла на его творчество, да и сам Диккенс не мог бы, вероятно, сказать: внутренняя цензура подсознательна. Невозможно представить себе, что Диккенс написал бы что-нибудь хоть отдаленно напоминающее бездонно-иронические "Записки из подполья", и невозможно представить себе, что он мог в душе допускать иронию по отношению к Эми Доррит. И тем не менее ирония присутствует в его произведениях — *не может не присутствовать хотя бы по одному тому, что он христианский сентименталист.* В любом романе любого писателя-реалиста мальчик может встретиться с беглым каторжником, и даже на кладбище — почему бы и нет? Но вот чтобы вокруг такой встречи выстроить глубоко иронический сюжет романа, в котором изначальный грех, каторга и кандалы служат трамплином для возникновения экзальтированной и, увы, безосновательной романтической мечты и любви, нужен писатель особого дарования и особого видения мира, причем — уточню, какого именно — не совсем здорового, экзальтированного и декадентского. Я понимаю, что слова "не совсем здорового" и "декадентского" удивляют применительно к Диккенсу, и потому спешу уточнить, что имею здесь в виду данное Ницше определение христианской религии как нездоровой и декадентской. Диккенс и Достоевский в свете этого определения — особенные писатели, и не только для XIX века. Они особенные и рядом с Шекспиром, Толстым, Бальзаком, Расином — с кем угодно. Их особенность в том, что оба они, каждый по-своему, интимно, так сказать, до *полной обнаженности,* знают, что такое человек, для которого моральная Стена — ничто. И не просто знают, но восхищаются его силой и свободой, да так, будто не могут не восхищаться. Вследствие чего — бросаются в другую крайность — в экстатическое превознесение такого человека, *существа покоряющегося, слабого, жалкого во всех отношениях,* как крошка Доррит или князь Мышкин.

1. От глагола "entertain" — развлекать (*англ.*).

# Марсель Пруст
# *Три письма*

*Перевод с французского, вступление и комментарии* Елены Баевской

## В сторону литературного перевода

Марсель Пруст еще на школьной скамье знал, что хочет заниматься литературой, и только литературой, — к неудовольствию родителей, которые желали для своего болезненного сына более спокойной и надежной профессии. С 1892 года (Прусту двадцать один год) он уже вовсю печатается в периодических изданиях, занимается журналистикой, пишет светскую хронику, рецензии, стихи, рассказы, стихотворения в прозе, пастиши; в двадцать четыре начинает писать роман... Но роман брошен на середине, первый сборник, в который вошли юношеские стихи и проза, не разошелся, а все остальное выглядит как-то легковесно: молодому писателю никак не удается найти себя. Но вот он наконец ставит себе серьезную литературную задачу — художественный перевод.

Пруст увлекся книгами английского писателя, критика, искусствоведа Джона Рескина, чья слава гремела по всей Европе, однако к тому времени во Франции бóльшая часть его сочинений оставалась непереведенной. Интуиция, видимо, уже тогда подсказывала Прусту, что ему понадобятся и эстетическая теория Рескина, и его "трудный" стиль; и в самом деле позже они послужат Прусту фундаментом и строительным материалом для романа. Беда была в том, что он не знал английского: учил только латынь, греческий и немецкий. Но при известном складе ума лучший способ разобраться в книгах на незнакомом языке — перевести их на родной, и Пруст взялся за этот труд. Сначала ему помогала мать: г-жа Пруст была прекрасно образованна и свободно читала по-английски. Затем нашлась еще одна помощница, Мэри Нордлингер, английская кузина его близкого друга, композитора Рейнальдо Ана. Эта девушка взялась готовить для него подстрочники. Нордлингер сообщает, что зимой 1896 года, когда она впервые встретилась с Прустом, тот уже прочел все, что мог найти из Рескина по-французски, и жаждал узнать больше. Настоящая работа над переводом началась в 1899 году. Сперва Пруст перевел и опубликовал "Амьенскую библию" (исследование, содержавшее историю собора в Амьене и интерпретацию библейских сюжетов, использованных в его отделке), затем "Сезам и Лилии" (самое популярное произведение Рескина, представляющее собой тексты двух лекций, прочитанных в Манчестере: "О сокровищах королей" — рассуждение о чтении и "О садах королев" — о женском образовании), снабдив обе книги подробнейшим комментарием и обширными вступительными статьями. В итоге он перевел только две эти книги, но работа над ними не сводилась к литературной обработке чужих подстрочников: стремясь к абсолютному пониманию и абсолютной точности интерпретации,

© Librairie PLON 1973–1993
© Елена Баевская. Перевод, вступление и комментарии, 2009

Пруст полностью погрузился в английские оригиналы. Судя по всему, он досконально знал чуть ли не все, написанное Рескином, об этом, в частности, свидетельствуют сделанные им примечания к обоим текстам, изобилующие цитатами из других трудов переводимого автора, которые Пруст тоже дает в собственных переводах. Так, в комментариях к "Сезаму" Пруст ссылается на двадцать пять работ Рескина, а ведь бóльшая часть этих текстов не была в то время переведена на французский.



Что значило быть литературным переводчиком во Франции 1899—1906-х годов? С одной стороны, переводчик имел доступ к самому важному источнику, из которого черпала в тот момент французская литература: к началу 1880-х годов именно переводы новых иностранных авторов — Джордж Элиот, Киплинга, Достоевского, Толстого, Ибсена, Ницше (не только философских его произведений, но и поэтической прозы), Д'Аннунцио — переломили инерцию устоявшегося натурализма (Золя, Гонкуров, Мопассана...) и проложили дорогу новой литературе, декадентской и символистской.

Вместе с тем переводчик оставался существом низшим — литературным чернорабочим. Признание в литературе получали только те, кто от переводов переходил к оригинальному творчеству, как минимум — к эссеистике и критике. Что и понятно: в те времена перевод был занятием куда менее ответственным, чем в наши дни; переводчики приспосабливались к господствующему вкусу и не ломали голову над тонкостями текста, если не могли разобраться в них с налету.

И все-таки по мере того, как возрастал престиж иностранной литературы и перевод постепенно становился профессиональным занятием, в нем наметились два потока — "академический" и "символистский". Если "академики" были архаистами, то "символисты" — новаторами: молодые, начинающие литераторы, как правило, и в переводе искали пути отхода от натурализма, стремились создать "другую" литературу, внимательно работали со словом, придирчиво отбирали тексты.

Во Франции в то время перевод редко выполнялся по инициативе переводчика. Все же иногда одаренным литераторам удавалось убедить издателя в необходимости представить определенного писателя читающей публике. Так произошло с Прустом: он сам выбрал Рескина и, не жалея сил, добивался смыслового и стилистического соответствия перевода подлиннику. В этом отношении он напоминает своего великого предшественника — Бодлера, который переводил стихи и прозу Эдгара По, переводил истово и пропагандировал его в критических статьях. Еще одним предшественником Пруста на этом пути был другой его любимый поэт, Малларме, который, как и Бодлер, переводил Эдгара По, а кроме того — прозу своего друга Уистлера, английского художника и эссеиста. К тому же Малларме и об Эдгаре По, и об Уистлере писал статьи и даже стихи. Вот и Пруст написал к обоим своим переводам огромный постраничный комментарий, предпослал им предисловия, в которых уже угадываются очертания романа "В поисках утраченного времени", и посвятил Рескину несколько статей.

На перевод и подготовку к печати двух небольших книг у него ушло семь лет — с 1899-го по 1906 год. Дело замедлялось прежде всего тем, что переводчик уже был в то время тяжело болен — как известно, с детства страдал астмой, — но главное, не зная толком английского, он ни в чем не полагался на помощников и во все вникал сам. Конечно, при таких темпах работы рассчитывать на существенный литературный заработок было невозможно, а ведь Пруст мечтал жить литературным трудом. Семья Пруста была богата, но материально он полностью зависел от родителей, которые не оставляли попыток привить взрослому сыну навыки береж-

ливости (этой похвальной добродетели он так и не усвоил) и подчас весьма деспотически контролировали его расходы. Сегодня трудно вообразить строгость нравов, царивших в добропорядочной буржуазной семье: так, в 1902—1903 годах г-жа Пруст наказывает взрослого сына за неподобающее поведение тем, что велит прислуге не топить у него в комнатах (несмотря на его слабое здоровье) или запрещает ему принимать у себя друзей. В ноябре 1903 года скоропостижно умирает отец, Адриен Пруст, известный врач, профессор медицины; Пруст посвящает его памяти перевод "Амьенской библии", опубликованный в 1904 году. Посвящение это не просто дань памяти отца, оно напоминает попытку оправдаться перед родителями и доказать им, что неудачный сын способен на серьезное интеллектуальное свершение. В следующем году умерла и Жанна Пруст, мать Марселя, настаивавшая на том, чтобы сын не оставлял начатого дела. Но Пруст к этому времени уже разочаровался в нем, ему кажется — и не без оснований, — что перевод не дает ему писать свое, и, опубликовав весной 1906 года "Сезам и Лилии", он больше никогда и ничего переводить не будет. "В поисках утраченного времени", конечно, не автобиографический роман, но Пруст, передавший своему герою собственные черты, сделал его переводчиком Рескина. В уста героя он вложил любопытнейшее рассуждение о сущности литературного перевода:

...Мы воображаем, будто минувшее находится далеко от нас, и наверное, этим-то и объясняется, почему даже великие писатели находили гений и красоту в произведениях посредственных мистификаторов вроде Оссиана. Изумляясь, как это стародавних бардов могли осенять современные мысли, мы приходим в восхищение, если в тексте, который мы считаем древней гэльской песнью, обнаруживается то, что у нашего современника показалось бы просто удачной находкой. От талантливого переводчика требуется только ввести в древнего автора, чьи слова он более или менее точно воспроизводит, какие-то дополнения от себя, которые, будь они подписаны современным именем и опубликованы отдельно, показались бы не более чем симпатичными, — и тут же переводимого поэта осеняет трогательное величие, он словно играет на клавиатуре нескольких столетий. Сам переводчик только и может, что создать книгу, которая показалась бы всего лишь посредственной, будь она опубликована как его оригинальное произведение. А представленная в виде перевода, она кажется шедевром[1].

Логика рассуждений героя романа безупречна: он знает суть вопроса. Его утверждения нелегко опровергнуть, и, пожалуй, многих они надолго лишат охоты баловаться переводами. А между тем подобные мысли могли прийти в голову только искушенному мастеру, который о переводе знает не понаслышке.

Образность прустовского романа основана подчас на знании переводческой техники. Какой переводчик-профессионал не гордится тем, что виртуозно владеет синтаксисом? Однако Пруст развенчивает и это ценное качество (причем опять не от своего имени, а от лица героя), когда описывает герцогиню Германтскую:

Мы уже достаточно описали остроумие герцогини, чтобы стало понятно, что, хотя оно и не имело ничего общего с тонким умом, это все же было настоящее остроумие, умевшее искусно, как переводчик, пользоваться разнообразными формами синтаксиса[2].

Вряд ли писатель, не отдавший годы жизни переводу, придумал бы такое сравнение!

1. Здесь и далее цитируется в моем переводе по: Marcel Proust. À la recherche du temps perdu. Vol. I–IV. – Paris: Gallimard, 1987–1989. – Vol. II, p. 711. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Op. cit., vol. III, p. 86–87.

И все же Пруст, низвергнув литературный перевод с пьедестала, возносит его на новую, недосягаемую высоту. Когда писатель задается целью создать великую и правдивую книгу, его труд, по мысли героя, — это, в сущности, перевод:

...чтобы выразить эти впечатления, чтобы написать эту главную книгу, единственную настоящую книгу, великому писателю нужно не сочинить ее, в расхожем смысле слова, потому что ведь эта книга уже существует в каждом из нас, — но *перевести*. Долг и задача писателя — быть переводчиком[1].

Мы предлагаем вниманию читателя три письма Марселя Пруста, из которых можно узнать и о его отношении к переводу, и о некоторых этапах и технических аспектах работы, и в какой-то мере — о его дружеских связях и художественных интересах, и, конечно, о всей той смеси дружелюбия и ранимости, гордости и неуверенности в себе, которая была ему присуща. Кроме того, читатель может видеть, как от переводов из Рескина Пруст переходит к "переводам из самого себя", за которые он возьмется с новой энергией в 1908 году, когда начнет писать "В поисках утраченного времени". В нашу задачу входило поместить эти три письма в контекст среды и эпохи, поэтому каждый текст сопровождается небольшим комментарием[2].

## 1

Константену де Бранкovану
[Вторая половина января 1903]

Милый друг,

вы знаете, как я вас люблю, и сейчас, когда вы были так добры ко мне и к моим Рескинам, мне бы тем более не хотелось, чтобы вы думали, будто я вас упрекаю; но у меня просто не укладывается в голове, как вы могли, зная, что вот уже четыре года я работаю над переводом "Амьенской библии", что этот перевод вот-вот будет опубликован, что он стоил мне немалого труда и что я придаю ему огромную важность, — не укладывается в голове, как вы могли, зная все это, сказать *при Лорисе (да при ком угодно)*: "В сущности, вы же не знаете английского, там, наверное, полно неточностей". Я знаю, милый мой Константен, вы это сказали не со зла. *Но если бы кто-нибудь меня ненавидел и хотел одним словом уничтожить плоды моего напряженного четырехлетнего труда*, которого я не бросал даже когда болел, если бы кто-нибудь хотел, чтобы моего перевода никто не читал, словно его и вовсе не существовало, — разве этот человек мог бы сделать мне больнее? Скажите такое трем людям — и я бы мог не тратить даже одного из тысячи часов (на самом деле много больше!), которых стоил мне этот перевод.

1. Marcel Proust. À la recherche du temps perdu. Vol. IV, p. 469.
2. Пользуюсь случаем, чтобы выразить сердечную благодарность отделу Пруста в Институте текстов и рукописей нового времени (ITEM, École Normale Supérieure, Équipe Proust) за существенную помощь в работе над этой статьей.

А, по сути, вы знаете, у меня нет привычки переоценивать то, что я делаю, и я не докучаю знакомым своими опусами. Но я думаю, что этот перевод — не в силу моего таланта, которого просто нет, а в силу моей бесконечной добросовестности — будет переводом, каких очень немного, настоящим воссозданием подлинника. Если бы вы знали, что не было ни одного неясного выражения, ни одной темной фразы, по поводу которых бы я не советовался по меньшей мере с десятком английских писателей и не накопил целую пачку писем, вы бы не произнесли слова "неточность". Я углублялся в смысл каждого слова, в значение каждого выражения, устанавливал связь между всеми мыслями и в итоге пришел к такому доскональному знанию текста, что всякий раз, когда я советовался с каким-нибудь англичанином — или французом, безукоризненно знающим английский, — им обычно требовалось не меньше часа, чтобы распознать трудность, и они говорили мне, что я знаю английский лучше англичан. Тут они как раз ошибались. Я не знаю ни слова на разговорном английском и читаю по-английски неважно. Но я четыре года работаю над "Амьенской библией" и знаю ее наизусть; смысл текста мне ясен совершенно, остались только те туманности, которые происходят не от недостаточной нашей зоркости, но от темной и не терпящей упрощения мысли, в которую мы вглядываемся. Про предложений двадцать, не меньше, д'Юмьер говорил мне: "Это невозможно перевести, это по-английски ничего не значит. Я бы на вашем месте это пропустил". Вооружившись терпением, я даже и там доискался до смысла. И если в моем переводе все-таки встретятся ошибки, то лишь в простых и легких местах, потому что темные я обдумывал, переделывал, углублял годами.

Говорить о подобном, милый друг, совершенно не в моем характере. Пожалуй, за всю жизнь я ни с кем не говорил о себе так много. Но меня несколько задела ваша несправедливость, и я слегка испугался последствий, которые будут иметь для меня ваши слова. Когда увидите Антуана Бибеско, спросите его только одно: хорошо ли я, по его мнению, понимаю текст Рескина. Бибеско часто видел, как я сомневался там, где все ему казалось бесспорным. Выслушав мои объяснения, он в самом деле признавал, что у меня есть причины для сомнений. И видя, как я с помощью скрупулезного анализа эти сомнения преодолевал, он мне говорил: "Я и не думал, что можно так здорово переводить". Немного смешно, что я ссылаюсь на всех этих людей, но что прикажете делать? Не стану скрывать: если вы попросите у меня попить по-английски, я не пойму вас, потому что английский я учил, когда уже был болен астмой и говорить не мог; я учил язык глазами и не умею ни произносить английские слова, ни понимать их на слух. Я не притязаю на знание английского. Я притязаю на знание Рескина. А притязаний у меня не так уж много. Может быть, я вас не убедил, и вы по-прежнему думаете, что мой перевод — нагромождение неточностей. Но тогда из дружбы ко мне не говорите этого никому — пускай читатели откроют это сами. Простите мне мою прямоту и не сомневайтесь в моей благодарности и дружбе.

*Марсель Пруст.*

P. S. Исправленная корректура лежит у моего консьержа. Мне в ней больше нечего менять. Но раз ваш журнал обыкновенно посылает две

корректуры, я не прочь держать вторую, хочу убедиться, что исправления были правильно поняты. Говоря "больше нечего менять", я имею в виду: мне так кажется. Но, разумеется, я изменю все, что вы потребуете. Только опасаюсь, как бы мы не упростили Рескина и не ослабили его необычного очарования, превратив его в этакого Мериме.



**Комментарий**

Князь Константен де Бранкован, отпрыск румынской аристократической семьи, жившей преимущественно в Париже, издавал с 1902 года журнал "Латинский ренессанс", который вдохновлялся прежде всего творчеством итальянского писателя-декадента Габриэле Д'Аннунцио; само название журнала было полемическим, в противовес изданию французского писателя-символиста Сара Пеладана "Латинский декаданс". Бранкован привлек Пруста к сотрудничеству, и тот предложил ему часть перевода "Амьенской библии", которая и была опубликована между 15 февраля и 15 марта 1903 года. Пруст и Бранкован были друзьями, Пруст нередко гостил на вилле Бранкованов в Эвиане; позже между ними наступило некоторое охлаждение, однако Пруст все же отдал в журнал Бранкована предисловие ко второму своему переводу из Рескина, озаглавленное "О чтении" (опубликовано 15 июня 1905-го). Настоящее письмо Пруст написал, дочитывая первую корректуру своего перевода "Амьенской библии" для журнала. В нем есть одно преувеличение: работа над переводом продолжалась на самом деле не четыре года, а чуть больше двух.

Упомянутый в письме граф Жорж де Лорис (1876—1963), автор трех романов, мемуарист, познакомился с Прустом в 1902 году и вскоре стал его другом и поверенным литературных планов. Любопытно, что в предисловии к сборнику писем Пруста де Лорису последний упоминает тот же самый инцидент: "Однажды князь де Бранкован, который в те времена издавал "Латинский ренессанс", спросил его: "Как вы выходите из положения, Марсель, — вы же не знаете английского?" И в самом деле, Пруст знал по-английски только Рескина, но зато — во всех тонкостях. Доведись ему очутиться в обществе англичан или просто попытаться заказать котлету в ресторане, это было бы для него мучением". (Marcel Proust. A un ami. — Paris: Amiot-Dumont, 1948, с. 22). Пруст не зря так рассердился: он знал, что в словах Бранкована есть доля правды, и в его переводе "Амьенской библии" действительно попадаются неточности (см. Emile Audra. Ruskin et la France, dans la Revue des Cours et conférences, 27, 15 janvier 1926, с. 281—288). Но существует ли перевод без неточностей?

Кроме того, упомянут виконт Робер д'Юмьер (1868—1915) — друг Пруста, романист, эссеист, драматург, переводчик с английского, открывший французскому читателю Киплинга и Конрада. Пруст часто обращался к нему за помощью и выразил ему благодарность в предисловии к "Амьенской библии": "Когда я становился в тупик перед трудным языковым оборотом, я шел за советом к великолепному переводчику Киплинга, и он, тонкий знаток английских текстов, доверявший столько же знаниям, сколько интуиции, тут же разрешал мои трудности".

Наконец, князь Антуан Бибеско (1878—1951) и его младший брат Эммануэль — соседи Пруста, с которыми он познакомился и подружился в 1899 году. Их мать, княгиня Бибеско, держала литературный салон, где собирались писатели и музыканты. Антуан писал пьесы, к которым Пруст относился одобрительно, но главное — оба брата разделяли интерес Пруста к Рескину и вместе с ним совершали паломничества в места, упоминавшиеся в его книгах. Бибеско состояли в родстве с Бранкованами.

## 2

Мэри Нордлингер
[Воскресенье 17 или 24 апреля 1904]

Милый друг,

спасибо за чудесные цветы-секреты, нынче вечером я из них, по выражению мадам де Севинье, "устроил весну" — безобидную, пресноводную и проточную. Благодаря вам, дальневосточная весна осенила мою черную электрическую комнату. Кроме того, благодарю за прекрасный перевод, я его тщательно проработаю и, если позволите, изменю, но осторожно, со всем надлежащим почтением. И все-таки изменю. Вы говорите по-французски не только лучше француженки, но и просто как француженка. Вы пишете по-французски не только лучше француженки, но и просто как француженка. Но когда вы переводите с английского, проявляется вся первоначальная природа слов, они возвращаются к своему складу, к своему сродству, к правилам, изначально им присущим. И несмотря на все очарование, которое есть в этом английском наряде французских слов или скорее в этом мерцании английских оборотов и английских лиц, прорывающихся сквозь французский свой облик и французское облаченье, нужно будет остудить эту жизнь, офранцузить, удалить от оригинала и притушить оригинальность.

Нет, я, конечно, не стану напрашиваться, чтобы Мане и Фантен меня добивали: и так уже меня наполовину прикончили Клуэ и Фуке.

Ваш друг *Марсель*.

Что такое "жемчужина венецианских четок"?

P. S. (Понедельник) Мое письмо забыли отправить, поэтому добавляю короткий постскриптум. Боюсь, как бы вы не рассердились, что я все переворошил в "Сезаме"; в конце концов я могу оставить все как было у вас, если вам угодно. Но думаю, что вы переводили не по тому изданию, с которым работаю я, потому что все время встречаю несовпадения. Да и многие слова у вас пропущены. Лучше я сам выправлю то, что вы сделали, а потом мы все вместе обсудим. Давеча меня разбудил звонок. Спросонок я не сразу поинтересовался, кто приходил. А когда спросил и узнал, кто это, было уже поздно: вы ушли. Хотя если бы я вас и не упустил, все равно я был не в состоянии с вами увидеться. С тех самых пор все еще не выхожу, но в скором времени отважусь (только не днем, а вечером). С огромным почтением, с огромной дружбой

*Марсель Пруст.*

**Комментарий**

Мэри-Луиза Нордлингер познакомилась с Прустом в парижском доме семьи Ан. В Париже она изучала искусство, занималась ваянием, разделяла любовь Пруста к Рескину и была, наряду с г-жой Пруст, его преданной помощницей; причем, если г-жа Пруст могла только поверхностно передать смысл английского текста,

Нордлингер была способна проникнуть в идеи Рескина и оказать помощь в их истолковании. О дружбе и сотрудничестве с Прустом она рассказала в своих воспоминаниях, к сожалению, неоконченных; кроме того, в 1942 году она издала сорок одно письмо Пруста, освещающее всю их совместную работу над переводами (Lettres à une amie), предпослав изданию предисловие. Пруст вместе с Нордлингер завершили корректурную правку "Амьенской библии" в январе—феврале 1904 года и немедленно начали работу над "Сезамом и Лилиями"; об этом и говорится в настоящем письме.

Японские игрушки, о которых идет речь, Нордлингер прислала в подарок Прусту; позже он описал их в романе: "И как в той игре, которой забавляют себя японцы, окуная в фарфоровый сосуд с водой комочки бумаги, поначалу бесформенные, которые, едва намокнув, расправляются, обретают очертанья, окрашиваются, делаются друг на друга непохожи, превращаются в цветы, в домики, в объемных узнаваемых человечков, так теперь все цветы из нашего сада и из парка г-на Свана, и белые кувшинки на Вивонне, и добрые люди в деревне, и их скромные жилища, и церковь, и весь Комбре с его окрестностями — все это обрело форму и плотность, и все — город и сады — вышло из моей чашки с чаем"[1].

Письмо написано спустя несколько дней после того, как Пруст вместе с Нордлингер побывали на выставке "Французская живопись 1350—1589 годов", которая открылась 12 апреля 1904 года в Лувре, в павильоне Марсан. Картины Фуке и Жана Клуэ пользовались на этой выставке особым успехом. А с 13 апреля до конца мая 1904 года в Люксембургском музее проходила выставка французских художников конца XIX века, включавшая упомянутых Прустом Мане и Фантен-Латура.

## 3

Мэри Нордлингер
[Версаль, 7 декабря, 1906, пятница, вечер]

Милая, милая, милая, милая Мэри!

*Прежде всего,* говорил ли вам Рейнальдо, что я послал письмо, а потом "Сезам" в странное место по странному адресу, где, как я ему и сказал, "Детройт – название города, не правда ли? Авеню – название провинции? Озеро Онтарио – название страны?" Но ответа я так и не получил и понимаю, что ничего не дошло, поскольку вы спрашиваете: "А что 'Сезам'?" Прилагаю его к этому ответу.

Милый друг, как вы близки моему сердцу и как мало повредил этой близости ваш отъезд! Я всегда вспоминаю о вас с теплотой и неизменной тоской по прошлому. В моей разграбленной жизни, в моем разбитом сердце по-прежнему есть место для нежности к вам.

Милый друг, разрешите сказать в двух словах банальную вещь. Вы потому до сих пор не получили никакого гонорара за "Сезам", что журнал, в котором он был сперва опубликован, прогорает и до сих пор никому не заплатил. А "Меркюр де Франс", издательство, в котором вышла книга, заплатит, когда разойдется достаточно экземпляров. Если вы пожелаете,

1. Marcel Proust. À la recherche du temps perdu. Vol. I, p. 47.

чтобы я вам выслал деньги авансом, я сразу же это сделаю без малейших затруднений: вы знаете, что, увы, мне больше не перед кем отчитываться в моих тратах. Вы, как я понимаю, в Манчестере. Я вот уже четыре месяца в Версале. Хотя можно ли сказать, что я в Версале? Приехав сюда, я слег и уже не вставал, ни разу не съездил ни в Шато, ни в Трианон — никуда, и просыпаюсь только поздней ночью, так что понятия не имею, в Версале я или еще где. Я уже собирался вернуться в Париж, однако у меня вышли неприятности с жильем, началось судебное дело, и с октября я снял другую квартиру, но пока не могу в нее въехать. И тем не менее если вы мне напишете в отель "Резервуар", где я сейчас, или на улицу Курсель, 45, где я впал в безысходное отчаяние, видя, что оставаться там невозможно из-за непомерно высокой арендной платы, то любезная консьержка перешлет мне письмо от Мэри сюда или на бульвар Осман, 102, где находится квартира, которую я снял, но в которой до сих пор жить нельзя, — и я получу вашу весточку. Если я буду слишком утомлен и не отвечу, надеюсь, вы меня простите. Но постараюсь ответить. Работаете ли вы? Я — нет. Я навсегда закрыл эру переводов, которые поощряла мама. А на переводы из самого себя больше не отваживаюсь. Видели ли вы в Америке что-нибудь красивое? С какой стати вам вздумалось возвращать мне учебничек? Если бы я выходил из дому в дневное время, я бы хотел посмотреть это египетское и ассирийское искусство, оно мне кажется и впрямь прекрасным. Продает ли г-н Бинг египетские, ассирийские и готические штучки? Как поживают ваши родные? Как поживает тетушка? Поклонитесь ей от меня, она осталась у меня в памяти как один из любопытнейших "камней Венеции". Ничто не могло смягчить, ничто не могло поколебать ее несгибаемых принципов. Но до чего она мне нравилась, и как она, судя по всему, вас любит! Она для меня олицетворяет "Утра в Венеции", и пускай я никогда их не видел, зато ваша тетушка для меня — воплощение "ранней пташки", женщины, которая не знает, что такое залеживаться в постели по утрам. Я по-прежнему много и постоянно о вас думаю, милый друг, и никогда не перестану. Целую ваши руки с чувством бесконечной дружбы.

*Марсель Пруст.*

**Комментарий**

Письмо написано на почтовой бумаге с широкой траурной каймой: незадолго до этого Пруст потерял мать, несколько раньше умер отец. Несмотря на трения, а подчас и серьезные конфликты, о которых говорилось выше, Пруст относился к родителям, особенно к матери, с искренней любовью, и эта потеря была для него ударом, от которого он не сразу оправился. Со смертью матери связана и необходимость переезда, и свобода обращения с деньгами, о чем идет речь дальше.

В том же году завершилась совместная работа над вторым, и последним, переводом, Мэри уехала из Франции, но многое еще нужно обсудить. По просьбе Нордлингер Пруст посылает ее знакомым в Канаду экземпляр книги "Сезам и Лилии", вышедшей в 1906 году в издательстве "Меркюр де Франс". Кроме того, не до конца улажены денежные счеты между соавторами (по уговору Пруст сам оплачивал труд Нордлингер из гонораров, полученных от издателей). Речь идет о предварительной публикации нескольких отрывков из "Сокровищ королей"

(первой части "Сезама и Лилий") — в марте, апреле и мае 1905 года они появились в журнале "Лез ар де ла ви". (В майском номере Пруст выразил благодарность Мэри Нордлингер за помощь в переводе.) Главным редактором журнала был писатель и художественный критик Габриель Мурей, поборник новой живописи, ценитель прерафаэлитов и, между прочим, сам переводчик (в его переводе вышел сборник стихов Суинберна); там печатались такие культовые фигуры новой поэзии, как Эмиль Верхарн, Робер де Монтескью[1]. Довольный возможностью пропагандировать Рескина в серьезном эстетическом издании, Пруст не без высокопарности писал Мурею: "Я рад, что в этой родственной атмосфере прекрасные Лилии Рескина, которые я так кощунственно дерзнул пересадить на чужую почву, освоятся и обретут на этой гостеприимной и дружелюбной земле новую, долгую жизнь" (май 1904). Однако журнал испытывал денежные затруднения и с гонорарами не спешил — как, впрочем, и издательство.

"Учебничек", о котором упоминает Пруст, по свидетельству самой Нордлингер, — учебное пособие Гастона Масперо (1846—1916), знаменитого египтолога[2]. Зигфрид Бинг — коллекционер и торговец предметами искусства, держал в Париже студию "Ар нуво". С ним сотрудничала Нордлингер.

В конце письма Пруст подводит итог: полоса переводов осталась позади — впереди уже маячит главная книга, но взяться за нее он еще не готов и сомневается в своих силах. Он вспоминает о самом начале работы над переводами, когда в мае 1900 года он специально ездил в Венецию по следам Рескина и осматривал город с Нордлингер и ее теткой. "Камни Венеции" — книга Рескина, которая была у них с собой в поездке и с которой путешественники сверяли свои впечатления от увиденного. "Утра в Венеции" — аллюзия на другую книгу Рескина, "Утра во Флоренции"; Пруст шутит здесь над своим распорядком дня: как известно, он не спал по ночам и засыпал под утро. Однако поездка была трудной, экскурсии сменялись сеансами совместной работы: Пруст и Мэри укрываются от жары в Баптистерии и начерно пишут первые страницы перевода "Амьенской библии".

1. Граф Робер де Монтескью (1855–1921) – поэт и коллекционер, денди французского декаданса. См. о нем: О. Вайнштейн. Денди: мода, литература, стиль жизни. – М.: НЛО, 2006 (Культура повседневности).
2. Lectures historiques. Histoire ancienne. Égypte, Assyrie. Au temps de Ramsès et d'Assourbanipal, Hachette, 1890.

# "Чернея в глубине зеркал..."

Роман Дубровкин *Фавн перед зеркалом* (*стихотворения "младших" французских символистов в переводах Романа Дубровкина*). — М.: Русский импульс, 2008. — 96 с.

Поэзия французского символизма вот уже почти столетие относится к величинам бесспорным. Она стала одним из оснований современной культуры; обращение к французскому символизму сегодня — почти непременный жест любого читателя или исследователя, которому зачем-либо нужно обращаться к живой красоте, к "вечному". Богатства этой традиции исчерпать, пожалуй, невозможно — и не просто потому, что ни одно иноязычное произведение нельзя перевести "до конца", во всей полноте звука и смысла, и новый скальд, перефразируя Мандельштама, всегда произносит *свою* песню. Символизм принципиально исходит из того, что любое словоупотребление стереоскопично, если угодно — *трехмерно*. Каждое слово в стихе "здесь и сейчас" фокусирует не только все множество имеющихся словарных толкований, но одновременно и *впечатления* от слов, и возникающие *в общем контексте* оттенки значений, и спорадически появляющиеся "зеркала", каждое из которых имеет собственную — далеко не вторичную — эстетическую ценность. Следовательно, уже на языке оригинала такие стихи нуждаются в "переводе" — например, с авторского на общелитературный.

Что же касается чужого наречия, то даже в случае таких глубоких отношений, как между русской и французской литературами, каждый новый ракурс все равно открывает небывалую грань и дарит ту самую *радость узнаванья*, ради которой, собственно, и читаются книги.

В этом смысле переводы Романа Дубровкина, знакомящие современного читателя с поэзией "школы Стефана Малларме", являют собой пример редкой цельности: с одной стороны, перед нами очень хорошие стихи (*русские* стихи со своим, как заметил Александр Ревич, *полным звуком*), с другой — реализация концептуально выстроенного и выверенного замысла *переводчика*. Книга "Фавн перед зеркалом" начинается стихотворением Малларме ("Учитель") и заканчивается восемью произведениями Поля Валери ("Лучший ученик"). Длинное легато, соединяющее оба имени, то есть собственно "школа", это: Робер Монтескью, Жан Лоррен, Альбер Самен, Жюль Лафорг, Сен-Поль Ру, Рене Гиль, Стюарт Мерриль, Франсис Вьеле-Гриффен, Анри де Ренье, Эрнест Рейно, Эфраим Микаэль, Андре Фонтена, Поль Клодель, Пьер Луис, Эммануэль Синьоре, Альфред Жарри. Предисловие "От переводчика" и краткие биографические сведения о каждом из поэтов, подготовленные Надеждой Рындиной, дополняют издание. Стоит отметить, что книга блистательно оформлена художником Игорем Семенниковым, создавшим серию графических иллюстраций, "созвучных" европейской изобразительной культуре конца XIX века.

Дело даже не в том, что, пожалуй, так — не столько даже *полно*, сколько *объемно* — эта школа еще никогда не была представлена в России (отдельные поэты, например, Лафорг или де Ренье, активно переводились и становились известными и любимыми). Здесь ситуация сложнее. "Книга" у символиста — это некий *единый текст*, высказывание, выверенное и равное себе от первого до последнего слова. Здесь ничего нельзя ни убрать, ни добавить, ни переставить местами без того, чтобы не изменился смысл *целого*. И если переводчик хочет быть конгениален своему

предмету и составляет по принципу "единого текста" книгу символистской поэзии из шести с небольшим десятков произведений восемнадцати авторов, то любой промах грозит оказаться убийственным.

Переклички, делающие "Фавна перед зеркалом" именно символистской *книгой*, а не *сборником* отдельных стихотворений, книгой, показывающей "школу" в единстве и вдобавок передающей своеобразие данного литературного явления, возникают почти сразу. Здесь, разумеется, постоянно присутствуют образы "сна", "мечты", "вечера", "зеркала", "ключа", отпирающего области тайны, и другие, ныне безошибочно опознаваемые как "общесимволистские". Однако, если бы в "Фавне перед зеркалом" присутствовали только эти особенности, мы не увидели бы для себя ничего такого, о чем не знали бы раньше. Меж тем здесь постоянно возникают повороты нетривиальные. Возникает, например, атмосфера празднества — бывшего и небывшего, одновременно подлинного и мнимого:

Ах, эти талии,
затянутые в жесткий
Корсет, что лентами
карминными увит!
Неубедительный вы придаете вид
Галантным празднествам, — ах,
эти мушки, блёстки, —

Сиянье лунное в улыбках и очах!
<...>
Стоит, облокотясь на мрамор,
Сидализа,
Но Сильванира ждёт любви,
а не каприза,
Напудренная, *ждёт любви,*
*которой нет*[1].

Ж. Лоррен
*Галантные празднества*

Что делать? —
Уж такое время года!
Поют рога —
от них не скрыться ни за что!
Прощайте, праздники
и танцы под каштаном,
Корзины, виноград! —
совсем как у Ватто!
Ах, *эти праздники,*
*не вспомнит их никто:*
*Все под дождём поникло*
*беспрестанным.*

Ж. Лафорг
*Приближенье зимы*

На этом фоне богиня, которая "статуей устала быть давно" (А. де Ренье *Зеленый бассейн*, или видение чудища — "печального недавно, // А нынче в зеркалах танцующего Фавна" (он же "Фавн перед зеркалом"), превращаются в персонажей какого-то грандиозного и призрачного балета, в котором "танцуют все". Есть связи и значительно более тонкие, например, такие:

Порывы полночи безбурны,
И *устьем погребальной урны*
Твой лик мерцает роковой.

А. Самен
*Летние часы*

И сердце, тайну снов
узревшее воочью,
Где страсти скрытый свет,
подобный *средоточью*
Рубиновых лампад, пылает днём
и ночью.

А. Самен
*Что мне дорого*

Осада горьких чувств —
посланников с Востока,
И шквальные ветра,
и мелкий дождь с утра,
И пенье *водостока*...

Ж. Лафорг
*Приближенье зимы*

Погребальная урна есть, безусловно, своего рода "средоточье",

1. Здесь и далее в стихах курсив мой — *В. К.*

но, если она имеет устье, значит, можно предположить — в поэтическом создании — и *исток*, и тогда перед нами река или ручей; текущая вода — струящийся ли это дождь, река ли, слезы ли, текущие по своду из сплетенных ветвей "над стертой позолотой вод" (Р. Гиль *Моя Печальница и летом...*), в книге "Фавн перед зеркалом" невероятно многообразна, многолика:

Под утро собрал я росу луговую,
Росу луговую, ласкавшую руки,
И пил, как любовь,
эту влагу живую,
За миг до разлуки,
И понял:
в душе я твоей существую.

Ф. Вьеле Гриффен
*Песенка*

Образ воды, изменчивой, не стоящей на месте, мерцающей, пребывающей в движении и никогда не устающей, воспринимается как метафора символистского мировоззрения и одновременно оказывается одной из сквозных тем, делающих высказывание или "послание" переводчика, обращенное в равной степени и к прошлому (поэты), и к будущему (читатели), — в высшей степени убедительным. Текучее марево блистающего мира, к которому, повторюсь, привыкли все поколения читателей символистской поэзии, получает благодаря мастерству Романа Дубровкина новую, ранее не знакомую ипостась.

Стоит задержать внимание на предисловии. Р. Дубровкин начинает с объяснения читателю предыстории своих занятий. "Освоение французской символистской поэзии, — пишет он, — представляется сегодня по меньшей мере анахронизмом. Состарившийся за полтора столетия 'новый трепет' навсегда остался в счастливой эпохе, не испытавшей ни мировых войн, ни тоталитаризма, ни террора, эпохе внешне беззаботной, углубленной в самосозерцание. Но, может быть, как раз поэтому людям моего поколения, юность которых пришлась на 1970-е годы, эта хрупкая, непрактичная в самой своей изломанности литература оказалась особенно близка. Чтение и перевод были в мое время сродни тихому счастью антиквара, поглаживающего потертую кожу старинного фолианта, любующегося его золотым обрезом".

Первыми переводчиками французских символистских стихов на русский язык были, разумеется, русские поэты-символисты; они, "вырабатывая переводческую традицию, заложили только основу величественной конструкции, но деталей прорабатывать не стали". Позднейшим поколениям пришлось решать целый ряд задач самим; результатом, как пишет Р. Дубровкин, явилось создание *стиля поэтического перевода, только кажущегося французским, но отнюдь не скопированного с него.*

Указанный стиль для переводчика стихов, вошедших в книгу "Фавн перед зеркалом", оказался предметом научного изучения: Роман Дубровкин, профессор Женевского университета, получил докторскую степень за диссертацию, посвященную переводам Малларме в России. Ему же принадлежит полный перевод всего корпуса стихов Малларме и наиболее полный из существующих "русский Валери". Но теория хороша, право же, для университетов. Поэтическая книга требует другого — тем более в случае, когда отражение французского поэтического языка в зеркале русского априори затруднено целым рядом особенностей оригинала (таких, например, как устойчивое ударение на последнем слоге, ведущее за собой "рифменную усталость": недаром же именно во французской литературе возник vers libre, свободный стих). Продукт, который получает русский читатель, в идеале должен быть *узнаваемо французским*; "галантные празднества" утонченной культуры декаданса, отраженные в русском зеркале, вос-

принимаются лишь в том случае, если не утрачивают по пути в другой язык признаки родной просодии – специфическую образность, изысканный синтаксис, многозначность слов. Оригинальная французская лирика, в отличие, скажем, от русской, значительно больше тяготеет к "чистой" изобразительности в отвлечении от повествовательного начала; знаменитые "Теплицы" Малларме, в "Фавне..." отсутствующие, служат тому ярчайшим примером. Такова же природа открывающей книгу "Прозы" Малларме (кстати, что означает здесь само слово "проза"? – жанр? стиль? мировоззрение? или все вместе?): вроде бы намеченное развитие событий, последовательность действий оказывается мнимостью, она *кажется*, а не происходит. И в финале возникает зрительный – и почти физически зримый – образ из материального мира, обретающий метафизическое звучание:

> И в каждой новой ипостаси,
> Сестра, твой взор запечатлен,
> Ты шепчешь имя: "Анастасий!" –
> Столетий отвергая тлен,
>
> И, заглушив гробницы голос
> ("Пульхерия", гудит гранит),
> Грядущих гимнов гладиолус
> Огнем полнеба заслонит.

Вряд ли вызовут возражение слова Романа Дубровкина о том, что "гармоничные, прекрасные своей технической изощрённостью стихи по-прежнему просятся в русский язык, мечтают о повторном рождении, ищут посредника". Результат этого рождения – перед читателем.

Вера Калмыкова

# "А я не благороден и не прост"



Александр Фьют *Беседы с Чеславом Милошем* / Перевод с польского Анатолия Ройтмана; Под редакцией Нины Федоровой. – М.: Новое издательство, 2007. – 428 с.

Русскую версию бесед Александра Фьюта с Чеславом Милошем (1911–2004) ждали не только поклонники творчества Милоша, читатели польской и мировой литературы, но и ценители писательских интервью.

Беседы Эккермана с Гёте и Босуэлла с Джонсоном – первые и самые известные примеры этого жанра. Литературный секретарь Гёте на протяжении девяти лет вел записи своих с ним разговоров. В XX веке фигура автора все больше интересует публику, появляются целые книги диалогов/интервью Одена, Льва Толстого, Вячеслава Иванова, Борхеса, Берроуза, Набокова, Бродского, Венцловы, Пригова... Ведя (или поддерживая) "беседу", "диалог", "разговор", писатель продолжает создавать текст. Правда, подобная форма письма интересна не всем, некоторые авторы всю жизнь оставались закрытыми для прессы (Морис Бланшо, Томас Пинчон). Удачны и неожиданны как для самих писателей, так и для читателей бывают беседы с коллегами (Милоша с Бродским, Роб-Грийе с Набоковым...) Но идеальный собеседник для писателя (как и вообще для человека искусства) – исследователь, знаток его творчества, беседы с которым не прерываются на протяжении долгого времени – как в случае с краковским профессором Александром Фьютом.

Милош, поэт, эссеист, философ, переводчик (в частности, Библии), родившийся в Литве, проживший долгое время во Франции и Америке и умерший в Польше, дал за свою жизнь множество ин-

тервью. Начало беседам с Фьютом было положено в 1979 году в Париже. Как пишет в предисловии инициатор этих разговоров, они должны были стать дополнительным материалом для его исследований поэзии Милоша, но через два года их опубликовали как своего рода введение в биографию и творчество нобелиата. Результатом оба остались недовольны: образ Милоша предстает однобоким (поэт делает "слишком большой упор на проблемы ремесла, литературы и духовного писательского родства"), поэтому три года спустя беседы были продолжены в Беркли. Для русского издания Фьют и переводчик книги (и поэзии Милоша) Анатолий Ройтман расположили тексты в обратном порядке — вначале американский период, потом парижский. Интервьюер объясняет это тем, что беседы американские (в отличие от парижских) сразу были предназначены для печати, "учитывали ограниченную компетенцию читателя и предоставляли значительно больше подробной информации".

Открывают сборник воспоминания героя о детстве. В родовом поместье в Шетейне писатель застал уходящую эпоху, поэтому он и говорит, что родом он из XVII века. Его дедушка разбирался в агрономии, занимался имением, постоянно советовался с управляющим. Бабушка, "этнически типичная литовка, судя по внешности, была краковской патриоткой". В детские годы Милоша она уединялась у себя в комнате, где были молитвенная скамья и иконы. Отец работал дорожным инженером. Поэт, очень любивший мать, с нежностью вспоминает поездки с ней в бричке: "...маму всегда переполняла восторженная преданность нашему уезду. И в конце концов, два ее паспорта, польский и литовский, по-своему символизируют это. Она чувствовала себя в Литве как в родном доме". В межвоенное двадцатилетие, когда Литва была самостоятельным государством, местные поляки противились литвинизации, хотя семья Милошей не была оплотом польскости: в доме говорили по-польски и по-русски. Отец и гости "любили переходить на русский — это вообще характерно для поляков, — когда дело касалось юмора". "А когда вы осознали 'странность своего бытия', — спрашивает Милоша исследователь, — по культуре и языку вы принадлежите Польше, а по рождению, через семью, — Литве? Вы не ощущали этого противоречия?" — "Да нет, — отвечает тот. — Ну, может быть, чуточку. Как-то я ехал в бричке, а разговор шел по-польски — дело было в независимой Литве, неподалеку от польской границы, — и кто-то сказал: 'Здесь наши, а там поляки'. Любопытно, правда?"

Бóльшая часть бесед посвящена суждениям Милоша о творчестве и литературе. Мы узнаём, например, что он с детства много читал. Его образ Литвы сформировали книги об охоте и "Пан Тадеуш" Мицкевича. Узнаём, что стихи ему ближе прозы: "...я считаю, что лучше высказываюсь стихом, чем прозой. Это во-первых. Во-вторых, я не считаю себя мыслителем, философом. В этом деле хватает специалистов. Время от времени я, конечно, пишу эссе, но я достаточно скептичен насчет так называемого мудрствования. <...> Отчего я сказал, что не считаю себя философом, мыслителем? Оттого что философ, мыслитель сначала думает, а потом формулирует. У меня же смысл формулируется в предложении, сразу в ритмике". По всей книге разбросаны мысли героя о собственной поэзии, нередко — горькие признания: "Мне кажется, на протяжении моей карьеры я дал особенно много поводов к тому, чтобы меня все время принимали не за того, кто я есть. И, разумеется, одним из таких особых поводов стала Нобелевская премия... я всегда считал себя поэтом достаточно герметичным, для немногочисленной публики. <...> Меня крайне смущает, когда из меня делают поэта-патриота, барда, пророка, потому что я к этой роли

как-то не готов... Вероятно, то, о чем мы говорим, можно коротко определить как неловкость, которую я испытываю, когда мой образ в глазах других выглядит слишком благородным, с моей точки зрения. <...> Слишком благородным и слишком упрощенным. А я не благороден и не прост". В другом месте на вопрос, связана ли его поэзия с большой прозой, писатель говорит: "Мои романы? Но их нет! Нельзя же поставить рядом две книги fiction, которые я написал, и назвать их романами. 'Долину Иссы' я написал в целях аутотерапии, хотел проверить, не откроется ли иссякший источник вдохновения. Был тогда в ужасном состоянии, разве по книге не видно? Когда вдохновение вернулось, я перестал думать о 'романах'. Позднее раздругой возвращался к романным замыслам, всегда во время застоя, внутренней бесплодности".

Собеседники говорят подробно о польской поэзии. Фьют спрашивает своего героя, кто важен для него из авторов. "Мицкевич мне всегда нравился, нравился с точки зрения языка, достоинства этого языка, его богатства и свежести, а может быть, скорее даже, благодаря отсутствию в языке лихорадочности, горячки. Ведь, например, Тувим, что ни говори, поэт лихорадочный. Как, подозреваю, и Цветаева среди русских поэтов. И в языке Словацкого, например, чувствуется горячечность. <...> Вообще Мицкевич — явление весьма удивительное. Если взять, к примеру, Пушкина, то он гораздо лучше укладывается в цельную систему, цельную как с точки зрения биографии, так и с точки зрения творчества". Далее он развивает эту мысль: "Для такого поэта, как я, Ивашкевич был большой поэтической энциклопедией. Энциклопедией современной поэзии. <...> — То есть Вы как бы учились у него мастерству? — интересуется Фьют. — Мне кажется, не столько мастерству, — уточняет Милош, — хотя в известном смысле, может, и мастерству, сколько необычайно сенсуальному, чувственному восприятию". И продолжает: "У Стаффа меня никогда не привлекала интеллектуальная дисциплина. Не скажу, чтобы он вообще меня привлекал. В юности я читал Стаффа, разумеется в некотором смысле, чтобы учиться ремеслу. Именно здесь уместно говорить о ремесле".

Вспоминает Милош и тех, с кем познакомился за границей. Так, в "состоянии ужасного кризиса" он обратился за советом к Альберту Эйнштейну, когда хотел эмигрировать из Польши. "Настоящий либерал с голубиным сердцем" сказал ему: "...поэту нельзя отрываться от родной страны..." В общем, он был против моей эмиграции. Как и многие эмигранты, по собственному опыту знающие, как это тяжело, и предпочитающие советовать людям остаться на родине". Появляется на страницах книги и Т. С. Элиот: "...я навещал Элиота в его лондонском офисе. Весьма симпатичный человек и принимал меня очень радушно. Потом я видел его в Америке... Мое отношение к его поэзии менялось постепенно, и сейчас мне трудно сказать, как это происходило... Выдающиеся поэты после смерти часто надолго отправляются в чистилище. И теперь Элиот, при всей своей значительности, вообще не существует на горизонте англосаксонской поэзии".

Книга Фьюта — пример заявленного жанра, когда спрашивающий дает герою возможность высказаться, сам же редко переходит к развернутым репликам. Такой тип общения противоположен разговору, диалогу, беседе, образцом которых являются "Диалоги с Иосифом Бродским" Соломона Волкова. Выбор той или иной формы общения зависит от собеседников, у каждого жанра свои плюсы и минусы. Герой Фьюта предстает человеком монологического склада.

Милош впускает исследователя в свою мастерскую, но не в частную жизнь. На эту тему он говорит вскользь, поясняя нечто собесед-

нику, упоминает о жене и сыновьях, личных неурядицах в юности: "А можно спросить, какова была ваша сердечная карта Вильно? — Таких признаний я здесь делать не стану". Милош на портрете кисти Фьюта академически строг и застегнут на все пуговицы, перед нами — писатель. Совершенно иной, чем, скажем, Уистен Хью Оден в "Застольных беседах" с Аланом Ансеном[1]: в сумбурных, сбивчивых монологах о своих коллегах и природе творчества он выговаривает боль разлуки с возлюбленным. Беседы о литературе, обо всем на свете — его способ борьбы с отчаянием и одиночеством; помогает тут и алкоголь, обильно потребляемый им во время разговора. Если в книге Ансена Оден в первую очередь "частный" человек, и он, наверное, даже не всегда замечает, а заметив, тут же забывает, что студент стенографирует его слова, то в "Диалогах с Оденом" Говарда Гриффина[2], где Гриффин равноправный собеседник, записывающий речь на диктофон, он настроен на долгий и "серьезный" разговор. Таков и Милош в беседах с Фьютом: он понимает, что их разговор — материал "для истории", устная (авто)биография и (авто)комментарий.

Книга Фьюта — это портрет художника в зрелости (к моменту парижских бесед писателю исполнилось 68 лет), когда основная часть всего значительного им уже создана, хотя в последние годы он пишет много. Герой книги давно привык к вопросам, с которыми обращаются к нему студенты, интервьюеры, читатели. Милош признается, что не всегда доволен своими ответами на вопросы студентов — формулировать надо быстро, а это не всегда хорошо получается. С Фьютом он искренен и нетороплив — торопиться некуда. Диктофон включен, рядом сидит один из лучших знатоков его творчества.

Что сказать о русской версии книги? У нее много достоинств: живой перевод, да еще попавший в руки к замечательному редактору — Нине Федоровой, подробный комментарий и именной указатель, на обложке — крупным планом задумчивое лицо пожилого Милоша. Одна из его поздних стихотворных книг называется "Необъятная земля". Необъятная земля открывается и перед читателем этой книги. Но с таким проводником как Милош — не страшно.

Елена Калашникова

1. Алан Ансен (1922–2006) — американский поэт, драматург, представитель битпоколения. Прототип одного из персонажей романов "В дороге" Джека Керуака, "Голый завтрак" Уильяма Берроуза и др.
2. Говард Гриффин (1915–1975) — американский поэт, редактор и интервьюер.

# *У книжной витрины*



с Татьяной Трофимовой

Амели Нотомб *Косметика врага* / Пер. с фр. Натальи Поповой и Игоря Попова. — М.: Иностранка, 2009. — 112 с. — 7000 экз.

Это странное название давно на слуху у театральной публики. По крайней мере в Москве, потому что спектакль по этому маленькому "европейскому" роману бельгийки Нотомб уже не первый год идет попеременно в двух столичных театрах — имени Пушкина и "Сатириконе" — как "бенефис" двух главных режиссеров — Романа Козака и Константина Райкина. Теперь мрачная, психопатическая и при этом остроумная история о далеко зашедшей беседе в зале ожидания парижского аэропорта двух совершенно непохожих друг на друга сорокалетних господ предстает в своем изначальном, печатном, виде. И ничего к устоявшейся репутации баронессы Нотомб как "готической принцессы европейского романа" не добавляет. Но и не роняет. А кстати, слово "косметика" не имеет никакого отношения к пудре и румянам: так янсенисты, к которым причисляет себя один из собеседников, называют свод нравственных законов.

Джонатан Коу *Круг замкнулся* / Пер. с англ. Е. Полецкой. — М.: Фантом Пресс, 2009. — 640 с. — 5000 экз.

Новый роман Джонатана Коу "Круг замкнулся" задуман как продолжение знаменитого "Клуба ракалий", однако не разочарует и тех, кто не читал первой части эпопеи. Так как главное здесь — вовсе не продолжение сюжета двадцатилетней давности (хотя желание узнать, что же было потом с участниками событий, будет удовлетворено сполна). Описывая жизнь героев много лет спустя, Коу сосредотачивается на новой психологической ситуации, в которой все они оказались. Теперь бывшие школьники заняли свое место в жизни: Пол Тракаллей стал членом парламента, его старший брат Бенджамен — бухгалтером, втайне мечтающим написать большой роман, Дуг — известным политическим журналистом. Однако оказывается, что события школьных лет не утратили своей актуальности и до сих пор заставляют испытывать всех их чувство вины и грустить о несбывшихся надеждах. Несмотря на сюжет, более подходящий телевизионному сериалу, Джонатану Коу удается создать роман вполне высокого уровня, в котором авантюрные подробности фабулы умело оттеняются психологическими деталями, придающими глубину в общем-то незатейливому повествованию.

Салман Рушди *Земля под ее ногами* / Пер. с англ. В. Гегиной. — СПб.: Амфора, 2008. — 719 с. — 7000 экз.

Современное прочтение легенды об Орфее и Эвридике от обладателя "Лучшего Букера" 2008 года. Его зовут Ормус Кама, ее — Вина Апсара. Они родились в Бомбее накануне Второй мировой войны. Он впервые запел еще в колыбели, чтобы несколько лет спустя стать настоящей звездой, а она с детства знала, как покорить любое сердце, уже маленькой девочкой ловя восхищенные взгляды всех вокруг. Но однажды в эту предопределенную судьбой исто-

рию любви вторглась смерть, отняв у Ормуса его возлюбленную и не оставив иного шанса, кроме как попытаться вернуть ей жизнь при помощи всесильной музыки — рок-н-ролла. А заодно повторить канву мифа, не теряющего актуальности и в современном мире. Причудливо вплетая индивидуальные истории в эпическое полотно мировых событий и возрождая в памяти древние легенды, Салман Рушди достигает удивительного эффекта. Кажется, что в его романе боги ходят по одной земле с людьми, а древние мифы лишь ждут удобного момента, чтобы вновь воплотиться в реальность. Надо только уметь различить многозначительное за повседневным.

Дж. К. Ролинг *Сказки барда Бидля* / Пер. с англ. М. Лахути. — М.: Росмэн, 2008. — 126 с. — 50000 экз.

Эта книжечка хоть и мала, но способна подарить немалую радость настоящим поклонникам эпопеи про Гарри Поттера. Прежде всего потому, что она "оттуда". Практически никакого обмана. "Сказки барда Бидля" неоднократно упоминались на страницах последней книги про Гарри Поттера и во многом сделали возможным благополучный финал истории. Теперь юные читатели смогут сами прочитать те пять историй, которые имеются в доме каждого волшебника и, подобно нашим волшебным сказкам, содержат прописные истины, знакомые ему с детства. И здесь, конечно, нельзя не признать: Ролинг превзошла саму себя, сумев создать книжку, которая разом уравнивает волшебников и обычных детей. Даже не потому, что сказки и тех, и других начинаются со слова "Однажды...", а в сюжетах неизменно возникают добрые и злые волшебники. Просто истины о доброте, честности, силе духа оказываются едиными для всех. И вовсе не магия, приносящая порой больше сложностей, чем пользы, способна обеспечить победу добра над злом.

Милорад Павич *Бумажный театр*[1] / Пер. с серб. Л. Савельевой. — СПб.: Азбука-классика, 2008. — 256 с. — 12000 экз.

"Роман-антология" — так определил сам Милорад Павич жанр этой книги, в которую вошли тридцать восемь рассказов, написанных разными писателями из разных стран. Впрочем, после романа-словаря, романа-кроссворда, романа-клепсидры и романа-гадательной книги уже привычному к авторской манере читателю мало что может показаться неожиданным. Пусть даже все рассказы, как и писатели, придуманы самим Павичем. Интересно другое. "Обдумывая каждый из тридцати восьми рассказов, я старался в те литературы, к которым якобы относятся выдуманные мной рассказы, добавить некоторые звуки, которых в них нет, но которые мне бы хотелось в них слышать", — поясняет свой замысел писатель. Ответ на вопрос, чего же не хватает разным литературам, находится довольно быстро — очевидно, собственного Павича, способного в десяти предложениях затейливо описать любую человеческую судьбу и привнести в банальную реальность такое количество многозначительных деталей и совпадений, что невольно задумаешься о наличии высшего замысла в этом мире. Бонус для российского читателя — рассказ Екатерины Тютчевой "Картины", способный на долгое время оставить в замешательстве относительно его смысла, особенно в контексте русской литературы.

*Полночь: XXI век* / Пер. с фр. В. Лапицкого. — СПб.: Амфора, 2008. — 458 с. — 3000 экз.

Эта книга представляет собой антологию, под обложкой которой собраны семь произведений современных французских авторов. Для посвященных в реалии французского

1. В "ИЛ" напечатаны фрагменты книги (2008, № 7).

книжного рынка название говорит само за себя – все эти авторы были открыты для читателей издательством "Minuit" во главе с легендарным Жеромом Лендоном. А читателям, далеким от западного книжного бизнеса, обязательно окажется знакомым хотя бы одно из "звездных" имен издательства – Сэмюэл Беккет, Жиль Делез, Жак Деррида, Маргерит Дюрас и Жан Эшноз, чьи книги также вышли в "Minuit". Работа одного из них – Жана Эшноза – открывает и этот сборник. Однако для российского читателя антология примечательна не только знакомством с молодыми авторами издательства, хотя каждый из них, несомненно, имеет свой примечательный литературный голос. Во времена переводных бестселлеров, когда издатели, заказывая перевод той или иной книги, руководствуются преимущественно соображениями спроса у себя "дома", а не популярностью автора на родине, "Полночь: XXI век" – это в общем-то уникальная возможность получить непосредственное представление о текущем моменте французской литературы, еще не просеянной через издательское сито иностранного книжного рынка.

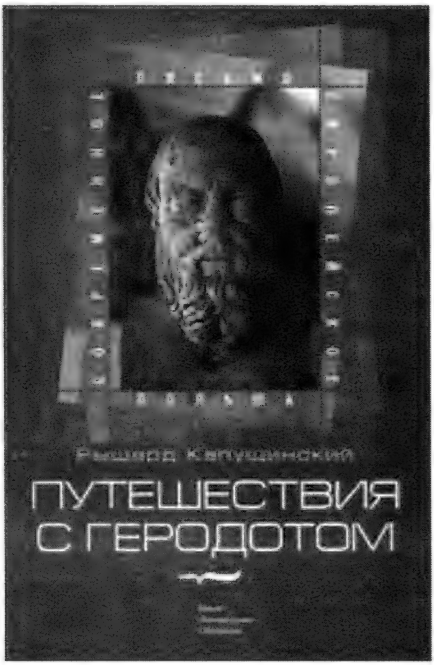
# Информация к размышлению

## Non-fiction

с Алексеем Михеевым

Издательство "Новое литературное обозрение" уверенно лидирует в моем персональном рейтинге книг нон-фикшн. И, конечно же, *Путешествия с Геродотом* **Рышарда Капущинского** я никак не мог обойти вниманием. В "ИЛ" публиковались фрагменты нескольких книг этого замечательного писателя (так, к сожалению, и не получившего Нобелевскую премию, которую ему в последние годы вовсю прочили): об Иране ("Шахиншах", 1980, № 4) и Эфиопии ("Император", 1987, № 6); африканские очерки ("Черное дерево", 2000, № 8) и краткие дневниковые записи ("Лапидарий", 1993, № 4). Польский оригинал "Путешествий с Геродотом" появился в редакции "ИЛ" еще три года назад, и тогда же была задумана – как альтернатива "неформатному" для журнала полному переводу – публикация в рубрике "Путешествие по книге". Журнальная публикация не сложилась, зато полный текст книги вышел в 2008 году в уже хорошо известной серии "Современное европейское письмо" в переводе **Ю. Чайникова**.

Последняя книга скончавшегося в 2007 году Капущинского стала для него итоговой и во многом обобщающей. Путешествовать ему было предназначено судьбой. В оттепельном 1955 году, после университета, он начал работать в главной польской молодежной газете "Штандар млодых", и уже через год (в возрасте 24 лет) его отправили корреспондентом в Индию. *Первой моей реакцией было потрясение,* – вспоминает автор. – *И сразу – паника: я ничего не знаю об Индии. Лихорадочно ищу какие-нибудь ассоциации, образы, названия. Ничего не нашел: об Индии я не знал ничего.* Единственным "помощником" для Капущинского стала выданная ему редакционной начальницей "История" Геродота: *От меня, в дорогу.* Точнее, Геродот стал не столько помощником, сколько "попутчиком": дело не в том, что из "Истории" можно было извлечь полезную информацию о стране (этого, понятно, там и не могло быть), а в том, что Геродот задал некую тональность, послужил своего рода "камертоном" для складывающегося способа мышления молодого журналиста. И неслучайно в "итоговой" книге Капущинского он возвращается к той исходной точке, которая положила начало череде его исключительно плодотворных путешествий – прежде всего по странам Азии и Африки.




Читая в своих дальних вояжах Геродота, Капущинский *по мере чтения стал участвовать сразу в двух путешествиях: в одном – репортерском, по заданию газеты, и в другом – вместе с автором "Истории"*. И именно это, наверное, в первую очередь и прида-

ло репортажам (а впоследствии — и книгам) Капущинского специфическую объемность: вслед за Геродотом он *не хочет быть пассивным слушателем, безучастным хроникером, он стремится участвовать в созидании этого прекрасного искусства, каковым является история – сегодняшняя, вчерашняя, совсем давняя.*

Как и для Геродота, мир для Капущинского разделен на две части. Первая — это привычная и понятная нам западная культура (в геродотовскую эпоху — мир греческих полисов, в нынешнюю — ареал европейской цивилизации); вторая же — то, что сегодня мы называем третьим миром. И принципиально важными здесь оказываются две вещи. Первая — то, что третий мир отнюдь не однороден, а исключительно многообразен. *И Геродот с детским восторгом и горячностью познает свои миры. Самое важное его открытие, что миров много. И что все они – разные.* А вторая вещь — что по-настоящему познать эти миры можно, лишь побывав в них, "пощупав" своими руками, погрузившись в их ежедневный быт. А еще — спроецировав осязаемый мир настоящего на существующий в пересказах, мифах и легендах мир прошлого. И в "Путешествиях с Геродотом" Капущинский постоянно пытается синтезировать эти, условно говоря, "этнографический" и "исторический" подходы: попадая в очередное "достопримечательное" место, он мысленно реконструирует события многовековой давности, делая акцент на обыденных деталях и выстраивая, например, воображаемую картину некоей исторической битвы не "с высоты птичьего полета" (как на страницах исторических учебников), а представляя ее в ощущениях отдельных участников — от вождя до простого солдата.

Программный тезис Капущинского: *Другие миры, другие культуры – суть зеркала, в которые смотримся мы и наша культура. Благодаря которым мы лучше понимаем самих себя, ибо мы не сможем познать себя, пока не столкнемся с другими.* И для российского читателя особый интерес поэтому представляет "Империя" — опубликованная в 1993 году книга Капущинского об уже исчезнувшем с карты мира Советском Союзе; полный перевод "Империи" должен появиться в этом году.

Другой пример самопознания через посредство экзотических культурных практик мы встречаем в документальном романе **Михаила Володина** *Записки белого человека*, который издательство "Амфора" выпустило в серии "АМФОРА TRAVEL". Эта книга представляет собой образец жанра так называемого травелога, или дневника путешествия, заметки в котором обычно выходят за рамки простого отчета о поездке по экзотическим местам; здесь присутствует несколько бóльшая степень авторской рефлексии, превращающая текст о путешествии в пространстве в субъективное повествование о "пути к себе".

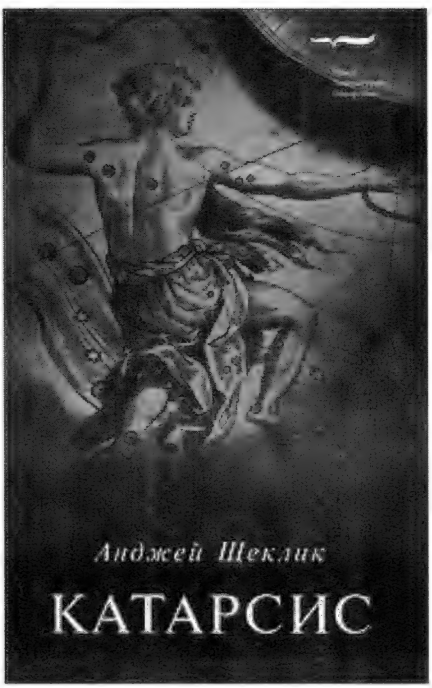
Текст Михаила Володина посвящен Индии — стране, паломничество в которую стало модным среди продвинутой западной молодежи более сорока лет назад, после того как первую попытку поиска духовных откровений на Востоке предприняла знаменитая четверка "Битлз". С

этого, пожалуй, момента началась активная экспансия индийской культуры на Запад, а поездки в Индию вскоре стали для многих (прежде всего для молодых англичан) чуть ли не обязательной строкой в личном "резюме", своего рода свидетельством духовной инициации. Соответственно, не заставили себя ждать и индийские "травелоги" (среди которых можно назвать ироничный "А ты попробуй" Уильяма Сатклиффа).

В книге Володина присутствуют три пласта повествования. Первый — собственно путевой отчет с описанием конкретных деталей путешествия (маршрут, расстояние, вид транспорта, стоимость проезда) и экзотических мест (автору удалось объехать по периметру практически всю Индию: от тибетских Гималаев на севере до южной оконечности Индостана). Второй — это впечатления от разнообразных встреч: как с местными жителями, так и со случайными попутчиками (автор хорошо владеет жанром психологического портрета, и эти зарисовки часто превращаются в особые дополнения к основной линии повествования). Наконец, третий (и, по сути, центральный) пласт связан с описанием внутренней сверхзадачи самого путешествия. Автор уже немолод (ему где-то около пятидесяти, то есть детство его выпало на те самые 60-е), и в Индию он отправляется именно затем, чтобы лучше разобраться в себе. Отсюда — интерес к конкретным практикам: от обучения аюрведическому массажу до десятидневного курса групповой медитации. Впечатления от этого курса, который Володин прошел в Тушите — Центре по изучению буддизма, — подробно описаны в одной из самых больших глав — *Путешествие на одном мете.*

*Это был десятидневный поход в попытке отыскать собственную сущность*, — пишет автор. — *Я и сейчас не знаю, насколько он мне удался.* В течение десяти дней Володин практиковал так называемую Випассану (буквально — взгляд внутрь), проводя ежедневно по десять часов в полном молчании среди себе подобных. Отчет о проведенном над собой опыте составил более полусотни книжных страниц. В начале этого отчета Володин вспоминает вопрос, адресованный Осипом Мандельштамом своей жене, Надежде Яковлевне: *Почему ты вбила себе в голову, что должна быть счастлива?* — в конце же он констатирует, что *Випассана не сделала меня счастливее*, но теперь, после курсов, *мне кажется, что важнее, чем быть счастливым, не быть несчастным.*

Подозреваю, что подобные практики часто бывают поверхностными и порой несут в себе элемент профанации: ведь между культурами всегда имеется некий зазор, который, несмотря на любые благие намерения со стороны субъекта, преодолеть до конца все же не удается. Сама процедура молчаливой медитации для человека иной цивилизации заведомо менее органична, чем для коренного индуса, за которым стоит культурный и генетический опыт тысячелетий. Западный же человек привык доверять более рациональным процедурам и верить, например, в медицину.




Впрочем, медицина вовсе не является областью, где царит однозначно понимаемая эффективность, —

что наглядно показал в своей книге *Катарсис* польский врач (и прежде всего мыслитель) **Анджей Щеклик** (книга вышла в издательстве "Новое литературное обозрение" в переводе **Ксении Старосельской**). Как пишет ирландский поэт, нобелевский лауреат Шеймас Хини, эта книга *напоминает нам, что забота о чужом здоровье скорее относится к сфере любви и милосердия, нежели к экономике.* А другой нобелевский лауреат, польский поэт и эссеист Чеслав Милош, вслед за Щекликом считает, *что умение врачевать родом из магии и трудно поддается определению, поскольку неразрывно соединяет в себе элементы искусства и науки.*

Появление книги Щеклика в контексте сегодняшнего характера научных знаний о мире можно считать по-своему удивительным. Например, в главе *Констелляции* автор неожиданным образом реабилитирует астрологию: *Сегодня мы ищем предсказание своего будущего скорее не в небесах, а в самих себе, в своих генах. А поскольку генетические констелляции имеют небесное происхождение, быть может, их познание восстановит утраченную связь с небом, укажет обратный путь, вернет утерянную гармонию.* А древний символ медицины — две змеи, обвивающие жезл Гермеса, — Щеклик увязывает с генетической спиралью: *В ядре каждой из миллиардов клеток нашего тела укрыта дезоксирибонуклеиновая кислота, ДНК, имеющая форму двойной змеевидной спирали. Она содержит тайну возрождения жизни и хранится в нас, как память, след, отражение царственной пары змей, от соединения которых родился мир.*

Все это кажется невероятным: ведь в сознании современного цивилизованного человека наивная мифология, а уж тем более астрология не имеют никакого отношения к подлинной науке и ассоциируются скорее с псевдомедициной, с повсеместно рекламируемым шарлатанством (типа "Василиса, народная целительница в пятом поколении, снимает порчу и сглаз за три сеанса"). Однако обвинить Щеклика в шарлатанстве невозможно: здесь мы имеем дело скорее с новым пониманием медицины, выходящим за рамки поиска эффективных способов фармакологического воздействия на больной организм.

Немецкий врач XVI века Парацельс утверждал, что *врач полнее откроется пациенту, если будет помнить о господствующей во вселенной духовной связи всех вещей.* Вселенную он воспринимал как живое существо, все элементы которого взаимосвязаны, как и в человеческом организме. *И Платон, и Аристотель,* — пишет Щеклик, — *глядя на звезды и планеты, видели животных, а богов помещали в категорию живых существ, наряду с птицами, рыбами и земными тварями. Древние упорно искали единство в мире, будучи уверены, что, вопреки видимости, у вещей есть общая черта, которая объединяет их подобно падающей с небес сети Ананке.* А греческая мифология, как писал Иосиф Бродский, — *наиболее здравое из доступных представлений о ткани существования с ее дырами, пятнами и каймой, теряющейся в темноте.*

Несмотря на все успехи рациональной науки, мир в своей основе продолжает оставаться грандиозной и непознаваемой загадкой. И одна из самых сложных составляющих этой загадки — человеческий организм. Шестьсот лет назад Петрарка *утверждал, что если взять тысячу людей, страдающих одной и той же болезнью, и половину из них отдать в руки врача, а половину оставить на произвол судьбы, то у последних будет больше шансов поправиться.* С тех пор *положение дел улучшилось, но ненамного.* И хотя "Катарсис" Щеклика трудно считать принципиальным прорывом в выходе на новый уровень медицины, но это, безусловно, шаг в правильном направлении.

*При остро протекающей болезни рано или поздно наступает кризис. Он проявляется бурно, но при этом организм избавляется от вредных элементов, очищается. Этому сопутствует эмоциональный стресс. Возникает ощущение, что болезнь отступает, а затем приходит уверенность, что больше она не вернется. Внезапно "мир предстает в ином свете". <...> Это состояние проявляется уверенно, ясно и отчетливо, как в тот краткий миг, когда перед преодолевшим болезнь открывается vita nuova.*

# По материалам зарубежной прессы



EMMANUEL TODD *Après la démocratie.* – P.: Gallimard, 2008. 262 p.

Своеобразной реакцией на финансовый кризис стало вышедшее в ноябре 2008 года эссе "После демократии" французского политолога, историка и социолога Эмманюэля Тодда (одна из самых известных его работ – "После империи" – появилась в 2002 году). Анализируя процессы, происходящие в настоящее время во французской политике, экономике и обществе, Тодд задается вопросом, как скоро демократическая система развалится окончательно и что придет ей на смену?

Впрочем, такая "реакция" автора вполне предсказуема. Вслед за соотечественниками-интеллектуалами – за Юбером Ведрином, например (см. его эссе "Продолжить историю" в "ИЛ", 2008, № 8), причину всех бед Тодд усматривает в: а) глобализации, б) неумелом управлении страной, в) Америке с ее 43-м президентом (пусть и недавно сменившимся).

Обозреватель французской газеты "Монд" назвал эссе Тодда памфлетом и свел его основную мысль к одному абзацу: "Демократии пришел конец. Христианские и коммунистические ценности себя изжили. Идеология свободного обмена и ее неизменная спутница глобализация постепенно обостряют общественные конфликты. А французы, вместо того чтобы всеми силами бороться с кризисом, избрали в президенты человека, не способного управлять страной, человека, который, не успев занять высший государственный пост, тут же помчался в Соединенные Штаты, как 'крыса – на тонущий корабль'".

Однако критикой Саркози Тодд не ограничивается и предлагает выход из сложившейся ситуации: в пределах ЕС, считает эссеист, необходимо установить протекционистский режим, что, без сомнения, не только сразу же повысит заработную плату французским трудящимся, снизившуюся из-за наплыва дешевых рабочих рук из Китая, но сплотит нацию и – что самое главное – приведет к расцвету демократии. "Как жаль, – замечает обозреватель 'Монд', – что предлагаемое Тоддом решение – не панацея, а то мы бы непременно ему последовали".

SYLVIANE AGACINSKI *Le Drame des sexes. Ibsen, Strindberg, Bergman.* – P.: Seuil, 2008. 214 p. (Librairie du XXIe siècle)

Очередная книга о взаимоотношениях мужчин и женщин Сильвиан Агасински, философа, специалиста по гендерным вопросам, автора нашумевших работ "Политика полов" и "Метафизика полов", на этот раз называется "Драма полов". Слово "драма" в заглавии можно понимать по-разному. Во-первых, буквально, ведь основным материалом для эссе послужили работы трех скандинавских драматургов: Ибсена, Стриндберга и Бергмана. Трех художников, по мнению Агасински, объединяет прежде всего "умение превращать сцены семейные в сцены театральные". Так, автор "Кукольного дома" поведал миру о незавидной женской доле, а споривший с ним Август Стриндберг – о "войне полов", в которой неизменно проигрывает мужчина. У Бергмана же, по мысли философа, женщины и мужчины страдают в равной степени, так как конфликт, имеющий телесную природу, режиссер преобразовал в смятение души.

Вывод, к которому приходит автор эссе, весьма пессимистичен: любовь между женщиной и мужчиной,

сколь бы глубокой и страстной она ни была, всегда оканчивается трагедией. Рецензируя новую книгу Агасински, обозреватель газеты "Монд" добавляет: "Если амбивалентность любовного переживания неизбежно ведет к драме, то, даже применив ум и воображение, мы – увы – драмы не избежим, но лишь разыграем один из ее вариантов".

*Подготовила* А. Лешневская

Uwe Timm *Halbschatten.* – Köln: Kiepenheuer und Witsch Verlag, 2008, 272 S.

Роман Уве Тимма "Полутень" появился в августе 2008-го и ознаменовал его возвращение к крупной прозе. Предыдущий роман писателя, "Красный", посвященный событиям 1968 года, вышел семь лет назад.

Тимм вновь обращается к новейшей истории Германии. На этот раз его внимание привлекла судьба Марги фон Этцдорф – одной из первых немецких летчиц. Ее короткая, яркая жизнь и самоубийство в Сирии в 1933 году оставили много тайн, в которые надеется проникнуть автор. Для этого он совершает прогулку на кладбище Инвалидов в Берлине в компании загадочного проводника. Марга покоится здесь, среди прусских военачальников, руководителей НСДАП и их жертв. Неожиданно автор слышит голоса усопших: они говорят о себе, спорят, оправдываются. На первых страницах романа предстают Шарнхорст, Гейдрих, неизвестные солдаты и офицеры, а также сама фон Этцдорф. Она рассказывает о своей несчастной любви к летчику Кристиану фон Далему, который якобы похоронен на этом же кладбище. Стоит отметить, что о жизни Марги сохранилось мало сведений, поэтому ее рассказ почти полностью выдуман писателем. Но, как отмечает немецкий критик Фолькер Денкель в своей рецензии для "Радио Гессен", наибольший интерес представляют не отношения этой пары, а то, как в этом "литературном коллаже" показаны три века немецкой истории, от Пруссии до падения Третьего рейха. Голоса генералов и солдат, палачей и жертв сливаются в единое целое – в нем оживают важнейшие события тех времен. При этом сам Тимм отказывается от каких-либо комментариев и оценок, позволяя героям говорить самим за себя. Этот подход усложняет задачу читателю, но дает возможность увидеть историю глазами немецкой нации. Как пишут многие обозреватели, в том числе Герберт Рэкель на страницах "Зюддойче цайтунг", Уве Тимм принадлежит к поколению тех, чьи родители принимали участие во Второй мировой войне. Это проясняет его отношение к событиям времен национал-социализма, стремление отделить правду от вымысла и освободиться от чувства вины за ошибки старшего поколения.

*Подготовила* Е. Захарова

Aravind Adiga *The White Tiger.* – Noida: Harper Collins Publishers India, 2008, 288 p.
Aravind Adiga *Between the Assasinations.* – New Delhi: Picador India, 2008, 300 p.

Букеровская премия 2008 года была присуждена молодому индийскому писателю и журналисту Аравинду Адиге за его дебютный роман "Белый тигр". Вскоре после получения награды Адига выпустил новую книгу – сборник новелл "От убийства до убийства".

Литературные критики, в первую очередь британские, отмечают, что Адига создал новый литературный образ Индии, полностью избавившись от клише – "орнаментальной прозы и запаха шафрана". Вместо этого на страницах "Белого тигра" возникает современная Индия – страна высоких технологий и ужасающей коррупции, а еще более ужасающей нищеты. "Когда-то в Ин-

дии была тысяча каст и тысяча возможных судеб. Остались две: каста Набитого брюха и каста Пустого брюха", — утверждает главный герой романа Балрам, который сам прошел путь от простого слуги до крупного бизнесмена и на протяжении всего романа пишет письма китайскому премьер-министру Вэнь Цзябао, поскольку тот собирается нанести визит в Бангалор, где живет герой.

Новые грани образа Индии Адига показывает в сборнике "От убийства до убийства". Перед читателем уже не город, а село. По словам редактора индийского филиала издательства "Пикадор" Шрути Деби, в рассказах, вошедших в сборник, чувствуется "красота сельского приморского Юга". Тем не менее индийская деревня далеко не замкнутый мир идиллии; недаром название сборника отсылает к двум знаменитым убийствам в индийской истории — гибели Махатмы Ганди в 1948 году и Раджива Ганди в 1991 году.

Прозвище "Белый тигр", которое дает сам себе герой романа Адиги, — аллюзия на популярное обозначение новых азиатских экономических гигантов. Индия — одна из "тигров", и Балрам, не сомневаясь, пишет китайскому премьеру: "Я еще застану падение белого человека. Через двадцать лет на вершине пирамиды будут только коричневые и желтые, и мы станем править миром". Читатель книг Адиги увидит этого "тигра" как он есть, уверены литературные критики англоязычных стран.

SIEGFRIED LENZ *Schweigeminute.* — Hamburg: Verlag Hoffmann und Campe, 2008, 128 S.

"Кто бы мог подумать? Это история о любви", — восклицает на страницах "Франкфуртер альгемайне" влиятельный немецкий критик Марсель Райх-Раницки в своей объемной рецензии на новую повесть Зигфрида Ленца "Минута молчания". Такую реакцию Райх-Раницки объясняет тем, что до сих пор Ленц "в своем творчестве избегал любви". Лишь сейчас, будучи уже живым классиком немецкой литературы, Ленц впервые пишет историю любви, избрав главным героем старшеклассника Кристиана, влюбившегося в свою учительницу английского языка Стеллу.

"Минута молчания", что явствует из названия, начинается траурной церемонией. После гибели возлюбленной юноша начинает вспоминать всю историю их взаимоотношений, мысленно беседуя с ней. Кульминацией повести становится сцена близости Кристиана и Стеллы, всплывающая в памяти героя.

Описывая стиль Ленца, критики сходятся в одном: он демонстрирует уважение к персонажам, совсем как к живым людям, сохраняет присущие ему такт и осторожность. Кристиан и Стелла "так же нежны друг к другу, как автор этой истории любви — к своему творению", — пишет Райх-Раницки. Герои повести, безусловно, чувственны, однако в описании сексуальной сцены автор соблюдает некую меру, чтобы не разрушить атмосферу необыкновенного события, происходящего с ними. Ленца называют традиционалистом, но "разумным, умеренным традиционалистом", который следует за традицией и пользуется ее достижениями, но никогда не стесняется дать свободу собственному голосу.

"Он никогда не гонялся за читателями, а, наоборот, вежливо предлагал им последовать за собой. Они шли и идут до сих пор", — пишет Марсель Райх-Раницки. Повесть "Минута молчания" привлекла внимание широкой публики, а значит, "предложение" Зигфрида Ленца вновь было услышано.

CARLOS FUENTES *La voluntad y la fortuna.* — Madrid: Alfaguara, 2008, 552 p.

В 2008 году патриарх мексиканской литературы Карлос Фуэнтес издал новый роман "Воля и судьба". Фуэнтес придерживается традиции "магического реализма", рисуя гигантский Мехико фантастическим горо-

дом, в котором выстроена "пирамида власти", подмявшая под себя всех и каждого. В этом городе находится место говорящей голове (рассказчику романа) и безумному начальнику тюрьмы, гротескному медиамагнату и прожектерствующему президенту.

На персонажей романа обрушиваются различные бедствия, и весь роман представляет собой описание катастрофы, развертывающейся прямо на глазах читателя, как утверждают критики разных стран, обратившие внимание на книгу Фуэнтеса сразу после ее выхода в Мексике. Романная действительность, напоминающая страшный сон, вызывает ассоциации с творчеством Кафки: в подвале тюрьмы совершаются жертвоприношения, а на верхушке самого высокого в городе небоскреба живут безымянные фигуры, обслуживающие вертолетную площадку. При этом Карлос Фуэнтес не забывает и о вполне реальных бедах Мексики: как и в действительности, в романе всесильна наркомафия, а президент страны обещает народу "зрелища без хлеба", которых, по его мнению, должно хватить для полного счастья. На фоне столь мрачного пейзажа мексиканский писатель и помещает своих героев, которые, несмотря ни на что, пытаются сохранить человечность.

*Подготовил* И. Мокин

**Хосе Луис де Хуан**
José Luis de Juan
[р. 1956]. Испанский писатель, журналист и художник. Лауреат премий Хуана Марча Сенсильо [1996] и *Гран Ангулар* [2001].

Автор сборника рассказов *Частная жизнь слов* [*La vida privada de los verbos*, 2000], романов *Пчеловод Бонапарта* [*El apicultor de Bonaparte*, 1996], *Этот скрытый мир* [*Este latente mundo*, 1999], *Калейдоскоп* [*Kaleidoscopio*, 2002], *На раскаленных углях* [*Sobre ascuas*, 2007] и др.
Роман публикуется по изданию *Recordando a Lampe* [Madrid: Ediciones SM, 2001].

**Антонио Мореско**
Antonio Moresco
[р. 1947]. Итальянский писатель. Лауреат премии им. Г. Х. Андерсена [2008].

Автор романов *Луковица* [*La cipolla*, 1995], *Начала* [*Gli esordi*, 1998], *Песни хаоса* [*Canti del caos*, I–II, 2001 и 2003], *Дядя Демосфен* [*Zio Demostene*, 2005], автобиографической книги *Письма никому* [*Lettere a nessuno*, 1997], эссеистических сборников *Вулкан. Критические и визионерские опусы* [*Il vulcano. Scritti critici e visionari*, 1999] и *Опусы о путешествиях, борьбе и снах* [*Scritti di viaggio, di combattimento e di sogno*, 2005], экспериментальных текстов *Вторжение* [*L'invasione*, 2002] и *Брешь* [*Lo sbrego*, 2005], детских книг *История о любви и зеркалах* [*Storia d'amore e di specchi*, 2000] и *Сказки для Марии* [*Le favole della Maria*, 2007], пьесы *Святая* [*La santa*, 2000], сборника прозаических текстов *Дерьмо и свет* [*Merda e luce*, 2007].
Повесть *La camera blu* взят из сборника *Подполье* [*Clandestinità*. Torino: Bollati Boringhieri editore, 1993].

**Кристоф Рансмайр**
Christoph Ransmayr
[р. 1954]. Австрийский писатель. Лауреат премий Кафки [1995], Гёльдерлина [1998], Брехта [2004], Бёлля [2007] и др.

Автор романов *Последний мир* [*Die letzte Welt*, 1988; рус. перев. 2003], *Болезнь Китахары* [*Morbus Kitahara*, 1995; рус. перев. 2003], повести *Третий воздух, или Театр у моря* [*Die dritte Luft, oder Eine Bühne am Meer*, 1997], сборника репортажей и эссе *Дорога на Сурабаю* [*Der Weg nach Surabaya*, 1997]. В *ИЛ* напечатаны его роман *Ужасы льдов и мрака* [2003, № 2] и *Признания туриста* [2008, № 4].
Текст публикуется по изданию *Der fliegende Berg* [Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag GmbH, 2006].

**Йон Макгрегор**
Jon McGregor
[р. 1976]. Английский писатель. Лауреат премии Сомерсета Моэма [2003].

Автор романа *Если никто не говорит о замечательных вещах* [*If Nobody Speaks of Remarkable Things*, 2002], нескольких рассказов.
Рассказ *What the Sky Sees* взят из журнала *Granta. The Magazine of New Writing* [№ 78].

**Александр Яковлевич Ливергант**
[р. 1947]. Литературовед, переводчик с английского, кандидат искусствоведения. Лауреат премий *Литературная мысль* [1997] и *Мастер* [2008], обладатель диплома *зоИЛ* [2002].

В его переводе издавались романы Дж. Остин, Дж. К. Джерома, И. Во, Т. Фишера, Р. Чандлера, Д. Хэммета, У. Тревора, П. Остера, И. Б. Зингера, повести и рассказы Г. Миллера, Дж. Апдайка, Дж. Тербера, С. Моэма, П. Г. Вудхауса, В. Аллена, эссе, статьи и очерки С. Джонсона, О. Голдсмита, У. Хэзлитта, У. Б. Йейтса, Дж. Конрада, Б. Шоу, Дж. Б. Пристли, Г. К. Честертона, Г. Грина, а также письма Дж. Свифта, Л. Стерна, Т. Дж. Смоллетта и Д. Китса, дневники С. Пипса, путевые очерки Т. Дж. Смоллетта, Г. Грина и др. Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

**Ивонна Клоэтта**
Yvonne Cloetta
[1923–2001], урожденная Ивонна Гевель, жена и секретарь бизнесмена Жака

Автор предисловия к книге Грэма Грина *Мой Собственный Мир* [*ИЛ*, 2003, № 12].
Публикуемый перевод выполнен по изданию *Ma vie avec Graham Greene. À la recherche d'un commencement* [La Table Ronde, 2004].

Клоэтта]. Подруга и секретарь Грэма Грина с 1959 по 1991 гг.

**Ширли Хэззард**
Shirley Hazzard
Американская писательница австралийского происхождения.

Автор романов *Полуденный залив* [*The Bay of Noon*, 1970], *Великий пожар* [*The Great Fire*, 2003] и др., двух сборников рассказов, а также документальной и мемуарной прозы, в том числе *Крушение идеала: история саморазрушения ООН* [*Defeat of an Ideal: A Study of the Self-destruction of the United Nations*, 1973] и *Древний берег: вести из Неаполя* [*The Ancient Shore: Dispatches from Naples*, 2008].
Фрагменты ее книги печатаются по изданию *Greene on Capri* [New York: Farrar, Straus and Giroux, 2000].

**Александр Юльевич Суконик**
[р. 1932]. Прозаик, эссеист. С 1974 г. живет в США.

Автор книг *Одесса–Москва–Нью-Йорк* [1990], *За оградой рая* [1991], *Театр одного актера* [2001], *Места из переписки* [2001] и др., многих эссе. Печатался в журналах *Континент*, *Время и мы*, *Вестник РХД*, *Знамя*, *Новый мир* и др. В *ИЛ* публикуется впервые.

**Марсель Пруст**
Marcel Proust
[1871–1922]. Французский писатель. Лауреат Гонкуровской премии [1919].

Автор сборника новелл *Утехи и дни* [*Les Plaisirs et les Jours*, 1896] и др. Основное произведение Пруста – цикл *В поисках утраченного времени* [тт. 1–16, 1913–1927, последние 6 томов опубликованы посмертно], состоящий из семи романов.
Письма публикуются по изданию *Correspondance de Marcel Proust* 1880–1922, volumes I–XXI, selected, presented and annotated by Philip KOLB [Paris: Librairie Plon, 1973–1993].

**Елена Вадимовна Баевская**
Переводчик с французского, немецкого и английского языков. Аспирант кафедры французского языка и литературы Мэрилендского университета, США.

В ее переводе изданы бретонские баллады и бретонские народные сказки, стихотворения в прозе и дневники Бодлера, трагедия Ж. Расина *Александр Великий*, поэмы *Виноградник и дом* А. де Ламартина и *Ролла* А. де Мюссе, стихотворные пьесы *Сирано де Бержерак* Э. Ростана, *Глупец и смерть*, *Смерть Тициана* Г. фон Гофмансталя, романы Т. Готье *Мадмуазель де Мопен*, Э. Ионеско *Одинокий*, Ж. Эшеноза *Один год*, первая часть романа М. Пруста *В сторону Свана*, статьи З. Фрейда, М. Элиаде, а также стихотворения Ж. Лафорга, С. Малларме, П. Верлена, П. Б. Шелли, Д. Китса, Г. Тракля, П. Флеминга и др.
В *ИЛ* опубликованы ее переводы стихотворений Л. Арагона, Ф. Пикабиа, Ж. Арпа [2002, № 5].

**Вера Владимировна Калмыкова**
Поэт, филолог, кандидат филологических наук. Главный редактор издательства *Русский импульс*.

Автор поэтической книги *Первый сборник* [2002], книг по истории искусства и истории литературы, в том числе *Венецианская живопись XV–XVI вв.* [Белый город, 2008], *XIX век. Национальные школы* [в соавторстве с В. Темкиным; Белый город, 2008], принимает участие в издании словарей, энциклопедий и других справочных изданий по вопросам теории и истории литературы. Постоянно печатается в журналах *Нева*, *Октябрь*, *Юный художник*, в одесском альманахе *Дерибасовская – Ришельевская* и др.

**Елена Львовна Калашникова**
Журналист, филолог. Ведущая рубрики *Интервью с переводчиком* [2001–2008] в сетевом *Русском журнале*.

Автор книги *По-русски с любовью. Беседы с переводчиками* [НЛО, 2008].

**Татьяна Александровна Трофимова**
Кандидат филологических наук, преподаватель кафедры истории русской литературы новейшего времени РГГУ.

Автор аннотаций в рубрике *У книжной витрины*.

**Алексей Васильевич Михеев**
[р. 1953]. Кандидат филологических наук. Лауреат премии *Человек книги* в номинации *Редактор* [2004].

В его переводе с польского напечатаны пьеса С. Мрожека *Портной* [*Суфлер*, 1995, № 4] и повесть Г. Херлинга-Грудзинского *Белая ночь любви* [*ИЛ*, 2000, № 8]. В *ИЛ* также неоднократно публиковались его статьи. Постоянный ведущий рубрики *Информация к размышлению*.

**Александра Юрьевна Лешневская**
Переводчик с французского и английского языков. Аспирант ИВГИ РГГУ.

В *ИЛ* опубликованы ее статьи *Три "Гранде"* [2008, № 4], *"Казнить нельзя помиловать"* [2008, № 12] и перевод фрагмента пьесы *Обратная сторона Луны* Робера Лепажа [2008, № 11].

**Екатерина Захарова**
Студентка филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.

Автор аннотаций в рубрике *По материалам зарубежной прессы* [2008, № 12; 2009, № 2].

**Игорь Викторович Мокин**
[р. 1986]. Переводчик с английского и скандинавских языков, преподаватель. Аспирант филологического факультета МГУ.

В *ИЛ* опубликован его перевод рассказа Р. О. Фримена *Послание со дна моря* [2008, № 1] и фрагментов книги Д. Рескина *Современные художники* [2009, № 1].

## Переводчики

**Татьяна Викторовна Родименко**
Переводчик с испанского и португальского языков. Преподаватель испанского языка.

В ее переводе выходили роман Рейнальдо Аренаса *Швейцар* [2008], книга Фиделя Кастро *Моя жизнь* [2009] и др. В *ИЛ* опубликован ее перевод фрагментов *Книги тревог* Ф. Пессоа [1988, № 11].

**Татьяна Александровна Баскакова**
Переводчик с немецкого, французского и итальянского языков. Лауреат премии имени А. Белого [2008].

В ее переводе изданы книги А. Роке *Брейгель, или Мастерская сновидений*, И. Фрэн *Клеопатра, или Неподражаемая*, О. Ролена *Пейзажи детства*, Р. Сафрански *Хайдеггер. Германский мастер и его время*, романы К. Крахта *Faserland* и *1979*, А. Шмидта *Каменное сердце*, А. Дёблина *Три прыжка Ван Луня*, повесть Т. Бернхарда *Холод: Изоляция*, текст Герта Йонке *Говорящий по часовой стрелке* и др. Составитель [вместе с М. Белорусцем] и переводчик книги *Пауль Целан. Стихотворения. Проза. Письма* [2008]. В *ИЛ* в ее переводе печатались рассказы А. Шмидта [1999, № 7] и И. фон Кизерицки [2002, № 5], повесть Т. Бернхарда *Племянник Витгенштейна* [2003, № 2], роман Ф. Йегги *Пролетарка* [2003, № 3], фрагменты книги Х. Х. Янна *Деревянный корабль* [2003,

№ 9], письма и афоризмы П. Целана [2005, № 4], повесть А. Шмидта *Черные зеркала* [2005, № 5], пьеса Э. Елинек *облака.дом.* [2008, № 9] и др.

**Александра Аркадьевна Кряжимская**
Переводчик с немецкого, филолог-германист.

В *ИЛ* публикуется впервые.

**Наталья Поваляева**
Переводчик с английского, специалист по английской литературе XIX и XX вв., доцент кафедры зарубежной литературы Белорусского государственного университета.

Автор многих статей, посвященных творчеству В. Вулф и Дж. Уинтерсон. Перевела роман Дж. Уинтерсон *Хозяйство света* [2006]. В *ИЛ* в ее переводе опубликованы рассказы Дж. Уинтерсон [2009, № 2].

**Татьяна Львовна Соколова-Делюсина**
Переводчик с японского. Лауреат *Специальной премии* Японского фонда [1993], кавалер ордена *Восходящего солнца с золотыми лучами и розеткой* [2008].

Среди ее переводов — пьесы театра Но, знаменитый памятник начала XI века *Повесть о Гэндзи* Мурасаки Сикибу, а также дневник и домашняя поэтическая антология Идзуми Сикибу, проза и поэзия Басё, Бусона, Иссы, повести и рассказы Дадзая Осаму, Акутагавы Рюноскэ и др. Участвовала в издании тома *Японская поэзия* в серии *Золотой фонд японской литературы*, а также антологии современной японской поэзии *Странный ветер*.
В *ИЛ* в разные годы печатались в ее переводах подборки классической и современной японской поэзии и прозы.

**Елена Викторовна Клокова**
Переводчик с французского.

В ее переводе выходили книги С. Коллара *Дикие ночи*, П. Сибо *Эпоха диктатур*, Латифы *Украденное лицо*, А. Труайя *Крушение*, А. Гавальда *Просто вместе*, Шань Са *Игра в го*. В *ИЛ* в ее переводе печаталась автобиография Ильича Рамиреса Санчеса *Кто я?* [2004, № 9], статьи из французских газет в рубрике *Полемика* [2006, № 9], роман Н. Бисмют *Scrapbook* [совместно с Н. Хотинской; 2006, № 11, 12] и главы из книги Ю. Ведрина *Продолжить историю* [2008, № 8].

**Мария Александровна Штейнман**
Филолог, переводчик с английского, кандидат филологических наук.

Автор статей об английской литературе. В ее переводе опубликованы эссе К. Льюиса *Развенчание власти* [2004], статья Г. Маквея *Пень и конь: Поэзия Александра Кусикова* [2003]. В *ИЛ* напечатан ее перевод эссе из книги Сола Беллоу *Одно к одному: из смутного прошлого к неопределенному будущему* [2005, № 12].

**Алла Юрьевна Бураковская**
Переводчик с английского.

В ее переводах были опубликованы произведения И. Во, Г. Грина, Ф. Скотта Фицджеральда, В. С. Найпола, М. Миллар, А. Кристи и др. В *ИЛ* напечатан ее перевод фрагментов книги *Сравнительные жизнеописания* Ф. Роуз [2003, № 3].

**Тамара Яковлевна Казавчинская**
Переводчик с английского и польского языков.

В ее переводе выходили эссе Д. Дефо, У. М. Теккерея, Ш. Бронте, Дж. Б. Пристли, Г. Грина, рассказы и повести У. Коллинза, Э. Бульвера-Литтона, Р. Киплинга, С. Моэма, Г. Лавкрафта, М. Спарк и др. В *ИЛ* в ее переводе напечатаны эссе У. М. Теккерея [1986, № 12], главы книги *Западный канон* Х. Блума [1998, № 12], фрагменты книги Г. Стайн *Париж Франция* [1999, № 7], главы *Автобиографии* Б. Рассела [2000, № 12], эссе Г. К. Честертона, Р. Линда, А. А. Милна, Г. Николсона [2007, № 8] и др.

RINET
Internet Service Provider

ИНТЕРНЕТ
ПО ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ ВЫДЕЛЕННЫМ ЛИНИЯМ
в Центральном округе Москвы

объединенная волоконно-оптическая районная сеть RiNet в ЦАО:
• оптимальные условия подключения,
• бесплатный доступ к внутрисетевым ресурсам

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ ← В ЦЕНТРЕ ГОРОДА → В ЦЕНТРЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

круглосуточно:
(095) 232-1730 238-3922 916-7009.
адрес:
МОСКВА, 1-Й ХВОСТОВ пер., д. 11А.
подробности:
WWW.RINET.RU

В оформлении обложки использован фрагмент гравюры японского художника Чобунсай Эйши [1756–1829] *Поэтесса Кисен Хоши* [1793–1794].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.

Компьютерный набор Евгения Ушакова, Надежда Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

Адрес редакции: 119017, Москва, Пятницкая ул., 41 (м. "Третьяковская", "Новокузнецкая");
телефон 953-51-47; факс 953-50-61.
e-mail inolit@rinet.ru

Подписаться на журнал можно во всех отделениях связи.
Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие.
Льготная подписка оформляется в редакции (понедельник, вторник, среда, четверг с 12.00 до 17.30).

Купить журнал можно:
в редакции;
в киоске "Новой газеты" (Страстной бульвар, д. 4);
в книжной лавке ВГБИЛ им. М. И. Рудомино (Николоямская ул., д. 1);
в книжном магазине клуба "Проект-О.Г.И." (Потаповский пер., д. 8/12, стр. 2, вход со двора; м. Чистые пруды, Китай-город);
в книжном магазине "У Максима" (МГУ им. М.В. Ломоносова, 1-й Гуманитарный корпус; м. Университет);
в книжном магазине "Русское зарубежье" (Нижняя Радищевская, д. 2; м. Таганская-кольцевая);
в книжном магазине "Фаланстер" (Малый Гнездниковский переулок, д. 12/27, стр.2-3).

Электронный дайджест журнала:
http://magazines.russ.ru/inostran
Наш блог:
http://obzor-inolit.livejournal.com

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 15.02.2009
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Уч.-изд. л. 26,60.
Заказ № 202.
Тираж 6300 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов
ОАО "Типография "Новости",
105005, Москва,
ул. Фр. Энгельса, 46.

**Информационная поддержка**

# [ 4 ] 2009

РОМАН БЕНА ЭЛТОНА “СЛЕПАЯ ВЕРА” / СТИХИ ТАДЕУША НОВАКА / СЦЕНКИ ДЛЯ ТЕАТРА МАТЕЯ ВИШНЕКА / “Я НЕ ПОНИМАЮ, ИЗ ЧЕГО СОТВОРЕН ЕГО МИР...” — ВЛАДИМИР НАБОКОВ В ПЕРЕПИСКЕ И ДНЕВНИКАХ СОВРЕМЕННИКОВ / СТАТЬЯ ТОМАСА ВЕНЦЛОВЫ “ПУШКИН КАК НЕИЗБЕЖНЫЙ «ДРУГОЙ»” / ЭССЕ “МЕТАФИЗИКА ЮГА” ВЛАДИСЛАВА ОТРОШЕНКО В РУБРИКЕ “CARTE BLANCHE”

(*роль*) **Ex** Each character was ~ed with so much grace and art. Все роли были исполнены с большим изяществом и мастерством.

NEW! **sustainability** [səˌsteɪnəˈbɪlətɪ] *n* устойчивость; устойчивое развитие; ecological / environmental ~ экологическая устойчивость, устойчивость окружающей среды *(предполагает поддержание экологической целостности и запасов природных ресурсов)*; financial ~ финансовая устойчивость; the Royal Award for S. *брит* королевская премия за устойчивое развитие *(присуждается предпринимателям)*

NEW! **sustainable** [səˈsteɪnəbl] *adj* **1.** устойчивый; жизнеспособный; ~ development устойчивое развитие; ~ economic growth устойчивый экономический рост **2.** экологически рациональный; способный существовать, не нанося ущерба окружающей среде; «устойчивый»; ~ agriculture экологически рациональное сельское хозяйство, «устойчивое» сельское хозяйство; ~ forestry экологически рациональное лесопользование, «устойчивое» лесопользование; ~ use of natural resources рациональное использование природных ресурсов

**sustained** [səˈsteɪnd] *adj* **1.** длительный, продолжительный; непрерывный **Syn** long, protracted **2.** монотонный *(о звуке)*

NEW! **sustaining** [səˈsteɪnɪŋ] *adj* **1.** поддерживающий, подпирающий; ~ power стойкость, выносливость **2.** доказывающий, подтверждающий

**sustaining program** *n амер радио* некоммерческая радиопрограмма

**sustenance** [ˈsʌstənəns] *n* **1.** средства к существованию **2.** питание; пища **Syn** food, fare **3.** поддержание, поддержка, помощь **Syn** maintenance

**sustention** [səˈstenʃən] *n* поддержание *(в том же состоянии)*

**sustentive** [səˈstentɪv] *adj* поддерживающий; подкрепляющий

**susurrant** [suːˈsʌrənt] = susurrous

**susurrate** [ˈsuːsəreɪt] *v книжн* **1.** шептать **2.** издавать лёгкий шорох, шелест

**susurration** [ˌsuːsəˈreɪʃən] *n* **1.** шёпот **Syn** whisper **2.** лёгкий шорох, шелест

**susurrous** [suːˈsʌrəs] *adj* **1.** шепчущий **2.** шуршащий; шелестящий

**susurrus** [suːˈsʌrəs] = susurration

**Susy** [ˈsuːzɪ] *n уменьш от* Susan, Susannah Сюзи *(женское имя)*

**Sutherland** [ˈsʌðələnd] = Sutherlandshire

**Sutherlandshire** [ˈsʌðələndʃə] *n геогр* Сатерлендшир *(графство Шотландии)*

**Sutlej** [ˈsʌtlɪdʒ] *n геогр* Сатледж *(река на территории Пакистана, Индии, Китая)*

**sutler** [ˈsʌtlə] *n* маркитант **Syn** canteen keeper

NEW! дятся. **3.** нить для сшивания раны 4. сшивание, соединение

*мед* накладывать швы, сшивать

**SUV** *сокр от* Sport Utility Vehicle внедорожник *(автомобиль повышенной проходимости, предназначенный для активного отдыха, чаще всего с приводом на все четыре колеса)*

**Suva** [ˈsuːvə] *n геогр* Сува *(столица государства Фиджи, юго-западная часть Тихого океана)*

**suzerain** [ˈsuːzəreɪn] *n* **1.** феодальный властитель, сюзерен **2.** сюзеренное государство; ~ lord правитель сюзеренного государства

**suzerainty** [ˈsuːzəreɪntɪ] *n* **1.** власть сюзерена **2.** сюзеренитет

**SVC** *буквенный код для* El Salvador colon сальвадорский колон *(денежная единица)*

**svc.** *сокр от* service **1.** обслуживание, сервис **2.** служба

NEW! **svelte** [svelt] *adj* стройный, гибкий *(о женщине)* **Syn** thin

**Sverdlovsk** [ˌsveəˈdlɒfsk] *n геогр, ист* Свердловск *(название г. Екатеринбург в период с 1924 по 1991 г.), см тж* Ekaterinburg

**Sverdrup Islands** [ˌsveədrʊp-] *n pl геогр* острова Свердруп *(группа островов в составе Канадского Арктического архипелага)*

**SVO** *сокр от* subject verb object *лингв* тип языка с характерным порядком слов: подлежащее - сказуемое - прямое дополнение *(как в русском, английском), см тж* SOV

**SW**[1] *сокр от* short waves короткие волны

**SW**[2] *сокр от* southwest юго-запад

**Sw.** *сокр от* Sweden Швеция

**swab** [swɒb] **I** *n* **1.** 1) швабра, щётка **Syn** mop 2) *воен* банник *(насадка типа щётки на шомпол)*; шомпол 3) помазок **2.** *мед* 1) тампон 2) мазок **3.** *мор жарг* офицерский погон **4.** 1) *презр* салага 2) *разг* матрос, моряк **Syn** sailor, gob

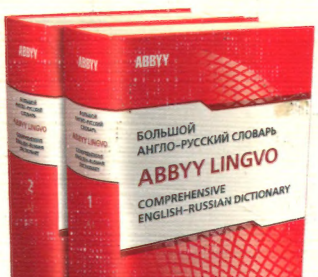
**II** *v* **1.** *(тж ~ down)* мыть шваброй; подтирать шваброй **Ex** Every morning, the sailors had to ~ down the deck of the ship. Каждое утро матросы должны были шваброй драить палубу на корабле. **2.** *мед* смазывать, наносить тампоном **Ex** She ~ bed the wound with iodine. Она смазала рану йодом.

**swabber** [ˈswɒbə] *n* **1.** юнга, драящий палубу **2.** грубый, невоспитанный, подлый человек **3.** *разг* увалень **Syn** clodhopper, bumpkin **4.** швабра, веник, метла

**Swabia** [ˈsweɪbɪə] *n геогр, ист* Швабия *(историческая область в Германии)*

**swaddle** [ˈswɒdl] **I** *n* = swaddling clothes

**II** *v* **1.** пеленать, свивать *(младенца)* **2.** *(тж ~ up)* бинтовать, забинтовывать **3.** сдержи-


Словари ABBYY Lingvo
Современный язык
Академический подход

ABBYY SOFTWARE HOUSE
www.ABBYY.ru
+7 (495) 783 3700

job@abbyy.com
Приглашаем на работу лингвистов и лексикографов


ISSN 0130-6545 09003
9 770130 654770
ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2009, №3, 1-304
ИНДЕКС 70394